Л.И. Мечников

Цивилизация и великие исторические реки

Содержание

Предисловие

Статьи

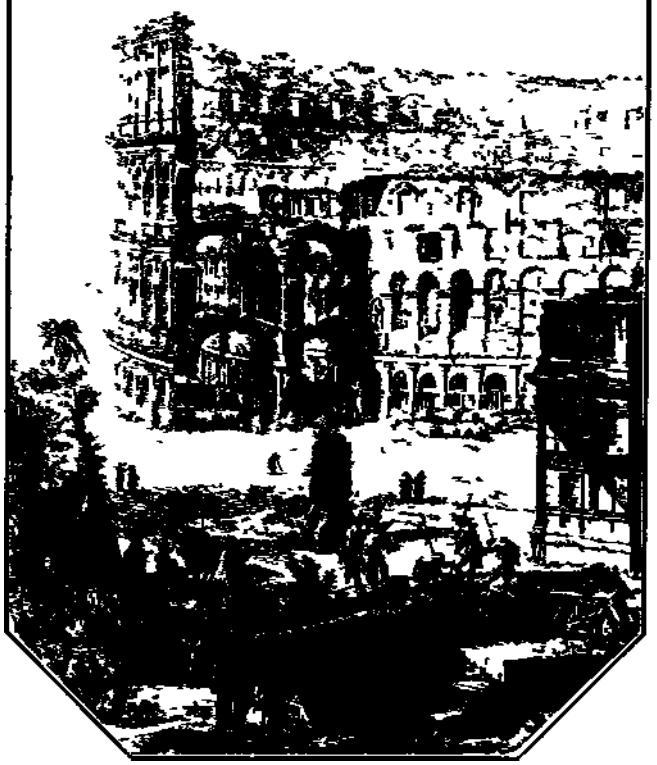
Душевная гигиена

Школа борьбы в социологии

Предисловие Элизе Реклю
Глава первая. Что такое прогресс?
Глава вторая. Прогресс в истории
Глава третья. Географический синтез истории
Глава четвертая. Человеческие расы
Глава пятая. Среда
Глава шестая. Великие исторические периоды
Глава седьмая. Область речных цивилизаций
Глава восьмая. Нил
Глава девятая. Тигр и Евфрат
Глава десятая. Инд и Ганг
Глава одиннадцатая. Хуанхэ и Янцзы

Примечания Указатель имен

СТАТЬИ



В. И. Евдокимов

Душевная гигиена

> Здоровье есть житейская формула правды, добра и красоты.
>
> Э. фон Фейхтерслебен

Переживаемая нами эпоха есть по преимуществу эпоха душевных болезней и разнообразнейших нравственных расстройств. Скорбное народонаселение сумасшедших домов возрастает во всех цивилизованных странах с ужасающею быстротой; в то же время значительно возрастает число самоубийств, которые принимают порою эпидемический, острый характер. Для борьбы с этим постоянно возрастающим злом новая медицинская отрасль — психиатрия, или душелечение,

— возникла на наших глазах и раньше, чем теоретические мыслители успели договориться до категорических определений в области рациональной психологии.

Два мира — физический и нравственный, — о единстве которых написано так много хороших книг, фактически перемешались в своих взаимных отношениях и вызвали в нашем общественном и частном быту непроходимую путаницу. В одном случае причины, очевидно чисто нравственные, духовные, производят целый ряд болезненных явлений, против которых бесплодно было бы морализировать и поучать, а приходится действовать слабительными, горчичниками и другими снадобьями латинской кухни. Там, наоборот, органические расстройства вызывают нравственные потрясения.

Добросовестные врачи все чаще и чаще начинают признавать бессилие своих аптечных снадобий против этих страданий и принимают столь мало свойственную им роль философов и моралистов. С другой стороны, уголовный суд, призванный карать порочную волю, поставляется в необходимость идти рука об руку с медицинскою экспертизою из опасения казнить органическое расстройство наряду с тяжким преступлением.

Судье и врачу приходится во всяком случае иметь дело только с явлениями чрезвычайными, выдающимися из ряда и насильственно обращающими на себя наше внимание. Самый слабый человек, прежде чем решиться на преступление, выдерживает с обуревающею его маниею продолжительную и мучительную борьбу; многие заканчивают свою жизнь в этой борьбе, не дойдя до скамьи подсудимых. К врачу обращаются только тогда, когда расстройство принимает уже чересчур решительный, острый характер. Сумасшествия так редко излечиваются именно потому, что их обыкновенно принимаются лечить уже тогда, когда они становятся неизлечимыми. Преступление, сумасшествие, самоубийство — только мрачные финалы долгих и мучительных драм, которые могут оборваться и раньше этой трагической развязки. Возрастающая цифра этих катастроф важна главнейшим образом потому, что она заставляет нас обратить наше внимание на тот житейский строй, который служит фоном для этих грозных картин, столь обильно иллюстрирующих собою новейшую медицинскую и судебную практику.

Медицинская статистика вообще дело еще очень новое; к тому же когда нам представляют длинные ряды цифр, красноречиво свидетельствующих о возрастании какого-нибудь недуга в новейшие времена, то у нас естественно возникает мысль, что возрос, может быть, не самый недуг, а возросла только наша внимательность к страданиям ближних, возросло главнейшим образом наше умение различать болезни, которые предки наши смешивали под каким-нибудь общим названием или которых они вовсе не замечали.

Многих уже поражал тот кажущийся контраст, что в новейшее время значительно увеличилось количество обуревающих нас тяжких и опасных болезней, а средний уровень долговечности тем не менее все-таки растет с каждым новым успехом цивилизации. Некоторые специалисты стараются устранить это противоречие, уверяя нас, что болезни новейшего времени отличаются преимущественно своим медленным, хроническим ходом, тогда как предки наши или пользовались вожделенным здравием, или быстро умирали от скоротечных воспалений и горячек; что в особенности мы сделали значительный шаг вперед в искусстве поддерживать жизнь слабых, золотушных и анемичных детей, которые

неизбежно погибали в самом раннем возрасте при грубом и суровом образе жизни наших предков. Таким образом, и возрастание средней продолжительности жизни, и возрастание численности народонаселения некоторых стран идут рука об руку с увеличением массы страданий, на которые мы обречены в этой юдоли плача.

Смерть — естественный враг всего живого, и уменье отсрочить на возможно долгое время неизбежный ее удар составляет, конечно, отрадное явление. Но искусство продолжать на долгие сроки страдания людей и увеличивать число страдальцев не составляет еще конечного предела наших прогрессивных стремлений. Макробиотика, т.е. искусство долго жить, все более и более уступает свое место гигиене, т.е. искусству хорошо жить. Но быть здоровым не значит только не быть больным, т.е. не иметь какого-нибудь недуга, признанного медицинскою практикою и носящего какое-нибудь мудреное латинское прозвище. Быть здоровым — значит прежде всего быть человеком, быть самим собою, пользоваться известным равновесием всех своих нравственных и физических способностей; без этого равновесия жизнь становится не в жизнь.

Легко поддерживать равновесие там, где приходится иметь дело с небольшим числом очень грубых и несложных элементов. Отечественная балалайка зудит свою камаринскую до тех пор, пока не порвутся струны. Сложное электрическое фортепиано Гиппа портится очень легко при мало-мальски невнимательном с ним обращении. Невежественный костоправ да мистик-шарлатан были вполне достаточны для того, чтобы охранять и восстановлять дебелое здоровье наших предков. Но новому времени нужны иные врачи.

Цивилизация прежде всего усложнила и рафинировала человеческий организм до того, что хинин и ревень, даже будучи приправлены всеми новейшими ухищрениями латинской кухни, не в силах оградить нас от мучительных повреждений и расстройств, мешающих нам быть здоровыми. Ввиду этого усложнения новая медицина не могла уже удержаться в своем прежнем схоластическом отчуждении от жизни, не могла удовольствоваться одним своим внутренним совершенствованием. Она все более и более стремится сойти со своих мистических ходулей и сделаться самой популярнейшей из наук, создать себе в своих пациентах толковых помощников и сотрудников.

В медицинской литературе позднейшего времени популярные сочинения играют все более и более видную роль. Лучшие врачи в один голос твердят нам, что с их стороны самые рациональные и часто геройские усилия должны фатально оставаться бесплодными в борьбе с недугами, подготовляемыми и развиваемыми всею совокупностью окружающих нас условий. С практической стороны популярная медицина и гигиена оставляют еще желать очень многого; но их философское, общее, в особенности же нравственное значение уже и теперь поистине громадное.

Не выходя из пределов строгой специальности, врачи-гигиенисты и популяризаторы воспитывают наш грубый эгоизм, обтесывают его и делают социальным чувством. Они указывают нам на теснейшую солидарность, связывающую между собою членов одного и того же общества и заставляющую наиболее передовых и счастливых его членов расплачиваться тяжелыми и почти всегда смертельными эпидемическими болезнями за нищету и невежество низших общественных слоев. Все формы тифа, порождаемого грязью и бедностью,

подвергают опасности жизнь самых достаточных классов, тщетно усиливающихся оградить себя от заразы в роскошных своих хоромах. Вероятность здоровья и продолжительной жизни для каждого ставится, таким образом, в теснейшую и чересчур очевидную зависимость не от суммы тех благ и забот, которыми он может окружить себя, а от культурного и экономического уровня всего общества.

Несмотря на то что литература популярных медицинских и гигиенических сочинений у нас еще в зародыше, но мы уже можем указать на целый ряд чрезвычайно благодетельных преобразований, вызванных ею в области общественного и домашнего воспитания, в семейной жизни, в организации некоторых промышленных ветвей... Короче говоря, нет такой отрасли нашего быта, в которой рациональная медицина новейшего времени не указывала бы нам на сотни улучшений и реформ, настоятельно требуемых во имя личной безопасности и здоровья каждого.

Но роль гигиены в нашем быту не может оставаться чисто отрицательною, т.е. сводиться исключительно к излечению или даже предупреждению болезней. Напрасно мы стали бы думать, будто человек, не одержимый никаким, так сказать, официально признанным недугом, находится в полном самообладании и пользуется тем вожделенным равновесием всех своих сил, которое называется здоровьем. С постоянно возрастающим прогрессом нервной напряженности, вызываемой лихорадочной деятельностью нашей эпохи, в современном человечестве все более и более развиваются томительные хронические расстройства, которые еще нельзя назвать болезнями, которые не определяются ни в одном патологическом учебнике, но которые тем не менее служат источником бесконечных страданий, задерживают нормальное развитие и отдельных лиц, и целых обществ, которые, наконец, прямо подвергают опасности самую жизнь уже тем, что делают наш организм крайне восприимчивым к эпидемическим и другим случайным болезням.

Врачи старой школы обыкновенно с пренебрежением относятся к этого рода расстройствам, считая их за плод досужего воображения; более просвещенные и более опытные врачи в большинстве случаев вынуждены признавать свою несостоятельность перед этими расстройствами, имеющими главнейшим образом нравственные причины. Только психиатры, научившиеся из практики придавать нервным и нравственным явлениям их истинное значение, начинают понимать, что эти болезненные состояния воли, ума и воображения так же вещественны и реальны, как воспаления и лихорадки. От случая зависит обыкновенно обратить их в признанное сумасшествие, которого границы строго определить невозможно и до сих пор. «Все думают, что я с ума сошел, а мне кажется, что весь свет сошел с ума. Вся беда моя в том, что большинство на стороне всего света», — говорил один жилец желтого дома, и он, конечно, был прав.

Макс Симон, Жоли и некоторые другие французские психиатры, которых мне приходилось читать, утверждают, что относительно большинства их пациентов нет возможности определить, когда именно началась их болезнь. То, что обыкновенно считают за начало сумасшествия, бывает только случайный симптом, вызванный какими-нибудь посторонними обстоятельствами. По мнению Симона (сына), сумасшествие, даже наследственное, часто легко может быть предотвращено своевременною *нравственною гигиеною*.

Со времени знаменитого рассуждения Кабаниса «О соотношении физической и нравственной природы человека» («Rapports du physique et du moral de 1'homme») на тему единства духовного и физического мира написано очень много весьма поучительных книг. Но вопрос о нравственной гигиене, т.е. о необходимости ограждать наше здоровье не только медицинскими, но и нравственными мерами, принадлежит к числу новейших и наименее разработанных научных вопросов.

Первое из известных нам сочинений на эту тему издано, кажется, в Париже в 1837 году Казимиром Бруссе под заглавием «Нравственная гигиена, или Применение физиологии к нравственности и воспитанию» (C. Broussais. Hygiene morale; ou Application de la physiologic a la morale et a l'education. Bruxelles, 1837). Как всякая первая попытка, сочинение это интересно гораздо больше по общему мировоззрению и по добросовестной смелости автора, чем по практической важности добытых им результатов. Гораздо большею известностью пользуется труд австрийского доктора, барона Э. фон Фейхтерслебена, выдержавший по-немецки семнадцать изданий и переведенный на английский и французский языки. Я цитирую французский перевод этого сочинения, отпечатанный недавно уже третьим изданием под заглавием «Гигиена души». Еще новее «Нравственная гигиена» («Hygiene morale») доктора Жоли и «Гигиена ума» («Hygiene de 1'esprit») доктора Макса Симона, сына.

Мы, конечно, не говорим о сочинениях чисто психиатрических, вроде, например, превосходного, но, к сожалению, неоконченного труда бывшего профессора Цюрихского университета доктора Гризингера, и о других, предназначенных не для публики, а для врачей. Гигиена тем и отличается от медицины, что она для применения своих положений не нуждается в особых специалистах.

Небольшие брошюрки Жоли и Макса Симона представляют некоторый интерес благодаря тому, что авторы их опытные психиатры. Обе они составлены почти по одному общему плану в виде беглых заметок, не связанных между собою никаким систематическим или строго обдуманным единством. Анекдотическая часть играет в них очень видную роль, и нельзя сказать, что бы анекдоты (особенно у Симона) были всегда удачно подобраны. Фейхтерслебен не психиатр, а просто образованный врач, игравший в политических волнениях 1848 года в Вене некоторую роль и обладавший громадным общим образованием. Книга его имеет в значительной степени чисто литературный характер. Французский переводчик д-р Шлезингер-Райе снабдил ее объемистыми подстрочными примечаниями, мало прибавляющими к достоинствам и содержательности самой книги.

В книге Фейхтерслебена читатель найдет множество прекрасных, часто оригинальных мыслей, высказанных в превосходной литературной форме, но без строгой последовательности. Почти половина этого сочинения состоит из отрывочных maximes et pensees[i], но главная цель автора все-таки проведена очень последовательно. Он поражен тем, что в массе страданий, угнетающих современное человечество, большая половина таких, которые как бы умышленно созданы нами самими. Чтобы вычеркнуть их навсегда из мира печальной действительности, достаточно только сознательно пожелать их исчезновения. Но как научить людей этому сознательному желанию?

Инстинкт самосохранения и узкий животный эгоизм вечно торчат перед нашими глазами, как своеобразно окрашенные очки, представляющие нам решительно все в извращенном виде. Эта оптическая ошибка заставляет нас на каждом шагу поворачиваться спиной к желанной цели с наивной уверенностью, будто мы очень упорно и сознательно стремимся к достижению ее. За исключением очень ограниченного числа мономанов, никто не ищет богатства для богатства, но всякий желает богатства как средства жить в свое удовольствие. И что же? В погоне за этим средством человек ставит себя в положение, делающее невозможным самую цель: прежде чем богатство нажито, уже утрачено навсегда то равновесие физических и нравственных сил, без которого не может быть и речи об удовольствии.

Возьмем ли мы счастливца, которого судьба избавила от этой головоломной погони за наживою, которого единственною заботою является трудная задача устроить свою жизнь к вящему удовлетворению своего узкого эгоизма, и тут дело оказывается нелегким. За первою половиною жизни, незаметно пролетевшею среди увлечений всякого рода, чередующихся с тоскою, следует долгий финал разочарований и опасений. Сосредоточенный на самом себе, на сохранении своей жизни и здоровья, такой счастливец почти неизбежно развивает в себе отвратительнейшую и мучительнейшую болезнь — мнительность, ипохондрию, — которая хотя и может избежать неотразимого трагического исхода, но которая делает самую жизнь недостойною забот об ее сохранении.

Несмотря на литературность и поверхностность изложения, книга Фейхтерслебена очень удовлетворительно показывает, что здоровье никоим образом не может быть плодом эгоистических, хотя бы и очень рассудительных забот о себе, что из гигиенических предосторожностей мы прежде всего должны научиться смотреть на себя как на ничтожную часть великого, сложного целого. «Только тот может сохранить телесное и нравственное здоровье до конца своих дней, — говорит он в одном из своих афоризмов, — кто рано сумел заинтересоваться в судьбах всего человечества». «Для духа, как и для тела, — говорит он в другом месте, — жизнь есть труд... Вечно прислушиваться, вечно учиться, вечно думать — в этом вся жизнь. Когда мы становимся неспособными к жизни в этом ее смысле, то нам нечего и хлопотать о продолжении своего существования». «Существует ли искусство удлинять жизнь? Не знаю, для меня интереснее искусство делать жизнь достойною сохранения и удлинения...»

В книге этой немало общих мест, но в ней основное отношение автора к своему предмету отличается и новизною и оригинальностью. Всего же интереснее для нас сочинения этого рода тем, что самое появление их ознаменовывает собою конец периода бесплодной морализации и начало новых отношении нашего ума к запутанным вопросам нравственности.

На нижеследующих страницах мы постараемся извлечь из вышепоименованных книг то, что, по нашему мнению, они заключают в себе наиболее интересного и поучительного, пополняя по мере надобности их поучения данными, почерпнутыми из психологических сочинений более отвлеченного содержания, которых много появляется теперь во французской литературе и из числа которых мы в особенности упомянем здесь этюды Булье об удовольствии и

страдании, печатавшиеся в очень распространенном «Revue Scientifique» и недавно появившиеся отдельным изданием.

I

Нравственные гигиенисты вовсе не требуют от нас, чтобы мы все свое внимание сосредоточивали на самих себе, тщательно прислушиваясь к тому, что происходит в нашем сознании, напряженно анализируя все, что происходит внутри нашего Я. Совершенно наоборот. Все вышеуказанные авторы единогласно утверждают, что подобное сосредоточивание человека на своей собственной особе доступно только очень немногим избранным натурам, которых личность, так сказать, слишком объемиста сама по себе и способна во всякую данную минуту представить материал для интересной психологической деятельности. Для громадного большинства простых смертных такое самонаблюдение есть чистейший яд и может только вернейшим образом повести к ипохондрии, истерии и т.п., часто очень опасным и всегда крайне мучительным расстройствам. Одиночество само по себе не значит еще решительно ничего и может иметь в глазах нравственного гигиениста чрезвычайно различные значения. Вот как отзывается об этом предмете Макс Симон в афоризмах и изречениях, которыми, по примеру Фейхтерслебена, он заканчивает свою книгу: «Для человека существует внешняя среда и среда внутренняя. Последняя слагается из наших мыслей, стремлений, привязанностей и воспоминаний. Среда внешняя насильственно охватывает человека, в среде внутренней каждый из нас чувствует себя гораздо больше хозяином». Само собою разумеется, что эта внутренняя среда для различных людей бывает совершенно различная. Один и тот же человек не во всякую данную минуту имеет равно богатый запас мыслей, стремлений и воспоминаний, и не всегда запас этот в нем одинаково доброкачествен. Фурье, проведший большую часть жизни на чердаке в Безансоне, Кант, никогда не покидавший маленького немецкого городка, умели найти материал для чрезвычайно интересной вообще и гигиеничной для них самих внутренней деятельности. Но есть натуры совершенно иного закала, которые при такой же точно степени даровитости постоянно нуждаются во влиянии внешней среды, так как они очень скоро переваривают в себе самих однажды заготовленные ими запасы. Такими натурами были Гёте, Вольтер и большинство даровитейших французских писателей конца прошлого столетия, за единственным, может быть, исключением — Ж.Ж .Руссо. Вместо того чтобы предписывать самим себе или своим близким уединение или общество, мы должны выяснить себе то нравственно-гигиеническое влияние, которое сосредоточенность в себе или развлечение в обществе должно оказать в данную минуту. Вообще же говоря, коль скоро человек начинает замечать, что он перестает быть хозяином в своей внутренней среде, ему необходимо хотя бы в видах освежения себя отдать себя на время во власть среде внешней. Но, предписывая себе или другим бегство от уединения, мы никогда не должны забывать, что, как выражается Макс Симон, «уединение, испытываемое нами в обществе людей, которым совершенно чужды

наши стремления, наши мысли и наши привязанности, гораздо томительнее, чем уединение в глуши лесов или степей».

«Нравственная жизнь, как и жизнь физическая, — говорит Фейхтерслебен, — слагается из всасываний и выделений, из вдыханий и выдыханий. Для нашего здоровья необходимо, чтобы между различными ее пульсациями существовало известное равновесие».

Душа, как и тело, нуждается в пище, которую она только и может черпать извне, но, по примеру некоторых животных, она может вбирать в себя запас пищи, необходимой ей на продолжительное время вперед. Переработав этот собранный запас, она необходимо должна отдать часть его окружающей внешней среде из опасения томительных расстройств. Рекомендовать развлечение и общество человеку в то время, когда он сосредоточен на внутренней работе, так сказать, на переварении набранных им извне впечатлений, совершенно равняется демьянову гостеприимству, требующему, чтобы по горло сытый человек обременял себя новою пищею. Но зато как скоро человек истощил и переработал в себе весь запас почерпнутой им извне духовной пищи, сосредоточение в себе неизбежно поведет его к сосредоточению на себе, т.е. к мучительному самоистощению, которое может дать только самые гибельные результаты. Коль скоро вы начинаете замечать, что ваша собственная особа принимает в ваших глазах слишком преувеличенное значение, что вопрос о сохранении вашего драгоценного здоровья начинает чрезмерно поглощать ваше внимание, тогда бегите от себя куда глаза глядят, ибо дальнейшее пребывание в самом себе грозит вам худшим изо всех зол: нравственным разложением при жизни, называемым ипохондриею или мнительностью. Таков единодушный совет всех прочтенных мною гигиенистов ума и духа.

Вечный обмен между нашим внутренним Я и окружающею средою в каждом живом существе совершается непременно различно. Различие в степени и способах поглощения впечатлений, заимствуемых нами извне, а также в способах переработки и отражения этих впечатлений составляет индивидуальный характер каждого. Нравственные условия здоровья, т.е. благосостояние каждого лица, заключаются единственно в нормальности этого обмена, а эта нормальность в свою очередь всего меньше зависит от каких бы то ни было психологических тонкостей. По крайней мере в настоящее время самый счастливый из смертных обставлен так, что ему еще нет надобности прибегать к микроскопически утонченным самонаблюдениям, чтобы разглядеть существеннейшие и главнейшие из препятствий, мешающих такому нормальному обмену. При таком основном воззрении на свою задачу разбираемые нами авторы, очевидно, не должны придавать особенного значения философской строгости и точности определений. В книге полнейшего и обстоятельнейшего из них, Фейхтерслебена, определения занимают всего несколько страничек.

«Не требуйте от нас, — говорит этот автор на странице 63, — цельных и строго законченных систем... Есть предметы, которые можно уловить только в беглом очерке... Пусть те философы, у которых много свободного времени, трудятся над установлением различий и границ между душою и телом и решают вопрос, существует ли одна в отдельности от другого? Я не вижу никаких неудобств приписывать душе ту власть, которую материалисты относят к

особенным органам нашего тела, имеющим будто бы своею специальностью думать и хотеть. Назовите самую причину каким угодно именем: проявления ее от этого не изменятся ни на волос; а я изучаю одни только проявления...» «Душа проявляется нам только в своем общении с реальным миром. Следовательно, совершенно бесплодно было бы рассуждать о влиянии души на тело и тела на дух, так как мы говорим только о таких явлениях, в которых оба эти элемента участвуют нераздельно. Правою рукою можно схватить левую руку, но рука не может схватить сама себя. Так же точно и мысль, которая есть продукт того, что мы называем духом и матернею, не может объять душу и материю, т.е. самую себя».

Препятствия к нормальному обмену впечатлений между нашим внутренним Я и внешнею средою могут равно проистекать и из среды нашего Я. Все равно, как мы ни назовем эту внутреннюю, реагирующую нашу способность: душа, темперамент, характер или т.п. Для практической борьбы с препятствиями, мешающими нам быть здоровыми и счастливыми, дальнейшие измышления философов на эту тему, строгое определение границ между разнообразными душевными категориями могут дать нам драгоценные указания; но на первое время значительная часть задачи может быть исполнена и без них. Исключительно изучать только влияние среды было бы такою же односторонностью, как и сосредоточивать все внимание на внутреннем Я, важная роль которого никоим образом оспариваема быть не может. Фейхтерслебен ссылается на превосходную сцену из шекспировской трагедии: король Лир и его шут блуждают ночью, прикрытые одним и тем же плащом, среди бури с холодным дождем. Оба подвержены, конечно, вполне равносильным внешним влияниям, а между тем шут зябнет и коченеет от холода, которого совершенно не чувствует изгнанный король, поглощенный своею внутреннею тревогой. Примеры менее поэтические, но более убедительные можно было бы цитировать десятками. Сумасшедшие, нервное возбуждение которых достигает часто предела, недоступного для людей в здравом уме, могут противостоять таким вредным внешним влияниям, которые неизбежно должны сокрушить здоровую организацию. Раненный в жару боя солдат часто не чувствует боли от полученной раны. Бывали случаи, что люди, несколько лет лежавшие в параличе, под влиянием сильной внешней опасности внезапно находили в себе силы бежать из загоревшейся комнаты. Врачи, сильно заинтересованные изучением какой-нибудь новой заразительной болезни, могли без вреда для себя вступать в такие общения с зараженными пациентами, которые действовали гибельно, например на индифферентных сторожей; да и вообще известно, что заразительные болезни всего более опасны для людей, ослабленных нравственно, например самим страхом заражения. Лондонский климат действует чересчур несомненно пагубно на жителей этой столицы тумана и копоти; но д-р Мид (Mead) замечает, что действие его особенно губительно отражается на людях нравственно ничтожных, на великосветских хлыщах, которые, однако ж, обставлены несравненно выгоднее с общегигиенической точки зрения, чем массы лондонских рабочих, среди которых ипохондрия и сплин встречаются гораздо реже, чем у тузов из Сити или у лордов верхней палаты... Все эти факты, и сотни им подобных, можно очень удобно признать, не становясь под знамена ни того, ни другого лагеря. Фейхтерслебен, заметим кстати, сильно склоняется на сторону

идеализма, чем и разнится существенно от Казимира Бруссе, твердо стоящего на физиологической почве. Гёте, который меньше разбираемого нами автора может быть заподозрен в идеалистических преувеличениях, рассказывает о себе нижеследующий факт: «Среди повальной гнилой горячки я подвергался неотразимой опасности заражения, от которого меня спасла только моя твердая воля. Трудно поверить, какое громадное влияние имеет в подобных случаях сильная воля, которая возбуждает напряженную деятельность во всех частях тела и делает их способными противостоять внешним влияниям. Страх же ослабляет органическую деятельность и отдает нас беззащитными на жертву врагам». Ни один опытный врач не станет отрицать, что исход многих, даже чисто хирургических повреждений в значительной степени зависит от настроения духа больного.

Мы цитируем здесь разнообразные примеры не столько для того, чтобы дать точную мерку деятельности нравственных факторов в вопросах благосостояния и здоровья, сколько для того, чтобы указать, в каком смысле разбираемые здесь авторы принимают моральные влияния и внутреннюю самодеятельность нашего Я.

Различные душевные состояния обыкновенно сопровождаются различными сокращениями мускулов не только лица, но и других частей тела и уже через это одно влияют на самые физиологические процессы. Чувство радости или благосостояния, например, вызывает в мускулах вообще, и в особенности в грудных мускулах, усиленную эластичность, позволяющую нам дышать вольнее; чувство горя, беспомощности, вызывая всеобщее мускульное сокращение, затрудняет кровообращение и дыхание. Легко понять, что частое повторение одних и тех же ощущений должно вызывать в различных наших органах соответствующее этим чувствам возбуждение или прострацию, обращающуюся, наконец, в органическую привычку. В этом смысле мы вправе сказать, что наше обычное душевное настроение обусловливает до известной степени самое анатомическое строение тела. Само собою разумеется, что эта зависимость анатомической организации от ощущений гораздо значительнее смолоду, когда тело еще не приняло своего окончательного склада. В ребенке можно вызвать тяжкие органические повреждения одним только продолжительным влиянием нравственных причин. Впрочем, и в зрелом возрасте организм не вовсе теряет способность изменяться анатомически под влиянием обычных ощущений. Чрезвычайно интересно было бы уяснить вопрос о том, в какой мере не одни только мягкие, подвижные части организма подлежат подобного рода изменениям; но подобных уяснений невозможно требовать от популяризаторов, так как труды специалистов в этом направлении очень еще малочисленны и ничтожны. Как на образчик их мы можем указать на интересную диссертацию женевского доктора Госса о произвольных повреждениях черепа (Essai sur les deformations artificielles du crane).

Таким образом, внутреннее Я нравственных гигиенистов очень существенно отличается от души психологов старой школы тем, что оно не есть нечто постоянное, неизменное и независимое. В каждую данную минуту я обладаю некоторою способностью самостоятельно реагировать против внешних влияний, и эта способность реакции составляет мою индивидуальность, мой характер, мой темперамент. Но она есть результат сложнейших внешних влияний и внутренних

реакций прошлого и вовсе не в каждую минуту равняется самой себе. В нее привходят влияния и реакции, пережитые мною в особе моих родителей и предков. Они составляют то, что называют наследственностью. Наследственность называется прямою, если она переходит от матери и отца; косвенною, когда субъектом наследуются признаки своих родичей по восходящей линии. Перемежающаяся наследственность называется атавизмом. Во всем животном царстве встречаются еще крайне непонятные случаи отражения на плоде вторичного брака некоторых свойств первого мужа или первой жены. Психиатры придают наследственности большое значение в деле передачи умственных повреждений. По их свидетельству, умопомешательство, или сумасшествие, передается часто отдаленным потомкам; но даже временные и менее существенные умственные расстройства родителей более или менее пагубно отражаются на детях. Д-р Вуазен (Voisin) в госпитале Salpetriere имел случай произвести чрезвычайно интересные наблюдения над семнадцатью детьми, зачатыми их родителями в пьяном виде. Из них трое родились идиотами, двое эпилептиками, одиннадцать умерли от конвульсий, не прожив одного года, наконец, последний уже в раннем возрасте выказывал признаки размягчения мозга. Наблюдения того же доктора над детьми родителей, страдавших запоем, но зачатыми не во время пароксизма, дали не менее печальные результаты: идиотизм или падучая болезнь составляют почти общий их удел. Тем не менее Макс Симон Утверждает, что во всех известных ему случаях наследственной передачи сумасшествия страшный недуг этот мог бы быть предупрежден, если бы к тому были приняты заблаговременно надлежащие меры.

Новейшие психологи вполне основательно смеются над старою схоластикой, которая делила человеческий дух на какие-то мистические рубрики: разум, суждение, воля, воображение, память и пр., между которыми она уставляла иерархическую зависимость. Каждой из этих душевных *способностей* приписывалось самостоятельное существование я подведомственность своим особым законам. Подразделение это не выдерживает никакой критики. Но так как для успешнейшего анализа самодеятельности нашего внутреннего Я нужно установить некоторые категории, то Фейхтерслебен различает три группы душевных проявлений: воображение, воля и ум. Автор сам, по-видимому, не придает этому делению никакого научного значения, но для преследуемых им практических целей оно вполне достаточно. В каждом человеке эти три группы могут быть между собою в крайне разнообразных сочетаниях. Вообще же говоря, в детском возрасте преобладает воображение, в юношеском — воля, т.е. стремление подчинять внешнюю среду своим внутренним побуждениям; в зрелом возрасте господствует ум, т.е. способность подводить итоги своим впечатлениям. Продукт воображения — впечатления и чувства, продукт воли — деятельность, энергия, продукт разума — мысль. Бесплодно было бы стремиться к поддержанию в себе постоянного равновесия между этими тремя группами. Прогресс и здесь, как во всем, идет путем ежечасного нарушения этого равновесия, тотчас же восстанавливающегося вновь только для того, чтобы быть снова нарушенным. С гигиенической точки зрения чрезвычайно важно, чтобы эти три стороны постоянно действовали и постоянно находили себе пригодный запас здоровой пищи; но всякое притязание на сознательное установление строгого равновесия между ними было бы излишним педантизмом, вредным, как всякое чрезмерное обращение

внимания на самого себя. В разговорном языке существует на этот счет немалая путаница, которую книга Фейхтерслебена способна устранить только в слабой степени, так как определения вообще составляют наименее удовлетворительную ее часть. Если человек напряженно работает, например, одними только руками, оставляя ноги без всякого упражнения, то ноги будут ослабевать, ибо усиленная деятельность рук должна совершаться на их счет; но мы совершенно не вправе сказать то же самое о воображении, воле и уме, так как это не суть какие-нибудь самостоятельные органы души, имеющие каждый свою особую экономию; это три произвольно установленные категории, необходимые для удобства изложения и наблюдения. Очень может быть, что труды новейших психофизиологов перевернут эти категории вверх дном. Изучая формы природы, мы можем различать в ней точки, линии и поверхности; но предполагать антагонизм между точками, линиями и поверхностями было бы смешно. Моралисты усиленно рекомендуют нам подчинять воображение уму; но эта мудрая истина не имеет никакого значения уже потому, что мы вовсе не знаем тех путей, которыми может быть достигнуто это подчинение. К тому же ум может работать только над материалом, поставляемым ему воображением; обуздывая деятельность воображения, мы рискуем оставить его без должной пищи. Контролировать наше внутреннее Я всего вернее постоянным сопоставлением его с внешнею средою, т.е. с природою и другими людьми.

Затем посмотрим, что говорят вышеупомянутые гигиенисты о каждой из этих трех сторон нашего душевного состояния в отдельности.

II

Воображением Фейхтерслебен называет самую элементарную и самую универсальную способность человеческого сознания воспринимать новые впечатления. Элементарна эта способность потому, что просыпается в нас раньше всех других сторон и обусловливает собою пробуждение ума и воли. Ребенок в раннюю пору своего развития живет только воображением. Оно действует и во время сна, когда другие наши способности безусловно отдыхают. Воображение участвует даже в процессах животной и растительной жизни, служа, так сказать, непосредственным фактором сознательных отношений к природе. Таким образом, очевидно, что Фейхтерслебен относит к этой категории всю сумму ощущений. Для того чтобы мы сознательно видели предмет, оптически действующий на глаз, еще недостаточно, чтобы изображение этого предмета отразилось на нашей сетчатой оболочке. Каждому случалось, конечно, не замечать того, что он видел; глаз не теряет своей способности отражать предмет, даже когда порвется оптический нерв, но слепота в этом случае неизбежна. Этот физиологический процесс, посредством которого отражение предмета на сетчатой оболочке становится достоянием сознания, принадлежит уже к категории воображения. Мы не знаем, в чем заключается этот процесс, но мы знаем, что он способен воспроизводиться без оптического действия: когда мы вспоминаем предмет, виденный прежде, в нас повторяется этот акт воображения, не имеющий в этом случае себе внешней объективной причины. В питании, в половом возбуждении роль воображения

точно так же несомненна и, может быть, даже гораздо значительнее. Ролью воображения в процессах питания объясняются различные гастрономические вкусы, часто трудно примиримые с физиологическим учением о пище. Например, курица, бесспорно, менее питательна и труднее переварима, чем говядина, но многие отдают ей решительное предпочтение перед последнею. Половая любовь есть плод воображения, связанного с половыми процессами. В деле гастрономии, как и в деле любви, мы не только встречаем на каждом шагу трудно объяснимые для нас пристрастия, но еще и более поразительные на поверхностный взгляд отвращения, так называемые идиосинкразии. Резкие примеры этих идиосинкразий приводятся в большом числе в каждом ученом или популярном сочинении, трактующем об этой теме; повторять их здесь мы считаем излишним, так как примеры эти в действительности встречаются на каждом шагу. Замечательно, что они свойственны не только изнеженным и избалованным людям, но также субъектам, обладающим большою нравственною выдержкою и полным здоровьем. Мне хорошо известен весьма почтенный и умный господин, которого один вид вишен, или даже самое название этой ягоды, приводит в нервное содрогание и вызывает на всем теле так называемую chair de poule[ii]. Совершенно основательно приписывая эти странности воображению, общественное мнение почему-то относится к ним презрительно. Пора убедиться, что продукты воображения столь же вещественны и реальны, как и всякие другие человеческие отправления. Из этого, конечно, еще не следует, чтобы они ни в каком случае не могли быть вредны. Перелом ноги также дело очень реальное и вещественное, но мы тем не менее боремся против него всеми силами. Бороться с идиосинкразиями и своеобразными вкусами следует непременно, но только в таком случае, когда вкусы эти сами по себе вредны или способны повести к вредным последствиям. Во всех же иных случаях мы обязаны относиться к ним, замечая их в самих себе или в других, с тем уважением, которое всякий порядочный человек чувствует к личности другого. В особенности в деле половых процессов воображение, вкусы и взаимная склонность родителей играют важную роль по отношению к воспроизведению здорового потомства. Фейхтерслебен утверждает, что воображение родителей в значительной степени обусловливает формы будущих младенцев; в этом смысле все мы можем быть названы детьми воображения. Э.Бушю (E. Bouchut. Hygiene de la premiere enfance... Paris, 1862.) довольно внимательно исследует этот темный вопрос.

Но не надо полагать, будто роль воображения ограничена одними низменными сферами нашего духовного быта. Это в полном смысле слова универсальная способность. В самых высших комбинациях мысли, в величайших научных открытиях воображение участвует едва ли меньше, чем и все другие наши способности. В области точного знания, и даже в науках математических, мы на каждом шагу нуждаемся в содействии воображения, так как память есть только одна из его сторон, которая едва ли может развиваться независимо от других его сторон. Впрочем, как скоро мы называем умом нашу способность подводить нашим впечатлениям общие итоги, т.е. извлекать из массы разрозненных явлений их общую, объединяющую сторону, то говорить о тесной зависимости ума от воображения нам кажется совершенно излишним. Сильные умы, сопровождаемые слабо развитым воображением, если и встречаются иногда в действительности, то

мы называем их черствыми или сухими умами. Из их категории можно насчитать несколько знаменитых педантов и схоластов, но Дарвины, Прудоны и подобные им первоклассные деятели по всевозможным отраслям вербуются не из числа филистеров.

Роль воображения сводится к тому, чтобы поставлять нашему сознанию возможно полные, живые и верные отражения действительности. Вследствие самой сложности своей роли в нем ежечасно возможны очень значительные уклонения и расстройства. По свидетельству Эскироля и многих других гигиенистов, собственно сумасшествие есть почти всегда болезнь воображения. Даже не доходя до столь существенного расстройства, воображение, однако ж, очень часто способно доставлять нам почерпнутые извне впечатления в искаженном или превратном виде. Очень часто это уклонение воображения от его нормальной деятельности зависит от посторонних органических причин и не может быть отнесено к области нравственной гигиены. Мы знаем, например, что глаз у многих людей не способен различать красный цвет от зеленого; само собою разумеется, что человек, наделенный таким пороком зрения, не может выработать в себе никакою нравственною гигиеною правильного представления о цветах. При болезнях печени или при катаре пищеварительных органов мы постоянно ощущаем ряд мучительных беспокойств, которые одолевают впечатления, поставляемые нам извне воображением. В подобных случаях мы очень часто бываем склонны приписывать это томительное ощущение не прямой его патологической причине, а тем явлениям, которые бесследно проходят через наше сознание. Вместо того чтобы возненавидеть нашу болезнь, мы переносим нашу ненависть на внешний мир, в котором с некоторым злорадством стараемся разыскивать одни только мрачные стороны. Такое состояние само по себе не составляет еще душевного или нравственного расстройства, но оно легко может сделаться таковым. Наиболее распространенные виды болезней воображения могут быть отнесены к двум категориям: переусиленной или недостаточной восприимчивости. Если без всякой внешней патологической причины воображение начинает работать слишком усиленно, как это обыкновенно бывает у богато одаренных детей, то внимательною гигиеною в большей части случаев можно регулировать его деятельность. Самое важное средство в этом случае — направлять свое воображение на такие занятия, где деятельность его всего легче может быть контролируема и где болезненность преувеличенной восприимчивости всего менее вызывает мучительные ощущения. Впечатление всего легче контролировать и подавлять впечатлением же. Первоначально такое лечение может иметь только паллиативное значение; но если занятие вполне увлекает вас, если оно является в ваших глазах не одною только нравственною гимнастикою, то влияние его может вполне излечить своевременно замеченное расстройство. Занятия по ночам китайскою идеографией[iii], для изучения которой я имел перед собою очень мало времени, совершенно излечили меня от гипнотических галлюцинаций, которым я был подвержен с детства. Шум машины, который при переходе на новую квартиру обратил для меня дом в источник многих мучений, совершенно перестал меня тревожить после того, как в течение нескольких недель я был увлечен сильно интересовавшею меня литературною работою. Каждому легко проверить на собственном опыте действительность рекомендуемого здесь средства. Только следует заметить, что

гимнастика, т.е. бесцельное упражнение, столь часто рекомендуемое врачами против чисто физических расстройств, в нравственной гигиене может иметь очень мало применения. Спасительных результатов можно ожидать только от такой умственной деятельности, которая интересует вас ожидаемым от нее результатом или, по крайней мере как занятия некоторыми искусствами, самим своим процессом. Деятельность, которую вы предпишете себе как ложку касторового масла, не оставит после себя ничего, кроме утомления. Нравственная гигиена с беспощадностью говорит нам: человек, которого ничто не интересует, кроме самого себя, не может быть здоровым.

Притупление деятельности воображения обесцвечивает жизнь и порождает скуку. Сделавшись хроническим настроением духа, скука становится одним из опаснейших бичей человечества; но как временное состояние души она может быть в высшей степени благодетельна. Если она происходит только от того, что истощился запас впечатлений, которые воображение может черпать из внешней среды, то лечение ее сводится к приисканию новых источников впечатлений, в расширении внешней среды, если это возможно, или же в большем углублении себя в ту среду, которая уже казалась исчерпанною. К сожалению, предел возможного для нас углубления в явления окружающей среды всегда более или менее ограничен, хоть он и не одинаков для каждого характера и темперамента. Предел этот каждый легко может найти для себя. Есть характеры и темпераменты, которым свойственно углубляться, другие же натуры как будто созданы для того, чтобы порхать на поверхности житейских явлений. И те и другие могут быть здоровы и счастливы, могут найти подобающее им место в общей экономии природы. Надо только, чтобы они соразмеряли избираемые ими пути со своими действительными склонностями. Если скука и бесцветность жизни проистекают не от времени и внешних причин, а от решительного притупления воображения, то дело представляется гораздо серьезнее. Такие случаи апатии или бездеятельности воображения встречаются в действительности гораздо чаще, чем обыкновенно думают. Моралисты очень много говорили о той пресыщенности или разочаровании, которые грозят каждому, отдающему всю свою жизнь на служение мелким, узкоэгоистическим интересам. Еще немного лет тому назад этот вид притупления впечатления или восприимчивости был почти поголовным достоянием всего так называемого образованного общества. Возникновение всяких эпидемий, как физических, так и нравственных, имеет всегда главнейшим образом социальную причину. Так, и причиною поголовного разочарования героев только что минувшего времени была не мрачная поэзия Байрона, а тот крайне своеобразный общественный строй, который из Франции распространился на всю Европу. Французская буржуазия, выдвинутая на первый план в начале нынешнего столетия, жадно бросилась на приобретение тех вещественных благ, на которые она только что завоевала себе политическое право. Первое поколение, занятое этою погонею за наживой, не имело времени скучать и разочаровываться; но сыновья разжившихся отцов, которым эти мирские блага достались рано и без борьбы, полагали весь долг фешенебельного человека в более или менее эстетической жуировке жизнью. Таким образом, они очень скоро изживали весь капитал своего воображения, т.е. впечатлительности, среди всяких излишеств и влачили остаток своих дней никому не нужными коптителями неба. А эта мертвящая апатия столь

же тягостна для самого пациента, как и для общества, породившего его. В настоящее время мода на это разочарование прошла, т.е., точнее говоря, изменился общественный строй, породивший это явление. Между французскою буржуазиею Второй империи, которую описывает Эмиль Золя в своих романах, и буржуазиею июльской монархии, изображенною Эженом Сю в некоторых лучших его произведениях, лежит целая пропасть. Это показывает, между прочим, что мода вовсе не так самодержавно господствует над нами, как это обыкновенно думают. Но притупление воображения порождается не одними вакханалиями пресыщения, которого безнравственное и противогигиеническое значение ясно само собою. Оно может быть порождено и диаметрально противоположною причиною. Слишком строгий пуританизм и подчинение своей жизни и личности с ранних лет одной узкой идее долга, если оно не сопровождается фанатическим возбуждением всего нашего существа, неизбежно ведет к тем же результатам. Привыкший с детства подавлять в себе воображение во имя сухого, отвлеченного догмата или принципа в зрелом возрасте уже не может снова вызвать к жизни эту заглохшую сторону своего существа и остается безжизненным педантом, столь же бесполезным и столь же ипохондрическим коптителем неба, как и разочарованный хлыщ минувшего поколения. Примеров таких заморенных личностей мы можем найти множество в протестантских странах, особенно в Англии и в некоторых кантонах Швейцарии. В демократической Америке напряженная практическая деятельность била до сих пор живым ключом и сбрасывала безжизненную шелуху пуританизма, который, однако, уже начинает оказывать свое влияние и в штатах Старой Англии. Наконец, и всего чаще, по крайней мере в нашем быту, притупление воображения является продуктом совершенно иных противогигиенических условий. Лермонтов с содроганием думает о судьбе «гения, прикованного к канцелярскому столу». Но не только гений, но и всякий самый заурядный человек, будучи систематически обречен на работу, не дающую никакой пищи его душевным способностям, неизбежно идет навстречу тому мрачному душевному расстройству, о котором мы говорим. Нравственная гигиена не требует от нас, чтобы мы постоянно занимались только тем, что нам нравится; но она возводит в безусловный закон положение, что человек должен посвящать себя только такому делу, которое способно давать здоровую пищу его способностям. Природа беспощадна в своих приговорах, и, если вы свели себя на роль автомата, она мало-помалу отберет у вас все, что было бы ненужною роскошью чисто механического существования. Те, которых судьба приковала к подобной роли и которые не могут порвать своих уз, должны, по крайней мере, заблаговременно употребить весь свой досуг и все свои свободные силы на то, чтобы развивать и поддерживать в себе впечатлительность или воображение хоть бы паллиативными мерами.

Романисты и поэты романтической школы воспроизводят обыкновенно великих исторических злодеев в образе людей чувственных, страстных и порывистых, с необузданным воображением и сильною, порочною волею. Этот прием почти никогда не оправдывается действительностью. Вообще, тираны и мучители человечества только в исключительных случаях любят действительно услаждать себя видом человеческих страданий. Таким исключительным извергом был, насколько можно судить по дошедшим до нас достоверным источникам, отец знаменитой Беатриче Ченчи, старик, изживший, вероятно, смолоду весь запас

своей восприимчивости в оргиях и разврате, составлявших обычный порядок римского общества эпохи реставрации. Только чтобы наполнить объявшую его при жизни гробовую пустоту, он совершает ряд систематических, обдуманных и холодно рассчитанных невероятных злодейств, чтобы видом чужих страданий заставить себя хоть на время забыть, что сам он даже утратил способность страдать. Грегоровиус, затеявший восстановить репутацию Лукреции Борджиа, будто бы оклеветанной романтиками и историками, нарисовал нам образ, гораздо более отвратительный, чем фантастическая Лукреция Виктора Гюго. Страстная развратница французской трагедии способна горячо любить своего сына, способна возмущаться и оскорбляться картиною собственных своих злодейств. Не такова Лукреция Борджиа Грегоровиуса: миловидная толстушка с простоватым лицом, очевидно столь давно и столь основательно утратившая способность воспринимать какие бы то ни было нравственные или душевные ощущения, она даже не подозревает этой способности у других. С детства посвященная во все тайны физической любви, она в ней одной находит источник грубо чувственных ощущений, способных вызывать ее из состояния полной апатии, охватившей ее со всех сторон. Но и этот источник начинает приметно иссякать. Как утопающий хватается за соломинку, так и она сосредоточивает все свои помыслы на выборе любовников, способных раздувать в ней угасающее пламя похоти. Приходится перешагнуть через убийство, так что ж? Разве смерть хуже того состояния, той глубокой апатии, в которой она сама обретается всю свою жизнь? Человек ценит жизнь и страдания других настолько, насколько собственная его жизнь и собственные страдания имеют цену в его глазах. Душевная пустота, результат притупленной восприимчивости, теперь, как и во времена Нерона, Калигулы, Борджиа, представляет источник всякого рода злодейств, гораздо более обильный, чем порочная воля и увлечения страстей. Не следует только забывать, что презрение собственной жизни вовсе не избавляет нас от страха смерти. Совершенно наоборот: полный сил, впечатлений и надежд юноша смотрит обыкновенно смелее в глаза смерти, чем отупелый ипохондрик или разбитый параличом старик, и тем более мы не хотим умирать, чем менее способны пользоваться жизнью.

Фейхтерслебен приводит несколько примеров совершенно анормальной деятельности воображения. В числе студентов известного голландского врача Бургаава был один, обладавший странною способностью воспринимать все те болезни, которые описывал профессор: лихорадки, воспаления, невралгии. По окончании первого года он был вынужден оставить медицинские занятия вовсе. В конце прошлого столетия англичанин, прочитав описание мучительной смерти человека, укушенного бешеною собакой, сам заболел водобоязнью и умер на следующий день. Несколько лет тому назад в Бордо молодая горничная, в присутствии которой пускали кровь ее госпоже, почувствовала боль ланцета и получила действительную ранку в том самом месте, где был сделан разрез у пациентки. По свидетельству многих врачей, воображение иногда способно вызывать вполне реальные патологические повреждения, точно так же как и способно излечивать действительные болезни. Последнее, впрочем, подтверждается многочисленными, ежедневно повторяющимися примерами исцеления недугов гомеопатами, магнетизерами, парижским зуавом Жакобом,

московским Иваном Яковлевичем Корейшей и т.п. Императрица Мария-Луиза, будучи серьезно больна, требовала у своего врача Круазера каких-то пилюль, которые он считал для нее вредными. Вместо них он принес ей позолоченные хлебные шарики. После нескольких приемов у нее обнаружилась рвота, и вскоре она почувствовала действительное облегчение. Один монах, решив принять на следующий день слабительное, видел во сне, будто он действительно принял его, и этот сон оказал на него такое же действие, как и самое лекарство.

Тот же автор утверждает, что воображение оказывает вообще благотворное влияние на продолжительность жизни. В подтверждение он приводит тот факт, что смертность между женщинами, которые одарены богаче мужчин в смысле впечатлительности, значительно слабее, чем между мужчинами, во всех странах Европы. Самый факт не подлежит никакому сомнению, но объяснение его, по нашему мнению, нуждается в проверке. Данные, заимствованные из ревизии, произведенной в Париже в эпоху Реставрации, на которые ссылается переводчик Фейхтерслебена, не доказывают решительно ничего. Если в это время число женщин от 80 до 85 лет было 3600 против 2800 мужчин, а в дальнейших возрастах перевес еще решительнее сказывался в пользу прекрасного пола, то это легко можно объяснить себе тем, что гильотина республики и бойни Первой империи щадили женщин гораздо больше, чем мужчин. Но приблизительно то же соотношение между полами относительно средней продолжительности жизни замечено и в новейшие времена. В Европе вообще мальчиков родится больше, чем девочек, но женское народонаселение всегда превышает мужское на 2 и даже на 2,5 процента. Притом перевес этот начинает обнаруживаться в самом раннем возрасте. Из 1000 мальчиков доживают до одного года только 823, а девочек — 848. В 20 лет против 624 мужчин приходится 652 женщины. К 60 годам разница эта уменьшается и, по свидетельству Демонферана, на 365 женщин оказывается уже 363 мужчины. После этого возраста прежнее отношение между полами оказывается снова и еще с большею силою. Совершенно понятно, что смертность между женщинами всего сильнее в пору зрелости, особенно во Франции, где кроме опасности деторождения и мальтузианских мер, употребляемых против деторождения, жена отдается законом почти на полный произвол своего супруга. После же 60 лет женщина там может считать себя победительницею, закаленною в неравной борьбе. Относительно других стран заметим, что в Швеции на 10 женских смертей приходится 11 мужских, но распределение их по возрастам другое, чем во Франции. Всего значительнее здесь разность между смертностью мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет. В Бельгии до 16 лет мужчин больше, чем женщин. Но после этого возраста, по расчету Кетле, на 482 женщины приходится 462 мужчины. В Берлине на каждых 718 мальчиков одного года мы находим 734 девочки того же возраста, а в 60 лет отношение мужчин к числу женщин уже только 178:217. В Петербурге, по замечанию Ревелье-Пари, смертность между мужчинами значительнее, чем между женщинами. Замечательно, что число мертворожденных младенцев женского пола на 20 процентов меньше, чем число мертворожденных мальчиков.

При той капитальной роли, которую воображение играет в жизни и в развитии человечества, все, что прямо или косвенно влияет на воспитание этой драгоценной нашей способности, заслуживает, конечно, серьезного внимания. К

числу таких воспитывающих нашу впечатлительность средств следует отнести и изящные искусства. Из них музыка как наиболее непосредственно действующая на нервы практически применяется в некоторых психиатрических лечебницах к пользованию душевных расстройств. К сожалению, у разбираемых нами авторов мы не находим на этот счет никаких дельных указаний.

Ill

Под волею Фейхтерслебен разумеет совокупность практических способностей человека, т.е. категорию очень сложную и довольно смешанную. В противоположность воображению, т.е. тем нашим способностям, при помощи которых мы черпаем из внешней среды в форме впечатлений и чувств материал нашей духовной деятельности, воля есть активная сторона нашего сознания, возвращающая внешнему миру впечатления, заимствованные из него, но уже в переработанном виде. Всякое хотение еще не составляет воли, и люди, отличающиеся тряпичностью характера, очень часто обладают необузданными аппетитами и желаниями.

Воля, как и воображение, имеет свои корни в сфере животной жизни, но становится интересною с нравственно-гигиенической точки зрения, только поднявшись в сферы сознательного состояния. Как бы полно ни жил человек умом и воображением, но, если он не развивает в себе этой по преимуществу активной способности, его сознание плесневеет, как стоячая вода, и в нем обнаруживается целый ряд болезненных явлений. Люди, заеденные рефлексией, т.е. потерявшие всякую способность действовать, представляют для нас такой знакомый и избитый тип, что мы считаем своею обязанностью не распространяться на эту тему. К тому же вызывать в человеке волю рассуждениями совершенно невозможно. Пример в этом отношении гораздо необходимее и поучительнее всяких слов. Это очень хорошо понимали стоики, ценившие одну только волю. Было бы желательно, чтобы внимание воспитателей юношества было обращено на то, что они ни на волос не подвинут нравственного здоровья своих питомцев, доказывая им необходимость воли и энергии со всевозможных точек зрения и в то же время парализуя в них всякое проявление активности наказаниями или другим, более утонченным способом. Лучшим доказательством того, что наша воспитательная система главнейшим образом направлена на притупление этих активных способностей в своих пациентах, может служить то, что воля и энергия служат почти исключительным достоянием классов, не пользующихся благами воспитания. В народе русском Кольцов встречал героев, у которых хватало воли на то, чтобы

И с нуждой на пиру
Быть с веселым лицом,
На погибель идти —
Песни петь соловьем.

В невежественном купечестве воля проявлялась в безобразной и дикой форме самодурства, шла вразрез с разумом, но хоть синяками на телесах ближнего да выбитыми стеклами в трактирах она все-таки заявляла о своем существовании. В тб же самое время интеллигентная среда поставляла в лучшем случае только столь уже приевшихся нам Рудиных, Гамлетов Щигровского уезда да лишних людей. Это типы прошлого, скажет нам читатель, мир праху их! и он будет прав. Глубокое изменение общественных условий вызывает в наше время к жизни и новых людей, создает и новые, гораздо более щемящие теперь болячки. Но наследство злополучных лишних героев фатально усвоено их детьми; наследство это самою трагическою своею стороной имеет уверенность в действительной будто бы непримиримости мысли с волею. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». В мире нравственном повальная уверенность в чем-нибудь почти неизбежно вызывает и самый факт. Чтобы стать деятельным, вы тем самым как будто обрекаете себя на вечный разрыв с мыслью, которая действительно обращается в трепетную лань и робко прячется в уединенных убежищах; не то чтобы она не ощущала спасительной потребности действия, но при первом ее появлении на арену она будет попрана копытами рьяных коней, затравлена псами... Какая же тут может быть речь о гигиене?

Человек есть по преимуществу существо стройное и единое. В видах теоретической необходимости мы можем в статьях и книжках разрывать его на части, рассматривать его то сквозь призму воображения, то воли, то ума; но в действительности всякое нарушение цельности и стройности организма, нравственного или физического, ведет неизбежно к страданию. Нравственное здоровье может быть уделом только так называемых целостных натур, в которых воображение, воля и ум в каждую данную минуту могут забегать вперед друг перед другом, но в которых эти три стороны душевного состояния никогда не расходятся по разным дорогам. Нельзя не сознаться, что подобные счастливые сочетания нравственных сил встречаются гораздо чаще на низменных ступенях развития. Едва ли не самою целостною натурою нашего времени был Брайам Юнг, глава нелепой секты мормонов. Но факт этот очень легко объяснить себе тем, что до сих пор эта вожделенная стройность духа устанавливается исключительно случаем, а вовсе не сознательными стремлениями к ней. Ограниченное число немногосложных элементов, конечно, легко может быть наведено на свойственный ему момент равновесия. Но как во всякой лотерее на один выигрышный билет приходится много проигрышных, так и на одного Брайама Юнга, т.е. человека, случайно набредшего на внутреннее равновесие, можно насчитать тысячи Бутсов и Смитсов, позорно закончивших свою жизнь на виселице, в тюрьмах или в сумасшедших домах. Воля как практический элемент нашего внутреннего Я не меньше подвержена извращениям и болезням, чем воображение или ум, но только эти извращения очень часто рассматриваются не как психиатрические, а как уголовные явления. В лучшем случае сильная воля, направленная на низкие цели, может дать только те же печальные нравственно-гигиенические результаты, как и лермонтовский «гений, прикованный к канцелярскому столу». Разлад мысли с волею составляет все-таки одну из наиболее распространенных повальных болезней нашего времени и служит почвою, на которой развиваются мрачнейшие психиатрические явления.

Если бы можно было каким-нибудь образом измерить все количество деятельной энергии, находящейся в запасе интеллигентного человечества нашего времени, то мы бы увидели, что воля в своем развитии и в общем итоге ничуть не отстала от ума, а, быть может, даже опередила его. Но посмотрите, на каких поприщах мы встречаем примеры наибольшей силы этой драгоценной способности.

Фейхтерслебен говорит, что ему известен случай человека, который по своему произволу мог мгновенно вызывать воспаление кожи (рожу) на какой угодно части своего тела. Многие развили в себе способность произвольно изменять передвижение своих внутренностей и вызывать в себе рвоту, когда им вздумается. Находились мудрецы, которые научились по произволу задерживать биение своего сердца. Знаменитый сыщик Видок говорит в своих записках об одном содержавшемся в тюрьме преступнике, который так ловко умел прикидываться мертвым, что, когда он действительно умер, тюремное начальство не поверило этому и двое суток продержало его в кандалах. Но так как свидетельство сыщика может показаться недостаточно убедительным в подобном деле, то мы сошлемся на английского доктора Гейна. В своем «Treatise of nervous diseases»[iv] он говорит о полковнике Таунсенде, который мог по произволу задерживать биение сердца, так что присутствовавшие при этом любительском спектакле не могли отличить его от мертвеца. Однажды доктор Гейн попросил его проделать этот опыт в присутствии его и нескольких компетентных лиц. Полковник упал на спину и стал неподвижен. Пульс его постепенно падал и стал наконец совершенно неслышным. К губам его приложили зеркало, и оно не помутилось. Присутствовавшие испугались, думая, что полковник зашел в своей шутке слишком далеко и действительно поплатился за нее жизнью. Положение это длилось полчаса, когда наконец пациент встал и заговорил своим обыкновенным голосом. Чревовещатель Корвин, оказавшийся более наблюдательным человеком, чем большинство его братии, оставил весьма поучительный рассказ о том, каким образом он развил в себе эту физиологическую особенность. Первоначально он не замечал в себе к этому никакого расположения, и долгий ряд опытов оставался без всякого результата.

«Принимая во внимание гибкость наших мускулов их способность к самым разнообразным движениям, — заключает он свой рассказ, — можно только удивляться тому, как мало до сих пор мы еще имеем понятия о пределах деятельности воли. Я знал людей, которые умеют так ловко прятать свой язык, что самый искусный анатом не может его приметить... Когда я достиг первых сколько-нибудь удовлетворительных результатов в своих попытках, то я постарался отдать себе строгий отчет во всех подробностях этого опыта. Сперва мне было ужасно трудно повторять его по своему произволу, но мало-помалу я достиг этого с большим трудом, а потом благодаря упражнению и навыку дело это обратилось для меня в забаву».

Блонден, переносивший на своей спине человека по канату, протянутому через Ниагарский водопад, Лиотар, летавший над головами изумленной публики под потолком европейских цирков, и тысячи им подобных штукарей и фокусников совершенно равносильны тем отечественным героям старого времени, которые раскуривали трубки ломбардными билетами[v], затрачивая, таким образом,

громадный капитал на то, чтобы удивить публику. Хотя бы пример их научил нас тому, что сила воли развивается и укрепляется в человеке совершенно так же, как и мускульная сила, т.е. чисто механическим упражнением и привычкою. Франклин, этот умный педант, заметив уже в зрелом возрасте, что ему недостает необходимой и с практической и с нравственно-гигиенической точки зрения решительности в поступках, прибег к следующему оригинальному средству. Колебания происходят главнейшим образом оттого, что в самую ту минуту, когда вам приходится принимать какое-нибудь решение, соображения pro и contra начинают возникать в вашем сознании в хаотическом беспорядке, так что нет никакой возможности подвести им верный итог. Когда решение принято бесповоротно, оказывается вдруг, что или итог подведен неверно, или забыто какое-нибудь очень веское соображение в ту или другую сторону. Несколько совершенных таким образом промахов развивают привычку не доверять самому себе, а привычка эта парализует волю в решительный момент. Что-бы избежать этого вредного влияния, филадельфийский квакер завел у себя род умственной бухгалтерии. Имея в виду принятие какого-нибудь решения, он за несколько дней вперед записывал в приход все те соображения, которые мог придумать в пользу предполагаемого действия; все же противоположные соображения вносил в особую графу. Подвести окончательный итог этим различным соображениям оказывалось чрезвычайно легко, когда они являлись записанными на бумаге. Конечно, средство это педантично и совершенно неприменимо к очень многим случаям, но оно вырабатывает привычку систематически думать и действовать без колебаний. В раннем возрасте привычка эта может быть усвоена очень легко и без всяких ухищрений; но взрослый человек, которому часто приходится платиться за грехи ложно направленного воспитания, не должен пренебрегать ничем для того, чтобы приобрести эту привычку, в которой, собственно, и состоит гигиена воли.

Но когда воображение должным образом воспитано и возбуждено, когда воля окрепла и готова на борьбу со всевозможными внешними и внутренними препятствиями,

Куда идти, к чему стремиться?
Чем силы юные пытать?

На этот вопрос должны отвечать мысль и знание, этот «лучший плод человечества, зреющий под благодетельными лучами разума».

Предоставленное само себе воображение блуждает вкривь и вкось; крепчайшая воля мельчает и глохнет, не будучи в силах наполнить охватывающую нас отовсюду бездонную и безграничную пустоту. «Жизнь есть сон для тех, кто не хочет слышать призыва к пробуждению», — говорит Фейхтерслебен. «Высшая задача нравственной гигиены — объяснить власть, которую образование имеет над темными силами нашей природы, и указать благодетельное влияние умственного развития на здоровье индивидуумов, масс и всего человечества».

На каждом шагу мы встречаем основанную на недоразумениях мысль, будто работа ума гибельна для здоровья тела. Конечно, с каждым дальнейшим шагом культуры наш организм усложняется, нервная сторона начинает все более и более преобладать над стороною мускульною. Равновесие при таких условиях

восстанавливается гораздо труднее, а между тем нарушения его становятся особенно чувствительными. Но, с другой стороны, по мере того как обогащается запас наших сведений о золотых будто бы временах первобытной тупости и невежества, о спасительной простоте быта наивных поселян и о тому подобных почтенных фикциях, в нас невольно является желание бежать вспять от цивилизации, хотя ее жгучие язвы для нас и очень чувствительны. «Руссо так гениально описывает зло цивилизации, — говорит Вольтер, — что, читая его, чувствуешь желание стать на четвереньки».

Вокруг каждого из нас существует известная умственная и нравственная атмосфера, меняющаяся из поколения в поколение, но так же всесторонне охватывающая нас и проникающая во все поры, как и воздух, которым мы дышим. Атмосфера настоящего времени наполнена миазмами нервных расстройств, противостоять которым может только человек, обладающий полным развитием всех своих душевных способностей, в особенности же разносторонним умом, не чуждающимся ничего человеческого. Мы на каждом шагу встречаем ученых-специалистов, бесспорно умнейших людей, зараженных всевозможными нравственными и физическими недугами; мы видим краснощеких глупцов, пользующихся, однако же, весьма завидным здоровьем, но примеры эти при строгом анализе только подтверждают истину того, что мы говорим о необходимости направлять развитие ума нравственною гигиеной. Человек, обладающий атлетическою силой, может громоздить камень на камень самой чудовищной величины, но, действуя без определенного плана, он не создает себе такою циклопическою работою даже укромной хижины, способной укрыть его от бурь и непогод. Точно так же и мощный ум может удивлять нас громадностью и обширностью совершаемых им работ, вовсе не удовлетворяя своему назначению в общей экономии природы. Ученейшие специалисты по разнообразным и весьма полезным отраслям всего чаще отличаются своим ребяческим неведением жизни и людей. Невежественнейшие из крестьян могут быть здоровее таких ученых мужей только потому, что они умнее их в своей узкой и скромной сфере. К тому же разлад мысли с волею, несомненно, всего гибельнее сказывается на тех высотах, где внутренняя работа всего сильнее, где нравственное содержание всего полнее и, следовательно, всего усиленнее стремится развиться во внешний мир, реализоваться. Каждый может испытать на себе эту неудержимую потребность мысли воплотиться хоть в какой-нибудь вещественной форме. Будучи высказана на словах или записана на бумаге, мысль, томившая вас несколько дней, внезапно становится какой-то легкою. Но не всякий продукт умственной работы равно способен изливаться только в словах или писаниях. В страданиях умных и высокообразованных людей надо уметь различать то, что обусловливается причинами, совершенно посторонними их образованию и уму.

«Наше настроение духа, — говорит Фейхтерслебен, — зависит от наших воззрений. Сильное и проверенное умом убеждение становится частью нашей природы. Оно может служить поддержкою для человека, измученного и нравственно и физически жизненной борьбой; страждущий найдет в нем облегчение своих болезней, для здорового оно служит охраною. Спиноза с его тщедушною организацией не мог бы прожить так долго, если бы его не поддерживала его редкая умственная сила. Ничто не проясняет нашего духа так,

как привычка созерцать мир во всей его совокупности и связи... Надо, следовательно, по возможности расширять кругозор своих впечатлений и идей. Надо понимать, что жизнь нам дана недаром и что, давая нам права, она тем самым налагает на нас и обязанности, от исполнения которых прежде всего зависит наше здоровье и благоденствие...

Мне жалко видеть этих несчастных, которые, сосредоточивая свои помыслы на самих себе, подрывают свое здоровье. Они часто мрут от усиленного желания жить. Им недостает того умственного развития, которое одно способно поставить человека выше мелких слабостей, всегда губительных для духа и для тела.

...С гигиенической точки зрения нельзя достаточно оценить благотворное влияние того истинно развитого ума, который заставляет нас смотреть на вечно меняющиеся волны проходящих явлений не с холодным равнодушием постороннего зрителя, но с теплым чувством сознательного участника. Прошедшее представляется нам тогда как дорогое наследство; будущность рисуется перед нами исполненною надежд; настоящее раскрывается, как богатая сокровищница, откуда умелою рукою мы можем черпать по мере наших нужд и нашей сознательности. Только умственное развитие может поднять нас на эту высоту, и только такое умственное развитие, которое проникает собою все существо мыслителя. Оно не заучивается как урок и не дается ни праздной проницательности, ни напряженной специальности... В этом смысле просвещать ум есть вернейшее средство к охранению и восстановлению нравственного здоровья».

Мы не побоялись продолжить несколько эту выписку, так как, по нашему мнению, она есть лучшее место целой книги.

Чтобы статистически показать влияние, оказываемое умственным развитием на долговечность, недостаточно еще привести несколько фактов, вроде того, например, что Спиноза и Кант, оба рожденные с чрезвычайно слабою организацией и казавшиеся осужденными на преждевременную смерть, дожили, однако ж, до глубокой старости, пользуясь постоянно весьма удовлетворительным здоровьем. Оба они приписывали своим философским занятиям большое влияние на поддержание своих физических сил; но мы все-таки совершенно не знаем, что сталось бы с ними, если бы они избрали себе другое поприще. Еще менее убедительны примеры замечательной долговечности, представляемые некоторыми знаменитыми учеными и мыслителями. Против каждого такого примера можно выставить по нескольку других, заимствованных из совершенно противоположной среды. Против старца Гёте, обладавшего под конец своих дней всеми своими умственными способностями, нам могут указать, например, фельдмаршала Радецкого, гарцевавшего 84 лет на боевом коне, и т.п. Более подходящим можно считать пример Огюста Конта, который, уже будучи одержим тяжелым умственным расстройством, мог, однако ж, предотвращать и ослаблять его припадки правильною умственною работой.

Общая статистика смертности показывает, что средняя долговечность людей прямо пропорциональна уровню культурного их развития. Во Франции департаменты с наименьшею грамотностью имеют и самый низкий уровень среднего долголетия. Но и это еще доказывает очень мало, так как грамотность и культурное развитие идут рука об руку с благосостоянием. Фонсагрив в своих «Entretiens familiers», касаясь этого вопроса, признает, что в настоящее время еще

нет достаточных данных для того, чтобы статистически определить влияние умственного развития на долговечность. Он говорит, что сам он в настоящее время занимается собиранием материалов, которые могут уяснить этот интересный пункт. Из немногих собранных им до сих пор цифр, а также из несколько устаревших трудов немецких ученых (Нефвиля, Эймериха, Майера и др.) ясно видно, что всего дольше живут астрономы и натуралисты. Коперник умер 70 лет, Галилей — 78, Меркатор — 82, Ньютон — 86, граф Кассини — 97, Бюффон — 81 и т.д. Средняя долговечность, выведенная из довольно большого числа частных случаев для этой профессии, около 80 лет. Врачи составляют легко понятное исключение из этого правила. По Эймериху, $^{3}/_{4}$ их умирают раньше 50 лет; только $^{1}/_{11}$ доживает до 60-летнего возраста. За астрономами и натуралистами следуют живописцы (по Фонсагриву, 71 год). Историки и публицисты живут меньше и превосходят своею долговечностью только поэтов. Однако ж, для этих последних категорий у меня нет под рукою точных цифр.

Фейхтерслебен переходит затем к обзору сложных душевных явлений: страстей, привязанностей и пр. Он посвящает особую главу ипохондрии и заканчивает своими соображениями о значении истины в нашем нравственном быту. Но мы не продолжаем этого обзора, так как предполагаем, что читатель уже достаточно освоился и с этою замечательною книгою, и с общим взглядом нравственных гигиенистов; а потому перейдем теперь к обзору тех печальных явлений, которые всего более толкают клиентов в желтые дома. Руководителем в этом обзоре мы выбираем Макса Симона, практического психиатра, которому, к сожалению, недостает общего образования и литературного таланта Фейхтерслебена.

IV

«*Не бойся страданий, не бойся смерти, а бойся страха*», — говорил какой-то мудрец своему питомцу и был совершенно прав. Ничто не унижает так человеческое достоинство, ничто так не портит и не сокращает человеческое существование, как этот вечный трепет перед опасностями, действительными или мнимыми. По свидетельству французских альенистов, страх есть одна из главнейших причин психических расстройств. Не только сумасшествие, но также падучая болезнь и множество других болезней конвульсивного характера, острых или хронических, имеют своею главнейшею причиною страх.

Человек естественно любит жизнь, и все, что грозит его существованию, вызывает в нем то инстинктивное отвращение, которое мы называем испугом, чтобы лучше его отличить от страха, рассматриваемого как одну из наиболее распространенных причин душевных расстройств, идиотизма или в лучшем случае малодушия, трусости, постоянного недоверия к себе, к природе и людям. Испугу подвержен каждый, даже самые отъявленные храбрецы бледнеют перед опасностью, когда она представляется им в неожиданной форме. Я лично имел случай наблюдать одного венгерского полковника, которого хладнокровное мужество в войнах за независимость Венгрии и Италии пользовалось

историческою известностью и который тем не менее дрожал как осиновый лист при переезде через небольшой пролив в рыбачьей лодке при несколько взволнованном море, не представлявшем, однако ж, никакой опасности. Дело идет не о воспитании в себе стоического мужества и того олимпийского величия, с которым Гёте говорил о себе: «Если мир рушится вокруг меня, то я останусь невозмутим на его развалинах». Такое величественное настроение духа может быть хорошо минутами; но постоянное презрение опасности показывало бы или легкомысленное отношение к ней, или презрение собственной жизни. Ни то, ни другое никаким образом не должно быть возводимо в идеал, в особенности же последнее, так как оно неизбежно ведет за собою презрение к людям.

Жизнь человеческая так устроена, что ей на каждом шагу может угрожать какое-нибудь бедствие. Комната, в которой мы сидим, может внезапно разрушиться; на улице во время прогулки мы можем быть укушенными бешеною собакой. Одно дело перепугаться, когда действительно обрушился подле вас потолок или попалась вам навстречу бешеная собака; другое дело вечно трепетать, что вот-вот обрушится потолок или выбежит вам навстречу бешеная собака. К сожалению, это последнее настроение духа встречается гораздо чаще, чем думают. В людях, которых никто не считает сумасшедшими, оно доходит даже иногда до артистической полноты. «Я боюсь», — говорит один пациент своему доктору. На все доводы последнего о том, что бояться нечего, он отвечает: «Я знаю сам, что бояться нечего, я не знаю, чего я боюсь, но мне страшно». У многих в этом печальном состоянии может даже не найтись достаточного мужества для того, чтобы откровенно сознаться в своем подавлением состоянии вследствие страха.

Но откуда же берется это настроение, которое никогда не обуревает нас вдруг, а обыкновенно развивается исподволь и понемногу, начиная с того, что еще можно назвать излишней предусмотрительностью? В патологии доктора Нимейера мы находим много примеров подобнсго состояния духа, являющегося результатом желудочных и других болезней; но Макс Симон утверждает, что в значительном большинстве случаев эти припадки составляют совершенно самостоятельную болезнь, легко переходящую в полное умопомешательство. Иногда причина их скрывается в каком-нибудь сильном потрясении нервной системы, особенно в детском возрасте, когда преобладает воображение и впечатлительность бывает всего сильнее. Но очень часто в антецедентах таких больных нет ничего такого, чтобы можно было приписывать их расстройство подобному потрясению. «При виде некоторых из своих больных, — говорит только что цитированный врач, — я должен был допустить, что они были напуганы во чреве своей матери». Вообще, психиатры признают, что буйные и потрясающие сцены в присутствии беременных женщин могут оставить тяжелые следы на душевном строе имеющих родиться младенцев. Впрочем, тема эта уже не новая, и нельзя отрицать, что за последнее время сделан некоторый шаг вперед в деле нашего обращения с детьми и юношами. Но из того, что грубейшие остатки варварства выкинуты из нашего педагогического арсенала, что классические розги перестали расписывать своими жгучими узорами нежные телеса наших детей, не торопитесь заключать, будто лучшие из наших воспитательных систем выдерживают хоть самую снисходительную нравственно-гигиеническую критику. Самые розги во многих случаях отброшены только потому, что мы обладаем другими и крайне

разнообразными средствами вселять будто бы необходимый и спасительный страх нашим питомцам. Допуская страх в каком бы то ни было его виде в воспитание детей, хотя бы для внушения его мы и пользовались самыми утонченными средствами, мы не должны забывать, что вводим в этот нежный и восприимчивый организм яд, размеры действия которого наперед рассчитать невозможно, в особенности же принимая во внимание, что мы так мало еще знаем психический мир детей. Конечно, могут встретиться сильные организмы, могут подвернуться счастливые случайности, и яд этот будет парализован. Всем известно, что итальянцы XVI и XVII столетия приготовляли чудесную «aqua tofana», которая не отравляла человека, а только вызывала в нем, обыкновенно через несколько времени после принятия этого напитка, мучительно изнурительные болезни. Вероятно, бывали случаи, что какой-нибудь счастливец переваривал адскую отраву без особенного вреда; однако ж если бы теперь кто-нибудь вздумал угощать подобным снадобьем своих врагов, то уголовное правосудие нашло бы себя вынужденным прекратить подобные эксперименты. Но мы можем беспрепятственно преподносить нашим детям и воспитанникам спасительный страх, эту «aqua tofana» нового времени, к тому же считая, что мы добросовестно исполнили свой долг отцов и педагогов. Но предоставим речь вышеупомянутому французскому психиатру:

«Оставьте лучше наказание, чем страх... Я знаю некоторые воспитательные заведения, где телесные наказания запрещены, но где учителям предоставлено соразмерять вины с дозволенными наказаниями или прощать их вовсе. Это самый верный способ поддерживать детей в состоянии вечного страха, вечных тревог, вечного ожидания какой-то печальной участи. Положение этих детей напоминает мне трагическую судьбу Дамокла, но тот по крайней мере пировал, пока над его головой висел меч, а. нашим школьникам приходится жить под ним впроголодь. Признаюсь, я нахожу в высшей степени предосудительным это нелепое устройство, эту вопиющую несправедливость, это хроническое насилие...» «Необходимо, чтобы тень произвола была изгнана из обращения с детьми, только тогда ребенок перестанет вечно трепетать и не унесет со школьной скамьи предрасположения к страху, которого гибельность в нравственном и физическом отношении следует неустанно провозглашать во всеуслышание. Родителям, которые держат своих детей в подобных заведениях, мы скажем: берите их оттуда сегодня же. Эти воспитатели недостойны своего назначения; вы им даете живой материал, из которого должен выработаться человек, а они вам возвращают нравственных уродов!»

Само собою разумеется, что с возрастом человек хоть и становится менее впечатлительным, но вовсе не утрачивает способности воспринимать зародыши этого страшного душевного расстройства. Причины, которые влияют на взрослых точно так же, как вышеуказанные условия на детей, слишком разнообразны; но каждому гораздо легче их угадать, чем мне пересчитать их на немногих страницах. Ошибочно полагают, будто причиною такого рода беспричинных страхов бывает болезненно переусиленная деятельность воображения и что их можно излечить, обуздывая или притупляя деятельность воображения. Страх есть привычка, и против него можно действовать только так, как действуют против всякой привычки, т.е. обратною привычкой. Воображение же, вообще говоря, может

оказывать в деле развития благоразумной храбрости весьма существенные услуги. Мы всего больше пугаемся неизвестного и неожиданного. Человек не может личным опытом изведать все положения, в которых ему случится быть в действительности; но о многих из этих положений он может составить себе понятие по рассказам или из книг. Чем живее воображение субъекта, тем полнее будет это предварительное понятие, а следовательно, тем меньше неожиданного и неизвестного встретит он в самой действительности. Некоторые молодые люди, побывав в первый раз в жарком бою, потом признавались мне, что они не трусили только потому, что это было на самом деле не страшнее, чем они прежде воображали. Очень часто случается, что предвзятое понятие не совпадает с действительностью; но это происходит оттого, что мы или не справились с достаточным количеством источников, или источники оказались ложными. В таком случае вернейшее средство излечиться от страха будет заключаться в том, чтобы проверить свое впечатление действительностью. Натуралисты утверждают, будто носорог страшно свиреп оттого, что он пуглив (это подтверждается и на людях), а пуглив он оттого, что близорук и что его маленькие глаза, сидящие по бокам громадной головы, не позволяют ему явственно видеть предметы. Пугливые лошади всегда близоруки, и опытные наездники обыкновенно стараются подвести их близко к пугающему их предмету; освоившись с ним, они потом очень спокойно проходят мимо. Страх от недостаточного знакомства с предметом или от ложного представления о нем очень часто встречается и у людей; иногда он бывает даже повальным; но его нельзя отнести к беспричинному или беспредметному страху, хотя он легко может содействовать развитию этого психического расстройства. Макс Симон и Фейхтерслебен цитируют рассказ, заимствованный из Плутарха о «милетских девах». Стыдливость и страх первой брачной ночи внезапно развились в них с такою силой, что они повально стали вешаться накануне супружества. Встревоженный этой решимостью милетский сенат постановил, что трупы таких самоубийц будут выставляемы голыми на позор целому городу. После этого самоубийства тотчас же прекратились. Так как народонаселение Милета не оскудело, то надо предполагать, что суровые девственницы этого города нашли самого черта не столь страшным, как их предвзятое представление о нем.

К только что описанной категории страхов следует отнести страх болезней вообще и эпидемических болезней в особенности. Человек знает, что на этом свете существует множество опасных и отвратительных болезней и иных способов выйти из этой жизни, против которых не застрахован никто. Но пока он нравственно здоров, он не обращает на эту мрачную сторону нашего существования больше внимания, чем она заслуживает. Только если в нем уже укоренилась органическая привычка трепетать, он хватается за первую попавшуюся ему под руки медицинскую книгу, как ухватился бы за всякий другой предлог облечь свое внутреннее состояние в какую-нибудь предметную форму. Против таких страхов можно действовать только как против всяких вредных органических привычек вообще. Правда, мы вообще еще мало умеем успешно действовать против вредных органических привычек, и находятся у нас даже доктора, рекомендующие лечить от онанизма розгами, т.е. керосином тушить пожар. Некоторые меры, принимаемые иногда во время эпидемий, чтобы избежать паники, сильно напоминают это патриархальное средство. Руанский доктор Эллис

(Hellis) говорит: «Начните кричать собравшейся толпе: «Не бойтесь! Не бойтесь!» — и вы увидите, как публика разбежится со всех ног, давя друг друга». Точно так же случается, когда стараются успокаивать общественное мнение во время эпидемий молчанием или ложными сведениями.

Макс Симон пишет в католической стране, где клерикалы не гнушаются никакими средствами для того, чтобы искусственно поддержать свое с каждым годом все более и более падающее влияние. Плохо доверяя своему нравственному влиянию на толпу, они стараются запугать воображение слабых и невежественных женщин чудовищными описаниями ада и греха. Само собою разумеется, что подобные приемы не могут оказать никаких благодетельных результатов на нравственность масс, но они загоняют ежегодно в сумасшедшие дома немалое количество нервных субъектов. При этих условиях легко понять, что французский гигиенист кроме особой главы о суеверии посвящает страху ада и греха отдельную рубрику.

«Если можно сказать, что начало премудрости есть страх Божий, то под этим никак нельзя разуметь тот ужас, который стараются наводить на свою паству наши проповедники. Этот страх только обезображивает и унижает человека и может довести его до полного умопомешательства. Все доктора, занимавшиеся психиатриею, признают крайне вредное влияние этой причины. Некоторые из свободных граждан, и в особенности гражданок, французской республики не смеют ступить шагу, чтобы не впасть в грех. Их пугает каждая мысль, каждое слово. Смешивал понятие нравственной чистоты с ложным и грубым представлением физической неприкосновенности, они тем более утрируют страх осквернения, что не имеют сил быть истинно непорочными. Они считают себя погибшими оттого, что не могут воздерживаться от некоторых житейских отправлений. Они боятся прикасаться к некоторым предметам. Эти люди не живут: для них трепетать так же естественно, как для нас дышать... Если не считать это патологическое состояние за тяжкий недуг, то следует признать, что оно есть вернейший путь к страшным душевным болезням».

Если подумать, что вся прекрасная половина достаточного народонаселения Франции получает свое воспитание в монастырях, т.е. отдается на жертву этой переделке в беспомощном возрасте 10 или 12 лет, чтобы потом до конца своих дней не выходить из-под одуряющей и развращающей ферулы[vi], то можно только удивляться неистощимой жизненности этого народа, из которого все еще светлыми искрами брызжет жизнь, гуманная веселость и ум.

V

Макс Симон отделяет суеверие от страха только потому, что оно, по его мнению, опирается на прирожденное человеку стремление уноситься в сферы неизвестного, что оно нередко имеет в своей основе верный факт, но превратно перетолкованный и понимаемый не в настоящем его значении. Основание это кажется нам крайне шатким; но, как мы уже говорили, в нравственной гигиене определения и подразделения дело не важное. Что такое должно называть

суеверием, всякий знает очень хорошо, а противогигиеническое его действие совершенно то же, что и действие страха, которого оно является по меньшей мере вернейшим пособником. Как будто недостаточно для того, чтобы заставить нас потерять образ и подобие божие, чтобы обратить нас в вечно трепещущий, чахлый осиновый лист... как будто недостаточно — говорю я — спасительного страха, внушаемого в школе; за порогом ее нас ожидают тысячи других подавляющих влияний. Суеверие имеет, однако ж, свою хорошую сторону: оно показывает нам, сколько темных, недоступных влиянию разума сторон существует в душе просвещеннейших людей, способных в науке тянуть даже скептическую ноту. Вспомните наших профессоров-спиритов. Как же бедной Коробочке не заболеть от страха, очутившись сам-тринадцать за столом, который только что вертели первоклассные светила нашей науки?

Об этом универсальном явлении можно бы написать целый трактат: повальные глупости человечества по меньшей мере такой же интересный и такой же поучительный пример для исследования, как и величие гениев. Нет такого исторического народа, который для отравы своего существования, кроме тысячи разнообразнейших ухищрений, не имел бы еще уважительного запаса суеверий, перед которыми он трепетал бы в свободное от других трепетаний время. Крайне замечательно, что большая часть суеверий оказывается тождественною у самых разнообразных племен. Это нисколько не удивительно относительно таких порождений запуганной ребяческой фантазии, которые опираются на явления, везде повторяющиеся и везде имеющие одно и то же значение. Так, например, и японцы и европейцы придают кометам совершенно одинаковый смысл предвестников войны, моровой язвы или тому подобного общественного бедствия. И это легко понять: в детстве человек и человечество весьма естественно предполагают себя центром и конечной целью всего мироздания; они не могут допустить существования чего бы то ни было независимо от своего Я. Огонь существует для того, чтобы жарить его пищу или обжигать его горшки в добрую минуту, а в злую — жечь ему лицо и руки, если он не умилостивлял его достодолжными подачками. Но какое соотношение имеет с ним эта светлая метла, которой вчера не было на небе, а сегодня она появилась вдруг, без всякого предуведомления? Очевидно, и в его жизни случится что-нибудь такое, чего не было вчера. Но так как это небесное знамение видит не он один, а все его ближние, то неожиданность коснется не его, а всех. Весьма понятный в диких народах пессимизм заставляет толковать это знамение непременно в зловещую сторону. Война или мор неизбежно настанут через год, через десять или двадцать лет; но они могли бы и вовсе не случиться; это отнюдь не подорвало бы веры в знамения. Ведь существовали же целыми веками оракулы, которым, без сомнения, случалось провираться на каждом шагу; но в них продолжали верить по-прежнему. Таким образом, нам нет никакой надобности предполагать, будто японцы заимствовали суеверный страх перед кометами от европейцев, или наоборот. Но есть суеверия другого рода. Так, например, в быту арабов соль составляет редкость, почти драгоценную вещь. При известном пристрастии этого народа к эмблемам и символам там и теперь еще существует у некоторых племен обычай преподносить щепотку соли в знак дружбы и гостеприимства. Если гость рассыпает эту соль, то он наносит хозяину сильное оскорбление. Понятно, что при таких условиях

просыпать соль за столом могло действительно предвещать смерть, так как у арабов и до сих пор еще формализм играет важную роль. Вспыльчивый хозяин мог очень легко не обращать внимания на то, что соль просыпана нечаянно, и считать себя все-таки оскорбленным. В России соли очень много, но только в недрах земли, в простонародном же быту эта необходимейшая приправа и до сих пор продолжает еще быть чуть не драгоценным предметом. Хлеб да соль на нашем языке тоже символизируют гостеприимство. Тем не менее нет никакого основания, чтобы суеверие насчет просыпанной соли возникло у нас самостоятельно. Наши крестьяне считают за грех уронить кусок хлеба на пол, но не за кровную обиду для хозяина. То же суеверие варьируется с известными оттенками и у других европейских народов, но его нет у многих американских племен, хотя они совершенно бедны солью. Поэтому есть основание думать, что это суеверие заимствовано нами у евреев, быт которых был весьма сходен с нынешним бытом кочевых арабов.

Еще другой пример. В нашем народе существует поверие, что в мае жениться — маяться. Этому суеверию невозможно найти никакого бытового основания, и на первый взгляд оно может показаться плохим каламбуром, опирающимся на созвучие слов май и маяться. Но мы узнаем, что у римлян существовала поговорка malae nubent Maia, заключавшая в себе точно так же на созвучии основанный каламбур. Истинный смысл этой поговорки для нас неизвестен. В ней, очевидно, был оскорбительный намек на какую-нибудь знаменитую неудачную свадьбу, отпразднованную в мае. Это же суеверие насчет майских браков перешло и к другим европейским народам, на языке которых из него нельзя извлечь даже плохого каламбура. Шотландцы возненавидели Марию Стюарт за то, что она венчалась в мае (с графом Ботвеллом). Крестьяне многих местностей Франции скорее согласятся остаться холостяками на целую жизнь, чем обвенчаться в этом злополучном месяце.

Каким образом совершаются эти заимствования предрассудков и суеверий между народами, имевшими между собою так мало сближений, как, например, русские с римлянами? Это в высшей степени интересный вопрос. Сколько поучительных уроков истории забывается очень скоро даже теми народами, которые на своих плечах перенесли эти уроки, своею кровью расплатились за них. А эти нелепые порождения темных сторон нашей психической жизни переживают десятки веков, перелетают громаднейшие пространства, повсюду встречая пригодную почву для своего процветания. По меньшей мере две трети современных французов ничего не знают о произведениях Декарта, Паскаля, Монтеня, Прудона и сотни других первоклассных умов; но труды нелепейших астрологов и алхимиков живут еще и до сих пор в умах народов, обыкновенно вовсе не знающих, откуда они заимствовали свои суеверия и предрассудки, столь существенно отравляющие их жизнь. Множество поверий насчет несчастных дней, некоторых небесных знамений, толкование снов и т.п. целиком заимствованы из мистических трактатов, которые теперь неизвестны даже записным библиофилам и которые заменяли науку в XV и XVI столетиях.

Только психиатрам может быть известно, какую громадную роль играют суеверия в своей грубейшей, первобытнейшей форме даже между людьми не совсем невежественными. Макс Симон говорит о двух пациентах, пользуемых им

уже в течение нескольких лет и подающих мало надежды на выздоровление. Один из них встретил ночью на улице черта в виде маленького человечка, не имевшего ничего особенно страшного в своей наружности. Эта встреча даже не особенно напугала его; но с тех пор пошли все неудачи, по которым он только и догадался, что встреченный им господин был не кто иной, как черт. Другой уверен, что черт поселился в нем. Он считает своею священнейшею обязанностью разрушать свое тело, служащее жилищем столь скомпрометированному жильцу, который, однако ж, ведет себя довольно прилично, т.е. не причиняет пациенту сильных внутренних страданий. Эти единичные факты демономании встречаются во всех психиатрических больницах довольно часто. Но гораздо интереснее факты повальных демономании, которые бывали особенно многочисленны в прежние века. Одной из них мы обязаны происхождением вовсе не душевной болезни, известной под именем пляски св. Витта. В половине XIV столетия после чумы, свирепствовавшей во всей Западной Европе, в Бельгии и по обоим берегам Рейна быстро распространилась секта бичевалъщиков. Толпы мужчин и женщин бегали по улицам городов и деревень, нещадно бичуя себя, с бешеными криками и кривляниями, доходившими до конвульсий. Это делалось ими во искупление грехов человечества. Секта эта распространилась почти повсюду. Приверженцы этой секты доводили себя до такого исступления, при котором у них проявлялись своеобразные конвульсивные движения, действительно похожие на бешеную пляску. Мало-помалу это патологическое состояние стало проявляться в них и без предварительного мистического возбуждения; передаваясь по наследству, болезнь эта дошла и до нашего времени. Впрочем, она встречается и в таких странах, где бичевальщиков не было, а следовательно, и появление этой болезни не может быть объяснено путем простой наследственности. Но, как мы увидим ниже, это нисколько не мешает нам приписать инициативу пляски св. Витта бичевальщикам, которых последним отголоском, вероятно, являются наши кликуши.

Фактов повальных демономании очень много в летописях всех народов. Особенный психологический интерес представляют следующие, например, случаи. В самом конце XV столетия в одном женском монастыре в Камбрэ появилась повальная болезнь, похожая на эпилепсию. Ее тотчас же приписали бесовскому наваждению и приняли достодолжные меры к изгнанию злого духа из монахинь. Виновниками на этот раз, однако ж, оказались не бесы, а сам сатана. Будучи с позором изгнан из обители, он объявил, что проник в нее через тело молодой инокини Жанны Потиере. Нет ничего удивительного в том, что какая-нибудь ненавистница избрала этот очень распространенный в то время способ погубить несчастную. Но сама Жанна Потиере без пытки созналась, что она действительно была в преступной связи с врагом рода человеческого и даже имела с ним 434 плотских соития. Она не могла не знать, какую страшную участь готовит себе таким признанием. Однако ж, этот факт далеко не единственный; но мы не станем повторять здесь примеров, рассказанных уже во множестве популярных книг, и в том числе в «Колдунье» Ж. Мишле.

Ошибочно было бы думать, будто эти все еще недостаточно объясненные явления представляют в настоящее время уже только исторический интерес. Последний из известных нам случаев повальной демономании относится к 1861 году и случился не в замкнутой монастырской обители, а в деревне Морзин, в

горной Савойе, поблизости протестантской и просвещенной Женевы. Савойские крестьянки, как и наши, имеют обыкновение собираться зимою на посиделки в одной просторной избе. И вдруг однажды все собравшиеся гостьи вместе с хозяйкой оказались одержимыми бесом. Весть об этом скоро разнеслась далеко за пределы морзинской общины, где между тем эпидемия делала чудовищные успехи, и скоро во всей деревне уже не было ни одной девушки, не одержимой этим недугом. Доктор Констан поспешил нарочно приехать туда из Парижа, чтобы наблюдать этот интересный случай психического заражения. Вот что говорит он о нем в изданной им в 1863 году брошюре: «Большая часть этих больных незамужние, истерического, хвороанемического или золотушного сложения. Они отличаются причудливостью своих вкусов, то очень прожорливы, то по нескольку дней ничего не берут в рот. Все они ленивы, очень экзальтированны и болтливы. Они почти все свое время проводят вместе, болтают, играют в карты и пьют много черного кофе, почти необходимого при их скудной и непитательной пище. Припадки их болезни проявляются очень часто без всякого постороннего возбуждения; но для того чтобы вызвать припадок, достаточно высказать в их присутствии сомнение, будто они действительно одержимы бесом. Тогда они приходят в ярость, начинают страшно зевать, руки их виснут и начинают дрожать сперва слабо, а потом все сильнее и сильнее. Зрачки то суживаются, то страшно расширяются. Корпус их начинает совершать судорожные движения, которые потом передаются и конечностям. Они издают страшные крики, лица наливаются кровью и принимают свирепый вид. Дыхание становится прерывистым. Они хватают все, что им попадается под руку, и бросают в присутствующих. Стулья, скамейки — все летит. Затем они сами бросаются на своих родных или на посторонних, бьют их, царапают, кусают. Наконец, начинают бить самих себя; падают на пол и вскакивают, как бы поднятые пружиной. Припадок продолжается 20 или 25 минут. Во все время пульс крайне сосредоточенный, руки и ноги остаются ледяными. К концу кризиса у них изо рта выделяются газы; они начинают дико озираться по сторонам; поправляют волосы и одежды, надевают свои чепцы, выпивают несколько глотков воды и усаживаются за карты или за работу, как ни в чем не бывало. Они говорят, что не чувствуют никакой усталости и даже не помнят, что с ними происходило». Само собою разумеется, что в Савойе и в соседней Швейцарии ходят о морзинских ведьмах преувеличенные слухи. Эпидемия продолжается и до сих пор, но число одержимых ею уменьшилось. Почти то же было в Париже в 1848 году в национальных женских мастерских, заведенных временным правительством в манеже Гоппа. Э. Бушю подробно описывает эту эпидемию в своих «Nouveaux elements de pathologic generate...» Paris, 1857. По счастью, она была вовремя прекращена удалением зараженных. Само собою разумеется, что единичные и повальные болезни этого рода могут быть излечены своевременно принятыми мерами, но это нисколько не уменьшает их пагубной реальности. Точно так же повальные демономании могут менять форму и являться в виде, например, спиритизма. Макс Симон дает нам следующие сведения об одной из своих пациенток, пользуемых им уже несколько лет без малейшей надежды на выздоровление. Эта очень хорошо образованная дама, имевшая несчастие увлечься спиритизмом и лично сблизиться с Юмом, пользовалась в своем кругу большим почетом и влиянием. К ней обращались за советами и

поучениями английские и американские спириты, ее статьи переводились на иностранные языки. Вся эта льстившая ее самолюбию карьера закончилась очень скоро безнадежным умопомешательством. Теперь эта несчастная проводит остаток своих дней лежа на полу и прислушиваясь к голосам подземных духов. Впрочем, спиритизм нам кажется главнейшим образом опасным и вредным не потому, что он, несомненно, увеличивает шансы на сумасшествие своих адептов, а потому, что он удобряет даже научными снадобьями ту почву, которая особенно благоприятна для процветания всяких умственных и нравственных болячек. Нам вовсе нет надобности знать, как проделываются все показываемые в балаганах и на спиритических митингах фокусы, чтобы смело утверждать, что эти салонные жонглерства ничего не могут прибавить к нашим понятиям о силах природы. Все обличения спиритов дают замечательно слабый практический результат. Очень недавно в просвещенном Париже наделал много шуму процесс адвоката спиритов, продававшего своим клиентам карточки с изображением на заднем плане особенно любезного им духа какого-нибудь умершего родственника, любовника или друга. Клиенты оставались очень довольны сходством, но прокурор взглянул на дело не с артистической стороны. Плут этот был осужден; его мошенничество изобличено до мельчайших подробностей; показан манекен, который он искусно драпировал, чтобы с него фотографировать покойника. Клиенты этого артиста остались очень обижены... на суд, присудивший фотографа возвратить им украденные этим способом у них деньги. Что же прикажете делать? Человеческая душа так устроена. В области нравственной гигиены важнее, чем где-либо, уметь действовать не на самое явление, а на то душевное состояние, которое вызывает это явление. Только в очень немногих экстренных случаях, где требуется безотлагательное устранение самого явления, позволительно прибегать к паллиативным мерам, которые всегда заимствуются из той же сферы, к которой принадлежит и болезнь. В клинике доктора Бургаава с одной из больных сделались конвульсии. Почти мгновенно вид их возбудил совершенно такие же конвульсии и в другой, и в третьей. Эпидемия распространялась с молниеносной быстротой и грозила охватить всю камеру. Находчивый врач схватил раскаленные щипцы от камина и объявил, что он станет жечь ими первую, у которой обнаружится та же болезнь. Сильный нервный толчок в новом направлении совершенно парализовал первый испуг, и эпидемия была прекращена. Во Франции епископы запретили своей пастве занятия спиритизмом, который они считают преступным волхованием. И действительно, во Франции менее всех других стран распространена эта модная повальная демонопатия нашего времени. Таким образом, клин выбивается клином. Если два человека с пеною у рта спорят о том, из Переяславля идут ведьмы или из Кременчуга, попробуйте сказать им, что ведьм нет. Оба с яростью накинутся на вас и объявят вас врагом общественного спокойствия. Скажите им авторитетным тоном, что ведьмы заведомо идут из Киева, и они тотчас же уверуют в вас и прекратят свои нелепые споры.

В деле распространения суеверий мы встречаемся с крайне своеобразным и крайне универсальным явлением, которое называют переимчивостью. Все внимательные наблюдатели утверждают, что лица, долго живущие вместе, совершенно незаметно для себя перенимают друг у друга различные мелочные привычки, выражения, тон голоса. Всего же более подвержены переимчивости

различные нервные возбуждения, начиная от простой зевоты и кончая страшными эпилептическими конвульсиями. Тема эта не новая, и Герберт Спенсер основал на ней свою остроумную теорию грациозности. Самый крайний эгоист как будто осужден природою жить до некоторой степени со своим ближним. Трудно удержаться от смеха, когда все кругом смеются, хотя бы вы и не разделяли всеобщей веселости. Вид рвоты возбуждает тошноту. После продолжительной беседы с заикой или с человеком, дурно изъясняющимся на вашем языке, вы чувствуете некоторую неловкость. Беспрерывный кашель другого утомляет вашу собственную грудь и т.д. Когда мы видим человека, совершающего легко и непринужденно трудные движения, говорит Герберт Спенсер, то мы невольно испытываем удовольствие, причину которого называем грациозностью. Несомненная заразительность нервных болезней, в особенности конвульсий, точно так же объясняется переимчивостью. Такой же заразительностью отличаются галлюцинации вообще, а гипнотические галлюцинации в особенности. Несмотря на то что на эту загадочную сторону бытового явления стали только очень недавно обращать внимание, примеры таких повальных галлюцинаций можно уже считать десятками в каждом популярном или специальном психиатрическом трактате. Очень интересный пример этого рода заимствован Вальтером Скоттом из шотландской хроники Патрика Уокера. Вот что рассказывает этот хроникер:

«В июне и июле 1688 года в окрестностях Красфорд-Бота близ Ланарка, а в особенности в Менее на Клайде в течение нескольких вечеров кряду происходили многолюднейшие сборища, утверждали, будто какие-то вооруженные полчища расхаживают взад и вперед, забрасывал землю шапками, саблями и ружьями. Две трети присутствующих видели это; другая треть не видела ничего. Я напрасно напрягал свое зрение: нигде кругом невозможно было приметить ничего необычайного. Я ходил на место сборища три раза. Однажды какой-то детина, стоявший подле меня и тоже ничего не видавший, начал кричать: «Да это проклятые колдуны и колдуньи с заколдованными глазами видят что-нибудь дьявольское, я же не вижу решительно ничего, и ни один честный христианин ничего тут не может видеть!» Но вдруг он побледнел, как баба, и закричал: «Вижу! Вижу! Надо быть слепым, чтобы не видеть!» Кругом меня все только и говорили что о чудном зрелище; описывали форму и длину ружей, считали шляпы, различали черные и голубые кокарды. Я же, как ни напрягал зрение, с тем и ушел, что не видел решительно ничего. Потом сказывали, что, как только кто-нибудь из видевших это видение отправлялся в путешествие, перед ним с неба валилось ружье, или сабля, или шляпа с пером...»

После поражения французских войск в России в 1812 году во Франции повсюду господствовало мрачное настроение умов. В восточных департаментах, в нескольких деревнях, стали по вечерам точно так же собираться огромные толпы, видевшие в небе то сражающиеся рати, то огненные колесницы, то львов, драконов, леопардов... Первоначально скептиков всегда оказывалось довольно много, но под конец число их приметно таяло. А через несколько лет после того уже говорили об этих видениях как о вещи, реальность которой не подлежит никакому сомнению. Тотчас после присоединения Эльзаса к Пруссии во многих округах этой злополучной области повторилось то же самое; но на этот раз не было ни полчищ, ни колесниц, а только огненные кресты. К сожалению, ни один

даровитый альенист не воспользовался этим случаем для того, чтобы произвести ряд наблюдений, подобных тем, которые Констан сделал в Морзине.

Замечательной прилипчивостью обладает также мания самоубийства. Достаточно, чтобы один какой-нибудь особенно резкий случай обратил на себя всеобщее внимание, как за ним тотчас же является целый ряд других с приметным стремлением повторить все подробности первого самоубийства. Мы не отнесем к этой категории подражательных самоубийств вышеприведенного эпизода с милетскими девами, хоть и в нем переимчивость, очевидно, должна была играть большую роль. Также не вполне относятся к этой категории повальные самоубийства донатистов[vii] или наших раскольничьих сект, где стимулом к добровольному мученичеству служит особое мистическое настроение и превратно толкуемые истины Священного Писания. Но как объяснить себе нижеследующие случаи при Наполеоне I? Часовой гвардеец закололся своим штыком в сторожевой будке. Тотчас же вслед за тем множество солдат начинают ходить в эту будку и закалываться в ней. Будку сожгли, и самоубийства в этом полку прекратились. В парижском приюте для инвалидов один старик повесился на двери. В течение двух недель 12 инвалидов повесились точно таким же образом. Губернатор Серюрье приказал замуровать проклятую дверь, и эпидемия эта прошла сама собою.

В Париже Сен-Мартенский канал почему-то был любимым местом самоубийц. С тех пор как его не существует, число утопающих приметно уменьшилось, хотя Сена и представляет для этого не меньше удобств... Несколько лет тому назад в Париже развилась мода бросаться с Вандомской колонны до того, что какой-то сатирический журнал советовал желающим записываться заранее у привратника, чтобы избежать давки на улице.

В Японии мне указывали места, не имевшие на вид ничего особенного, но отличавшиеся тем не менее свойством притягивать к себе самоубийц. Одни, порешив покончить с жизнью, проходили по нескольку верст, чтобы повеситься непременно на том дереве или утопиться в том болоте, с которым связана трагическая легенда. Другие, просто проходя мимо рокового места, внезапно бывали наталкиваемы на самоубийство как бы роковою силою и не всегда находили в себе силы противиться искушению.

В Париже и в Берлине в начале нынешнего столетия возникали клубы самоубийц с обстоятельно выработанными уставами.

Не желая продолжать этот скорбный лист без конца, заметим только, что и убийства и все, что способно потрясать нервную систему, подлежит в большей или меньшей степени этой загадочной переимчивости, действительная роль которой в нашем нравственном быту нуждается еще во многих разъяснениях.

Закончим следующими словами Макса Симона: «Этот инстинкт подражания может быть иногда благодетелен, но в значительном большинстве случаев влияние его пагубно. По-видимому, его следует приписать бессознательным нервным возбуждениям, и он, естественно, должен быть тем слабее, чем большую роль сознательность вообще играет в нашей жизни... В мелочах и глупостях воздерживайтесь от поступков, имеющих единственным основанием пресловутое все так делают. Если все делают так, то тем больше шансов за то, что это глупо. Чтобы в серьезных делах не отдаться на жертву темному инстинкту переимчивости, заставьте себя во всем, даже в пустяках, быть самим собою».

[i] Изречения и мысли (фр.). — Прим. ред [ii]
Гусиная кожа (фр.). — Прим. ред
[iii] Статья была опубликована в 5-м, 6-м и 7-м номерах журнала «Дело» за 1878 г. Фактически за один год, 1872—1873, интенсивно занимаясь, Мечников изучил японский язык, письменность которого основана на китайских иероглифах. Разговорную практику он получил главным образом в беседах с Ивао Оямой, будущим главнокомандующим японскими сухопутными силами во время русско-японской войны 1904— 1905 гг. В свою очередь Мечников обучал его французскому языку.
[iv] «Трактат о нервных болезнях». — Прим. ред.
[v] Подобного рода «опыты» проделывал дядя Мечникова А.Л. Невахович, сын литератора и миллионера Л.Н. Неваховича, впоследствии ставший начальником репертуарной части императорских театров
[vi] Ферула — линейка, которой прежде били по ладоням провинившихся школьников. В переносном смысле — стесняющее покровительство, давящая власть [vii] Мизантропическая секта из первых веков христианства

VI

Слову «жизнь» придаются самые разнообразнейшие значения, и нередко обозначают им два взаимно исключающие друг друга ряда явлений. В статистическом смысле слово «жить». — значит числиться в живых, изображать собою единицу в известных списках, платить подати и нести известные повинности или же быть избавленным от таковых в силу лично и по наследству присвоенных прав и преимуществ. Жить в смысле психологическом — значит ощущать, рассуждать, действовать. Статистическая мерка продолжительности жизни и психологическая ее мерка — две вещи совершенно различные. Если я, например, в течение восьмидесяти лет прокоптил благополучно небо своими выдыханиями, то это дает мне неотъемлемое право сказать, что я пользовался очень завидною статистическою долговечностью; но действительно ли была столь же продолжительна и моя психическая жизнь? Это еще вопрос. Очень легко может случиться, что в течение этого восьмидесятилетнего периода я пережил такой немногочисленный ряд впечатлений, мыслей и действий, которого недостаточно для того, чтобы наполнить и двадцать лет более интенсивного психического существования. Наши ощущения, мысли и действия тесно обусловлены нашею организацией), и универсальный закон сбережения сил имеет самое широкое применение в нашем психическом существовании. Организм каждого в общем итоге может поставить только ограниченное количество возбуждений, рефлексов, аффектов и т.п. Когда он дал в этом смысле все, что он может дать, то он психологически изжился, стал неспособен для дальнейшей жизни, точно так же, как, например, неспособен для крейсерства пароход, прогнивший лет двадцать пять в малосоленых водах Балтийского моря. Но неспособность его к дальнейшему копчению неба этим еще не обусловливается. Строго говоря, ни один смертный не может так основательно войти в роль коптителя неба, чтобы мы могли его считать вовсе свободным от жизни в том ее смысле, который мы назвали психологическим. Самое копчение неба неизбежно сопряжено с известным количеством психических актов, но только количество это так ничтожно, что его позволительно вовсе не принимать в расчет. Очень бедно одаренный физический организм мог бы беспрепятственно поставлять это количество аффектов в течение очень долгого времени. Из этого еще вовсе не следует, чтобы человек мог успешно выполнять роль коптителя неба бесконечно: всякая машина разрушается не только количеством поставляемой ею работы, но также и ржавчиною и другими продуктами бездействия. Гигиенисты, и даже очень почтенные, очень часто смешивают между собою эти два различные понятия о жизни и тем подают повод к немалым недоразумениям.

Гигиена не есть искусство долго жить; ее главнейшее назначение — научить нас жить хорошо, правильно, разумно; но в число условий хорошей жизни естественно ставится и то, чтобы мы не изживались слишком быстро, не ускоряли произвольно трагической развязки, неизбежно ожидающей нас в более или менее отдаленном будущем. Таким образом, макробиотика, т.е. искусство долго жить, составляет необходимую часть гигиены. Если бы не было того различного понимания жизни, о котором мы говорим, то гигиена с большим или меньшим

успехом, но сознательно и прямо подвигалась бы к своей цели; но в настоящем своем развитии она очень часто забывает свое призвание научить нас жить хорошо и начинает преподавать нам правила, сообразуясь с которыми мы должны обуздывать психическую жизнь только для того, чтобы оставаться на возможно долгий срок коптителями неба. В известную пору своего существования большая часть людей начинает ощущать страх перед смертью в таких размерах, что они соглашаются жить во что бы то ни стало, жить в каком бы то ни было смысле этого слова, лишь бы только жить. Тогда они становятся необыкновенно чуткими и неразборчивыми к предписаниям всякой гигиены. Но так как обыкновенно эта пора наступает для них уже тогда, когда организм в значительной степени износился, то от позднего обращения их на гигиенический путь получается вовсе не ожидаемое продление их существования, а только новое мучительное состояние, о котором мы уже упоминали в предыдущей статье, — ипохондрия. Обманутые в своих надеждах, эти раскаявшиеся грешники обрушиваются обыкновенно на гигиену, обвиняя ее в невежестве, в шарлатанстве. Гигиенисты же в свою очередь упрекают своих клиентов в том, что они тогда только и начинают учиться жить, когда уже изжили кое-как лучший запас своей жизненности. Почему, вопрошают они, вы пренебрегаете нашими советами тогда, когда еще зло поправимо, когда, собственно, и исправлять еще нечего, а приходится только направлять? Откройте любую книгу популярной гигиены, и вы найдете ее переполненною сетованиями о том, что люди, даже просвещеннейшие и обладающие всеми вещественными благами, необходимыми для гигиенического существования, обыкновенно пренебрегают самыми разумными гигиеническими предписаниями в жадной погоне за удовольствиями и под влиянием страстей. Фонсагрив, один из даровитых французских популяризаторов, в своих «Семейных беседах о гигиене» (Entretiens familiers sur l'Hygiene) рисует нам увлечения и страсти в виде какой-то неприятельской крепости, которая ежечасно обстреливает твердыню нашего душевного и телесного здоровья и пробивает в ней самые чудовищные бреши. Казалось бы, гг. гигиенистам давно уже пора смело пойти на приступ этого неприятельского оплота, вооружившись всеми орудиями, накопленными в арсенале медицины и психологии. Что за странное удовольствие, в самом деле, находят люди подрывать самый источник всех своих удовольствий, т.е. свое душевное и телесное здоровье? Что такое эти страсти, против которых так много пишут на всех языках, но которые, по словам гигиенистов и моралистов, все-таки обуревают собою современное человечество и на каждом шагу срывают его с рельсов? Какова их роль в нравственной экономии и как парализовать тот вред, который будто бы они наносят нашему благополучию?

Надо сознаться, что гигиенисты и даже альенисты более ученого склада до сих пор еще сделали очень мало для того, чтобы хоть сколько-нибудь осветить нам эти капитальнейшие вопросы, разъяснением которых самым непосредственным образом заинтересован каждый, так как страдать никому не охота, что бы ни говорили нам о поэтичности или о сладострастии страдания.

Перебрав с полдюжины популярных и ученых книг, имеющих своим предметом душевное здоровье или душевное расстройство, мы попытаемся здесь разобрать в отдельности вопрос об удовольствии и горе и о страстях с точки зрения

не философского или теоретического, а только гигиенического значения этих явлений.

Всякий хочет жить не только в статистическом, но и в психологическом значении этого слова; а между тем эти два значения если и не вовсе исключают друг друга, то по крайней мере очень часто идут друг другу наперекор. Жизнь в смысле накопления ощущений, аффектов и действий предполагает затраты некоторых органических богатств, тогда как праздное копчение неба, или прозябание, расходует очень мало жизненных сил, а потому весьма естественно может быть разложено на гораздо дальнейшие сроки. Повсюду мы видим, что продолжительность жизни до известной степени противоположна ее интенсивности. Хладнокровные черепахи живут по нескольку сот лет. Говорят, что некоторые жабы, живущие в углублениях между камнями и почти не имеющие никакого общения с внешнею средою, живут и еще дольше. Каждому человеку при вступлении в жизнь приходится выбирать между двумя этими дорогами, из которых одна обещает более продолжительное существование, другая более полную жизнь. Выбор этот никогда не производится нами самими, а обыкновенно предрешается за нас обстоятельствами и заботливыми родителями и наставниками, да и то в громаднейшем большинстве случаев бессознательно. Консервативные соображения, т.е. стремления сделать нашу жизнь возможно продолжительною в статистическом ее смысле, обыкновенно преобладают в этом решении и преследуются даже очевидно в ущерб интенсивности и полноте жизни психологической, которая тем не менее притягивает к себе даже детей легко понятною чарующею силою. Ребенок еще не научился измерять самое время объективною его меркою, для него самое понятие о времени совершенно отождествляется с представлением суммы пережитых им впечатлений. Взрослый человек может вызвать в себе тот же самый процесс субъективной оценки времени только под влиянием некоторых наркотических средств, в особенности же гашиша. Известно, что эта отрава возбуждает по преимуществу воображение, которое тогда порождает в нашем сознании чувства и образы с необычайною быстротою. В этом и заключается опьянение от гашиша, которое, по крайней мере при приемах не очень сильных, не усыпляет сознания. Пережив под влиянием этого возбуждения в какую-нибудь четверть часа такое количество впечатлений и ощущений, которое в нормальном состоянии наполнило бы собою, может быть, целые сутки, человек воображает себе время как-то внезапно удлиненным до бесконечности, он теряет способность контролировать себя при помощи часов; он не теряет веры в их объективное показание, но он ощущает, что он прожил огромный промежуток времени, пока часовая стрелка подвинулась только на четверть часа. Эта субъективная мерка времени, которая доступна нам только в минуты галлюцинаций, для ребенка вполне достаточна, ему не надо другой. Таким образом, ребенок ежечасно стремится накоплять впечатления. Очень немногие воспитатели умеют стать его помощниками и руководителями в этом процессе, в большинстве же случаев родители и наставники под влиянием очень похвальных чувств или дурно переваренных превосходных теорий вступают с ним в упорную борьбу ради совершенно не существующих для него охранительных соображений. Борьба эта способна принимать крайне разнообразные формы и вовсе не исключает баловства; но мы пишем не педагогический трактат, а потому заметим только, что

ребенок в этой борьбе всегда очень определенно знает, чего он хочет, воспитатели же почти никогда. Таким образом, только одна практическая цель достигается неизменно этими педагогическими эволюциями: ребенок узнает скуку и приучается отождествлять ее с советами благоразумия. «Скука, — говорит Фейхтерслебен, — эта душевная ржавчина, погубила гораздо более людей, чем все излишества и страсти, взятые вместе». Неоспоримый факт, что множество детей, вовсе лишенных блага заботливого воспитания, оказались в итоге лучше приноровленными для жизни, чем большинство питомцев заботливых маменек и патентованных педагогов, объясняется в значительной степени тем, что дети, предоставленные сами себе, гораздо позднее ознакомляются со скукою, да к тому же отсутствие педагогической борьбы избавляет их от того извращения их природных склонностей, которое легко может исковеркать иного впечатлительного ребенка на всю жизнь. Из этого отнюдь еще не следует заключать, будто мы придерживаемся воззрений Руссо о непогрешимости природных инстинктов и считаем теорию невмешательства обязательною для педагогов. В настоящее время даже странно встречать на страницах сочинений, претендующих на ученость, мысли, почерпнутые целиком из женевского философа, так много говорившего о природе, но столь же мало знавшего ее, как вообще платонические любовники знают своих любовниц. Животные, имеющие для своего руководства будто бы один только непогрешимый инстинкт, так же склонны к самым пагубным излишествам, как и мы грешные. Достаточно напомнить, например, обезьян, которые проводят свои досуги в самых неприличных и, несомненно, вредных для них упражнениях, а при случае напиваются вином или ромом даже до смерти. Если медведи не спились с круга, то этому причиною, может быть, не столько их непогрешимый инстинкт, сколько то обстоятельство, что никому еще не приходило в голову заводить для них кабаки с розничною продажею. Мы здесь свидетельствуем только то, что воспитание, даже в более счастливых случаях, редко предупреждает и исцеляет болезненные извращения естественных склонностей, в то же время прививая к нему множество других зол, из которых на первом плане следует поставить скуку. Естественным путем она могла бы проникнуть в психический мир ребенка только в случае болезненного притупления его впечатлительных способностей или же если бы вовсе иссяк для него всякий внешний источник впечатления. При алчности, которая свойственна каждому ребенку, жить именно в психологическом значении при его невзыскательности и неразборчивости по отношению к тем впечатлениям, которыми он стремится наполнить свою внутреннюю пустоту, и то и другое случается в очень редких и совершенно исключительных случаях.

В своей погоне за впечатлениями ребенок имеет свой внутренний регулятор, которому придает гораздо больше значения, чем всем внушениям благоразумия, преподаваемым ему в самой рассудительной форме. Внутренний регулятор этот — удовольствие или боль в области явлений исключительно нервного характера. Будучи перенесены в область высших и более сложных психических побуждений, они становятся радостью или горем.

Франциск Булье издал на тему радости и горя целую книжку, имевшую во Франции значительный успех. К сожалению, книга Булье, как и все популярные психологические работы, не имеет строго научного значения; но нравственные

вопросы представляют собою такую путаницу, что строго научные методы исследования долго еще не будут иметь возможности даже и подступить к ним. Задачею современной психологии может быть только расчистка почвы и правильная постановка вопросов. Окончательного же ответа на них мы вправе ждать только от точного знания.

«Я не стану искать, — говорит Ф. Булье (с. 33), — определения радости и горя, так как вследствие самой своей простоты они не могут быть точно определены. Все, доискивавшиеся этого определения, повторяли только на разные лады то, что всякий знает сам...»

Определения боли и горя, которые автор заимствует из медицинского словаря, сводятся на совершенно праздную игру слов и могут быть интересны только как образчики той чепухи, которою способны заниматься жрецы науки, не разражаясь при этом гомерическим смехом римских авгуров. Совершенно излишне было бы приводить здесь длинный ряд других определений радости и горя, в том числе и мнение Аристотеля, дополненное соображениями епископа Пулье и Гамильтона, которое Ф. Булье и принимает наконец, но с несколько неудобною для нас терминологиею.

Если мы обратимся к тем высшим сферам, где уже существует сознательная и целесообразная деятельность, то единственное интересное для нас определение радости и горя выяснится само собою, без особенных диалектических усилий. Нам приятно все то, что приближает нас к достижению желанной цели, и неприятно все то, что удаляет от нее. Удовольствие, радость, восторг — все это только вариации на тему приятного, точно так же как слова «боль», «неудовольствие», «горе», «печаль» и т.п. выражают собою различные степени и оттенки категории неприятного. Но дело в том, что удовольствие и боль, радость и горе встречаются точно так же и в той низшей психической области, где не может быть и речи о деятельности сознательной и целесообразной в общепринятом смысле этого слова. Ф. Булье вынужден поэтому сделать некоторую натяжку, т.е. предположить, что всякое живое существо непременно преследует определенную цель сохранения своей собственной жизни. Если бы мы не имели подобной цели, говорит он, то для нас не существовали бы ни удовольствия, ни боли, ни радости, ни горе. Мнение это он подтверждает тем, что человеку, дошедшему до того состояния, в котором ему решительно все равно, сохранить ли жизнь или утратить ее, действительно мало остается поводов к какого бы то ни было рода волнениям. Однако ж, равнодушие к жизни не уничтожает в нас способности ощущать по крайней мере физическую боль. Стоики, ставившие равнодушие к жизни за идеал нравственного совершенства, учили, правда, своих адептов презирать страдание, но презирать его еще не значит вовсе не ощущать его, а значит только силою воли побеждать это ощущение. Как бы то ни было, предположение Булье о самосохранительной цели, будто бы преследуемой всеми живыми существами, может быть принято не без оговорки, потому что иначе оно заставило бы нас принять целиком так называемую телеологическую теорию, предполагающую, будто природа творит все только с предвзятою благою целью. Теория же эта, вообще не выдерживающая строгой научной критики, в области педагогики и душевной гигиены способна дать в особенности пагубные результаты. Если удовольствие есть не что иное, как отражение в нашем сознании всякого такого движения или возбуждения, которое

непременно способствует цели сохранения нашего существования, а все, что прямо или косвенно грозит разрушением нашему организму, вызывает в нас предостерегающие или отталкивающие впечатления неудовольствия или боли, то нам ничего другого не остается делать, как только внимательно прислушиваться к проблескам радости или горя, удовольствия или боли, мелькающим в нашей душе. Но мы из горького опыта знаем, что это далеко не так. Природа вовсе не была к нам настолько внимательна, чтобы снабдить нас таким непогрешимым барометром самосохранения. Если нам вздумают возразить, что природа дала нам такой барометр, но что мы впоследствии сами утратили его, то это ни на волос не поправит дела. Где ж ее найдешь, эту природную непосредственность и непогрешимость инстинктов, которую многие животные утратили точно так же, как и мы? Бога ради, не вздумайте только предоставлять вверенного вашему попечению ребенка тому, что называют естественным развитием его природных склонностей, в надежде, что этим-то путем он и набредет на потерянный талисман. Всякий младенец, рождаясь на свет, уже несет на себе значительную долю грехов своих предков. Неразрывная пуповина наследственности и подражательности связывает его с такими отдаленными прародителями и с теми из его собратий и сограждан, которых он и в глаза никогда не видал. Робеспьер тщетно пытался гильотиною дорезаться до этого вожделенного «природного состояния», но дорезался только до термидорской реакции. В деле последовательности и слепой веры в непреложные принципы нам его, конечно, не перещеголять. Теория эмилевского воспитания, особенно у нас в России, может считаться еще новою и относительно либеральною теориею; но и она уже считает немало мучеников среди юного поколения. Да и кто дал нам право утверждать, будто цель самосохранения непременно преследуется каждым живым существом? Можно принять определение Булье и делать из него дальнейшие педагогические и душевно-гигиенические выводы, но только с условием не забывать никогда, что живое существо на ранних ступенях если и имеет какую-нибудь цель, то самую жизнь, а не сохранение своего существования, а это две вещи разные. Жить в каждую данную минуту — значит ощущать, мыслить, действовать без всякой гарантии за то, что точно так же будешь ощущать, мыслить и действовать через десять, двадцать или тридцать лет и до бесконечности. Применяя вышеупомянутое определение Франциска Булье к этому представлению о цели жизни, мы увидим, что там, где ощущения удовольствия или неудовольствия не обусловливаются никакими иными целесообразными стремлениями, они являются только отражением в нашей душе большей или меньшей интенсивности самих жизненных процессов, совершенно независимо от того, способствуют ли эти возбуждения сохранению жизненности или нет. Ребенок с жадностью бросается на сладкое только потому, что оно возбуждает известным образом одну сторону его жизненности, т.е. чувство вкуса, а вовсе не потому, что оно способствует сохранению его организма. Очень легко может оказаться, что оно даже вовсе не способствует, а вредит этому сохранению. Докажите ему, что сладкое в настоящую минуту для него вредно, что оно угрожает очень понятною ему неприятностью — болью в животе, — вы этим едва ли заставите его воздержаться от лакомства, хотя бы он и поверил вам на слово или уже был проучен несколькими предыдущими опытами. Ребенок очень часто способен понять причинную связь явлений, но он

мало интересуется будущим; грозящая неприятность вовсе не представляется ему достаточным поводом для того, чтобы отказать себе в настоящем удовольствии. Если он отказался от этого удовольствия, то вовсе не потому, что он убедился вашими доводами: он просто решился вам доставить удовольствие; поэтому-то взаимная любовь и является одним из важнейших педагогических факторов. Длинными доказательствами основательности ваших требований вы можете только раздражить ребенка и, следовательно, только уменьшите шанс на то, чтобы он ради вашего удовольствия поступился своим. Во всяком случае, единственное верное средство добиться, чтобы ребенок не поддался удовольствию, почему-нибудь вредному для него, это обратить его внимание на какой-нибудь другой разряд явлений, обещающий ему более полное или интенсивное возбуждение его жизненности. Заметим, кстати, что мы преимущественно обращаемся здесь к области педагогики, которая представляет собою одну только часть душевной гигиены, потому, во-первых, что часть эта едва ли не самая интересная по своему практическому значению, а во-вторых, потому, что примеры здесь проще и поучительнее.

Таким образом, удовольствие может быть вредным совершенно независимо от своей интенсивности и полноты. У взрослых, как и у детей, оно тем полнее, чем разностороннее и интенсивнее то возбуждение жизненности, которому оно служит специфическим отражением в нашей душе. Всякое возбуждение жизненной деятельности может служить источником удовольствия, даже обыкновенно считаемые индифферентными для нашего сознания так называемые растительные процессы: молодой и свежий организм ощущает постоянно удовольствие, когда ему вдруг дышится вольнее обыкновенного. Мы вправе заключить, что мы вообще ощущаем удовольствие при правильном действии наших легких, но только не замечаем этого удовольствия, потому что привыкли к нему. Привычка же заведомо притупляет удовольствие. При многих болезнях мы испытываем особое странное состояние, которое невозможно описать; оно не сопряжено ни с какою болью и едва ли не заключается в том только, что мы утрачиваем при нем то ощущение удовольствия, которое сопряжено с нормальным напряжением жизненности при полном здоровье. Из всех чувственных удовольствий половое удовлетворение потому всех сильнее, что оно всего сильнее возбуждает общую нервную деятельность, концентрируя ее в одном пункте и на одном мгновении. Каждая из сторон нашего бытия имеет свои удовольствия, и мы можем различать удовольствия воображения, т.е. вообще впечатлительности, удовольствия воли и удовольствия ума. Ф. Булье, придерживающийся несколько иной психологической классификации, чем та, которую мы изложили в первой статье по Фейхтерслебену, устанавливает также и другие категории удовольствий, но это не имеет для нас никакого практического значения. Разные стороны нашего бытия никогда не развиваются гармонически: одна какая-нибудь из них непременно преобладает над другою. Наблюдения над удовольствиями, которых ребенок ищет с наибольшею настойчивостью, могут служить безошибочным указанием на ту часть его существа, которая развивается за счет других. Для толкового воспитателя такие указания очень важны, так как он воспользуется ими для того, чтобы содействовать развитию отставших сторон и, таким образом, восстановить нарушенное равновесие. Путь этот, конечно, гораздо труднее, чем попытка исправлять

нравственность розгами или рассуждениями или же чем упование на благость природы, которая будто бы сама залечит порожденное ею зло; но зато он гораздо надежнее. Если ребенок, например, слишком жаден, то это означает только, что его другие внешние чувства в своем развитии отстали от вкуса. Возбуждениями зрения, слуха его легко можно отучить от излишней сосредоточенности его внимания на обжорстве и лакомствах. Едва ли возможно определить границу, на которой начинают развиваться или возникать новые стороны нашего психического бытия. Воля и разум образуются, конечно, после воображения, но зачатки их встречаются уже в очень раннем возрасте. Мы обыкновенно забываем скоро, что такие простые действия, как, например, уменье ходить, дались нам не легко, не без сильных возбуждений нашего сознания; решимость поставить ногу вперед и грузно налечь на нее всею тяжестью своего маленького тела предполагала уже в нас весьма энергическое по-своему проявление воли; расчет направления, по которому мы всего безопаснее могли подойти к манившей нас цели, требовал очень деятельного возбуждения мыслительной способности. Зато и какое же наслаждение доставлял каждый успех, вовсе не ввиду достижения какой-нибудь цели, а просто an und fur sich[i]. Ходьба, беготня, крик услаждали нашу юную душу только тем возбуждением жизненной деятельности, ценою которого они доставались нам. Обыкновенно говорят, что дикари и дети проявляют свою радость буйными, усиленными телодвижениями и криками. Это не совсем верно: они не для проявления своей радости, а для самого возбуждения ее прибегают к этим средствам. Декарт выводил философски факт своего существования из того, что он мыслит: cogito ergo sum. «Я кричу, я беснуюсь так, что каждая моя жилка трепещет, — ergo sum. Какого же еще лучшего доказательства моему существованию!» Дети и дикари хотят ощущать в каждую данную минуту свое существование и в этом ощущении имеют неисчерпаемый источник удовольствий. Числятся ли они в какой-нибудь статистической графе и как долго будут значиться в ней, до этого им решительно нет никакого дела. Смутное представление о завтрашнем дне начинает возникать только тогда, когда на сегодня уже не оказывается должного запаса возбуждений. Всякое удовольствие притупляется от повторения, а потому очень скоро и возбуждение само по себе мало-помалу перестает интересовать детский ум, начинает казаться однообразным. Для того чтобы придать ему пикантность новизны, ребенок начинает задавать своему возбуждению и действию внешние цели, в которых никогда не может быть недостатка, но которые уже вносят в прежде исключительно субъективный мир ребенка соображения объективного характера. Беготня для беготни начинает чередоваться с прогулками в лес, на мельницу или к другой любопытной цели. Стругание какой-нибудь палочки перестало интересовать; но оно еще может сделаться источником самых заманчивых волнений, если задаться целью выстругать из нее подобие лошадки или т.п. Таким образом, стихийная погоня ребенка за удовольствием незаметно приводит его в тот мир, где уже логика, техническое умение, знание являются для него необходимыми подспорьями. Не надо, однако ж, полагать, будто у порога этого мира с нами совершается какая-то радикальная метаморфоза, и детское удовольствие возбуждения для возбуждения теряет в наших глазах всякое значение. Достаточно только напомнить любовь к гимнастическим упражнениям, которую мы встречаем у многих взрослых и

порядочно развитых людей. Нужды нет до того, что мы предпринимаем эти упражнения ради сознания их полезности: удачно исполненное гимнастическое движение вызывает в нас чувство удовольствия даже и тогда, когда мы очень хорошо сознаем, что нам нет никакой надобности доводить его до артистической виртуозности. Умственная гимнастика обыкновенно еще дольше сохраняет для нас интерес, совершенно независимый от ее целесообразности. Должно заметить, что в детях способность умственных удовольствий может проявляться довольно рано и что многие из них способны приостановлять даже на продолжительные сроки свою шумную погоню за удовольствиями низшего порядка для того, чтобы ломать себе голову над разрешением какой-нибудь мудреной загадки, над игрою в карты, шашки и т.п. Только весьма нерасчетливо поступает тот, кто думает усилить природную склонность ребенка к умственным упражнениям через то, что придает им совершенно посторонний интерес выигрыша, победы в состязании над противником. Не говоря уже о том, что жизнь и помимо этих возбудительных средств изобилует стимулами, подстрекающими ребенка смотреть на своего ближнего как на соперника и показать ему при каждом удобном случае свое превосходство, но удовольствие, которое ребенок может ощущать от умственных упражнений, едва ли не единственная мерка того предела умственных напряжений, к которому способен детский мозг без ущерба для себя и для целого организма. Нельзя поручиться за то, чтобы эта мерка всегда была безошибочною; но мы не знаем иной. Во всяком же случае, неосторожно будет с нашей стороны присоединять к стимулу удовольствия, которое умственное упражнение способно доставить само по себе, еще столь мощный стимул, как честолюбие или властолюбие, который не состоит в органической связи с развитием мозга. Впрочем, в деле педагогики, как и вообще душевной гигиены, никакой благодетельный принцип не может избавить человека, руководящего своим или чужим развитием, от обязанности непрестанно наблюдать самый субъект и соразмерять свою деятельность, то возбуждающую, то умеряющую, с постоянно изменяющимися требованиями минуты. Так, наример, в данном случае мозг легко мог быть задержан в своем развитии какими-нибудь посторонними причинами, а потому для возбуждения его к нормальной деятельности кроме устранения задерживающих причин могут оказаться нужными и некоторые посторонние стимулы. Но и тут не следует забывать, что если умственное занятие не представляет для ребенка никакого удовольствия, то он неизбежно постарается заполнить этот скучный пробел своего бытия каким-нибудь совершенно не идущим к делу времяпрепровождением. Большая часть школяров, долбя по целым часам mensa, mensae, mensam, гораздо основательнее углубилась в тайны рукоблудия, чем латинской грамматики. На кого же должна пасть ответственность за эти на самом корню скошенные существования?

VII

Неприятность, боль, горе и т.п. изображают собою отрицательный полюс того же самого цикла, которого положительный полюс мы только что исследовали в

предыдущей главе. Было время, когда очень почтенные мыслители степенно и глубокомысленно рассуждали о том, горе ли должно считать отрицанием радости или наоборот. Возникали школы пессимистские, считавшие боль, горе за первичный факт, и школы оптимистские, выставлявшие удовольствие за естественный и нормальный удел человечества. И те и другие имели, конечно, свою практическую мораль; но в настоящее время все эти препирательства могут уже интересовать нас только как исторический курьез. Дело физиологов выяснить нам те условия и тот предел, за которым возбуждения приятные становятся неприятными, удовольствие переходит в боль. Относительно некоторых явлений мы уже и теперь можем сказать, что все различие заключается тут в количестве и последовательности возбуждений. Умеренный шум, например журчание ручья, звуки отдаленной музыки, хотя бы и не очень гармонической, всегда приятны. Сильный же шум может быть выносим без болезненного раздражения барабанной перепонки только при некоторых условиях, субъективных и объективных. Первые резюмируются тем настроением духа, при котором мы расположены слушать музыку; вторые заключаются в той последовательности слуховых возбуждений, которую мы называем гармониею и которая имеет свои определенные законы (контрапункт). То же следует сказать и о световых явлениях. Некоторые сочетания ярких цветов вызывают болезненное раздражение органов зрения, но то же количество световых ощущений может с удовольствием быть воспринято нашим зрением, если ощущения эти представляются нам в более гармонической последовательности. Все органы внешних чувств способны иметь свою музыку, свою гармонию, и изучение законов ее никоим образом не может считаться индифферентным для душевного и даже для телесного блага людей. Прудон говорит где-то в своих «Противоречиях», что человек нуждается в количестве пищи тем большем, чем пища эта грубее и менее приспособлена к вкусовым ощущениям вкушающего. Качественные усложнения и усовершенствования кухни обусловливают возможность экономии в количестве поглощаемой пищи. Многие из читателей, быть может, встретят не без удивления имя сурового автора «De la justice» в ряду апологистов и реабилитаторов общественного значения пресловутых французских артистов, именующих себя «шефами кухни».

Существуют целые ряды физических возбуждений, которые с нашего ведома переходят всю гамму приятности и неприятности: от легкого щекотания наших нервов через сильное удовольствие переходя последовательно в неприятное раздражение и, наконец, в острую боль. Другие же возбуждения постоянно сказываются в одной специфической форме. Исследования этих явлений вполне подлежат ведению нервной физиологии. Предел, за которым известное возбуждение перестает доставлять нам удовольствие и начинает вызывать боль, крайне различен у разных индивидуумов. Более восприимчивые организмы, дети, истерические женщины, малокровные мужчины имеют обыкновенно и самый низкий предел. Трудно, например, найти ребенка, в котором горький вкус не вызывал бы неприятных вкусовых ощущений, тогда как взрослые мужчины почти все любят горькую и жгучую пищу, приправленную кайенским перцем, горчицею и т.п. Этот крайне распространенный пример очень для нас поучителен, так как он наглядно подтверждает то, что мы выше сказали о роли удовольствия в нашей душевной экономии, т.е. что удовольствие есть ощущение жизни вообще или

одного из жизненных процессов. Доступность к вкусовым возбуждениям хронологически пробуждается в нас прежде всех других способностей этого рода. Каждый странник, появляющийся временным посетителем в гостинице под вывескою «Бренный мир» — отель для приезжающих из области небытия и отправляющихся в область бесконечности, — первым долгом считает плотно позавтракать. Очень понятно, что способность эта и притупляется раньше других, т.е. может в зрелом возрасте реагировать уже только против таких сильных возбуждений, которые болезненно раздражали ее в более свежей поре ее развития. Ощущения вкуса состоят в непосредственной связи с отправлениями желудка, а потому и подлежат разным болезненным извращениям, обусловленным не чем иным, как расстройством пищеварения. Пристрастие есть грифель, мел и т.п. совершенно не подходящие к этому назначению вещества, проявляющееся у большинства барышень при приближении половой зрелости, не имеет никакой другой причины. У многих субъектов вкусовые ощущения так грубы, что субъекты эти относятся безразлично к таким возбуждениям, которые нам представляются совершенно различными. Известно, например, что эскимосы и самоеды не отличают соли от сахара, тогда как европейские дети уже во втором месяце своего существования, а может быть, и раньше, выбрасывают изо рта соску, если ее насолить.

Боль и удовольствие, несомненно, плоды одного и того же корня. Нельзя притупить способность человека ощущать боль, не притупив в то же время и его способности ощущать удовольствие. Нам еще на каждом шагу приходится встречать, даже в серьезных ученых трактатах, предположение, будто боль придумана заботливою природою ради сохранения нашего организма. К такому заключению привело бы неизбежно и определение Франциска Булье, если бы оно было принято без всяких оговорок. Боль или горе, говорит он, есть всякое возбуждение, мешающее нормальному проявлению нашей жизненной деятельности или грозящее притуплением и разрушением ее. Так точно, как, в погоне за удовольствием, человек стихийно, роковым образом побуждается к действиям, будто бы полезным в смысле самосохранения или по крайней мере в смысле проявления жизненной энергии, так же точно, отвращаясь от боли, он отвращается ото всего, что должно считать вредным в этом же смысле. Мы уже высказали свое воззрение и на это определение удовольствия и боли, и на телеологическую теорию вообще. Конечно, во многих случаях боль предупреждает нас о каком- нибудь пагубном повреждении, случившемся в нашем организме, и заставляет нас принять меры к устранению его. Но сколько самых опасных недугов прокрадывается незаметно для нас, не давая нам никакою болью почувствовать своего появления! Вообще, между интенсивностью боли и опасностью органического повреждения, порождающего ее, не существует решительно никакого отношения. Самые жгучие и острые боли обыкновенно имеют своею причиною или вовсе безвредные, или же очень мало вредные патологические явления, если только не считать вред и боль за однородные понятия. Простой здравый смысл, считая самую боль за зло, оказывается в этом случае гораздо философичнее, чем множество философов, исписавших невесть сколько томов об этом предмете. Если некоторые скорби, духовные или телесные, и могут иногда разыграть полезную роль в общей экономии природы, то и это только показывает

нам, что не бывает худа без добра, что всякое зло только относительно. Нужно далеко простирать свое добровольное ослепление для того, чтобы предполагать, будто боль, в каком бы то ни было своем значении, способна служить естественным регулятором нашего алчного стремления к удовольствию. Человеческая природа вовсе не так гармонически устроена. Между удовольствием и болью, которую иногда должно породить неумеренное или неправильное пользование этим удовольствием, почти никогда не существует наглядной, общедоступной преемственности. Человек может очень удобно утопать в самых зловредных излишествах, вовсе даже не зная, что за них ему придется поплатиться тяжелыми огорчениями, которые постигнут его значительно позже и, следовательно, будут иметь характер мести, а вовсе не предупреждения. Можно, конечно, вообразить, что и в этом случае природа, как всякий законодатель, считает знание своих законов для каждого обязательным; что мы побуждаемся к изучению законов природы именно опасением тех зол, которыми угрожает нам невежество. Но ведь мало ли что можно сказать! Регулятором все же является знание, а не боль.

«На основании того, что приходится слышать на каждом шагу и что приходится читать в медицинских словарях, — говорит Ф.Булье, — можно бы подумать, что боли бывают различных родов, тогда как все они существенно однородны и различаются только по степени их продолжительности и интенсивности. Больной, даже ничего не знающий о причине своих страданий, различает как будто различные формы боли. Доктора имеют на этот счет богатую и в ужас приводящую номенклатуру: они различают колотье, дергание, боль стреляющую, зудящую, жгущую и т.п. Но несколько внимательное обсуждение покажет нам, что все эти эпитеты относятся не к самой боли, а к тем побочным явлениям, которых смутное сознание часто сопровождает ощущение боли. Сама по себе боль может быть только сильною или слабою, острою, т.е. кратковременною, или хроническою, общею или местною, постоянною или перемежающеюся».

Точно так же Булье отвергает с психологической точки зрения разделение удовольствий на возвышенные и низкие, на истинные и ложные. «Будет ли наше удовольствие вызвано истинною причиною или мнимою, достойно оно нас или недостойно, оно ничем существенно не отличается от всех других удовольствий, которые мы когда-нибудь ощущали или можем ощущать. Истинно всякое удовольствие, которое мы считаем за удовольствие, и до тех пор, пока длится наш обман. Как бы ни был низок тот предмет, которым мы увлекаемся, как бы ни было кратковременно причиняемое им удовольствие, какими бы оно ни искупалось болями или раскаяниями, увлечение это все же должно считать за истинное удовольствие для того, кто его ощущает». «То же самое следует сказать и о мнимых скорбях. Причины боли или горести, как и причины радости, могут быть низки, мелочны, ложны, но результат всегда один и тот же, значение этого результата для того, кто ощущает его, всегда равняется самому себе, всегда реально и серьезно». Весь вопрос в интенсивности и продолжительности того или другого чувства; продолжительность же и интенсивность их зависят не от нас. Человек может давать или не давать своего согласия на известный ряд ощущений удовольствия или боли, имеющих в его глазах недостойную или преступную причину, но возникновение этих ощущений вовсе не нуждается в его согласии для

своего проявления. Сильное возбуждение одной какой-нибудь стороны нашего организма может сделать нас совершенно нечувствительными к тому, что происходит в других его отделениях и ведомствах. Садясь за стол под влиянием какой-нибудь нравственной тревоги, человек, обыкновенно очень доступный удовольствиям обжорства и выпивки, может совершенно не замечать того, что он ест; но такое презрительное отношение к своему питанию вовсе еще нельзя считать за необходимый и постоянный признак человека, вообще сосредоточенного на нравственных или умственных интересах. У многих маньяков презрение ко всем сторонам своего существования, не находящимся в непосредственной связи с их маниею, доходит до полнейшей бесчувственности. Гризингер в своем трактате о душевных болезнях приводит несколько примеров сумасшедших, которые приятно улыбались или сидели совершенно спокойно, между тем как целая половина их тела была в огне. Один больной, облокотившись руками на раскаленную чугунную печь, склонился на нее головою и предавался глубокому мечтанию до тех пор, пока его силою не стащили оттуда, покрытого ранами, подвергавшими сильной опасности его жизнь. Стоики немедленно произвели бы его в героя, мы же лечим таких аскетов в психиатрических лечебницах. Но идеалы стоицизма и других сродных ему школ не прошли бесследно и для нас, а оставили некоторые крупицы в нашем сознании. Гармонический идеал всестороннего человеческого развития, которому поклонялись античные греки, решительно не прививается в новом мире. Временно возрожденный в Италии XVI века, он очень скоро выродился при дворе герцогов и пап, Борджиа и Медичи, и, по-видимому, надолго скомпрометировал себя в глазах всего света. К тому же мы интимнее ознакомились с природою; мы узнали, что человечество ни в какую эпоху не может считаться законченным, хотя бы только в смысле зоологического типа, но что оно постоянно видоизменяется и развивается по самым разносторонним направлениям; а это возможно не иначе как путем ежечасного нарушения гармонии. Человек, преследующий какую-нибудь сознательную, строго определенную цель, поставляется ежечасно в необходимость специализировать свой организм, заглушать в себе целый ряд таких сторон, которые для среднего или нормального человека могут быть неисчерпаемым источником удовольствий, не имеющих в себе ничего унизительного, но которые для человека, таким образом специализированного, становятся иногда непреодолимою помехою к успешной деятельности на однажды избранной им дороге. Само собою разумеется, что мы не можем в пределах этой статьи уследить за всеми такими отклонениями. Но гигиена, как душевная, так и общая, не может игнорировать этих отклонений, как потому, что они очень часто способны дать ей драгоценные указания по многим сложным вопросам психологии и медицины, так и потому еще, что таким образом специализирующиеся люди тоже не могут обойтись без указаний гигиены. Возьмем пример человека, который, решившись отдаться исключительно умственному труду, задумал бы заморить в себе все те стороны своего Я, которые своими ежечасными возбуждениями то в сторону удовольствия, то в сторону боли могли бы только отвлекать его от главной цели. При современном состоянии гигиены мы решительно не можем сказать, не только каким путем он всего легче и всего безвреднее для себя может достичь такой цели, но мы не беремся даже решить, достижима ли эта цель. Не отрицает ли она в некоторой степени сама себя? Кастрируя таким образом свой организм, не

обрекаем ли мы тем самым на извращение и ту нашу умственную деятельность, для которой мы хотим расчистить поприще? Вопросы эти имеют гораздо больше практического значения, чем обыкновенно думают. Некоторая специализация строжайшим образом предписывается для людей всеми условиями их действительной жизни. Встречал на страницах гигиенических сочинений только поучения насчет того, каким образом может быть достигнут гармонический идеал вожделенного здравия, многие открещиваются от таких поучений, понимая очень хорошо, что идеал этот слишком недоступен для них. Гигиенисты же, думая этим средством победить холодность к себе публики, обыкновенно преувеличивают вредное значение наималейших уклонений от предписываемого ими режима, они стараются запугать своих клиентов. Мы сошлемся на такого опытного врача, как, например, Нимейер, который прямо утверждает, что многие популярные сочинения, проникнутые самыми благородными стремлениями, но впадающие в крайнюю односторонность, наделали гораздо больше вреда, чем те недуги, с которыми они ратоборствуют.

VIII

Из того, что сказано было выше, читатель мог видеть, что бесконечная область психических явлений, рассматриваемых с точки зрения душевной гигиены, представляет громадный интерес для исследователя. Пока в этой области еще все темно и загадочно, но уже и то, что известно нам, сильно возбуждает нашу мысль и наводит на многие плодотворные соображения.

Останавливаясь на исследовании горя и удовольствия, мы заметили уже, что эти понятия чисто относительные в их индивидуальном значении. Что меня радует, то может другого огорчать. Для индийского факира величайшим наслаждением было исполнение его нелепого обета — пролежать на голом камне десять или пятнадцать лет, что было бы невыносимым страданием для человека, не фанатизированного до умоисступления.

Возьмем другой пример — католического духовенства, осужденного папою Гильдебрандом на безбрачие. Средний человек с большим трудом мог бы соблюсти этот обет в надлежащей чистоте даже при сочетании редко благоприятных для него условий. Но католический священник, вступающий на свое поприще в молодых летах, обставлен так, что при мало-мальски добросовестном отношении к своему обету должен заглушить в себе самые настоятельные и сильные стимулы своего организма. Раз заглушив их, уморив в себе половые побуждения, он находит в этой атрофии источник удовольствий. Но эти удовольствия часто покупаются дорогою ценою. Смиряя постоянно обуревающие его страсти, эта упорная борьба с естественными влечениями, это самооскопление накопляют в организме пациента громадный запас беспредметного возбуждения, которое как бы по наклонной плоскости роковым образом направляется именно в ту сторону, которую надлежит атрофировать или заглушить. Конечно, при большой степени силы воли этот запас можно бы было минутно направить в другую сторону и издержать его на какой-нибудь героический подвиг, на мученический акт, но современная жизнь так

сложилась, что героическим подвигам, которые могли бы служить спасительным клапаном для отвода болезненного накопления беспредметных возбуждений, в ней очень мало места; а потому счастливы еще те, кто по примеру аббата Муре в известном романе Золя схватывают кстати какую-нибудь изнурительную болезнь и успевают истощить остатки болезненного возбуждения в одном только «проступке». А между тем аббаты менее добросовестные и признающие вместе с Тартюфом, что «avec le ciel il y a des accommodements»[ii], добиваются сравнительно легко почти полного притупления своих половых побуждений; но только для этого они вынуждены дать в себе простор какой-нибудь иной, чисто животной стороне своего существования. Большая часть из них впадают в чревоугодие и приобретают чисто детскую склонность к лакомствам. Балуемые набожными барынями и монахинями, которые окружают их самою изысканною заботливостью и комфортом, эти постные эпикурейцы без усилий, без борьбы скоро действительно перестают быть мужчинами, а обращаются в каких-то жирных каплунов. Ближайшая цель, т.е. укрощение половых инстинктов, таким образом, конечно, достигнута, но достигнута ли дальнейшая и главнейшая цель, которую одну только и имел в виду Гильдебранд, предписавший безбрачие католическому духовенству только для того, чтобы иметь в своем распоряжении армию людей, не связанных никакими гражданскими и плотскими интересами, всецело преданных делу римской курии. Очевидно, эта главнейшая цель достигается подобными индивидами так же мало, как и теми более несчастными и более добросовестными из их собратий, которых погоня за недосягаемым совершенством загнала на каторгу или в сумасшедший дом.

В трактате Гризингера о душевных болезнях[iii] мы находим следующее признание злополучного католического священника, долго боровшегося с искушениями плоти и наконец попавшего в разряд умалишенных, в рубрику одержимых экзальтированною маниею (Wahnsinn). Мы полагаем, что читатель прочтет это признание с большим интересом, так как о действительном ходе и характере душевных расстройств публика вообще знает очень мало. Поэты и художники, часто эксплуатировавшие этот сюжет, который, однако ж, они сами изучали очень поверхностно, распространили в публике много превратных взглядов. Обыкновенно полагают, что мания, обусловленная расстройством половой деятельности, непременно должна принять эротический характер, что сумасшествие, вызванное суеверным страхом, примет характер демономании и т.п. В действительности же это вовсе не так; нижеследующий пример показывает нам человека, заведомо сведенного с ума половым воздержанием, но мания которого принимает героический склад.

«При посещении одного семейства, — говорит вышеупомянутый священник, — я был встречен в приемной двумя дамами. Мне вдруг показалось, что они окружены ярким, как бы электрическим светом. Я счел это тогда за дьявольское наваждение и поспешил удалиться. На некоторое время я было успокоился, но все женщины, которых я встречал в этот день, производили на меня точно такое же впечатление. На следующий день мне пришлось ехать в экипаже; вдруг мне показалось, что мы валимся в пропасть, и я стал кричать кучеру, чтобы он поддержал экипаж. Он только смеялся мне в ответ, и я чувствовал, что со мною происходит нечто необычайное. Когда я стал подъезжать к маленькому городку,

навстречу мне попались несколько женщин; все они, точно так же как и вчера, казались окруженными ослепительным светом или как бы сотканными из света. Я зашел в гостиницу; мне подали хлеба и вина, но все предметы показались мне такими странными, что я опять заподозрил дьявольское наваждение, выругал трактирщика, которого я считал сообщником дьявола, вскочил в свой экипаж и приказал везти себя домой.

Сидя в экипаже, я напрягал все усилия, чтобы дать себе отчет в том, что со мною делается. Мне вдруг вспомнились рассказы Рибаденейры об искушениях, которым отшельники подвергались в пустыне от злых духов. Мало-помалу я переполнился страшным негодованием против нечистой силы и решился объявить ей войну на смерть. Только что мелькнула во мне эта мысль о войне с нечистою силою, мне тотчас же стали припоминаться все герои классической древности, и я стал отождествлять себя с каждым из них. Воображение работало с неизъяснимою быстротою. Наконец я вообразил себя Александром Македонским; мне представилось, что я внезапно принимаю его образ, его лицо. Я выдержал сражение при Гранике, победил при Арбелах, осадил Тир и уже шел на приступ этого города... Вдруг мне представился морской берег, уставленный крестами, на которых умирали в страшных муках жители Тира, распятые по повелению моего героя. Я внезапно разочаровался и не захотел быть таким злодеем. Мое сердце переполнилось сперва негодованием и ужасом, потом глубоким страданием к этим мученикам, и припадок вдруг оборвался.

Второй припадок сделался со мною ночью, в постели. Я вообразил себя Ахиллом, потом Ахиллом и Пирром вместе. Я быстро вскочил, переполненный воинственным жаром, разобрал свою кровать и стал швырять деревянные доски в дверь. Потом я сорвал с петель самую дверь, вышел во двор, бросил ее и закричал во все горло: «Троя пала! Дворец Приама рушится!» Мои родные, ничего не замечавшие прежде, сбежались, страшно испуганные. Меня связали по рукам и ногам и уложили в отдельной комнате. Это обстоятельство вызвало во мне самом полную перемену. Я чувствовал себя упавшим с высоты величия в какой-то безысходный позор и унижение. Подавленный отчаянием, думая, что я в тюрьме, в цепях, я, однако, заснул. Через несколько минут я проснулся. Передо мною восстал древний Рим, переполненный гробницами, которые стали раскрываться. Я видел скелеты воинов, с которыми вместе было погребено оружие самого разнообразного свойства. Оно дышало ветхостью и каким-то особенным металлическим запахом, который я очень долго еще обонял, даже несколько дней спустя. Припадок шел, усиливаясь. Я был объят ужасом. Какие-то двери раскрывались со страшным шумом. Вдруг я очутился перед храмом бога войны. Внезапно я сам преобразился в какое-то чудовище, облитое кровью, скованное тяжелыми цепями. Меня мучила мысль о каком-то совершенном мною ужасном злодействе. Я долго припоминал и наконец вспомнил, что я Ахилл и варварским образом убил Гектора. Мне стало ужасно жаль его, и под влиянием этого нового ощущения жалости я быстро успокоился.

Спокойствие продолжалось довольно долго, так что родные развязали меня и нашли возможным выпустить на волю. Я ощущал при этом неописанное наслаждение; мне показалось, что вся природа, скованная до сих пор, освободилась и ликует вместе со мною. Я понял, что я должен быть не воином, а государем

мирным, поощряющим науки и искусства. Для этого надо было самому прежде ознакомиться с этими предметами. Я стал рисовать, чертил планы везде, где только было можно: на бумаге, на стенах моей комнаты, на песке. У меня обнаружилась верность глаза и рука такая, что я без помощи каких бы то ни было инструментов рисовал фигуры, поражавшие своею правильностью моих родных и знакомых. Это были люди простые, а так как я прежде никогда не рисовал, то они видели в этом внезапном проявлении таланта что-то сверхъестественное.

Припадки не возвращались, но мое обычное настроение духа было какое-то просветленное. Мои чувства стали необычайно живы, а в душе ощущалось такое величие, что я сознавал себя человеком необыкновенным. Я как будто читал в сердцах людей, с которыми мне приходилось встречаться; я угадывал иногда до мельчайших подробностей их нравственные побуждения и высказывал им это, не стесняясь ничем. Все видели, что мое положение какое-то странное, но никто не знал, что оно значит. Решились наконец призвать другого священника. Осмотрев меня несколько раз, он решил, что в меня вселился дух Пифона, тот самый, которого апостол Павел изгнал из тела одной девы... К счастию для меня, горькие истины, которые я не стеснялся высказывать своим посетителям, мало-помалу охладили интерес или любопытство соседей, и меня скоро оставили в покое...

Может показаться странным, что я вспоминаю все эти мельчайшие подробности, но мое воображение во все это время работало с такою напряженностью и с такою живостью, что все образы врезались в него, как огненные клейма. Многие из событий моей прежней жизни, которые я едва помнил до эпохи своей болезни, теперь освежились в моей памяти и как будто приблизились ко мне».

Удовольствия и скорби, боли и горести служат регуляторами нашей психической жизни в том смысле, что мы неизбежно стремимся к первым и отвращаемся от последних. В течение всего периода умственной незрелости мы даже не имеем иного, собственного внутреннего регулятора, достаточность которого можно признать только с той точки зрения, что каждая минута нашей жизни сама довлеет себе. Впрочем, наше прошлое неизбежно примешивается к нашей погоне за удовольствиями и до некоторой степени обусловливает самый характер этих удовольствий; но забота о будущем начинает играть в этом деле роль только тогда, когда разум уже настолько окреп, что становится способным принять на себя высший контроль над всею нашею деятельностью. Таким образом, весь вопрос сводится только к тому, чтобы верховный контроль разума был целесообразный и действительный.

Из всего сказанного до сих пор нельзя еще усмотреть того предела, за которым погоня за удовольствием начинает угрожать нашему душевному здоровью и где жадность к наслаждениям вступает в антагонизм с гигиеническими стремлениями.

Само в себе удовольствие не заключает решительно ничего, что бы обусловливало это перерождение, грозило бы вредом или нарушением нашему организму. Мы сошлемся на авторитет того же Гризингера. Он прямо говорит (на с. 197): «Чрезвычайно редко случается, чтобы радость, даже неумеренная, обусловливала собою умственную болезнь; сомнительно даже, чтобы это когда-

нибудь бывало. Пинель, который навсегда останется образцовым психиатром, так был убежден в этой истине, что поставил себе за правило обращаться ко всякому вновь представлявшемуся больному с вопросом: «Не было ли у вас каких-нибудь неприятностей, какой-нибудь боли, огорчений?» — и он почти всегда получал утвердительный ответ».

Таким образом, мы можем установить первое капитальное душевно-гигиеническое различие между радостью и горем, удовольствием и болью: первая никогда не сводит нас с ума; второе обусловливает 66 процентов всех случаев сумасшествия. Страх, который мы совершенно законно относим к этой же категории, участвует один в размере 9 процентов. Другие причины умственных расстройств, обусловленных одним из видов горя, по Гризингеру, суть следующие: гнев, потеря любимого существа, потеря имущества, несправедливое обвинение способны вызывать в нас горестные ощущения, опасные по своей интенсивности; обманутое честолюбие, раскаяние, ревность, несчастная любовь, домашние неприятности, жизнь в несродной умственной и нравственной среде действуют, напротив того, медленно и способны сводить нас с ума только продолжительностью своего действия. Физическая боль совершенно не принимается при этом в расчет. Но кроме умственных расстройств скорбные ощущения могут, несомненно, вызывать болезни пищеварительных органов, а, вероятно, также дыхательных органов и сердца. Следовательно, если бы даже психологам и моралистам удалось доказать нам законность и разумность горя с какой-нибудь философской точки зрения, то мы тем не менее имели бы совершенно достаточный повод стараться выкинуть его раз навсегда из нашего обихода. Как регулятор нашей жажды к наслаждениям, как указатель того предела, за которым удовольствие становится будто бы гибельным для нас, оно никуда не годится, да к тому же оно само создает зло, несравненно худшее того, которое оно будто бы призвано предупреждать.

Удовольствия, скажут нам, точно так же способны порождать душевное и телесное зло, но только не в непосредственном своем виде, а переродившись в излишество, в увлечение страстей. Мы и не отрицаем этого. Но важно установить уже тот факт, что удовольствие безвредно само по себе, между тем как скорбь губительна и без всякого перерождения. Отсюда для душевной гигиены вытекают нижеследующие обязанности:

1) выбросить из своих книжек все то, что в них говорится о благодетельном влиянии скорбей;

2) признать, что удовольствия безвредны до тех пор, пока они не превратились в пагубные излишества и увлечения страстей;

3) тщательно исследовать условия подобного превращения.

К последнему мы теперь и перейдем.

IX

Читая разглагольствования моралистов и гигиенистов о всякого рода излишествах как об одной из главнейших причин страданий, отравляющих жизнь

современного человечества, можно подумать, будто наше общество все поголовно состоит из каких-то Эпикуров да Лукуллов, которых единственная беда заключается в том, что они не умеют умеренно пользоваться щедро расточаемыми им благами. Решительно недоумеваешь, куда же девается при этом Мальтус с своими прогрессиями и всякие статистики, красноречиво доказывающие, что благ этих не припасено не то что для излишнего, а хотя бы для самого умеренного пользования громадного большинства званых, но не попавших на пир. Д-р Макс Симон в своей «Гигиене ума» говорит, что средняя продолжительность жизни для всех органических существ должна быть в пять раз больше, чем период их роста; на этом основании он предполагает, что люди непременно жили бы по сто лет, если бы они сами не сокращали преднамеренно этого срока всякими злоупотреблениями и излишествами. Большая часть имеющихся у нас под рукою популярно-гигиенических трактатов высказываются более или менее определенно в том же самом духе. Мнение это, без всякого сомнения, преувеличено, и, вероятно, сознательно преувеличено, так как нельзя же предполагать, чтобы авторы всех этих почтенных сочинений были так мало знакомы с действительным строем современной жизни, равно склонным порождать страдания и вследствие лишений, и вследствие излишества. Их преувеличениями руководит, конечно, благая мысль удержать человечество от пагубного извращения своих стремлений к наслаждению резким изображением грозящих ему за это последствий. Однако пора уже было бы убедиться в несостоятельности подобных приемов. Запугиванием в деле педагогики, как и душевной гигиены вообще, достигаются результаты, нередко диаметрально противоположные тем, которые имелись в виду благонамеренными просветителями и руководителями. Чего не предпринималось в этом смысле для того, например, чтобы отвратить человечество от пьянства! Один американский пропагандист трезвости, чтобы нагляднее повлиять на воображение своих слушателей, отпечатал в большом количестве лубочные картины, изображающие яркими красками повреждения, производимые в пищеварительных органах неумеренным потреблением алкоголя, и развозил эти изображения по ярмаркам и площадям Соединенных Штатов. Толпа глазела, слушала и расходилась по кабакам тушить неприятные впечатления обильными возлияниями джина и виски. А вот в Англии, например, отмена хлебных законов, понизившая цены на хлеб, очень быстро повлияла на уменьшение пьянства самым осязательным образом. При существовании хлебных законов, по свидетельству Галлорана, больше $^1/_5$ всего числа пансионеров Бедлама[iv] загонялось в эту психиатрическую больницу пьянством, в конце же 40-х годов Вебстер и Морисон нашли, что отношение это уменьшилось уже до $^1/_8$ и даже до $^1/_9$. Пример этот в высшей степени красноречив и разносторонне назидателен; но на первый раз мы хотим извлечь из него только то несомненное указание, что прием преувеличений и запугиваний в деле пьянства и других излишеств может считаться совершенно безвредным только в таком случае, если пациент уже совершенно спился с круга и не может быть спасен никакими средствами. Такие опытные специалисты в деле исцеления душевных и телесных недугов, как Гризингер и Нимейер, утверждают без обиняков, что все эти благонамеренные гигиенические трактаты только ухудшают дело тем, что к страданиям от излишеств, и без того уже трудно излечимым, присоединяют мучения страха, истощающие последние силы страдальцев. Этот же самый пример

показывает нам, между прочим, еще и то, как шатко наши руководители в деле душевной гигиены стоят на философской и психологической почве, смешивая страдания от бедности со страданиями от излишеств. Так, в деле пьянства, т.е. одного из наиболее распространенных и совершенно бескорыстных пороков, психологические мотивы играют в большей части случаев совершенно ничтожную роль; алкоголь вводится в организм значительной частью даже записных пьяниц не непременно с целью доставить своему потребителю приятное возбуждение или забвение гнетущей действительности, а только как суррогат пищи, так как он имеет способность замедлять органическую метаморфозу и, следовательно, уменьшать действительную потребность питания. Этим совершенно объясняется распространение пьянства преимущественно в беднейших слоях народонаселения. Для того чтобы уяснить себе роль нравственных или психологических факторов в деле сохранения единичного или коллективного здоровья, мы должны прежде всего научиться строго различать страдания вследствие излишеств от страданий вследствие экономической недостаточности. Если я страдаю от того, что мне нечего есть, то этому уже не поможет никакая нравственная гигиена, никакая педагогика, которым, однако ж, предстоит еще очень широкая и благодетельная роль в деле исцеления как индивидуальных, так и общественных недугов. До сих пор, надо сознаться, гигиенистами и моралистами сделано очень мало для установления категорического различия между этими двумя чуть не радикально противоположными или вовсе разнородными источниками наших страданий. Вся полемика против пьянства может служить разительным примером того, каким образом страдания от излишества и от нищеты сваливаются без разбора в одну рубрику, чем и порождается на каждом шагу множество самых печальных недоразумений. Психологическая точка зрения значительнейшего большинства практических моралистов и гигиенистов очень проста: они твердо убеждены, будто душевное и телесное здоровье приютилось только в скромном домике Алексея Степановича Молчалива на Песках или в ином подобном приюте умеренности и аккуратности, где нет ни радости, ни горя, где возможно одно только безмятежное копчение небес, обставленное более или менее комфортабельно и благообразно. Нежелание человечества мириться с этими мирными идеалами, которые, быть может, и обещают некоторое удлинение средней продолжительности человеческой жизни, но только под условием обесцвечивания самой жизни, они, не стесняясь, приписывают невежеству и постыдному равнодушию людей к вопросам гигиены. В их филиппиках против этого поголовного невежества и равнодушия, бесспорно, заключается некоторая доля основательности; но несколько поучительными для нас эти сетования становятся только тогда, когда они направляются против систематического пренебрежения так называемых низших, материальных потребностей и нужд, которое лежит в основе ходячих спиритуалистических мировоззрений. В течение слишком долгих веков мы привыкли предполагать какой-то антагонизм между духом и телом. Мы даже создавали этот антагонизм там, где его не находили в действительности. Мы ставили идеалом своего умственного и нравственного развития не изучение законов, управляющих человеческою жизнью и развитием, а полнейшее подчинение законнейших требований нашей физической природы часто неопределенным и всегда ненаучно сформулированным спиритуалистическим побуждениям. Между самими органами

нашего тела мы придумывали ни на чем не основанную иерархию, называя почему-то одни из них высшими, другие же низшими, позорными, подлежащими по крайней мере умолчанию, если не конечному истреблению. В особенности же потребности питания и размножения, т.е. личного и видового самосохранения, казались нам какими-то по преимуществу пошлыми, отверженными потребностями, с которыми по слабости человеческой природы нам иногда дозволялось входить в сделки и компромиссы, но о благоустройстве которых со строго нравственной точки зрения не могло быть и речи. Мы переносили целиком в нашу до крайности усложненную и утонченную цивилизацию воззрения, заимствованные у полудиких пастушеских народов Западной Азии, что в особенности резко бросается в глаза по вопросу о деторождении и о женщине вообще. Напрасно христианство своею философскою и этическою стороною приучало нас видеть в женщине равноправную подругу человека; традиционный иудаизм брал верх над этим гуманным воззрением, и женщина оставалась в наших глазах дьявольским и греховным сосудом, так как мы все-таки не умели смотреть на нее иначе, как с точки зрения грубых плотских побуждений, а плоть, даже и в более возвышенных и чистых своих проявлениях, считалась отверженною...

При таком скоплении неблагоприятных антецедентов легко понять, что, когда подорвалось наше доверие к спиритуалистическим и фанатическим идеалам прошлого, в ходящих мировоззрениях оказался такой хаос, на распутание и приведение в порядок которого потребуется, конечно, немало времени. В этом отношении сочинения, даже чересчур очевидно односторонние и не выдерживающие беспристрастной научной критики, могут оказать нам существенные услуги. Этим объясняется успех, который имели в конце прошлого и в первой половине нынешнего столетия доктрины, имевшие своею основою предполагаемое совершенство и гармоничность человеческой природы во всей ее сложности и полноте. С легкой руки Руссо свободное следование по пути, указываемому естественными влечениями и склонностями человека, становится девизом, лозунгом всей новейшей политики, педагогики, нравственности. Здесь мы не имеем достаточно места и времени для того, чтобы обозреть хотя бы самым поверхностным образом великое интеллектуальное движение, вызванное в просвещенном мире этим односторонним учением, которого практическое значение было громадно, несмотря на его теоретическую несостоятельность. По рецепту Эмиля нам, конечно, не удастся воспитать ни добродетельного гражданина, ни даже сколько-нибудь здорового и порядочного человека. Но под влиянием этого Эмиля Песталоцци создал первую педагогическую теорию, не основанную на систематическом и бессердечном избиении младенцев; и все новейшие педагогические теории, включая в их число и спенсеровскую, встретившую у нас так недавно еще всеобщее сочувствие, являются только дальнейшими вариациями на эту тему. То же было и во всех других отраслях нашей деятельности, состоящих в непосредственной зависимости с основными воззрениями на человеческую природу. В области исключительно нравственной сенсимонисты и фурьеристы сделали своею специальною задачею искупление плоти. При всем коренном различии воззрений и пропагандистских приемов этих двух школ обе они твердо стоят на признании законности как физических, так и нравственных требований человеческой природы. Первые очень скоро выступили

на дорогу мистического сектаторства и с отцом Анфантеном скомпрометировали себя в глазах общественного мнения. Вторые с Виктором Консидераном вдались в своего рода политиканство и не сумели развить целостного и последовательного миросозерцания из гениальных указаний замечательного мыслителя. В особенности же та сторона учения Фурье, которую он сам называл attraction passionnelle[v] и которая едва ли не всего более заключает гениальных намеков, не породила до сих пор ничего, кроме очень талантливого, но довольно бессвязного ряда романов Эжена Сю, озаглавленного «Семь смертных грехов» и имеющего целью показать, что самые отъявленные пороки людей порочны не сами по себе, а только по своему соотношению к целой совокупности самых разнообразных условий; при известном же изменении этих условий будто бы порочные склонности людей легко могут стать опорою личного и коллективного благоденствия, а следовательно, сделаться и добродетелью.

Таким образом, это новое направление в области психических исследований является в общем итоге еще очень незаконченным, плохо дисциплинированным, разбросанным; но оно тем не менее дало уже нам немало весьма ценных положительных результатов. Оно показало нам не только то, что между плотью и духом, физическим благосостоянием и нравственностью не существует никакого непримиримого противоречия или антагонизма, но также и то, что нравственность в самом чистом и высшем значении этого слова легко примирима в принципе с личным эгоизмом каждого; что ближайшим идеалом порядочного человека должно быть не умерщвление своего Я в жертву каким бы то ни было кумирам, а чисто эгоистическое стремление жить во всю ширь своей телесной и нравственной природы, давая и другим возможность жить такою же широкою и привольною жизнью. Чтобы утилизировать личный эгоизм каждого, чтобы побудить нас видеть в своем ближнем не врагов и опасных соперников, а сообщников и союзников в трудной житейской борьбе, нет никакой надобности прибегать к подавляющим фикциям какого бы то ни было закала: общежитие для человека является со всевозможных точек зрения такою благодетельною и вожделенною необходимостью, что для охранения себя не нуждается ни в каких принудительных мерах. «Я хочу показать людям, — говорит французский доктор Бержере в предисловии к своему очень посредственному сочинению о «Страстях с точки зрения моральной и социальной гигиены», — что добродетель необходима им для охранения их собственного здоровья, что гигиена и нравственность ведут нас к одной и той же цели, что высокие истины, предписываемые нам религиею под страхом наказания в будущей жизни, обязательны для каждого под страхом и в этой жизни тяжелых нравственных бед и физических недугов...» Для того чтобы из уст дюжинного популяризатора нам приходилось слышать подобные поучения, необходимо было, чтобы мысль, вдохновлявшая собою Руссо, Фурье и множество других первоклассных светил антитрансцендентального миросозерцания, действительно вошла в плоть и кровь по крайней мере передовой части современного человечества. Правда, на это потребовалось немало труда и времени: вся так называемая нравственно-философская литература в течение более ста лет сводится главнейшим образом к полемике приверженцев догматической или репрессивной нравственности с провозвестниками нравственности антропологической или либеральной. Победа, как мы только что сказали, осталась

решительно за последними. Но этим дело не могло кончиться, и теперь весьма естественно возникает вопрос: что же дальше? Новейшее человечество слишком изверилось не только в старые кумиры, но и в кумирные приемы и принципы вообще. У современных молодых поколений нет умственных и нравственных заклепок, которые бы мешали им понять и принять что бы то ни было: перед ними открытое поле, пустота, а в них самих такое отвращение от этой пустоты, что оно заставляет их судорожно метаться во все стороны, хватаясь порою даже за такие столпы и основы, которые они сами расшатывали сознательно. Время полемики, по крайней мере в этом деле, прошло, и наступило время новых положительных построений. Лучшей эпохи для создания какой-нибудь новой теории нравственности и общежития невозможно и придумать. Все твердо убеждены, что зло существует только в силу нашего неумения устроить мало-мальски удовлетворительно как личное, так и коллективное благоденствие. Борцы за отжившую догматическую или репрессивную мораль желчным раздражением, вызванным в них сознанием своих неудач, сами подрывают тот остаток доверия, которое могла бы заслужить им их часто весьма почтенная эрудиция.

Но на поверку оказывается, что и защитники гуманных и либеральных начал как будто застигнуты врасплох или сбиты с толку своею победою. Они были превосходно вооружены для борьбы. Против схоластики они выставляли страстную, живую мысль; против очерствелых догматов и мертвых призраков они были крепки святою верою в непогрешимость природы, в прирожденную доброту человека. Этой мысли, этой веры было больше чем достаточно для того, чтобы расчистить поле и загнать в архивы и музеи отжившие призраки, крикливо и риторически отстаивавшие свои мнимые исторические права. Но победа гуманистов не дает еще готовых руководящих начал для положительных построений в будущем. Лучшие из победителей сами сознают это и потому смущены. «Все прекрасно, выходя из рук природы, — стыдливо лепечут они, — но все искажается и извращается деятельностью человека». Так действительно формулировалась некогда их вера, доставившая им победу в упорной борьбе. Но с тех пор уж много утекло и крови и воды. Новому времени нужны новые формулы. Мы слишком близко подошли к роковым задачам и не можем уже довольствоваться одними отдаленными намеками и указаниями. Нам нужны прочные, выдерживающие строгую скептическую критику руководящие начала, а их не дает нам ни тяжеловесный утилитаризм Милля, ни изящно ученая болтовня Герберта Спенсера, ни глубоко продуманный дарвинизм в применении к вопросам общежития и нравственности. Либеральная теория laissez-faire, laissez passer[vi] в области этики приводит к тем же недоразумениям и недомолвкам, как и в области политической экономии, а потому и встречает себе очень мало сочувствия. Вера в непогрешимость природы, в естественную добродетель человечества кажется нам принадлежащею к разряду тех же самых призраков и фикций, с которыми мы так недавно еще закончили томительную борьбу, а потому нам неприятно встречать ее в области новой, уже не догматической и не мистической, а рациональной и положительной морали. Уже и теперь ученые эмбриологи и физиологи наносят этой пламенной вере в прирожденное будто бы совершенство человеческого естества тяжелые удары, указывая нам на каждом шагу, что человек, даже с зоологической точки зрения, не может считаться за уравновешенный и

законченный организм, что он уже в самом раннем возрасте заключает в себе анатомические, так сказать, зачатки всякого рода противоречий.

Впрочем, уже a priori не трудно было усмотреть, что вожделенное равновесие, к которому роковым образом стремятся человечество и человек, до тех пор пока они еще не окончательно изжились и не утратили способности стремиться к чему бы то ни было, не может являться простою, элементарною данною: иначе оно и не нарушалось бы никогда. Предположение, будто какая бы то ни было искусственность, цивилизация совратили современное человечество с его естественного пути, является до крайности шатким и детским. Где же тот предел, за которым кончается естественность и начинается искусственность? Почему, наконец, современная цивилизация со всеми ее чересчур очевидными противоречиями и невзгодами, с ее бессердечною, хотя и замаскированною, антропофагиею является продуктом менее естественным, чем какая угодно пастораль? Со всеми этими иллюзиями уже давно бы пора покончить свободному антропологическому миросозерцанию, если приверженцы его не хотят сами дать своим противникам оружие против себя. Вся наша беда заключается в том, что мы очень еще мало знаем, как следует созидать истинное благо и цивилизацию; беда в том, что наша деятельность на этом поприще является грубо эмпирическою и мы рядом с очень ценными продуктами ежеминутно создаем и всевозможную гниль и чепуху только потому, что творим в совершенных потемках. «Шел в комнату — попал в другую» есть поголовное и повсеместное явление в деле исторического творчества, как это блистательно, хотя и слишком метафизически, доказал Прудон в своей «Системе экономических противоречий».

Природа, равнодушная к нашим радостям и страданиям, не гарантирует нам требуемого ни физического, ни нравственного равновесия элементов нашего бытия, да и не могла бы гарантировать его уже по тому одному, что идеалы этого равновесия по самому своему существу крайне скоропреходящи и кратковременны. То, к чему с тяжелыми лишениями и жертвами стремятся неудержимо и пламенно лучшие и благороднейшие из нас, покажется смешною забавою или пагубным заблуждением нашим, может быть, даже и не очень отдаленным потомкам. Вот почему созерцательность и объективное изучение законов природы никогда не наполняло и не может всецело наполнить собою здорового и разностороннего человеческого существования. Если можно указать человеку или человечеству вообще какое-нибудь призвание, которое стояло бы выше или по крайней мере вне сектаторских разногласий и систематической условности философских и политических школ, то призвание это заключается в том, чтобы быть не пассивными созерцателями, а деятельными работниками в этой всесветной лаборатории, где вечно и непрестанно творится многообразное новое, быть сознательными бойцами в этой неутомимой борьбе, которая и помимо нашего сознания, нашей воли непременно вовлечет нас в себя, обращал в слепое орудие того, кто не хочет или не может быть ясновидящим строителем. Выше мы уже имели случай сказать, что такое сознательное и деятельное участие в житейской борьбе составляет один из необходимейших элементов душевного здоровья каждого. Без сознательности самое деятельное человеческое существование роковым образом обращается в какую-то тревожную и мучительную толчею. Без деятельности жизнь наша затягивается тою плесенью бесцельности и скуки, при

которой уже не может быть и речи о здоровье. Все это мы своевременно подкрепили цитатами из Фейхтерслебена. Здесь же нас интересует совершенно иная сторона того же нравственно-гигиенического вопроса, к которой мы теперь и перейдем.

X

Для человека, не замаринованного в уксусе какого-нибудь доктринаризма, нет ничего естественнее, как бороться со злом или с тем, что он считает злом. Заметим, кстати, что противники наших воззрений не сбили бы нас ни на волос с этой исходной точки, даже если бы им удалось доказать, что стремление это вовсе не универсальное, что существуют люди очень почтенные, которые превосходно умеют мириться со злом, в особенности же, когда зло это по какому-нибудь случайному сцеплению обстоятельств не сказывается для них самих чувствительными страданиями. Мы ничего не имеем против того, чтобы нравственная патология, или тератология, занималась тщательным исследованием подобных субъектов; но нам до них нет дела, так как мы твердо уверены в том, что люди, составляющие противоположность этим чудакам, всегда и повсюду найдутся в достаточном количестве для того, чтобы слова наши не уподобились зерну, бросаемому на каменистую почву. Если и при существовании повсюду достаточного количества добровольцев, всегда готовых ополчиться на войну против зла, зло тем не менее еще не исчезло с лица Земли, то это происходит единственно оттого, что одной доброй воли, не соединенной с достаточным знанием и объединением борющихся сил, еще слишком мало для обеспечения успеха. То новое этическое воззрение, которое мы выше назвали антропологическим или гуманно-нравственным, в противоположность догматическим или репрессивно-нравственным доктринам (способным облекаться в крайне разнообразные формы), дорого нам, несмотря на все свои противоречия, именно потому, что оно отрицает возможность и законность примирения со злом и открывает широкий простор всем силам, честно ополчающимся на его истребление.

Но что такое зло и какими путями прокрадывается оно в наше личное и коллективное существование? Этот проклятый вопрос стар, как и самый мир божий. Сотни тысяч умов трудились в разных концах нашей бедной планеты над его разрешением, и, быть может, столько же тысяч томов, или и того больше, написаны на всевозможных языках в видах его разрешения. А между тем от достоверного, т.е. научного, ответа на этот вопрос мы едва ли не так же далеки, как и допотопные мудрецы, гвоздеобразными буквами писавшие об Ормузде и Аримане[vii]. Это происходит столько же оттого, что мы привыкли к науке обращаться за чем хотите, но только не за разрешением самых основных и существенных житейских вопросов, сколько и оттого, что сама наука спокон веку интересовалась решительно всем — и светилами небесными, и песками морскими, — но только не тем, от чего ближайшим, теснейшим образом зависит благоденствие и счастье отдельных людей и всего человечества. Честь сближения науки с жизнью принадлежит исключительно новейшему времени, а потому теперь мы больше, чем когда-нибудь, вправе ожидать, что от этого вожделенного союза

родится наконец плод, способный обновить жаждущее обновления человечество. Это-то и будет то чудо из чудес, которое предвещал и предугадывал Прудон во многих своих сочинениях, но которого он не мог ни усмотреть хотя бы духовным оком, ни сформулировать сколько-нибудь осязательным образом, так как он сам принадлежит будущему только стороною своих нравственных и общественных стремлений, приемами же своих исследований весь он погребен в прошедшем.

Читатель, конечно, не ждет, чтобы в беглых журнальных заметках мы стали пытаться решить этот капитальный вопрос. К тому же мы достаточно предупредили его, что не считаем даже возможным в настоящее время достоверный научный ответ, т.е. такой, который один способен удовлетворить скептицизм людей, переживших борьбу догматизма с гуманностью. Наши стремления, наша задача гораздо скромнее: как газетный корреспондент на войне, мы даем только отчет о положении дел и не можем вносить в наши реляции побед, еще не одержанных в самой действительности.

Поставленный выше вопрос слишком всеобъемлющ, слишком широк. Решившись проследить его в узкой душевно-гигиенической сфере, мы избираем именно тот укромный уголок, где вопрос этот является перед нами в своей наивозможной простоте, не будучи усложнен никакими посторонними примесями. В мире субъективном зло принимает крайне определенную, не подлежащую оспариванию форму смерти, болезни, преступления, нищеты — одним словом, всего того, что разбивает и отравляет человеческое существование. Всего этого, по крайней мере для себя, не хочет ни один человек, и в этой односторонней и узкой колее мы никоим образом не можем заподозрить его в предумышленном сообщничестве со злом. Но нищета и слишком многие болезни| являются извне. Когда мы видим, что они одолевают человека, то мы еще вовсе не вправе заключать, будто человек в этом случае не борется со злом всеми своими силами; быть может, он только слабый боец или же борьба обставлена слишком невыгодными для него посторонними условиями. Потому-то мы тщательно устраняем из нашего обзора все подобные явления. На страницах этих очерков нас интересует только то зло, которому человек с непонятною для нас жадностью сам стремится навстречу, в то же время отвращаясь от него всеми силами своей души. Такой-то именно своеобразный характер представляют страдания от излишеств, к сожалению весьма распространенные во всех человеческих обществах и на всех ступенях интеллектуального и экономического развития. Теперь читатель легко поймет, почему для нас было важно с первых же строк тщательно отделить эту категорию от всех других, в особенности от столь сродной с нею категории страданий по недостаточности. На нет и суда нет; только там, где из имеющихся в моем распоряжении благих или индифферентных элементов я без всякой надобности, без всякого заметного на первый взгляд постороннего побуждения создаю свое собственное зло, я могу подлежать суду душевно-гигиенических экспертов. Здесь тщательно следует устранить еще и всю ту обильную долю зла, которая творится по неведению роковой связи причины со следствием. Природа, как мы уже много раз замечали, вовсе не думала ставить неприятность, боль (т.е. первобытнейшие с психологической точки зрения отражения зла в сознании) в виде блюстителей и охранителей ее ненарушимых порядков. Нам важно только то зло, при котором пациент никоим образом не может привести в свое оправдание

оговорки неведения. Все требуемые условия как нельзя лучше соединены в так называемых излишествах, которым обыкновенно посвящается значительнейшая часть как гигиенических вообще, так и душевно-гигиенических трактатов. Большинство пьяниц, конечно, не сумеют нарисовать картины повреждений, производимых в их органах неумеренным потреблением алкоголя, но только очень немногие из них не знают наперед той печальной судьбы, которую они готовят себе; и нередко неизлечимость запоя обусловливается в значительной степени мучениями раскаяния и страха, которых пациент не в силах уже выносить, которые он тем стремительнее топит в вине. О развратниках Гризингер прямо говорит (на с. 206 своего «Трактата о душевных болезнях»[viii]): «Кроме извержения семени и прямого действия, оказываемого на головной и спинной мозг почти постоянно возбужденным состоянием половых органов, половые излишества (особенно онанизм) должны влиять на умственные способности еще более пагубным образом и еще непосредственнее ведут к сумасшествию. Эта непрерывная борьба со склонностью, которой пациент не в силах противостоять, этот скрытый антагонизм стыда, раскаяния и благой решимости, судя по признанию некоторых пациентов, кажутся нам еще более гибельными, чем самый акт».

Конечно, мы вправе были сказать, что вопрос о страданиях от излишества является с интересующей нас точки зрения капитальнейшим вопросом душевной гигиены. К сожалению, он принадлежит вместе с тем и к числу наименее расследованных ее вопросов. Большая часть известных нам авторов не дают себе даже труда установить отличительные признаки этой, столь характерной категории. Руководимые предвзятою мыслью, что мещанское счастье, золотая средина есть единственный мирный приют, в котором утлая житейская ладья может отдохнуть от всяких волнений и бурь, они без строгого разбора сваливают в этот удобный отдел излишеств все то, чем личная жизнь стремится выделиться из табунной заурядности. Каждое выдающееся над средним уровнем поголовного безразличия человеческое стремление на их языке называется страстью и как таковая обрекается безапелляционному осуждению и истреблению. Дидактический вывод почти всех их один: «Единственная роль страстей в нравственной экономии — порождать излишества, которые гибельно действуют на организм». Затем следует бесконечный ряд анекдотов, будто бы подтверждающих этот приговор, который с молчалинской точки зрения вовсе не требует подтверждения, а со всех других — нуждается прежде всего в проверке, отнюдь не анекдотической. Как на любопытный образчик такого отношения психологов-гигиенистов к своему предмету мы можем указать на только что вышедшую книгу д-ра Бержере, директора госпиталя в Арбуа, из предисловия к которой мы привели уже выше несколько строк и которая свою психологическую бессодержательность прикрывает заманчивым заглавием и медицинским дипломом автора. Более методический Фонсагрив в своих «Семейных беседах о гигиене» делит страсти на три категории: *инстинктивные, аффективные и умственные*, между которыми он установляет легко понятную иерархию, но заканчивает свою краткую экскурсию в область теоретической психологии двустишием Лафонтена

De tous les animaux 1'homme a le plus de pente
A se porter dedans 1'exces[ix]

и желчным рассуждением Монтеня об умеренности, которая, по мнению самого Фонсагрива, есть «душа здоровья — и нравственного и физического». Затем он прямо переходит к обзору противогигиенических проявлений страстей, т.е. излишеств, подрывающих жизнь и благосостояние современного человечества.

Почти в том же смысле высказывается и Фейхтерслебен, от которого мы, однако ж, вправе были бы ожидать более обстоятельного исследования интересующего нас вопроса, так как он не касается частностей, а держится исключительно в сфере обобщений и руководящих начал. Приговор его над страстями несколько мягче; он не порицает их огулом, но признает вместе с Вольтером, что страсти суть «ветры, надувающие паруса житейской ладьи». Вредными и предосудительными страсти, по его мнению, становятся только тогда, когда они из легких ветров превращаются в грозные бури. Но в силу каких законов совершается это пагубное превращение? Фейхтерслебен так же мало способен уяснить нам этот вопрос, как и все остальные, помянутые на этих страницах целители и врачи страждущего человеческого духа. Он, однако ж, пытается установить некоторый предел, за которым, по его мнению, кончается нормальная или безвредная роль страстей и начинается гибельная, патологическая их деятельность. Страсти необходимы и благодетельны для нашего душевного здоровья, говорит он, до тех пор, пока они находятся в активном состоянии; но они становятся разрушителями личного и коллективного благосостояния, т.е. перерождаются в зло, как скоро переходят в состояние пассивное. Но о каком активном или пассивном состоянии здесь идет речь, этот почтенный автор не разъясняет нам хоть сколько-нибудь удовлетворительным образом. Короче говоря, по вопросу об излишествах и о страстях в душевно-гигиенических трактатах мы не находим ничего, кроме недоговорок и недоразумений. Все авторы единодушно согласны в том, что зло в сфере нравственно-гигиенической проявляется в форме излишества; излишество же в свою очередь есть продукт страстей. Но тут уже начинаются очень существенные разногласия: по мнению одних, страсть есть сама по себе не что иное, как психологический стимул к вредным излишествам; по мнению других — страсть представляется чем-то безвредным по сущности, но способным к вредным патологическим перерождениям. Первые вполне должны быть отнесены к приверженцам старой репрессивной морали, предполагающей, что требуемое равновесие в нравственной экономии человека способно быть установляемо и поддерживаемо только при помощи внешних или посторонних дисциплинарных средств; перенося их воззрения в область педагогики, общественной этики и политики, мы вынуждены будем признать законность наказаний, догматики и охранительных цетрализационных учреждений. Вторые не имеют смелости открыто примкнуть к либеральному учению Фурье о законности и благодетельности страстей, а следовательно, и вообще к системе нравственности, основанной на одних гигиенических, гуманитарных началах. Они остаются в бессистемном и совершенно бесплодном эклектизме, отговариваясь латинскими и старофранцузскими афоризмами о благодеяниях умеренности от необходимости определительно высказаться насчет того, лежат ли источники зла в самой человеческой природе и способны ли они быть вытравлены из нее без содействия каких бы то ни было посторонних регулирующих средств, одною разумною

гигиеною. И те и другие по самому вопросу о страстях остаются равно на почве схоластической психологии, т.е. считают страсти за какие-то специфические способности души, за элементарные психологические данные. Поэтому страницы их переполнены цитатами из Мальбранша, Боссюэ, Декарта и т.п. Из числа этих почтенных мыслителей доброго старого времени последний, т.е. Декарт, всего больше трудился над страстями, которые он считал за определенные свойства человеческого духа и как таковые старательно стремился внести их все в особенный список, в который включил чуть не половину всех слов, заключающихся во французском языке. «Читая его, — замечает очень остроумно один французский писатель, — можно подумать, что в нем самом сильно была развита страсть к насмешке и что он дает ей удовлетворение на счет читателя». (A m ë d ë S i m o n i n. Traite de psychologie, Paris, 1876, p. 6)[x]. Декарт, очевидно, был прав в одном смысле, так как едва ли есть такой вздор, который не способен бы был стать предметом человеческой страсти; страсть же во всех своих проявлениях тождественна, и нравственно-гигиеническая ее роль совершенно независима от предмета, на который она направлена. Пьяница любит свою бутылку, как Ромео любит Джульетту. Честолюбивый московский купец, задавшийся целью угостить двух генералов за своим столом, переживает те же душевные волнения, которые переживал Юлий Цезарь, и также способен пасть жертвою своего честолюбия. Здесь мы должны были бы повторить все то, что уже было говорено во второй статье по поводу удовольствия и горя. Можно, конечно, классифицировать страсти, установлять между ними своего рода иерархию, провозглашать возвышенными одни из них и подлыми другие. По все такие подразделения будут непременно исходить из посторонних источников и с областью нравственной гигиены могут иметь только очень мало точек соприкосновения. Есть страсти более распространенные: любовь, ревность, ненависть, скупость, честолюбие и т.п. обуревают собою сотни тысяч человеческих существ во всех уголках земного шара; и есть страсти более исключительные, индивидуальные, являющиеся почти что идиосинкразиями. Но до всего этого нам очень мало дела, так как все могущие возникнуть по этому поводу соображения способны мало пролить света на вопрос о возникновении и о значении зла в нравственном мире человека. Мы уже заметили, что один и тот же человек может быть провозглашен героем или преступником, гением или сумасшедшим смотря по внешней обстановке своей деятельности. Мы не имеем определенной мерки для оценки нормального человека. Гениальность и безумие, геройство и изуверство равно выделяются над уровнем золотой средины, в котором большинство гигиенистов ищет свои критериумы здорового или правильного развития, а потому явления эти признаются ими за крайне родственные, если не за тождественные вполне. Можно быть Колумбом и не открыть ни одной Америки только потому, что обе существующие уже открыты, а третью невозможно изобрести никакою гениальностью. Колумб для экспедиции, на которой он сосредоточил всю свою страсть, нуждался во флоте и был, конечно, глубоко несчастлив, пока ему его не давали. Но причина его страдания в этом случае лежала не в нем самом, и, следовательно, подобный пример никоим образом не может быть отнесен к разряду тех добровольных страданий, которым одним мы хотим посвятить этот этюд. Вообще говоря, страсть в том значении этого слова, в котором его понимал Декарт

и в котором слово это и доныне иногда употребляется в разговорном языке, способна принимать самые разнообразные формы, порождать самые противоположные последствия — то счастливые, то горестные, то доблестные, то позорные, — а следовательно, и ратовать против нее, душить ее в себе до сих пор еще не усматривается достаточного основания.

Но для нас все еще остается темным и нерасследованным вопрос, откуда же берется страсть. Какие общие элементарные причины заставляют одного человека сосредоточивать всю свою жизнь на какой-нибудь бубновой двойке, на глазах прекрасной Дульсинеи, на бутылке вина или на каком угодно явлении, не имеющем в глазах простых смертных решительно никакого значения, но в глазах субъекта, одержимого данною страстью, принимающем вдруг чудовищные размеры, заслоняющие собою целый мир? В глазах Декарта и всех психологов старых школ вопросы эти разрешались чрезвычайно легко и просто: данная страсть являлась как бы вложенною в душу субъекта откуда-то извне и вовсе не подлежащею дальнейшему анализу и рассмотрению. Обладающему этим роковым стимулом предоставлялось на выбор: или заморить в себе самую страсть (для чего очень часто прибегали к нашептываниям и заклинаниям), или же слепо следовать ее внушениям, не спрашивая себя, куда приведут они — к Тарпейской скале[xi] или к Капитолию, к отчаянию или блаженству. Но мы уже не вправе принимать страсть за элементарную психологическую данную. За исключением очень немногих случаев наследственной передачи склонностей, мы решительно не можем допустить, чтобы такой-то человек рождался пьяницей, игроком или одержимым страстью к географическим открытиям и т.п. Мы даже не верим тому, чтобы каждому из этих состояний соответствовал свой специфический душевный склад, который делал бы для данного человека жизнь совершенно невозможною и немыслимою иначе, как в качестве пьяницы, игрока или Колумба, открывателя Америки.

До сих пор для объяснения психических явлений мы не прибегали ни к каким априорным построениям, не навязывали человеку никаких предвзятых целей, кроме очень уж элементарного стремления жить, не исчерпаемого, однако ж, одним инстинктом самосохранения. Кроме желания числиться в живых, человеку даже гораздо больше и постояннее хочется жить, т.е. ощущать жизнь, упражнять свою способность возбуждаемости. Мир этой возбуждаемости мы выше изобразили как известный круг, имеющий своим положительным полюсом наслаждение, отрицательным полюсом — скорбь, а экватором — скуку, т.е. безразличное состояние возбуждаемости. Как магнитная стрелка стремится постоянно к северному полюсу, так точно и наше Я ежечасно направляется к полюсу наслаждения. Горе, боль, скорбь постоянно являются нам как нечто отрицательное, подавляющее индивидуальную жизнь. Но вот являются страсти со своими гибельными порождениями — излишествами — и нарушают этот плавный и нормальный ход: человек будто бы из жажды наслаждения сознательно напрашивается на скорбь, направляется к нежелаемому, в то же самое время проклиная свое бессилие. Но мы и ввиду этого несомненного противоречия не считаем нужным отступить от однажды принятого приема.

Не все магнитные стрелки одинаково хорошо намагничены и не все с одинаковою интенсивностью устремляются к северу. Не все люди одарены равною

степенью житейской возбуждаемости. Различия в этом отношении обусловлены, вероятно, физиологическими особенностями организации и составляют то, что можно бы назвать психологическим темпераментом. Во всяком случае, на первый раз нам достаточно предположить между степенями возбуждаемости у разных лиц только простейшее, количественное различие, для которого очень трудно и едва ли полезно было бы установлять какие бы то ни было точные мерки. Заметим только, что степень возбуждаемости несколько высшая среднего уровня называется на разговорном языке страстностью. Люди, обладающие этим качеством, называются обыкновенно страстными или впечатлительными людьми. Мы знаем, что заботливые родители и общественное мнение вообще обыкновенно предсказывают юношам, входящим в жизнь с этим обоюдоострым даром усиленной впечатлительности или страстности, бурное и опасное плавание. Мы знаем также, что печальные предсказания на их счет очень часто оправдываются в действительности, т.е. что люди страстные и впечатлительные гораздо реже умеют найти себе безмятежный приют в пресной сфере умеренности и аккуратности, чем их сверстники, обладающие самою заурядною степенью возбуждаемости или восприимчивости. Все сказанное в этих строках можно часто услышать от любой мало-мальски смышленой кумушки. Но что же делать, если иных, более прочных и более глубоких основ не выработала еще ни душевная гигиена, ни теоретическая психология?

Мы не должны забывать, что в жизни людей играют роль не одни только психологические элементы, что счастье или несчастье людей зависит не только от качества и количества имеющейся у них в запасе возбуждаемости, но также и от свойств той среды, в которой им придется упражнять свою возбуждаемость. Всякая среда во всех отношениях приноровлена к среднему психическому уровню заурядного большинства, а потому натура, так или иначе выдающаяся хоть на вершок над средним уровнем, сложившаяся не в унисон с огульным настроением, во всякой подобной среде должна до известной степени чувствовать себя как рыба в воздухе. Однако ж, всякое разногласие со средой еще не составляет психологического несчастья и не может считаться неустранимою причиною гибели и страданий субъекта. Если бы мы допустили, что человек в своей жизни не стеснен никакими посторонними и побочными препятствиями, то мы увидели бы, что для лица, попавшего таким образом в разлад со средою, представляется весьма естественный и отнюдь не пагубный исход, а именно: пересоздать эту среду сообразно со своими личными склонностями, чего, конечно, было бы достаточно для того, чтобы наполнить самое требовательное и разностороннее существование. Гармонисты, конечно, могут отрицать этот исход или по крайней мере даже субъективную благодетельность его, так как они предполагают, будто благоденствие возможно для человека не иначе как при условии полной гармонии его личного существования с окружающей его средой. Но нравственный уровень среды часто бывает так пошл и низок, что гармонировать с ним, подчинять ему свою жизнь — значит топить ее в общем зловонном болоте, чего, конечно, не захотел бы даже самый ярый сторонник житейской гармонии; потому что это было бы величайшим несчастьем для тех богато одаренных натур, которые не могут мириться с болотным квиетизмом.

Далее спрашивается, есть ли страсть вообще или какая-либо из перечисляемых психологами и душевными гигиенистами страстей в частности непосредственным продуктом той усиленной возбуждаемости, которую на разговорном языке обыкновенно называют страстностью? Остановившись на каком угодно частном примере страсти, мы легко заметим, что дело тут главнейшим образом заключается не в количестве или степени возбуждаемости, а только в известной, более или менее узкой специализации этой возбуждаемости. Видя человека, поражающего нас интенсивностью и бурностью своей страсти, мы не вправе заключать, что он непременно обладает большею возбуждаемостью сравнительно с заурядными смертными. Мы с достоверностью можем только сказать, что возбуждаемость его слишком односторонне и исключительно сосредоточена на известном предмете. Легко может быть, что в некоторых случаях, при строгом анализе, мы бы нашли и количественное превосходство рядом со специализациею. Так или иначе, мы не беремся за решение этого вопроса, так как во всех рассмотренных нами источниках мы не находим для того или другого его решения достаточно положительных данных. Тем не менее само понятие страсти, принимаемой за источник вредных излишеств, нельзя уже отделить от представления известной узкой специализации. Мы не можем себе представить человека, одержимого страстью вообще. Всякий такой человек в просторечии носит непременно какое-нибудь более специфическое название: тот пьяница, другой развратник, третий игрок. Вопрос, следовательно, может заключаться только в том, какими путями специализация возбуждаемости прокрадывается в наш нравственный организм. Какими физиологическими и психологическими законами управляется ее развитие, которое чересчур очевидно может идти по несколько различным дорогам, не всегда непременно порождая пагубные излишества. Читатель легко припомнит, вероятно, из собственных наблюдений несколько таких случаев, где только что описанное явление односторонней или специализированной возбуждаемости оканчивалось самыми благотворными результатами, без всяких трагедий и даже мелодрам.

Не становясь сторонниками учения, предполагающего, что человек есть существо от природы уравновешенное в своих стремлениях, мы не можем, однако ж, не сказать, что в среднем своем термине он не может также быть apriori принимаем за существо, роковым образом обреченное на односторонность, разлад и бурные увлечения. Конечно, среднего или статистически нормального человека мы не встречаем в действительности нигде. Тем не менее, за исключением резких патологических случаев, людей, изуродованных в утробе матери или в самые ранние периоды своего детства, мы видим не так часто, как думают старые моралисты; но дальнейшая жизнь уже захватывает их в свой омут и уносит их по разнообразным направлениям нравственного искалечения. Поэтому гармония или разлад являются результатом того или другого направления, которое наследственность, среда, воспитание, жизнь дают его нравственному развитию. Повторяем, никакая действительная судьба человека не может быть рассматриваема как продукт одних только психологических факторов. Если обнаружившаяся в данном человеке специализация возбуждаемости дает в иных случаях более, в других менее, а в третьих и вовсе не трагические результаты, то причины этого следует искать, быть может, не в психических, внутренних, а во

внешних, житейских, условиях. На первый раз достаточно и того, что мы уловили ту нить, посредством которой пагубные излишества, т.е. бескорыстное зло, связываются с основами нашего душевно-гигиенического мировоззрения.

XI

Выражение «жизнь коверкает человека» до такой степени получило у нас право гражданства, что не нуждается в дальнейших пояснениях и толкованиях. В предыдущей главе мы старались уловить тот общий психологический путь, которым идет это коверкание, и нашли его в крайней специализации и одностороннем сосредоточении нашей возбуждаемости на какой-нибудь исключительной сфере впечатлений. Специализация эта душевными гигиенистами принимается за страсть, в которой одной они и видят источник тех пагубных извращений нашей нравственной природы, которые под именем вредных излишеств нещадно преследуются ими, иногда даже с излишним азартом. Мы уже заметили, что по поводу самого слова «страсть» существует немало недоразумений, которых мы здесь, однако ж, не станем устранять, потому что невозможно было бы уложить целый психологический трактат на страницах беглых журнальных заметок. В одном случае под словом «страсть» разумеют всякое проявление личной возбуждаемости, возвышающееся над средним уровнем: это, вероятно, и составляет то, что Фейхтерслебен разумеет под страстью активною, благодетельного значения которой он не отрицает. В другом случае под тем же словом «страсть» разумеют одностороннюю и исключительную сосредоточенность нашей возбуждаемости, о которой только что было говорено.

Нас уверяют, будто животные имеют какой-то свой естественный или инстинктивный регулятор в каждой отдельной сфере своей возбуждаемости, а именно пресыщение. Достигнув его в одном, они будто бы инстинктивно направляют свою возбуждаемость к другому разряду впечатлений после более или менее продолжительного отдохновения на экваторе скуки. Как ни беден их психический мир, они, однако ж, путем таких переходов от одной сферы своей возбуждаемости к другой поддерживают в себе вожделенное психическое равновесие и способны страдать только от посторонних причин, т.е. главнейшим образом от лишений, но ни в каком случае не от излишеств. Вопрос этот нам кажется еще очень темным. Не пытаясь, однако ж, решать его для животных, заметим только, что у человека таких естественных регуляторов нет. Предел пресыщения то оказывается у нас отставленным слишком далеко, то вовсе незаметным или же слишком легко может быть обойден в жадной погоне за возбуждениями. Блюстители порядков природы в этом случае, как жандармы в известной французской оперетке, должны бы петь:

Nous venons toujours trop tard...[xii]

Они являются на место преступления только тогда, когда зло уже совершено, когда предупреждать уже нечего и им остается только карать. Таким образом,

благодаря недостатку их бдительности пресыщение, неприятность или боль, естественно следующие за превышением нормального предела возбуждения, еще не служат достаточною гарантией нашего психического равновесия. Решительно каждая сторона нашей возбуждаемости способна стать предметом вредной специализации.

Одна из наиболее животных наших функций — питание — представляет этому поразительный пример. Психическою стороною питания являются вкусовые ощущения, и ребенок в раннем возрасте ест исключительно под влиянием этой психической стороны. Будучи лишен руководства целесообразности, он необходимо отдает преимущество той пище, которая доставляет ему наиболее приятные вкусовые возбуждения. Достигнув сытости, он все еще продолжает есть. Следовательно, он заключает в себе все данные той психической специализации, которая порождает очень распространенный повсюду между детьми вид излишества — обжорство. Сведущий педагог, который отдает себе строгий отчет в психической причине этого ряда явлений, легко может побороть эту склонность в своем питомце только одним путем: своевременным обращением его внимания на иной источник возбуждаемости, так как для организма еще не установившегося решительно все равно, откуда ни получать требуемый запас возбуждений. Самый обжорливый ребенок, которого никакими увещаниями нельзя отвлечь от стола, пока он видит на нем вкусное блюдо, сам добровольно подбежит к окну, если услышит вдруг шум барабана, звон бубенчиков и писк обезьяны, гарцующей верхом на пуделе, в красном кафтане и в шапке с пером. Опираясь на этот принцип наперекор общераспространенному мнению и самой житейской рутине, мы очень скоро фактически убедимся, что страстность, или богатая впечатлительность, вовсе не есть роковой, печальный дар, что педагогическая задача значительно легче по отношению к детям, одаренным способностью откликаться на всякий призыв, но что она бесконечно трудна относительно лимфатических увальней, которые присасываются как пиявки к какому-нибудь одному разряду доступных им впечатлений исключительно потому, что за этим для них не остается ничего, кроме томительной скуки и глубокой апатии. Другое дело вполне здоровый ребенок. Его все влечет к себе и все веселит: ему весело есть, весело дышать, весело наблюдать, весело бегать. Так называемые призвания, обнаруживающиеся еще в раннем детстве, составляют крайне редкие исключения, да к тому же они вовсе не могут быть рассматриваемы как пример той специализации, о которой здесь идет речь. Если в ребенке замечается, например, склонность к музыке или к живописи, то это свидетельствует только о том, что в мире звуковых, цветовых или форменных впечатлений перед ним открываются источники возбуждений и наслаждений, недоступные для большинства. Но каждый из этих миров сам по себе настолько обширен, что может представить пищу для упражнения самых разнообразных психических способностей. Разумеется, воспитание таких исключительных детей должно представлять непременно и своеобразные стороны для того, чтобы дать желанные результаты. Опираясь на склонность вашего ребенка к живописи, вы легко можете заинтересовать его биографией) великих мастеров, а следовательно, и историею тех эпох и стран, где они жили. Таким образом, легко может оказаться, что призвание, первоначально казавшееся крайне определенным и специализированным, приведет в действительности вовсе не туда, куда было

направлено. Гельмгольц обладает замечательными музыкальными способностями, но он не написал ни одной симфонии или оперы на своем веку, а занимался физиологиею с блестящим успехом. При этом нельзя не заметить, что его ученая деятельность отмечена крайне своеобразным оттенком, состоящим, очевидно, в связи с его музыкальными способностями. Но мы спешим обойти этот чисто эпизодический вопрос призваний и обращаемся к главному предмету.

Потребуется еще немало самых тщательных и самых достоверных научных исследований для того, чтобы мы научились предотвращать или побеждать в себе самих или во вверенных нашему попечению питомцах те явления психической односторонности или оскудения, которые роковым образом ведут к самым гибельным извращениям и излишествам. До сих пор еще так мало сделано не только для разрешения, но даже для уяснения этой капитальной педагогической и душевно-гигиенической задачи, что мы можем только удивляться тому, как воспитание еще может держаться на том жалком уровне, на каком мы его видим. Самая прогрессивная педагогика до сих пор не научилась регулировать детскую возбуждаемость, даже в принципе не признала пока, что ее главнейшая, если не единственная роль заключается именно в этом регулировании, при котором разносторонняя и чуткая способность детей откликаться на каждый призыв может быть ее единственною разумною опорою. Во многих других отношениях педагогика за последние десять лет сделала немало солидных успехов; но в этом, существеннейшем из всех, она бродит еще в таких же потемках, как и сто лет тому назад. Можно и должно писать еще целые трактаты о том, каким образом современное человечество в передовых странах Европы методически загоняется с самых ранних лет в ту психическую специализацию, которая отдает его беспомощным в жертву всем возможным извращениям и излишествам, порождающим худшее из всех зол: зло бескорыстное, зло не только ненужное, но положительно гибельное для своего творца.

Возбуждаемость в человеке весьма естественно притупляется от двух крайне противоположных причин: от совершенного неупражнения и от привычки. Тот чисто животный и даже растительный источник возбуждений, который открыт для нас до тех пор, пока «нам новы все впечатления бытия», из которого мы щедро черпали в детстве, скоро иссякает сам собою в силу привычки. Воспитание в лучшем случае не позаботилось или не сумело расширить своевременно наш психический горизонт, открыть нам новые обильные источники возбуждения. Жизнь доделывает остальное, охватывает нас с ранних пор своею пресною, однообразною и усыпительною действительностью. Вынуждаемые посторонними соображениями, мы принимаемся за нее не как за дело, способное одушевлять и интересовать нас своею осмысленною объективною стороною, а как за скучный обряд, который по тому, по другому ли мы обязуемся исполнить до конца. Много было говорено о всевозможных карьерах и профессиях с точки зрения экономии, нравственности, даже с точки зрения гигиены, но мало кому еще приходило в голову отнестись к этому вопросу с гигиенически-нравственной стороны, которая главнейшим и настоятельнейшим образом требует прежде всего, чтобы дело, которому мы посвящаем себя, заключало в себе достаточное поприще для разностороннего и здорового упражнения нашей возбуждаемости. Легко было бы убедиться, что те немногие случаи нормального душевно-гигиенического развития

личности, которые нам когда-либо приходилось встречать, совпадают с таким удачным выбором занятия. Но нельзя не признать, что такие удачные совпадения представляют собою весьма редкие и счастливые исключения. Относительно же громадного большинства даже тех привилегированных смертных, которые избавлены судьбою от тяжкой необходимости механического труда, мы решительно вправе сказать, что дело, которому они посвящают большую часть своей жизни, имеет в их собственных глазах характер автоматический, притупляющий всякую восприимчивость. Все мы так привыкли считать часы, регулярно посвящаемые нами своему обычному занятию, как бы вычеркнутыми из нашей психической жизни, что даже и не считаем такой ход дел гибельным или предосудительным. Итак, эта житейская канитель, падающая на наши нервы с однообразием дождевых капель, с усыпляющим колебанием маятника, последовательно и постепенно притупляет в нас драгоценную способность возбуждений, всасывает нас, как топкое болото, и мы тогда только начинаем возмущаться и сопротивляться против этого всасывания, когда утратили уже точку опоры, когда мутная тина уже готова затопить нас с головой. Во всех прочитанных мною нравственно-гигиенических трактатах упоминаются два резких примера одного английского негоцианта и французского виноторговца, которые, нажив себе значительное состояние, задумали отстраниться от дела. Но возбуждаемость их обоих так была специализирована и притуплена долголетним обмериванием и обвешиванием клиентов, так сжилась со всею обстановкою лавки и кабака, что оказалась решительно неспособною откликнуться ни на какой иной призыв. Промаявшись несколько лет на свободе, истратив крупные суммы на лечение своей ипохондрии, оба они вернулись к своей лавке и кабаку, но уже на правах приказчиков, так как новые хозяева не соглашались ни перепродать им своих заведений, ни принять их компаньонами. Примеры эти вовсе не так исключительны, как могло бы показаться на первый взгляд. По крайней мере французские психиатры уже вынуждены были открыть в своих скорбных реестрах новую рубрику, названную ими Spleen des commercants (мещанский сплин, или тоска по лавке), в отличие от английского джентльменского сплина, навеянного, однако ж, совершенно аналогичными причинами. Во всех этих случаях скучная автоматическая деятельность, предпринятая первоначально с постороннею, сознательною целью, превратилась в страсть. Возбуждаемость специализировалась так окончательно и так односторонне, что, будучи оторвана от своей специальности, оказалась уже негодною ни к чему. Если что и есть исключительного в этом примере негоциантов-маньяков, то разве только то, что оба они пристрастились к самому предмету, изуродовавшему их существование. Это бесцветное и тихое прозябание обыкновенно коротает жизнь посредственных и отупевших натур, но натуры инициативные, сильные, каким-нибудь чудом еще сохранившие некоторый запас восприимчивости, возмущаются энергически против такого порядка и в самом этом возмущении находят спасительный исход. Чудеса вообще редки в нашем веке, а потому и неудивительно, что громадное большинство таких страдальцев, неспособных ни мириться со своим положением, ни деятельно протестовать, хватаются за первую попавшуюся им под руку соломинку, которая, конечно, не спасает их от потопления, но придает их кончине трагический и нередко скандальный колорит. Тут-то, собственно, и начинается

роль тех излишеств и извращений инстинктов, о которых уже так много было говорено. Формы их до того разнообразны, что обозреть их все на немногих страницах нет никакой возможности. Выше мы уже сказали, что нет такой соломинки, за которую человек не способен был бы ухватиться в подобную критическую минуту, чтобы удержать в себе хоть на лишний час, хоть на один миг образ и подобие божие, беспощадно смываемое с него пресною волною безбрежного моря житейской пошлости и рутины. Только летописи сумасшедших домов и отчеты уголовных судов могут дать нам некоторое понятие о том фантастическом, чудовищном безобразии, на которое способны в подобных случаях люди, не имеющие, однако ж, в себе ничего чудовищного, ничего фантастического, часто даже обладающие при этом привлекательною развязностью и мягкостью манер.

Не желая гоняться за всеми уклонениями извращенной фантазии, мы скажем в заключение несколько слов только о тех излишествах, которые преимущественно склонны принимать огульный, общий характер, а потому и представляют особенный интерес. Из числа их на первом месте следует, конечно, указать на пьянство, которое на страницах всех гигиенических трактатов играет первоклассную роль.

О пьянстве у нас уже было говорено так много, что мы считаем себя обязанными быть в этом отношении как можно более краткими. Нам уже нет надобности излагать подробный ход этого дела в разных странах, указывать на его соотношение с экономическими условиями народного быта, приводить длинные ряды статистических цифр, таблиц и т.п. В самом начале этой статьи мы уже сказали (по Гризингеру), что в Англии за последние несколько десятков лет, т.е. со времени отмены хлебных законов, пьянство уменьшилось и что число жертв, ежегодно загоняемых им в сумасшедшие дома, составляет теперь менее $^1/_8$ числа сумасшедших, лечимых в этих домах. Это, конечно, не дает еще вполне определенного понятия о размерах зла, вообще причиняемого пьянством, но, к сожалению, мы должны еще ослабить значение статистических цифр в этом деле. Во-первых, тот же самый Гризингер, у которого мы заимствуем все данные о роли пьянства и других излишеств в порождении умственных расстройств, предупреждает нас, что статистикою психиатрических больниц надо пользоваться с большою осмотрительностью: нередко, говорит он, встречаются такие случаи, что человек, ведший трезвую и правильную жизнь, вдруг начинает пить и скоро затем сходит с ума. Для психиатра ясно, что болезнь в этом случае не имела причиною пьянство, а сама породила его, но семейство пациента, обыкновенно мало сведущее в психиатрии, держится иного мнения, особенно если болезнь имела какие-нибудь другие причины, которые желательно скрыть. Во-вторых, и главнейшим образом, потому, что нас интересует пьянство не вообще, а только как результат психических причин, а к этому до сих пор неприменима еще никакая статистика. В Европе пьянство географическим своим распределением указывает на несомненную зависимость этого явления от климатических причин, так как оно сильно распространено на севере (Швеция, Россия, Англия), гораздо слабее в центре и почти совсем не существует на юге. О зависимости его от экономических условий уже было говорено. Какая же доля выпадает на роль психических причин? Вычислить это нет решительно никакой возможности. А между тем мы несомненно

знаем, что человечество везде и повсюду, как на довольно первобытных своих ступенях, так и на высших культурных, очень склонно прибегать к опьяняющим средствам для того, чтобы поддержать свою возбуждаемость, притупляемую рутиною жизни. Дикие австралийские народы имеют для этой цели напиток, называемый ава или кава и приготовляемый из свежего корня растения Piper methysticum; арабы — гашиш; китайцы — опиум; европейцы — водку, виски, джин, коньяк; наши мусульмане — кумыс, бузу; японцы — саке (рисовое вино) и т.д. Должно, однако ж, сознаться, что все эти средства имеют не только общую всем им способность возбуждать восприимчивость, но также и все они до известной степени могут служить суррогатами пищи. Относительно даже опиума китайцев мы наверное можем сказать, что и этот род пьянства в значительной доле должен быть отнесен к экономическим условиям, так как распространен он преимущественно между неимущими классами. Статистика пьянства по сословиям была бы гораздо более назидательною в интересующем нас смысле, так как достаточный человек не может иметь других поводов напиваться, кроме психических, т.е. вышеуказанного стремления поддерживать в себе гаснущую под влиянием жизненной рутины возбуждаемость. А между тем этих-то числовых данных у нас и нет. Моралисты и гигиенисты как будто умышленно направляют все свои батареи против пьянства в народе, т.е. именно туда, где оно является продуктом таких причин, против которых заведомо бессильна всякая мораль и всякая гигиена. Конечно, пьянство достаточных классов имеет полную возможность обставить себя благопристойно и укрыться от всякой статистики, а потому мы и вынуждены довольствоваться насчет его отрывочными данными частной наблюдательности, мало поддающимися обобщению. Что оно существует, это не может быть вопросом для того, кто мало-мальски знаком с интимным бытом преимущественно северных народов Европы. Мы можем только добавить, что, между тем как в некоторых странах пьянство от экономической недостаточности заметно уменьшается, пьянство от психических причин усиливается и именно в настоящее время принимает новую, неизвестную до сих пор и более утонченную форму: мы говорим о морфиомании, о которой д-р Левинштейн недавно написал целый трактат (по-французски). По его словам, страсть к подкожным впрыскиваниям морфина, имеющим целью доставить пациенту то возбуждение угасающей психической жизненности, которого другие ищут в вине, принимает уже в Германии угрожающие размеры. Видите, в какую сторону направляется прогресс и какие неожиданные плоды приносит пропаганда, направленная против алкоголя! Не будучи пророком, можно, однако ж, безошибочно предсказать, что этот новейший и утонченнейший вид пьянства не ограничится одними германскими пределами, а очень скоро распространится повсюду, где человеческая возбуждаемость отдана беззащитною в жертву притупляющей житейской рутине, где борьба против подавляющих условий общественной среды обставлена непреодолимыми препятствиями, где, следовательно, значительному большинству людей, даже сравнительно счастливо обставленных в экономическом отношении, ничего не остается делать, как медленно тонуть в грязной тине безотрадной действительности или же ускорять свой конец, освещая остаток своих дней фантастическим фейерверком искусственных возбуждений. Когда пьянство в этом утонченном виде распространится везде, тогда и истинная душевно-гигиеническая

роль этого пагубного излишества обнаружится во всей своей наготе, без посторонних примесей, теперь еще несколько затемняющих истинное значение этого печального явления. Тогда мы увидим, как тщетны должны оказаться все паллиативные меры, до сих пор где-либо измышленные против этого бича при совершенном неведении его радикальной причины...

Прежде чем оставить этот предмет, мы сделаем еще одно частное замечание, которое покажет нам, как тесно самые разнообразные стороны социального и психического быта вяжутся между собою. Не только этические, но и эстетические подробности ходячих мировоззрений способны иногда оказывать очень сильное влияние на телесное и нравственное здоровье целых классов. Некоторые из читателей, быть может, еще помнят то время, когда пьянство считалось как бы обязательною принадлежностью некоторых профессий, преимущественно поэтов и художников. В Западной Европе это время совпало с процветанием романтизма в искусстве, т.е. эстетической критики, требовавшей от артиста как непременного условия, чтобы он поражал, почти пугал нас неестественною напряженностью фантазии. Маньяк, сохранивший способность писать стихи или картины, был бы тогда непременно произведен в гении. Очевидно, что никакое человеческое воображение не могло поддерживаться на столь высоком диапазоне без помощи искусственных возбудительных мер. И действительно, большая часть литературных и художественных светил этого времени были горчайшими пьяницами. Теперь такие своеобразные эстетические требования в Европе исчезли, и первоклассный художник, отдаваясь своему творчеству, не считает нужным возбуждать его усиленными приемами коньяка или рома. Правда, у нас еще и до сих пор тянется хвост этой несчастной богемы, но это последние могикане вымирающего поколения.

Читатель легко поймет, что только психические специализации низшей, т.е. наиболее животной, категории имеют до сих пор возможность проявляться в повальной, эпидемической форме. Безотрадная действительность давит коллективную и единичную психическую жизнь, не допуская ее развиться до высших формаций. Явления высшего порядка мерцают потерянно и изолированно, как звезды в темную осеннюю ночь, мало допуская обобщений и огульных выводов на свой счет. Пагубнейшие излишества и извращения лучших побуждений встречаются везде и на самых светлых высотах нашего культурного быта. Везде они имеют одну и ту же психическую причину: живая душа, бессердечно загоняемая жизненною рутиною в мрачные трущобы безразличия и небытия, не имея себе поддержкою твердой и предприимчивой воли, которая, как доблестный рыцарь, постояла бы за нее в открытом бою... живал душа, говорим мы, хватается везде за какую-нибудь случайно подвернувшуюся ей будто бы спасительную соломинку и держится за нее, как бы в предсмертных судорогах или в эпилептическом припадке. При тождестве причины легко понять, что и печальный характер явлений, и разрушительные их последствия везде одни и те же.

Известный лозаннский доктор Тиссо еще в прошлом столетии и гораздо позднее его Ревелье-Пари издали специальные сочинения по гигиене умственного труда. Прочтите их показания, хотя бы резюмированные в последней главе «Семейных бесед» Фонсагрива, и вы увидите, что высшие сферы умственной и

научной деятельности в нашем, основанном на психической односторонности строе принимают тот же отталкивающий характер пагубного излишества, какой мы видели в пьянстве. Светлые умы, отстоявшие свою истинно человеческую разносторонность и восприимчивость, считаются единицами за целые столетия. Громаднейшее большинство даже первоклассных мыслителей и ученых, ревниво замурованное в каком-нибудь заповедном уголке избранной ими специальности, являются даже и не факирами идеи, как их называет Тиссо, а скорее какими-то пьяницами мысли. Ознакомьтесь интимнее с биографиями большинства этих первоклассных светил, и вы перестанете удивляться той желчной раздражительности, тем непонятным посторонним примесям, тем вопиющим противоречиям, которыми переполнен мир кабинетной учености. В синклите именитейших двигателей знания вы почувствуете себя не как в величавом ареопаге, а, скорее, как в китайском притоне для курильщиков опиума, с тою только разницею, что здесь забвения невозможности жить ищут не в химической, а в книжной отраве. Вы легко поймете, отчего так трудно услышать слово живой истины от этих дервишей, которые, в сущности, сами добиваются только одного: исступленным выкрикиванием с громадным трудом добытых ими формул уверить себя, что они не совсем еще мертвецы, что среди всеобщего онемения в них еще трепещет какой-то нерв, связующий их с живым и реальным миром... Вы отвернетесь от них, переполненный жалостью к ним, а еще более жалостью к тому человечеству, которое своего обновления должно ждать от этих печальных кастратов и которое в ожидании этого обновления осуждено топить себя в еще более безотрадных притонах пьянства и разврата.

Действительно, если мы оставим без внимания сравнительно очень ничтожную группу избранников, которые могут доставлять себе утонченные отравы, мы увидим, что все остальное человечество, чтобы хоть как-нибудь ощущать свое существование, чтобы не вовсе обратиться в мертвецов, оказывается вынужденным выбирать между пьянством и половым развратом. Все другие вредные излишества, против которых ратуют гигиенисты, тонут, как капля, в этом гнилом море. Даже обжорство, которое в хронологическом порядке должно бы считаться первым, так как субъективная возможность этого излишества проявляется раньше всех других, остается эпидемическим пороком детства. Конечно, не будучи своевременно поправлено разумною гигиеной, оно может служить хорошею приготовительною школою ко всяким другим животным увлечениям. Но половые ощущения играют в мире животных возбуждений такую первенствующую роль, что основанные на них излишества роковым образом притягивают к себе значительнейшее большинство жертв психической подавленности и специализации.

Предмет этот скабрезный, и о нем даже не принято говорить в порядочном обществе. Но что же делать? Даже степенный Дж. Ст. Милль признает, что «нельзя ни предупреждать, ни лечить болезней ни общественных, ни телесных, если не говорить о них открыто». В минуту, когда серьезная опасность грозит ее драгоценному здравию, даже целомудренная княжна Китти в последнем романе графа Толстого решается обнажить перед доктором свои кисейные телеса. А уж благонравием и приличностью ее никому превзойти невозможно. Но что нашему общественному здравию и благоденствию угрожает ежечасно возрастающая

опасность от этого рода излишеств и от не подлежащих никакому описанию извращений возбуждаемости, специализированной на половых органах, то это ни для кого уже не вопрос и не тайна. Половые страдания поднимаются решительно на все социальные высоты и спускаются решительно во все низменные трущобы. В Париже проституция составляет уже целое «государство в государстве», управляемое своим собственным кодексом или, точнее говоря, произволом начальника «полиции нравов» (police des moeurs), не ограниченным никакими представительными собраниями. В Лондоне целые многолюдные кварталы обратились уже в своего рода громадную клоаку, сток венерических нечистот целого света. В некоторых патриархальных немецких городах, говорят, невозможно допустить устройство домов терпимости из опасения, чтобы не пришлось целый город покрывать одною крышею... А ведь проституция есть только одна и, может быть, безобиднейшая из сторон рассматриваемого нами вопроса.

Если относительно пьянства мы уже видели тщету статистических цифр с единственной, интересной здесь для нас нравственно-гигиенической точки зрения, то относительно половых страданий мы еще больше вынуждены признать свое неумение сформулировать вопрос хотя сколько-нибудь приблизительно достоверным образом. Во-первых, самые формы зла слишком многообразны и слишком легко уклоняются от всякого наблюдения. Во-вторых, хотя вопрос этот имеет уже в настоящее время довольно обширную литературу, но так как он, несмотря на все свое громадное социальное и психологическое значение, все еще состоит в загоне, то за него редко принимаются действительно добросовестные и образованные писатели. Так, например, со времени Тиссо, которого монография об онанизме относится еще к прошлому столетию и уже признана устарелою, не появилось еще ни одного обстоятельного научного трактата об этом крайне важном предмете. Большинство толковых популяризаторов гигиены, в том числе и Фонсагрив, спешат прикрыть виноградным листком напускного целомудрия эту двусмысленную тему. Пора бы, кажется, понять, что это напускное целомудрие есть плод того же самого корня, на котором так пышно расцвел современный разврат, и что оно особенно напоминает скромного щедринского городничего, отличавшегося склонностью сечь глуповских женщин. Но до сих пор это еще сознают мало, и литература разврата, всегда рассчитывающая на верный успех, продолжает эксплуатироваться по преимуществу такими беззастенчивыми спекуляторами, как, например, Дебе (Debay), которого скандальные словоизвержения под вывескою гигиены расходятся в громадном количестве экземпляров и переводятся на все языки. Сочинения более добросовестные грешат по большей части сухим изложением и потому мало возбуждают к себе доверия. Из разряда таковых нельзя не упомянуть о книге английского анонимного врача под громким заглавием «Начала социальной науки», автор которой стремится отождествить социальный вопрос с вопросом половым, да еще держится к тому же всех крайностей мировоззрения, имеющего основным догматом непогрешимость и благодетельность природы.

Во всяком вопросе, находящемся в столь непосредственной связи с умственными способностями и общим (психическим настроением человечества, всего естественнее обратиться прежде всего к статистике сумасшедших домов,

чтобы узнать по крайней мере, какую роль данное явление играет в порождении случаев признанного сумасшествия. Но и здесь мы встречаем немало противоречий. Так, например, Эллис находил, что половые излишества и извращения следует считать причиною большей половины всех принятых им в расчет душевных болезней, а Паршап и Гислен (Guislain) нашли в Бисетре и Сальпетриере (т.е. в мужском и женском сумасшедших домах) только 20 процентов таких случаев, которые можно было приписать этим причинам. Процент, во всяком случае, крайне уважительный, особенности же если вспомнить, что даже роль пьянства в этом деле выражается сравнительно скромною цифрою — от 11 до 12 процентов.

Правда, Францию почему-то привыкли считать преимущественно развратным уголком Европы... Мнение усердно распространяемое более или менее учеными земцами, однако ж, решительно голословное. В деле полового разврата, как и пьянства, Франция в нравственной статистике представляет собою средний термин, чрезвычайно удобный для сравнения. Пьянство идет, усиливаясь к северу и ослабляясь к югу от нее. Половой разврат географически распространяется в противоположном порядке, и это его распределение как будто доказывает нам, что в современном человечестве в каждую минуту имеется данное количество психического уродства, подлежащего потоплению в излишествах какого бы то ни было порядка, которых психическое тождество установляется, таким образом, само собою.

Успехи материального благосостояния и цивилизации вообще, которые во всех других отношениях оказывают, несомненно, благотворное влияние, в деле полового разврата обнаруживают, скорее, обратное действие. Это легко понять, принимая во внимание хотя бы только то, что цивилизация и промышленное развитие роковым образом скучивают огромные массы лиц обоего пола на небольших пространствах; что они ускоряют приближение периода половой зрелости, в то же время удаляя возраст вступления в брак, как это было показано в статье, посвященной этому предмету, в «Вестнике Европы». Мы уже и не говорим о множестве других, тоже легко понятных влияний. История уже показала нам, что разврат обыкновенно играет роль палача относительно односторонних цивилизаций, создающих из человеческой субъективности замкнутый, изолированный мирок и приурочивающих человека к созерцательности и застою. Греция, Древний Рим, итальянские муниципальные республики задолго до своего видимого падения, но тотчас вслед за упадком воодушевлявшей некогда их гражданственности становились гнездами и вертепами беспримерных половых извращений. Не подлежит никакому сомнению, что такая же точно участь ждет и нас, если мы не сумеем своевременно свернуть на иную, спасительную дорогу...

Закончим нижеследующим замечанием над общим психическим настроением умалишенных. Замечание это мы заимствуем из учебника судебной медицины Ла-кассаня.

«Сумасшествие, — говорит он, — заключается в излишнем субъективизме. Сумасшедшие — узкие эгоисты от избытка тщеславия, гордости или одного из нижеследующих инстинктов: строительного, разрушительного (преобладающего у эпилептиков), материнского, полового и охранительного. Два личных инстинкта — тщеславие и гордость, — которые и в здоровом состоянии проявляются с

наибольшею силою, служат чаще всего поводом к обнаружению сумасшествия. За этим следуют формы безумия, обусловленные охранительным (консервативным) инстинктом, как-то: страх, скупость, клептомания, страсть к накоплению, жадность; далее идут инстинкты половые, порождающие эротоманию, нимфоманию и проч. и проч.; инстинкты материнские (истерия, разные виды маточного сумасшествия) и разрушительные (преимущественно эпилепсия)... Сумасшествия от излишества доброты, привязанности и уважения крайне редки». Предоставляем читателю самому делать выводы из этих немногих строк.

Человек не хочет сходить с ума, не хочет страдать, не хочет попадать на скамью подсудимых в качестве героя какого-нибудь безобразного, скандального процесса. Но он еще меньше способен примириться с тем, что заживо обратится в мертвеца. Страх пустоты является роковым двигателем психического мира. Возбуждение, ощущение, мысль, действие — это хлеб насущный нашей души; за неимением его она, как спасенные от кораблекрушения без съестных припасов, питается своими экскрементами. Тщетно мы станем доказывать ей, что это нездорово и нехорошо; надо дать ей лучшую пищу — в этом одно спасение. Такова исходная точка душевно-гигиенического воззрения. Никакая обязательная мораль, как бы чиста и возвышенна она ни была, не в состоянии поправить дела. Возможно ли предписать человеку, чтобы он был здоров среди поголовной, гнойной, миазматической эпидемии?

Мы ввели читателя в своеобразный, парадоксальный мир, мир бескорыстного зла, мир преступлений, творимых в ущерб себе, причем обыкновенно одно и то же лицо играет столь разнообразные и как будто взаимно исключающие друг друга роли: жертвы, преступника и палача. Непривлекателен и безотраден этот мир; но как же быть, когда в этих гнилых болотах потоплен единственный ключ ко многим, крайне интересным для нас тайникам человеческой природы? Мы даже и не искали его, а только хотели указать путь иным, более доблестным и лучше вооруженным аргонавтам.

[i] Себе и для себя (нем.). — Прим. ред

[ii] «С небом имеется соглашение» (фр). — Прим. ред

[iii] W. Griesinger. Traite des maladies mentales (с примечаниями и дополнениями д-ра Бальярже, прим. XL, с. 370).

[iv] Бедлам (англ, bedlam, от Bethlehem — Вифлеем, город в Иудее). Первоначально (с 1547 г.) так сокращенно называлась больница им. Марии Вифлеемской в Лондоне, затем слово стало синонимом сумасшедшего дома, хаоса, неразберихи.

[v] Притягательная сила страсти (фр.). — Прим. ред.

[vi] Фраза-лозунг «Laissez faire, laissez passer» появилась в 30-е годы ХУШ в. во Франции. Авторство точно не установлено. Смысл ее и, собственно, всей либеральной теории в том, чтобы дать возможность людям делать свои дела, а делам — идти так, как они идут.

[vii] Ормузд — бог света в зороастризме, олицетворение добра, противник Аримана

— бога тьмы и первоисточника зла.
[viii] Мы имеем под рукою французский перевод этого трактата с примечаниями д-ра Бальярже.
[ix] «Из всех животных человек имеет наиболее склонности впадать в излишества». [x] Автор этого недавно вышедшего трактата и нескольких других психологических брошюр вообразил, что он открыл нечто вроде психологического perpetuum mobile, т.е. какой-то произвольный ток (jet spontanne), будто бы устраняющий все недоразумения. Это, впрочем, не мешает ему выказывать в своих трудах довольно разностороннее образование и близкое знакомство с литературою своего предмета.
[xi] Тарпейская скала — в Древнем Риме отвесный утес с западной стороны Капитолийского холма, откуда сбрасывали государственных преступников, приговоренных к смертной казни [xii] «Мы всегда опаздываем...»

ШКОЛА БОРЬБЫ В СОЦИОЛОГИИ[i]

Пусть хищные звери и птицы грызутся между собою, но мы — у нас есть справедливость.

Гесиод

I

С тех пор как люди существуют на свете, им, без сомнения, приходилось замечать каждый день, что все тяжелые предметы, будучи лишены опоры, падают неизменно вниз, по направлению к центру земного шара. Тем не менее понадобились долгие века очень высокого культурного развития на то, чтобы проницательнейшие умы успели наконец усмотреть в этом всеместном и вседневном явлении действие закона всемирного тяготения, к которому одному с каждым новым успехом наблюдения и мышления сводятся все более и более все многообразнейшие изменения, замечаемые нами в неорганической природе. Окрыленный этою первою решительною своею победою, ум человеческий управляется уже, сравнительно говоря, очень быстро со всякими метафизическими призраками (теплорода, светорода и пр.), населявшими учебники физики не дальше как «в дни нашей юности, в дни безвозвратно минувшего детства».

Мир органический отличается от так называемой бездушной природы очень многим, но прежде всего такою чрезвычайною сложностью и таким разнообразием своих явлений, что всякая попытка подчинить в свою очередь и его действию какого-нибудь одного, естественного и удобопонятного закона долго должна была казаться самым смелым мыслителям непростительною дерзостью или по крайней мере несбыточною мечтою. Материалистическая метафизика пыталась, правда, в разные времена перекинуть мост через пропасти, отделявшие живую жизнь от бездушного бытия камней и минералов, но мосты эти, должно признаться, оказывались так же непроходимыми для реалистического понимания, как и самые дремучие дебри крайнего спиритуализма. В самом начале нынешнего столетия некоторые поэтические умы — Ламарк, Жоффруа Сент-Илер, Гёте — осмелились было в скромной, гипотетической форме изложить мысль, что все изумительное разнообразие органических форм может быть вполне научно объяснено действием эволюции, т.е. ряда последовательных и преемственных перемен, вызываемых в организмах совершенно естественным путем, различных его соотношений с тою внешнею средою, в которой ему приходится зарождаться, развиваться и проходить свое житейское поприще. Но тогдашний запас точных биологических знаний решительно не позволял им изложить свое учение с тою же научною доказательностью, перед которою одною здоровый скептицизм неподкупленных предвзятою мыслью умов только и может сложить свое оружие. А потому солидарная наука того времени в лице знаменитого Кювье строго осудила, эти поэтические стремления. Не более благосклонно отнесся к ним и основатель французской «положительной» философии Огюст Конт, которого нельзя, однако

же, обвинить в робости мысли. Он без обиняков объявил, что вопрос о происхождении видов (т.е. о возникновении органических форм) должен быть исключен навсегда из области познаваемого. В начале 60-х годов, с выходом в свет хорошо всем известных трудов Дарвина, Уоллеса, а затем Э. Геккеля (главнейшим образом его «Общей морфологии» и «Истории миросоздания»), представления эти облеклись наконец в ту научную форму, которая одна способна придать всякому философскому воззрению неоспоримые права гражданственности в мире реалистического мышления. Можно без малейшего преувеличения утверждать, что «Происхождение видов» Ч.Дарвина было знаменательнейшим философским событием нашего времени. О громадном значении дарвинизма с точки зрения специальных успехов естествознания, а также с более общей точки зрения развития философского реализма по всем направлениям было говорено уже очень много, и мы не чувствуем ни малейшего желания распространяться об этом предмете, т.е. повторять по этому поводу хорошо всем известные общие места. Заметим вкратце, что с Дарвином наше знание органической природы делает гигантский шаг вперед, совершенно соответственный тому, который был сделан в области неорганических наук с открытием закона всемирного тяготения. Вместо пестрящего в глазах, неуловимого даже и для самого пылкого воображения многообразия природных явлений, не имеющих никакой доступной нашему пониманию объединяющей связи между собою, мы видим один всеобъемлющий процесс мировой жизни, составляющий как бы одну непрерывную гигантскую цепь, которой все звенья тесно и неразрывно связаны между собою. Для удобства наблюдения и понимания мы делим эту цепь на две обширные части: область неорганическую, которой все отдельные звенья представляются нам как бы спаянными одним общим началом всемирного тяготения, и область биологическую, явления которой вследствие своей значительно большей сложности и изменяемости не могут уже быть объясняемы одним только этим руководящим началом, а требуют чего-то дополняющего, нового. Благодаря Дарвину мы уже знаем, что этим необходимым дополняющим началом является закон борьбы.

Влияние дарвинизма на научное и философское развитие новейшего времени очень обширно и разносторонне. Признание основной мысли его учения заставило нас одновременно изменить более или менее существенно очень многие из представлений и воззрений, обращавшихся во всеобщем умственном обиходе с очень давних пор, а также пустило в наш умственный обиход немало и совершенно новых понятий, соответственно которым наш научный или даже публицистический язык обогатился некоторыми новыми словами и выражениями. В употреблении этих новых выражений и слов мы не всегда даем себе труд тщательно уяснить себе самим их точный смысл и значение. А это неизбежно ведет к некоторым недоразумениям и неясностям.

В настоящем очерке мы имеем в виду подвести по мере сил итоги тому, что дает нам дарвинизм в деле изучения и понимания явлений общественности. Задача эта, обширная и очень нелегкая сама по себе, должна неизбежно затрудниться очень существенно, пожалуй, даже стать и вовсе неразрешимою вследствие таких, хотя бы только и чисто диалектических, недоразумений. Не следует забывать, что сам Дарвин, точно так же как и все его солиднейшие дополнители, пояснители и сотрудники, развивал главнейшим образом свое учение в его применениях к

области исключительно биологической, обращаясь к явлениям социологическим только вскользь и по пути, останавливаясь в этих социологических явлениях со всею обстоятельностью только там, где те или другие из условий социологического порядка выступали в роли чисто биологических факторов или же где, наоборот, условия чисто биологические оказывали очень характерные влияния на формы и отправления жизни общественной. С другой стороны, не должно также упускать из виду, что в области чисто биологической дарвинизму приходилось занимать следующую ему по праву позицию, так сказать, с бою, путем устранения таких предвзятых мыслей и предрассудков, как, например, неизменяемость органических форм или неподведомственность антропологической области вообще, а еще более психической деятельности людей, общим законам природы. Таким образом, создавалась, может быть, даже и искусственная, но легко понятная необходимость сосредоточивать главнейшим образом свое внимание на ближайшей стороне дела, упуская хотя бы вовсе из виду все то, что не имело непосредственного биологического значения. В результате получилось, что далеко не все последователи дарвинизма, задумавшие применять и к социологическому поприщу установленные им начала, придают дарвинистским формулам везде и всегда тождественное значение.

Ограничимся очень немногими примерами. В Германии лет восемь уже существует очень почтенный и довольно популярный журнал «Космос», имеющий своею программою пропаганду и дальнейшее развитие дарвинизма на всевозможных поприщах, в том числе, конечно, и на поприщах психологическом и социологическом. По мнению редакции этого журнала, «дарвинистским» следует считать всякое исследование, освещенное тем, что немцы называют monistische Weltanschauung (монистическое, или объединительное, миросозерцание). Воззрение это характеризуется исключительно тем, что оно рассматривает все явления природы как различные ступени развития одного всеобъемлющего мирового процесса, допускающего неисчислимые градации и степени осложнения, но существенно тождественного на всех своих ступенях. В простейших и неизменнейших своих проявлениях процесс этот исчерпывается сполна для наблюдателя теми физическими и химическими изменениями, которые он вызывает в подлежащих нашему изучению предметах или телах. Но очень скоро он начинает осложняться новым элементом — формою, сперва прямолинейною и не обнаруживающею способности к последовательным видоизменениям, т.е. к развитию: таковы кристаллы, в которые при известных условиях отливаются неорганические соединения и простые тела. Э.Геккель в «Общей морфологии» обращает внимание на то, что чистый углерод отличается уже очень существенно от других неорганических тел тем, что его кристаллы, т.е. алмазы, ограничиваются не прямолинейными поверхностями, составляющими общее правило в неорганической морфологии, а поверхностями сферическими. В связи с этой особенностью углерода находится, конечно, и его способность образовывать те сложные (трех- и четырехчленные) соединения, которые характеризуются не столько своею неустойчивостью, сколько своею невиданною в неорганическом мире способностью принимать своеобразное, твердо-жидкое, клейкое или студенистое агрегатное состояние, играющее столь важную роль во всех органических процессах. Индивидуализируясь в этом своеобразном агрегатном

состоянии, углеродистые соединения принимают уже не геометрические, прямолинейные формы кристалла, а порождают клеточки, способные входить с окружающею средою в такие разносторонние и многосложные отношения, которых и слабого подобия мы не встречаем на предшествующих ступенях.

Уже на ступени клеточки органическая материя обнаруживает способность питаться, всасывая в себя подходящие ей элементы из внешней среды, увеличиваться в объеме через это питание и, наконец, распадаться на части, совершенно подобные первоначальному, порождающему их организму. Каждая из порожденных таким образом новых клеточек может продолжать на свой собственный страх свое одиночное существование, достигая при этом таких анатомических и физиологических усложнений, которые (в инфузориях) приводили в изумление Клапареда и Лахмана. Но клеточки эти могут также и оставаться приросшими к клеточке-матери, образуя таким образом собирательные организмы, с появлением которых, собственно говоря, и начинается изумительная в своем разнообразии эволюция органических форм. Необходимость питания, царствующая деспотически во всем органическом мире, *обусловливает борьбу за существование*, в свою очередь обусловливающую изменения организма, соответствующие разнообразным условиям среды; причем организмы, наилучше приспособляющиеся, естественно, процветают и распространяются в ущерб организмам менее гибким и менее стойким в жизненной борьбе. Необходимость размножения с исчезновением гермафродитизма и с появлением полового совокупления вызывает борьбу за обладание самкою, ведущую к *естественному подбору родичей*. Пользуясь этим фактором, мы можем очень существенно влиять на эволюцию растительных и животных организмов, создавая и размножая такие формы, которые не могли бы возникнуть при нормальных условиях борьбы и при естественном подборе родичей.

При таком воззрении на дарвинизм, очевидно, содержание его не исчерпывается словами *эволюция, борьба за существование и естественный подбор*, хотя и естественный подбор, и борьба, и эволюция являются очень важными факторами этого учения. Возможны исследования в духе самого строгого и плодотворного дарвинизма, в которых тем не менее не будет и речи об эволюции, потому что в природе существуют обширнейшие разряды явлений, вовсе не представляющие той преемственной изменяемости форм, которую ради краткости мы называем эволюцией. Минералы вступают в химические соединения, которые разлагаются и могут сменяться новыми сочетаниями тех же элементов, но эти изменения не могут составлять эволюцию, так как они наступают не в определенной последовательности, не сменяют одно другое тою роковою и вместе с тем логическою, так сказать, чередою, которая характеризует, например, нормальный рост высшей животной особи, переходящей от зародышного состояния к детству, отрочеству, возмужанию, старости и смерти всегда в одном, неизменном порядке. Можно бы было утверждать, что для эволюции нет места в неорганической природе вообще, если бы только не то, что мировые тела — Солнце, Земля, Луна, планеты — имеют в действительности свою историю развития, к сожалению разработанную еще только очень гипотетически до сих пор трудами Канта, Лапласа, Герберта Спенсера и некоторых новейших космологов. Мы не видим никакого препятствия к тому, чтобы слово «эволюция» применялось

и к только что помянутым здесь рядам космологических и геологических явлений; при этом даже нет надобности утверждать (как это делают некоторые новейшие французские популяризаторы и ученые), будто небесные тела, в особенности же Земля, должны считаться за живые организмы, за особи, в самом прямом и точном смысле этого слова. Таким образом, мы будем иметь новый наглядный пример эволюции, управляемой одним только законом всемирного тяготения, в которой нет помина о какой бы то ни было борьбе.

Ни сам Дарвин, ни один из его последователей не показали нам до сих пор, какую роль играет борьба за существование в явлении, которое следует считать за точку отправления эволюции органических форм, т.е. в том органическом срастании клеточек, без которого каждая из новорожденных клеточек очень удобно могла бы и обойтись в видах своего эгоистического благополучия, без которого мириады их и действительно обходятся каждый день, по примеру матери продолжая свою жизнь в одноклеточном состоянии. Должно полагать, что сам Дарвин обошел молчанием этот интересный вопрос именно потому, что сам он считал свой закон борьбы за закон чисто биологический, т.е. применимый только к очень определенному разряду явлений и столь же недействительный у низших пределов оформленного органического бытия, как недействителен закон всемирного тяготения в первобытном хаосе. Точно так же он не говорит и о половом подборе там, где родичей нет возможности подбирать, потому что полы еще не обозначились и размножение производится через саморазделение (сегментацию), почкование и пр.

II

В той же самой ученой Германии, где редакция «Космоса» отождествляет (вполне основательно, на наш взгляд) дарвинизм с «монистическим», или объединительным, миросозерцанием вообще, мы находим многочисленные примеры и совершенно иного понимания этого плодотворного учения. Назовем хотя бы талантливого фельетониста Гельвальда, который, затеяв несколько лет тому назад написать общую историю цивилизации в духе дарвинизма, счел себя тем самым обязанным объяснять все культурные явления с исключительной точки зрения борьбы за существование, предполагая, очевидно, будто этот «дух дарвинизма» всецело исчерпывается законом борьбы, а следовательно, будто допустить в области культурной истории и социологии участие каких-нибудь других, посторонних факторов значило бы отрицать эволюционное или, пожалуй, даже монистическое миросозерцание огулом. В результате получилась книга, написанная далеко не без привлекательности и даже представляющая немалый интерес благодаря большому запасу накопленного в ней свежего этнографического материала, но тем не менее возмущающая на каждом шагу беспристрастного читателя голословностью своих выводов, совершенно произвольною, крайне ненаучною группировкою терпеливо набранных фактов, а главное же — проникнутая таким безотрадным общим направлением, от которого сам автор впадает в безысходную тоску. Мы понимаем очень хорошо, что добросовестный

исследователь не может отказаться и от крайне безотрадных выводов, хотя бы от них у него кровью обливалось сердце, если только он убежден в безупречной научности путей и методов, которыми он дошел до них. Но мы решительно неспособны усмотреть, в чем заключается гарантия за научную доброкачественность приемов, основанных на несомненном недоразумении: «Дарвин показал, что борьба за существование и половой подбор управляют биологическою эволюциею; люди, живущие обществами и создающие культуру, суть прежде всего биологические существа; а следовательно, общественная жизнь и культура должны быть продуктами одной только борьбы, споспешествуемой подбором родичей». Теоретическая несостоятельность подобного рассуждения, казалось бы, должна сама собою бросаться в глаза. На таком же точно основании можно ведь построить и нижеследующий силлогизм: «Ньютон показал, что весь солнечный мир управляется законом всемирного тяготения; растительные, животные организмы живут в солнечном мире; а следовательно, биологическая эволюция не может быть продуктом ничего, кроме закона всемирного тяготения». Таким рассуждением сразу упразднялись бы и дарвинизм, и эволюция, и всякая научная биология. Само собою разумеется, что искать в XIX столетии специальных биологических законов, не принимая в расчет ньютоновского, более общего закона, мог бы только тот, чей ум окаменел или застыл на уровне философского горизонта XVII столетия. Но Дарвин своим законом борьбы ведь и не думал освобождать или изымать биологический мир из-под власти всемирного тяготения. Во всем дарвинистском учении нет решительно ничего, позволяющего нам a priori утверждать, будто в мире культурном и социологическом не существует точно так же свой особый закон, не упраздняющий животной борьбы за существование, но и не отождествляющийся с нею, точно так же как самый этот закон борьбы, не упраздняя закона всемирного тяготения, не отождествляется тем не менее с ним.

Во всех европейских литературах уже десятками насчитываются социологические опыты и трактаты с более или менее громкими заглавиями, порожденные только что указанным недоразумением и совершенно неосновательным отождествлением дарвинизма, или эволюционной теории, с исключительным законом борьбы.

Охотно проходим молчанием этих многочисленных «социологов борьбы», преподносящих нам на всех языках клочки, понадерганные из более системных трудов, биологических и социологических, из Дарвина, Геккеля и Герберта Спенсера, или же пытающихся разрешить тот или другой практический вопрос из области новейшей истории при помощи таких теоретических основ, социологическая пригодность которых всего прежде должна бы была подлежать тщательной критической проверке. В немецких произведениях этого разряда ссылаются всего охотнее на пример России, будто бы легкомысленно повергшей себя в бездну всяких зол через освобождение крестьян, совершенное наперекор эволюционной социологии, требующей будто бы, чтобы реформы вырастали естественным путем борьбы, а не совершались в искусственном законодательном порядке. Французские же авторы (в их числе, например, д-р Г.Ле-Бон, автор увесистого трактата о «Человеке и обществе») являются почему-то более склонными сокрушаться о тех мрачных судьбах, которые приготовляет себе современная Япония своим неожиданным обращением на гибельный путь

общечеловеческой цивилизации. Несчастные, очевидно, не слышали, что «неумолимый закон борьбы» беспощадно осуждает на истребление все низшие племена, коль скоро они приходят в соприкосновение с высшими культурными расами!

Этот пресловутый закон, в силу которого низшие расы неизбежно должны вымирать при каждом соприкосновении своем с более цивилизованными народами, составляет, что называется, «конек» мнимо дарвинистской социологии реакционного или консервативного пошиба. А потому предположим на минуту существование такого закона научно доказанным и посмотрим, что же окажется тогда. Окажется прежде всего, что закон этот действительно приводится в исполнение там, где находятся доброхотные палачи, вроде английских цивилизаторов Тасмании, травивших беззащитных туземцев собаками и убивавших их из нарезных штуцеров единственно ради «спорта», т.е. из-за удовольствия убивать человека, не рискуя своею шеею. Там же, где цивилизаторы являются менее кровожадными, или по другим каким-нибудь обстоятельствам, или между низшею и высшею расами установились не охотничьи и не прямо воинственные отношения, туземцы будут себе более или менее благоденствовать не только в тесном соседстве с высшими культурными расами, но даже под игом этих рас. Так, например, якуты и буряты Восточной Сибири не только не обнаруживают никакой склонности к поголовному вымиранию, но даже довольно значительно увеличиваются в числе. Краснокожие Соединенных Штатов Северной Америки готовы были уже вовсе исчезнуть с лица земли, как исчезли тасманийцы, когда открылась счастливая возможность прежние их военные отношения к англоамериканцам заменить отношениями более общественного, т. е. более социологического, характера, и последняя поголовная перепись 1880 года показала уже довольно заметный прирост краснокожего населения в этой стране. Из этого уже прямо следует, что там, где отношения между людьми имеют исключительно зоологический характер войны, пожирание слабейшего сильнейшим является неизбежным

последствием. Коль скоро же отношения эти становятся социологическими, т.е. принимают характер более или менее разносторонней кооперации, товарищества, биологический закон борьбы не находит себе уже применения. Действительность показывает, что как воинственные, так и товарищеские отношения (и биологические и социологические) равно возможны между людьми, стоящими на очень различных ступенях культурного и антропологического развития.

Случается и так, что между цивилизаторами и туземцами не складываются товарищеские социологические отношения, но и не завязываются отношения открытой зверской войны. В истории колонизации далеких стран мы видим всего чаще, что пришельцы, вооруженные усовершенствованными орудиями производства, вступают в промышленное соперничество с туземцами, которых они не думают прямо истреблять. В таких случаях действительно оказывается очень скоро, что эти слабейшие соперники приходят в крайне бедственное состояние и могут наконец вовсе быть сжитыми со света безо всякой войны. Так исчезли, например, с лица земли целые десятки охотничьих племен Сибири вследствие того только, что русские охотники, гораздо лучше вооруженные, истребляли их дичь и

тем заставляли их углубляться в такие трущобы, где существование их становилось невозможным по сотне самых разнообразных причин. Из этого мы вполне вправе заключить, что отношения экономической конкуренции тождественны с теми отношениями, которые очень часто встречаются в растительном и животном царстве, где особи, не пожирающие друг друга, но черпающие свое питание из одной общей среды, находятся между собою во взаимодействии, очень удовлетворительно объясняемом дарвиновским законом борьбы: особи более алчные так основательно высасывают из среды все пригодные им элементы, что для менее счастливых соперников уже и не остается ничего. Но ведь общественные отношения между животными и между людьми далеко не исчерпываются ни отношениями экономической конкуренции, ни отношениями войны. В той же самой истории колонизации далеких стран мы можем найти и такие примеры, где пришельцы высшего культурного и антропологического развития, не вступая с туземцами в товарищескую кооперацию, однако же, и не соперничают с ними; они находят для себя выгоднее предоставлять этим туземцам такие производительные поприща, которые для самих себя они считают слишком низменными. В области социологической такого рода отношения представляются нам очень еще несовершенными и очень зачаточными. Тем не менее на практике даже и эти зачаточные социологические отношения доставляют обеим сторонам довольно уже существенные выгоды, а в теории они служат неопровержимым доказательством тому, что явления социологического порядка не могут быть объясняемы социологическим законом борьбы. Сборища людей, стоящих хотя бы очень близко друг к другу или, пожалуй, даже сцепившихся за волосы между собою, не составляют непременно общество. А потому, прежде чем решать огулом, сплеча, сложные культурно-исторические задачи на основании биологических законов борьбы и подбора родичей, приходится еще решить с возможною научною обстоятельностью целый ряд докучных вопросов. Что же такое общество? Чем характеризуется сущность социологических явлений? В каких взаимных отношениях находятся между собою биологический и социологический миры?

Не подлежит никакому сомнению, что истинный дарвинизм в значительной степени облегчает нам решение этой задачи. Давая нам очень основательное представление о биологической эволюции и об управляющем ею законе борьбы, он позволяет нам ориентироваться в сложной области культурно-исторических явлений, не ограниченной такими заборами, которые бы даже поверхностному или ослепленному предвзятыми мыслями наблюдателю неизбежно бросались бы в глаза. Никто не думает отрицать, что в совместной жизни людей, даже стоящих на вершинах новейшей цивилизации, встречаются в изобилии явления, носящие несомненный характер борьбы за существование, а следовательно, и вполне удовлетворительно объяснимые теми биологическими законами, которые установил Ч. Дарвин. Но столь же очевидно, с другой стороны, что и в жизни животных, даже стоящих не особенно высоко на лестнице зоологического совершенствования, встречаются многочисленные примеры таких взаимных отношений и такой группировки особей, которые являются решительно необъяснимыми с точки зрения желудочной или половой борьбы. Из этого следует, что область социологическая не совпадает с областью антропологическою. Мир общественности не лежит над миром биологическим в форме прямолинейного,

явственно разграниченного пласта: оба эти мира, напротив, взаимно входят друг в друга, сцепляются один с другим бесчисленным множеством корней и нитей, доходящих порою до микроскопических разветвлений, но ни в каком случае не сливаются и не отождествляются между собою. Основать социологию на дарвиновском законе борьбы за существование так же немыслимо, как разрешить вопрос о солнечных пятнах на основании Пифагоровой теоремы.

Блаженной памяти классицизм в естествознании приучил нас делить всю познаваемую природу на три царства: минералогическое, растительное и животное. Ближайшим результатом переворота, связанного в науке с именем Дарвина, является убеждение в единстве и тождестве мирового процесса на всех его ступенях. При этом, само собою разумеется, уже и речи не может быть о разделении природы на какие бы то ни было царства, резко и конкретно разграниченные между собою. Младенец превращается в отрока, в юношу, в зрелого человека и т.д. рядом непрерывных и незаметных изменений. Следя шаг за шагом, по мелочам, за этим долгим и сложным процессом, мы необходимо теряемся в бесконечных подробностях и упускаем из виду самую его суть; из этого, однако же, не следует, будто наше представление о возрастах — бессодержательная абстракция. Точно так же и в мировом процессе развития мы можем намечать только такие преемственные отделы, которые очень отличны один от другого в своих средних терминах, хотя на границах и переливаются незаметно один в другой. Старая классификация давно уже не отвечает новым научным требованиям. Недостаток ее не в неопределенности границ между ее «царствами», а в том, что ее отделы не состоят в прямом соотношении с живым процессом развития, который один составляет для нас интересную и подлежащую реалистическому изучению сущность явлений природы.

Более соответственным духу новой науки является разделение подлежащих нашему исследованию явлений на три области, следующие одна за другою в порядке возрастающей сложности и большей изменяемости своих процессов и форм.

1-я область — неорганическая, исчерпываемая физическими и химическими процессами, для объяснения которых достаточно Ньютонова закона всемирного тяготения; мир геометрических, неподвижных форм;

2-я область — биологическая, включающая весь мир желудочных и половых интересов; мир растительных и животных индивидуальностей, состязающихся и изменяющихся в неустанной борьбе за существование;

3-я область — социологическая — мир коллективностей, мир интересов, выходящих за пределы одиночного биологического существования; мир кооперации, т.е. сочетания не противодействующих, а содействующих достижению одной общей цели сил, представляемых отдельными биологическими особями, способными под влиянием желудочных и половых интересов вступать между собою в состязание или в открытую биологическую борьбу.

Выше уже было замечено, что дарвиновский закон борьбы имеет очень определенную границу снизу, т.е. что он совершенно не нужен для объяснения явлений из той первой области, которую мы по старой памяти назвали областью неорганическою. Утверждать, будто закон этот применим к третьей, т.е. к социологической, области, значило бы добровольно отнимать у слов всякое

определенное значение и впадать в ту безразличность, при которой содействие является одною из форм противодействия, а кооперация, взаимопомощное товарищество, является синонимом борьбы. С подобною диалектикою можно, конечно, договориться до всего, но при ней все сказанное становится по необходимости безразличным. Следовательно, или закон борьбы есть не всемирный, а чисто специфический закон явлений биологической группы, или же явления кооперации, сотрудничества, взаимопомощи не существуют нигде, кроме нашего воображения, а этим признанием упраздняется всякая социология: вся экономика, политика, культурная история не только неспособны во всей своей совокупности быть предметом особой научной отрасли, но с трудом даже могут дать научное содержание одной дополнительной зоологической главе. Говоря другими словами, основать социологию на законе борьбы за существование можно не иначе, как упразднив всякую социологию, признав не заслуживающею внимания всякую группировку особей, не имеющую боевого значения, и объявив всякое взаимопомощное содействие химерою, несбыточною мечтою.

Авторы, о которых было говорено выше, не договариваются до таких крайностей благодаря тому, что при большой начитанности и малой последовательности о социологических предметах можно написать целую библиотеку, не дойдя ни до какого конца. Но последовательный в своем ослеплении немец Йегер не остановился и перед этими геркулесовыми столбами нелепости. В вышедшем лет шесть тому назад своем «Учебнике зоологии» он «обрабатывает» в духе учения борьбы за существование всю социологию, семейную и государственную, в трех заключительных параграфах своей классификации органических форм. Передать такое бессмертное открытие своими словами мы, конечно, не решаемся, а потому и приводим в сокращенном переводе нижеследующие его измышления:

«§ 219. Биологическую индивидуальность второго порядка[ii] составляет *семья*... Мы различаем: 1) семью *акефалическую*, или *безголовую*, обыкновенно называемую *стадом*, без вождя. Этот вид ассоциации встречается очень часто у животных низших, а также и у иных со значительно высшею организацией) (сороки, водяные птицы); они отличаются чрезвычайною многочисленностью у некоторых морских пород (крабов, моллюсков, полицистин); 2) семью *кефалическую* (орда, народ, стая, товарищество). Меж тем как члены семьи безголовой состоят все между собою в отношениях *координации*, семьи этого второго вида имеют *вожака*, к которому все они состоят в отношениях *субординации*. Вожаком в большинстве случаев бывает самец (*патриархаты*), реже (например, у гусей) самка (*матриархаты*)... У семей *кефалических*, состоящих из нескольких поколений (журавли, дикие гуси, слоны), вожак выбирается частью по старшинству, частью же по своим способностям управлять стадом.

§ 220. Биологическая индивидуальность третичного порядка есть *государство,* состоящее из семей. Отличительным его признаком является разделение труда, ведущее иногда к морфологической разнородности... Этого рода индивидуальность встречается только у некоторых насекомых (термитов, муравьев, пчел) и у людей. Здесь следует строго различать два случая: а) государства, возникающие через увеличение семей путем размножения; мы называем их *племенными* государствами; низший вид этого рода — *государства*

половые, высший — *государства национальные*, встречаемые только у людей; b) государства могут также возникать из особей, не состоящих в кровном родстве между собою; такие встречаются только у людей и называются государствами международными, или *агрегациями* (Америка, Швейцария). Государства племенные более естественны, потому что регулирующий принцип всякой организации, т.е. субординация, является уже предсуществующим в лице предков различных возрастов. Государства агрегационные организуются с гораздо большим трудом, потому что их составные части находятся первоначально только в отношениях координации и принцип старейшинства в них совершенно бездействует. Развиваясь, эти международные государства представляют нижеследующие стадии: a) *государства двухсторонние*, или *партионные* (Америка) — внешнее могущество, внутренняя борьба, смертельно тревожное состояние особей; b) *олигархии* — господство сперва денежной аристократии, переходящее потом в *наследственный* патрициат (классические республики, Швейцария). Если такое государство не гибнет преждевременно, то оно доживает до стадии тирании, чтобы следовать затем по естественному пути всякой плоти...

§ 221. В противоположности с предыдущим и неизмеримо выше его стоит племенное государство, которого все члены связаны между собою узами кровного родства. Мы встречаем его уже у животных и можем разделить нижеследующим образом стадии его развития: 1) *Половое государство* с двумя цехами: *воспроизводителей* (половых) и *работников* (бесполых). Последние находятся в подчиненном состоянии и если *фактически* и могут иногда забрать власть в свои руки, то только в таком смысле, в каком говорят, будто барин становится рабом своего слуги... 2) *Государство рабовладельческое,* представляющее вторичную и более возвышенную форму племенного государства; оно является последствием военного государства, которое хищническим путем приобщает к себе разноплеменных особей; но они не остаются здесь, как в агрегационных государствах, в отношениях координации, способных затормозить организационную работу, а приводятся в ординацию (владельцы и рабы)... Владельцы все имеют пол, а потому, как и в половом государстве, они иногда впадают в зависимость от своих рабов (Древний Рим и рабовладельческие государства некоторых муравьев). 3) *Собственническое государство,* вытекающее непосредственно из предыдущего (сюда включаются государства *пастушеские* и государства *земледельческие*)... » «Высшая форма, которой может достигнуть общество — конституционная монархия, — может быть достигнута только государствами племенными в их национальном периоде; агрегации же могут производить только одну из низших форм (республику, федерацию или деспотизм)».

Мы бы рекомендовали всем псевдодарвинизирующим социологам школы борьбы выгравировать эти строки на мраморной доске и иметь ее постоянно перед глазами, чтобы она оказывала им ту услугу, которой спартанские родители ждали от вида пьяного илота для нравственности своих детей.

Ошибочно было бы полагать, будто дарвинизм может обновить общественную науку внесением в нее принципов эволюции и борьбы за существование, которые сам он заимствует у нее. Представление о преемственности развития (т.е. об эволюции) на историческом поприще носилось довольно определенно и довольно живо в умах многих французских гуманистов XVIII столетия (например, у Дидро). Правда, оно не особенно улыбалось этим юношески нетерпеливым и смелым новаторам, жившим в одну из тех критических минут, когда человечество слишком круто порывает свои связи с прошлым, а потому и чувствует мало склонности научно уяснять свое с ним кровное родство. Принцип эволюции точно не был развит энциклопедистами до степени научного метода и даже скоро был, по-видимому, оттерт совершенно на задний план односторонним идеализмом Руссо, которого диалектическую исключительность новейшие позитивисты не без некоторого основания противополагают реалистическим приемам, восторжествовавшим на всех научных поприщах около ста лет спустя.

В первой половине нашего века эволюционный принцип в социологических своих применениях настолько уже носился в воздухе, что к нему естественно приходили мыслители самого разнообразного закала и темперамента. Гениальный самоучка Прудон, не связанный ни с какою школою, строит капитальнейшее из своих произведений — «Систему экономических противоречий» — на эволюционном начале, хотя и отраженно, несколько невыгодно, сквозь призму его сомнительного гегелизма, заимствованного из вторых рук. Позднее, отделавшись от колодок гегелевской трилогии (игравшей, впрочем, далеко не существенную роль и в прежних его воззрениях), он пишет свои исследования о «Войне и мире», проводя с большою последовательностью и с обычною у него яркостью и силою диалектики бесспорно верную идею возникновения краеугольного социологического факта — договора, права — из первобытного биологического хаоса, руководимого только силою, т.е. борьбою... Мы бы никогда не кончили, если бы задумали перечислять здесь хотя бы только одни наиболее выдающиеся из социологических трудов первой половины нынешнего столетия, в которых идея преемственности развития культурно-исторических явлений установляется со всею желательною определенностью и ясностью. При имеющемся уже в наличности запасе исторических и этнографических сведений едва ли возможно даже исследователю, не ослепленному каким-нибудь предвзятым доктринаризмом, так распределить в своем собственном уме многочисленные факты, касающиеся религиозных верований, экономических учреждений, бытовых и политических форм у разных народов или в разные времена у одного и того же народа, чтобы закон преемственного развития этих верований, учреждений и форм не выступил на вид во всей своей яркости. Если бы для создания положительной социологии достаточно было одного провозглашения принципа эволюции, то можно без малейшего преувеличения утверждать, что наука эта значительно опередила бы в своем развитии новейшую биологию и дарвинизм. Никому по крайней мере и в голову не приходило оспаривать Эдгара Кинэ, когда он (в своем «Мироздании») утверждал, что принцип преемственного совершенствования заимствован естествознанием у истории.

Что касается принципа борьбы, то он на социологическом поприще даже несколько предупредил появление систематического эволюционизма. Позволим себе напомнить читателю, что уже Адам Смит, очевидно противодействуя крайнему идеализму Руссо, счел нужным обратиться к исследованию нашей социологической наличности с чисто эмпирической, с описательной точки зрения. При этом он разлагает собирательную жизнь на две части, относя к одной из них все, касающееся нравственной стороны, и строго ограничивал другую часть только тем, что касается чисто животной стороны экономического приспособления человеческих обществ к внешней среде в видах удовлетворения одних только материальных, т.е. биологических, потребностей. Ланге в «Истории материализма» замечает вполне основательно, что такой прием со стороны А. Смита был совершенно законен и не дает нам ни малейшего права обвинять творца политической экономии в односторонности. Чтобы изучить влияние, оказываемое атмосферою на дыщащие в ней существа, очень полезно в отдельности изучить азот и кислород, хотя мы и знаем очень хорошо, что в чистом кислороде, так же как и в чистом водороде, дышать нам решительно невозможно. А. Смит не думает утверждать, будто жизнь человеческих обществ исчерпывается одними экономическими приспособлениями, имеющими своею очень определенною целью удовлетворение одних только животных наших нужд, да и то, собственно говоря, не всех, а только тех, биологически важнейших из них, которые имеют теснейший интерес для самосохранения особей; потребности же тоже чисто биологические, но имеющие целью сохранение рода, а не особи, например половая любовь, принимаются очень мало в расчет политическою экономией). Если бы А. Смит полагал, что коллективная жизнь человечества может ограничиваться этою экономическою стороною, то он не стал бы тратить времени на сочинение своего увесистого «Трактата о нравственности». Вышло, однако же, так, что этот «Трактат о нравственности» и в свое время не обратил на себя особенного внимания, теперь же он, даже и по заглавию, известен только очень немногим специалистам, да едва ли и заслуживает лучшей участи. Трактат же о «Богатстве народов» по глубине анализа, по блистательному изложению, отчасти же и по новости предмета стал одним из капитальнейших событий умственной истории своего времени. В нем А.Смит раскрывал перед изумленными современниками чудовищной сложности механизм (или, если хотите, организм), тщательно отделанный и гениально скомбинированный в самомалейших своих частях, механизм, спокон века перемалывавший самые насущнейшие их житейские интересы, истиравший в порошок в значительном количестве даже их самих, но о существовании которого только очень немногие из заинтересованных имели хотя бы самые смутные представления благодаря предварительным трудам французских экономистов и физиократов. Кто же создал этот гигантский механизм, носивший во всех своих подробностях столь очевидные, казалось, следы глубокой целесообразности и придуманности? Никто, как корысть, имеющая исходною точкою чисто животную необходимость приспособления к среде под страхом смерти от голода и холода. Чем движется этот сложный механизм, обладающий чуть что не волшебною способностью направлять к одному желанному центру тысячи, мириады разрозненных, чаще диаметрально противоположных стремлений? Личным эгоизмом каждого; всякое постороннее вмешательство может только испортить его

изумительно тонкую и сложную игру. Посмотрите, какие несметные богатства он накопил уже для вас, пока вы даже и не подозревали о его существовании; а потому: «Laissez faire, laissez passer!» (думайте только о своих делах, всяк за себя, один Бог на всех; главное — не вздумайте только обуздывать своих эгоистических побуждений)[iii]. А как же с нравственностью? Это особое дело, обстоятельно изложенное в этическом трактате. А в трактате скука и суть; да к тому же «laissez faire» и «laissez passer» можно ведь очень удобно и без всякой теоретической подготовки.

Нет никакого сомнения, что голый эмпиризм А.Смита, в смысле научного развития, составлял значительный шаг вперед сравнительно с теми чисто мистическими или метафизическими приемами, которые до тех пор господствовали безраздельно в области естествознания вообще. Благодаря этому относительному превосходству своего метода экономист очень скоро оттиснул всякую общественную философию и социальную этику совершенно на задний план. Политическая экономия овладевала исключительно солиднейшими умами этого времени, несмотря на то что факторы очевидно не экономического свойства (например, политические) играли заведомо очень важную роль в деле не только распределения, но и самого производства так называемых «общественных богатств»; в этом участии посторонних факторов в едином будто бы существенном деле экономической борьбы видели неизбежные остатки только что пережитой Европою эпохи варварства. Единственным общественным идеалом, который, не краснея, лелеяли солиднейшие умы того времени, было стремление очистить экономическую эволюцию от всякого участия этих непрошеных элементов и тем окончательнее и всестороннее отождествить ее с тою животною борьбою за существование, которая (как это нам разъяснили впоследствии) действительно составляет краеугольный закон всего биологического мира. Но так как общество решительно не может обходиться продолжительное время без каких бы то ни было нравственных начал, то вскоре, несмотря на броню неподражаемого и неподдельного самодовольства, одевавшую умы и сердца пророков политико-экономического учения, несмотря на громадный прирост «общественного богатства», начавший обнаруживаться повсеместно в Западной Европе в период безраздельного господства смитовских начал, внутренний разлад, беспредельное недовольство людьми и миром стали все нестерпимее томить первоначально одни только высшие круги и классы просвещенного общеевропейского общества, постепенно охватывая собою все более и более многочисленные сферы, не останавливаясь даже перед границею распространения грамотности в народе. Большинство людей так устроено, что нравственный разлад томит их неизбежно, как слишком тесный сапог на роскошном пиру, даже среди действительного изобилия всяких земных благ и чувственных удовольствий. А тут еще дело, как на беду, устраивалось так, что по мере возрастающего в невероятных почти размерах накопления земных благ число имеющих нравственную и фактическую возможность наслаждаться ими приметно суживалось из года в год. Параллельно этому ежегодно увеличивалось число затираемых беспощадною конкуренциею. Между достигшими и раздавленными становилось даже невозможным установить какую-нибудь уловимую грань. Так как необходимым условием приобретения материальной обеспеченности являлась ожесточенная борьба, вдохновляемая до

крайности распаленными стяжательными инстинктами, то большинство удачников оказывалось всего чаще в критическом положении неопытных чародеев, терзаемых теми самыми демонами, которых они же сами вызвали, но которых они уже не в силах обуздать. Кажущиеся счастливцы, возбуждавшие зависть во всех оставшихся позади в этой неистовой скачке с препятствиями, не только не находили в себе вожделенной способности мирно наслаждаться приобретенными богатствами, а в свою очередь сгорали завистью к опередившим их счастливцам или томились сознанием суетности приобретенных ими благ. Вся художественная литература этого времени есть только один непрерывный лирический вопль, вызываемый этим внутренним томлением: неудержимое стремление бежать куда бы то ни было, хоть в самые непроглядные средневековые трущобы, неодолимая потребность отуманить каким-нибудь романтическим дурманом слишком отрезвленный политико-экономическим будничным эмпиризмом ум... Драгоценная способность непоследовательности могла еще до поры до времени служить паллиативом; но противоречие развивалось быстро до таких вопиющих размеров, что не могло уже укрыться и от добровольно ослепляемых взоров: невозможно же в самом деле проводить шесть дней каждой недели в остервенелой травле ближнего из-за удовлетворения донельзя распаленной жажды наживы, а по воскресеньям с умилением выслушивать притчи о птицах небесных, иже не сеют, не жнут, и о богаче, сопоставляемом с верблюдом...

Оставалось бы, казалось, обратиться к тем началам, которым А. Смит посвятил свой нравственный трактат, и за невозможностью расследовать их с желательною научною обстоятельностью применить по крайней мере к ним ту эмпирическую разработку, которая в сфере зоологической борьбы за существование давала такой через меру блистательный результат. Но, увы! Область нравственных интересов представлялась до такой степени перенаселенною всякими метафизическими и мистическими призраками, что ни науке, ни голому эмпиризму к ней не усматривалось вовсе доступа. Приходилось поневоле искать в той же самой погоне за наживою каких-нибудь крупиц или зародышей нового мировоззрения, способного сплотить в одно стройное целое противоречивые элементы — гипертрофированные корыстные побуждения и несогласные умолкнуть нравственные альтруистические требования, — взаимно пожиравшие друг друга в нашей душе. Ответом на этот спрос явилось достопамятное учение Мальтуса, обозначающее собою действительно мировой момент в истории развития общественных и биологических наук. Бессмертный протестантский пастор, обеспечивший свой личный успех в борьбе за существование воскресными проповедями о только что помянутых птицах небесных и о богаче с верблюдом, нежный отец одиннадцати дочерей, Мальтус в свободное от своих воскресных занятий время усмотрел, что эта борьба каждого против всех только по внешности кажется служащею исключительно узкоэгоистическим корыстным интересам состязающихся. В сущности же, пожирая ближнего в необузданном экономическом состязании, мы исполняем, хотя бы и сами о том не ведая, великий провиденциальный закон, закон благодетельный по преимуществу, так как им обеспечивается прогресс цивилизации и совершенствование человеческого рода. Таким образом, оказывается, будто бы обуздывающий свои корыстолюбивые побуждения не только не совершает тем самым нравственного поступка, но,

скорее, даже заслуживает порицания, как солдат, уклоняющийся от битвы с неприятелем, низводит свое собственное значение на степень нуля и тем как бы обманывает расчеты, возложенные на него провидением. Еще хуже, в смысле этого учения, поступает тот, кто вздумает из чувства человеколюбия оказывать поддержку слабым и беспомощным, затертым беспощадною конкуренциею, потому что таким образом как будто извращается благой закон борьбы, сохраняется негодный для коллективного предприятия субъект, который непременно должен занять место, будто бы приготовленное на жизненном пиру для более состоятельного бойца, нанося, таким образом, известный ущерб не только этому незаконно устраняемому сопернику, но и прогрессивному развитию дальнейших поколений. Что касается обуздания эгоизмов, то Мальтус без особенного труда выдерживает тон олимпийского величия, подобающий объективному мыслителю, вещающему миру в первый раз такие глубокие, такие новые и вместе с тем оглушительные для него истины. Немудрено: он сознает, что провидение слишком обеспечило свои расчеты с >этой стороны и что люди, успешно состязающиеся в жизненной борьбе, всего менее склонны грешить излишеством самообуздания. Но зато в качестве протестантского пастора Мальтус знает очень хорошо, что удачливые дельцы далеко бывают не прочь обеспечивать себя на всякий случай от неприятной перспективы очутиться на том свете в положении верблюда, проходящего сквозь игольное ушко, и что в этих видах они порою готовы бывают бросать крохи со своего стола искалеченным непосильными состязаниями Лазарям. В филантропии автор знаменитых прогрессий усматривает одну из важнейших язв нашей цивилизации, а потому и проповедует воздержание от нее с гораздо большим жаром и пафосом, чем самое свое пресловутое «нравственное воздержание» (moral contraint).

Психически Мальтус, по-видимому, не успел установить в себе самом необходимое внутреннее равновесие. Очень вероятно, что он в обыденной жизни был даже очень добрый человек, не способный относиться безучастно к страданиям ближнего; он только очень ясно понимал, что под законом непримиримой борьбы каждого против всех и всех против каждого нет никакой возможности спасти от гибели одного побежденного бойца, не осуждая тем самым на жертву вместо него другого, более сильного соперника. Как быть? Мальтус только подводил итоги тому, что достаточно обнаружил уже А.Смит, не уклоняясь ни на шаг от эмпирических приемов, завещанных великим творцом политической экономии. Плодом его личного сочувствия к страждущим жертвам бездушной борьбы, составляющей будто бы неизбежный наш удел, является единственная, правда очень существенная, непоследовательность, легко заметная даже на первый взгляд в его целостном и солидно законченном учении. Убедив нас, будто для успехов цивилизации и для совершенствования человеческого рода совершенно необходимо, чтобы на каждый имеющийся каравай разевалось по меньшей мере сто голодных ртов, из которых неумолимою борьбою девяносто девять будут устранены в пользу одного достойнейшего, он рекомендует в видах облегчения неустранимых человеческих зол всем, не обеспеченным наследственными имуществами, воздерживаться от деторождения. Спрашивается, что же станет с нашею цивилизациею, если неустранимая борьба вдруг устранится сама собою вследствие того, что число ртов придет в соответствие в числом наличных

караваев, есть которые каждому приятнее, чем отнимать их у ближнего? Что же станет с пресловутою теориею Мальтуса, краеугольным камнем которой служит положение, будто каждое улучшение быта народных масс естественно должно привести к усиленному деторождению?

Джон Ст. Милль, желая отстоять закон Мальтуса в своем guasi-социалистическом миросозерцании, рекомендует в качестве единственного средства против пауперизма поднять уровень рабочих масс настолько, чтобы они прониклись сознанием непреложности этого закона и отказались от семейных утех, а затем организовать на государственный или общественный счет эмиграцию рабочих en masse, чтобы уменьшением числа предлагаемых на рынке рабочих рук значительно возвысить задельную плату, которая и будет застрахована от быстрого дальнейшего понижения уменьшенным деторождением. Средство это сильно напоминает ловлю руками птиц, предварительно насыпав им на хвост соли; но дело здесь не в том, а в том, что если закон этот так удобно мог бы быть обойден сознательною коллективною деятельностью людей, то в чем же заключается его пресловутая космическая непреложность?

Отбрасывая, таким образом, эти дополненные Джоном Ст. Миллем псевдочеловеколюбивые мальтузианские мечты, мы можем смело утверждать, что автор пресловутых прогрессий развил теорию борьбы и естественного подбора в социологическом ее применении с такою полнотою, которая уже решительно не нуждается в дальнейших биологических пояснениях и толкованиях. Дарвин и Уоллес знали очень хорошо, что они применяют к биологической области закон, более полувека тому назад уже примененный к обществознанию Мальтусом, и сами они, конечно, нисколько не помышляли обновлять социологию этим своим глубоко осмысленным применением.

IV

За Мальтуса и против Мальтуса исписаны целые тома, тем не менее пресловутый его закон никогда еще не был ни научно установлен, ни научно опровергнут в социологической области. Прискорбное это положение очень естественно вытекает из того, что ни самый предмет социологических исследований, ни подобающий этим исследованиям прием или метод до сих пор еще не выяснены с надлежащею научною определенностью. Однако же каждый раз, когда мальтусовский закон пытались приложить к разъяснению того или другого социологического явления, то неизменно оказывалось, что он не только не служил ключом к разрешению поставленных задач, но даже не помогал ориентироваться сколько-нибудь основательно в исследуемых при его помощи задачах. Если закон этот должно понимать только в смысле мрачного предостережения, что когда-нибудь, в совершенно неопределенном будущем, земной шар окажется настолько перенаселен, что люди при всевозможных усовершенствованиях технических и социальных приспособлений не в состоянии уже будут доставать себе питательные вещества, в таком случае наперед уже можно бы было решить, что закон этот не имеет решительно никакого

социологического значения. Астрономы полагают же, например, что солнечная теплота должна со временем оскудеть, угрожая не только целой Земле, но зараз уже и всем планетам с их спутниками неизбежною гибелью. Немного выиграет род людской от того, что вместо смерти от голода исчезнет от мороза. Если же признать, будто этот закон в каждый данный момент уже теперь благодеянием непрестанной грызни и беспроходной нищеты менее стойких бойцов спасает каждую данную страну от перенаселения, а цивилизацию от застоя, то с первых же шагов натыкаешься с ним на непреодолимые препятствия и противоречия. Прежде всего бросается в глаза, что населенность и нищета нигде не состоят между собою в функциональном отношении. Россия, например, при 12 душах населения на 1 квадратную версту пользуется гораздо меньшею экономическою обеспеченностью, чем Франция, населенная в пять или шесть раз гуще ее, и при этом мы не имеем ни малейшей возможности утверждать, будто борьба за существование во Франции ведется с большим ожесточением, чем у нас. А это уже прямо ведет к противомальтузианскому заключению, что успешность экономических приспособлений в данном обществе не соизмеряется ожесточением борьбы, что цивилизация, даже в современном несовершенном своем значении, обеспечивается вовсе не многочисленностью контингента вымирающей от нищеты и голода голытьбы. А о других каких-нибудь факторах во всем мальтузианстве нет и речи.

Проследим ли мы в одной какой-нибудь стране (как это было сделано Прудоном для Франции) возрастание за различные промежутки времени цифр населения параллельно с суммою наличных богатств — и тут мы решительно неспособны усмотреть требуемой Мальтусом функциональной зависимости. Вообще в цивилизованных странах прогрессия возрастающего населения (по Мальтусу, будто бы геометрическая) приметно отстает от прогрессии богатств (по Мальтусу, будто бы арифметической). Упрочивающееся благосостояние повсюду не только не обнаруживает склонности вызывать усиленную деторождаемость, а действует в диаметрально противоположном направлении. В Древнем Риме параллельно с чудовищным накоплением богатств обнаружилось такое общераспространенное отвращение от производства на свет себе подобных, что явилось поползновение в законодательном порядке налагать штрафы на холостяков и поощрять государственными мерами рождение младенцев. В любом современном государстве, в любом большом городе можно очень явственно проследить, что нищета, являющаяся в мальтузианском мировоззрении прямым последствием перенаселенности, в действительности оказывается, наоборот, коренною причиною усиленной рождаемости. Обобщая статистические данные, Герберт Спенсер приходит к тому заключению, что с упрочивающимся материальным благосостоянием и с прогрессом культуры цифры народонаселения обнаруживают приметную склонность держаться на одной и той же высоте, причем цифры рождаемости и смертности более и более понижаются, и что эта численная неподвижность населения вовсе не замедляет дальнейшего совершенствования рас и быстрого культурного преуспеяния...

Мы не отрицаем, что при известной диалектической увертливости можно каждое из только что указанных противоречий (не считая множества других) пристегнуть с грехом пополам к пресловутым мальтузианским прогрессиям; но объяснить их конкретно и логически на основании мальтузианского закона борьбы

отказались уже давно даже самые горячие сторонники этого учения. Таким образом, мальтузианство уже с давних пор служило для политико-экономистов классического направления чем-то вроде почетного знамени, которым в торжественных случаях потрясали на страх врагам, но которое оказывалось решительно непригодным для серьезного дела. Импульс, данный политико-экономическому направлению А.Смитом и Мальтусом, совершенно обрывается уже на Рикардо, своею теориею рент несколько дополнившем теорию благодетельности борющихся эгоизмов в деле общественного благоденствия. С Ж.Б. Сэем политическая экономия отрекается от научных поползновений и вступает на путь, приведший ее по наклонной плоскости к «гармоническим» словоизвержениям Фредерика Бастиа, с которыми уже никакая наука, ни даже сколько-нибудь плодотворный эмпиризм не могли иметь решительно ничего общего. Все живое и цельное от Прудона до Карла Маркса включительно, исходя из различных начал, роковою силою влеклось в ряды противомальтузианского лагеря. Теория борьбы падала не под ударами врагов, а выветривалась сама собою, обнаруживая каждым своим новым появлением перед публикою только все большую несостоятельность сказать хоть одно дельное слово по поводу какого бы то ни было животрепещущего вопроса или явления социологического порядка, так что о ней скоро и вовсе бы перестали думать или говорить, если бы неожиданный ее успех с Дарвином и Уоллесом на биологическом поприще не привлек к ней снова всеобщего внимания...

Ни для кого не тайна, что в смысле научной обстоятельности естествознание далеко опередило обществознание, а потому у каждого является предположение, что если даже такой солидный ученый, как Ч. Дарвин, принимает основные положения Мальтуса всерьез, то, значит, они-то и выражают собою самую истину. При этом мало кому приходит в голову, что доброкачественность научного закона или приема не может существовать безотносительно к области явлений, охватываемых этим законом или методом. Закон всемирного тяготения бесспорно общее и научнее закона борьбы, но попытайтесь при помощи его исследовать явления биологической эволюции. Организмы, растительные или животные, не перестают, конечно, быть прежде всего весомыми телами и как таковые подлежат непреложному действию закона тяготения. Обходясь в биологической области теми законами и теми приемами, которые низшую, неорганическую природу объясняют нам вполне, мы неизбежно должны будем проглядеть то, что составляет характеристическую особенность, т.е. сущность биологических явлений. В свою очередь применение биологического закона к низшей, неорганической среде неизбежно могло бы только привести к смешению и путанице. Одно то обстоятельство, что закон борьбы за существование с таким успехом мог быть применен к сфере биологических явлений, должно наводить нас на мысль, что он органически неспособен стать законом социологическим. Мысль эта тотчас находит себе фактическое подтверждение уже в том одном, что мальтузианцы в период наипущего своего процветания несомненно рассматривали каждое общество как простую агрегацию живых существ, одаренных способностью производить детей, приспособляться и пожирать, без малейшего соотношения к доброкачественности связывающих их общественных условий. Каждый раз, когда противники или отщепенцы правоверного политико-экономического направления

усиливались обратить наше внимание именно на эти общественные условия, т.е. на самую социологическую суть, мальтузианцы дружным хором упрекали их в праздной мечтательности, утверждая совершенно голословно, будто судьбы людей и народов достаточно определяются пресловутыми прогрессиями, которые невозможно будет обойти никакими улучшениями общественных порядков. Короче говоря, мальтузианство категорически отрицает самый объект социологических исследований, видя в обществе, в различных методах коллективирования не более как частный случай всеобщей биологической борьбы за существование. Теперь, побывав в зоологических и антропологических лабораториях, оно говорит с нами совершенно иным языком; но мы еще не знаем, научилось ли оно проводить сколько-нибудь определенные границы между биологиею и социологиею?

Огюст Конт, к которому невольно приходится обращаться в подобных случаях, так как самое слово «социология» ведет от него свой род, учил нас, что область социологии начинается там, где биологический эгоизм сменяется альтруизмом, стало быть, где отношения борьбы сменяются диаметрально противоположными отношениями взаимопомощи, дружбы, любви, товарищества. При таком определении о законе борьбы в социологии так же мало могло бы быть речи, как, например, о морозе при температуре кипения. Оставалось, казалось бы, только конкретно указать, где начинается самый альтруизм, откуда берется он, т.е. какими реалистическими узами социологический мир вяжется со служащим ему подножием миром социологии. К сожалению, эта существенная часть задачи исполнена верховным жрецом французского позитивизма с гораздо меньшею категоричностью и обстоятельностью. О. Конт не только не выводит нас последовательно из области биологии в высший социологический мир, а даже усиливается создать между этими двумя сферами искусственную пустоту, благодаря которой все его социологические построения неизбежно должны оказаться висящими в воздухе.

Молодой французский ученый Альфред Эспинас в вышедшем уже несколько лет тому назад блестящем трактате «Societes animates» замечает, будто европейское человечество бьется уже около двух тысяч лет над разрешением вопроса, что такое общество. При этом все предлагаемые с разных сторон решения легко могут быть сведены к двум. Умы позитивистского пошиба от Аристотеля до наших дней, т.е. до Герберта Спенсера и самого Эспинаса включительно, видят в обществе живой организм, в котором мы, кичливо считающие себя за венец мироздания и за самостоятельные существа, являемся не более как особями подчиненного порядка или органами. Умы же идеалистического пошиба от греческих софистов до Ж.-Ж. Руссо смотрят на общество как на договор, произвольно заключаемый между людьми в видах достижения собственных своих выгод.

Две тысячи лет, бесспорно, очень уважительный срок, и можно бы прийти в отчаяние при мысли о том, что передовые умы не успели за это время прийти к соглашению по поводу столь существенного вопроса. Сами собою, однако, сейчас же приходят на ум некоторые смягчающие обстоятельства. А именно, что решения классической древности для нас все равно не могли бы иметь значения уже потому, что греческие мудрецы только в сфере низшей математики могли сходиться с самыми умеренными скептиками наших дней в своих представлениях о научности.

По мере же собственной своей требовательности они, вероятно, решали этот вопрос вполне удовлетворительно, если не устами греческих софистов и мудрецов, которые жили в слишком уж тесном мире своих микроскопических республик и тираний, то по крайней мере устами римских своих последователей, вроде, например, Лукреция. А затем вскоре на всю Европу опустился непробудный мрак времен, на который из помянутых двух тысяч лет можно бы удобно отбросить хоть полтора тысячелетия. Собственно говоря, спор этот получает для нас существенный интерес только с той поры, когда теория договора в блестящем изложении Ж.-Ж. Руссо, так вдохновлявшая наших дедов и прадедов конца прошлого столетия, сопоставляется лицом к лицу с научно формулированною, по крайней мере по внешности, теориею общества-организма. При этом еще следует заметить, что нерв, или жизненный узел, вопроса лежит едва ли там, где его видит Эспинас, и что вопрос этот, будучи разобран по существу, окажется даже вовсе и не вопросом.

Не вдаваясь в диалектические тонкости, а следя за развитием этого разногласия в новейшие времена, на более позитивной исторической почве, мы видим прежде всего, что философское недовольство теориею общественного договора по Ж.-Ж. Руссо первоначально отливается вовсе не в форму диаметрально противоположной теории, рассматривающей общества как живые организмы. Сам Руссо, в особенности же некоторые из его исторически знаменитейших последователей, рассматривая общество как продукт взаимного соглашения договаривающихся между собою, выводили из этого, что люди могут в каждую данную минуту изменять по своему усмотрению весь этот договор или те из его частей, которые оказались заведомо не ведущими к имевшейся в виду цели. Затеяв такую переделку en grand, они не без горького изумления убедились, что, уничтожив действительно не соответствовавший требованиям нового времени прежний договор, они на месте его пожали не совсем то, что сеяли. Умудренные этим разочарованием мыслители следующего поколения (в их главе тот же О. Конт) пришли к убеждению, что исторические явления развиваются каким-то своим загадочным чередом и что общественные затруднения не могут быть устраняемы эмпирическим путем, так как они зависят от множества условий, обыкновенно не принимаемых в расчет слишком пылкими и увлекающимися реформаторами. По мнению французских позитивистов, ведение общественных дел должно быть поручено синоду специалистов, изучающих научным путем многосложные условия общественного развития и образующих из себя нечто подобное китайскому трибуналу церемоний. Мы не станем останавливаться на той причудливой форме, в которую О. Конт облекал свои социологические построения, но и по содержанию воззрения контистов на этот счет представляют мало самобытного и интересного. Признавая исходною точкою общественности альтруизм, О.Конт, очевидно, не может впадать в непримиримые противоречия с общественною теориею договора, так как договор выражает собою только позднейший возраст развития тех же самых альтруистических начал, только уже дозревших до полной сознательности. Можно представить себе такую теорию, которая, отправляясь от основных положений контизма об «альтруизме» и о «трех возрастах сознания», представила бы нам в одной полной и, возможно, научной картине весь многочисленный ряд прогрессивно развивающихся общественных

явлений, от первых проявлений зародышного стихийного коллективизма, встречаемых уже на самых низших ступенях биологической лестницы, до тех идеальных общественных договоров, которые до настоящего времени еще не конкретизировались нигде, кроме как в сознании небольшого числа людей, разбросанных по всем углам цивилизованного мира. Такая социологическая теория неизбежно примкнула бы своими началами к стройному ряду положительных наук и, вероятно, на некотором продолжении своего пути слилась бы с биологиею, чтобы затем отделиться от нее, направляясь к тем идеологическим сферам, которые только своими корнями органически привязаны к миру прошлого и настоящего нашей Земли, но вершины которых принадлежат еще только эволюции будущего. Ни сам О. Конт, ни его последователи, однако же, не дали нам такой теории. Заслуга их, на наш взгляд, заключается в том, что они верно указали сущность общественных явлений — альтруизм, — органически неспособную отождествиться с сущностью биологических явлений, с борьбою за существование. Но О.Конт очень основательно расходится с эволюционистскою теориею в том, что он (как выше уже было сказано) создает между социологиею и биологиею искусственную пропасть. В его классификации социология венчает научное здание, но венец этот, висящий на воздухе, представляется как бы сделанным из совершенно иного, крайне субтильного вещества, к которому О. Конт не позволяет подходить с обычными приемами научных исследований. Анализ безжалостно изгнан из социологической области навсегда; социологический метод, по его предписаниям, должен быть исключительно синтетическим до шаманизма. Говоря другими словами, контизм уже в 60-х годах являлся доктриною устарелою, неспособною вместить в себя те эволюционные истины, которые уже добыты научным путем. Провозглашая своею исходною точкой качественное единство мировой жизни на всех ее ступенях, он не может представить себе космическую эволюцию иначе, как разрезанною на несколько клочков, отделенных от последующего и предыдущего пустыми пространствами. Отвергая схоластические классификации вообще, контисты верят в реальное существование собственных своих школьных рубрик и подразделений. От этого во всем их учении царит от начала до конца затхлый кабинетный тон, совершенно отвечающий духу нашего времени. Поэтому-то со смертью последнего своего могикана Э. Литтре, возбуждавшего сочувствие своими специально ученьми трудами, передовой отряд этого лагеря должен был прекратить издание своего органа «Philosophic positive». Редакторы этого покойного журнала, гг. Вырубов и Робэн, объясняют себе это прискорбное событие тем, будто в современной публике охладел интерес к общим вопросам. Такое объяснение едва ли верно, потому что в той же самой легкомысленной Франции другие философские периодические издания (хотя бы, например, «Revue philosophigue» г. Рибо) процветают и разрастаются из года в год, питаясь исключительно одними общими вопросами. Дело в том, что весь склад современной жизни против всякой замкнутости и кабинетности. Эволюционное учение приучает нас интересоваться во всех явлениях одною только их жизненною стороною, понимая, что школьные подразделения и тонкости — вещь условная и преходящая по преимуществу. Сегодня господа ученые находят для себя удобным располагать свои материалы и выписки в одном порядке, завтра порядок этот может быть существенно изменен; и благо, лишь бы только поучительность,

жизненное значение самого материала выступали ярче и общедоступнее на вид при новой перестановке. Значение слова знать для всех уже выяснилось давно, и всякий понял, что знание может быть качественно одно по всем категориям и отраслям исследуемых явлений. Понятно, что относительно вопросов очень сложных и трудных поневоле приходится ограничиваться порою за неимением точного знания более вероятными предположениями, но существует неизмеримое качественное различие между научною гипотезою и гаданием на кофейной гуще. Состояние современной социологии таково, что от нее еще долго нельзя ждать непогрешимых рецептов для исцелений, в частности, того или другого из разъедающих нас общественных зол. Тем не менее господство того или другого теоретического воззрения в сфере научной или quasi-научной социологии составляет явление значительной жизненной важности прежде всего потому, что между такими преобладающими воззрениями и основным строем общественной жизни всегда существует тесное, хотя и нелегко уловимое в силу своей разносторонности отношение; во-вторых, потому, что эти теоретические воззрения, господствующие в сфере общественных наук, служат для нас в каждый данный момент единственною возможною основою научной нравственности. Контизм был противодействием экономической теории борьбы и необузданности личных корыстных стремлений. Научная доброкачественность его, сколь ни относительною представляется она нам теперь, не уступала, однако же, теоретической убедительности политико-экономического эмпиризма; к сожалению, благодетельность этого контистского противодействия значительно ограничивалась китайскою стеною кабинетности, препятствовавшей распространению этого учения в среде, чуждающейся кружковой замкнутости и сектантства.

Значительно высшую ступень научного развития выражает собою английский эволюционный позитивизм, до сих пор сосредоточивающийся почти исключительно в высокодаровитой, блестящей личности Герберта Спенсера. Учение этого замечательнейшего из современных мыслителей пользуется у нас такою известностью, что нам нет надобности излагать его здесь в сухом и сжатом извлечении. Вооруженный неисчерпаемым множеством самых разнообразных знаний, светлый ум Спенсера одним орлиным полетом охватывает всю бесконечную цепь космических явлений и улавливает то их органическое единство, которое О. Конт видел как бы сквозь сон. Для Спенсера не существует различных категорий существ, и все природные явления представляются ему только различными степенями усложнения одного мирового движения; степени эти переливаются одна в другую незаметными переходами, которые ум наш не может уловить, а потому Спенсер, отделяя биологическую область от социологической, не создает между этими двумя сферами знания никаких искусственных пропастей и понимает очень хорошо, что нашей потребности в классификации не соответствует в действительности никакая разрозненность. Социологические явления представляют в среднем термине значительно большую степень усложнения, чем смежные с ними явления биологические, а потому он и выделяет их из нее, установляя социологию как самостоятельную научную отрасль. Переход от социологии к биологии составляет, по мнению Спенсера, психология, которую О. Конт не считал за особую научную ветвь. Это разногласие Спенсера с

французскими позитивистами едва ли имеет существенное значение, так как и О. Конт тоже давал социологическим явлениям психологическую основу — альтруизм. В этом отношении контистское определение имеет даже некоторое преимущество, по крайней мере с интересующей нас здесь точки зрения, потому что оно предрешает вопрос о несоциологичности теории борьбы. Будучи гораздо лучше своего предшественника освоен с биологическими задачами, Спенсер обращает внимание на относительность понятий особь и общество, не уяснив которую мы действительно не имеем возможности разграничивать с какою бы то ни было конкретностью смежные области социологии и биологии. Помимо всяких социологических соображений в сфере ботаники и низшей зоологии уже давно было замечено, что представление индивидуальности, т.е. чего-то неделимого, личного, абсолютно законченного, вносит в биологические исследования немалую долю путаницы, избежать которой нельзя иначе, как признав различные ступени индивидуальности, каждая из которых, являясь целым или особью относительно предшествующего момента, в свою очередь играет роль части, подчиненного органа по отношению к следующим усложнениям. Клеточка в биологических отношениях оказывается вполне способною вести самостоятельное существование, т.е. питаться, размножаться, приспособляться и вступать с другими клеточками в отношения борьбы или ассоциации на свой собственный счет. Существуют растительные (водоросли) и животные (инфузории) организмы, которые принято считать одноклеточными, несмотря на то что анатомическое их строение представляет уже немалую долю усложнения. Эти же клеточки способны, сочетаясь между собою, производить новые органические усложнения, которые в свою очередь существуют то в виде более или менее сложных особей, довлеющих себе по всем физиологическим ведомствам, то в виде составных частей (тканей, органов) более сложных растительных и животных тел. Мы сами, как и все позвоночные животные, представляем собою пример таких собирательных организмов, состоящих из частей, тоже очень сложных и имеющих свою, очень уже определившуюся индивидуальность. По свойственной человечеству привычке приурочивать все к себе и считать себя за конечную цель и за венец мироздания мы неизбежно преувеличиваем значение той ступени космической эволюции, которую мы представляем собою, и ограждаем свою собственную позицию непреступными пропастями сверху и снизу. Нам кажется, будто настоящая индивидуальность только наша индивидуальность и что все другие должны быть качественно отличны от нее. Здесь нет возможности передать, хотя бы в сжатой форме, интересные исследования по этой части ботаника Негели, анатома Вирхова, физиолога Гексли и др., устанавливающие эту эволюцию индивидуальности на неопровержимой научной почве. Исследования эти приводят к тому заключению, что наиболее абсолютный характер индивидуальности или особи по преимуществу имеет только низший член этой группы, который один только и обладает способностью проходить свое земное поприще от начала до конца, не прибегая к началам группировки или ассоциации. Для нашей цели решительно все равно, признаем ли мы за этот абсолютный индивид органическую клеточку, которая до позднейшего времени считалась за простейший организм, за действительно неделимое, так как по разделении получилось бы уже не органическое вещество, а химическое соединение, или же мы допустим вместе с некоторыми новейшими

исследователями, что клеточка в свою очередь состоит из простейших, но уже организованных элементов. Для удобства изложения мы придержимся той градации индивидуальностей, которую в конце прошлого года предложил молодой итальянский зоолог Джакомо Каттанео в своем интересном исследовании о линейных колониях и о морфологии моллюсков («Le colonie lineari e la morfologia del molluschi»). Классификация эта имеет в наших глазах неоцененное преимущество краткости и простоты. Как и некоторые из его предшественников, Каттанео считает возможным обойтись в зоологии только с четырьмя видами индивидуальности: 1) *пластиды*, т.е. абсолютные индивиды, или простейшие органические существа; 2) *мориды*, т.е. колонии, или общества, пластид; 3) *зоиды,* соответствующие *кормусам* (cormus) ботанической классификации, т.е. представляющие собою общества морид, и особенно интересные для нас потому, что мы сами, как и все высшие животные, принадлежим к этой ступени, и, наконец, 4) *дэмы*, или общества зондов, отвечающие более или менее представлению «*общества*» в самом обычном смысле этого слова. Если социология имеет целью исследовать отношения особи в обществе подобных себе, то ей по необходимости приходится разрешить предварительный вопрос, какую из вышеупомянутых ступеней индивидуальности она примет за исходную точку своих исследований. Для О. Конта вопрос этот не существовал, так как он, руководствуясь ходячими, так сказать, антропоцентрическими представлениями об индивидуальности и об общественности, ограничивал поле социологии одними только человеческими ассоциациями. По его мнению, альтруизм, служащий характерным признаком социологических явлений, впервые проявляется в роли мощного фактора космической жизни в тот момент, когда два индивида из группы *зоидов* или, точнее, два человеческих существа, движимые побуждениями половой любви, вступают в продолжительный союз, имеющий общею им обоим целью воспроизведение третьего существа и сохранение рода. Очень вероятно, что в таком определении исходной точки социологических исследований О. Конт руководствовался отчасти своим поверхностным отношением к значению индивидуальности и общественности в биологии, отчасти же бессознательно поддавался рутине, приучившей нас считать семью за «естественную ячейку общественности». Но в настоящее время большое количество накопившегося этнографического материала, рисующего в более реальном цвете картину быта отсталых народов, убеждает нас, что семья, в особенности же патриархальная семья, не могла служить исходною точкою развития общественности уже потому, что она сама возникает только на сравнительно высоких ступенях общественного развития, что ей предшествовала семья *матриархальная* (т.е. под главенством матери), проходившая в свою очередь через длинный ряд эволюционных ступеней, начиная с первобытной общности жен; что, наконец, эта первобытная общность жен необходимо предполагает уже известную общественную организацию, охранявшую девушек и женщин данного племени от захвата их силою в исключительную собственность одного и изъятия их таким путем из общего пользования.

Правда, О. Конт мотивирует свое ограничение социологической области снизу возникновением человеческой семьи не историческими, а философскими соображениями. Нельзя, однако же, не заметить, что семья, даже в высших своих

развитиях патриархата и затем одноженства, встречается у очень многих животных, стоящих даже не особенно высоко на зоологической лестнице. А следовательно, контовская граница и с его альтруистической точки зрения представляется произвольною. На это О. Конт возражал, что социологические явления вообще только в человечестве достигают типического своего развития, а потому на семьи и иные общества животных следует смотреть только как на приготовительную ступень настоящей общественности, не заслуживающую внимания.

Спенсер существенно отличается от О.Конта как своею несравненно солиднейшею ученостью, так и тем, что он строго изгоняет всякую телеологию, всякую предвзятую целесообразность из своих исследований. Он решительно не допускает, будто какое бы то ни было явление может существовать только для того, чтобы из него впоследствии родилась более осмысленная и высшая форма того же явления. Но прежде всего он не может, оставаясь верным основному духу своего учения, допустить, чтобы та степень индивидуальности, которую изображают собою высшие животные и человек, обозначала собою какой-нибудь действительный предел, за которым начинается нечто, качественно отличное от предыдущего. Биологическая эволюция индивидуальности не может заканчиваться *зоидами,* потому что *зоиды* в своем обособлении довлеют себе только с точки зрения питания; с точки же зрения другой важной физиологической функции — размножения — они необходимо должны сочетаться с другою подобною себе особью, т.е. образовать *дэм* в форме по крайней мере супружеской четы, которая служит, таким образом, связующим звеном между зоидною индивидуальностью и общественностью высшего порядка. Отсюда он прямо приходит к заключению, что общества, животные или человеческие — все равно, суть живые организмы не в аллегорическом, а в буквальном значении этого слова.

Таким определением общества, установленным им уже в «Основных началах», Спенсер расходится, по-видимому, гораздо существеннее с учением об общественном договоре, чем расходился с ним О. Конт. Последний восставал только против таких попыток изменения общественных условий, которые исходят не из положительного социологического исследования, и лучшею практическою мерою считал учреждение помянутого выше социологического синода, который с трактатом «Позитивной философии» в руках выведет современное человечество из нынешнего состояния анархии к позитивной организации и порядку. Спенсер же, напротив, доходит до того, что Гексли ставил ему в упрек под именем «*правительственного нигилизма*», т.е. до отрицания возможности оказывать существенное воздействие на судьбы общества каким бы то ни было диктаторским, правительственным или вообще сознательным путем. Общества — организмы, а потому они растут, а не создаются какими бы то ни было диктаторскими предписаниями или договорами. В общественных судьбах инстинкты, бессознательные побуждения, стихийные стремления людей играют несравненно важнейшую роль, чем так называемые их разумно-свободные действия. Короче говоря, из своих часто глубокомысленных, всегда блестящих экскурсий во всевозможные сферы бытия Спенсер выносит всего прежде уже знакомую нам политико-экономическую теорию «laissez faire, laissez passer», но только переложенную на совершенно новую, эволюционистскую подкладку. С обычным

своим красноречием и разностороннею солидною эрудициею он пытается убедить нас, что наиглубокомысленнейший факультет социологов был бы не в состоянии организовать малейшее из отправлений общественной жизни наполовину так хорошо, как оно устраивается само собою, будучи (как, например, снабжение съестными припасами Лондона с его пятимиллионным населением) предоставлено вполне общественной самодеятельности.

Мы позволим себе заметить, что из основного положения «общество есть организм» едва ли позволительно делать столь отдаленные заключения. Дерево несомненно (гораздо несомненнее, чем общество) есть живой организм, но из этого еще не следует, будто садовник, задумавший сорвать с него вкусные плоды, обязан сидеть сложа руки и смотреть на то, как оно растет. Конечно, на яблоне никакой садовник не вырастит персиков или груш, но и для получения вкусных яблок с нее от него потребуются немалые обдуманные воздействия. К тому же и организм организму рознь. Ребенок ведь тоже организм и тоже растет; тем не менее искусный и опытный педагог непременно окажет на его рост более благодетельное воздействие, чем первый встречный ефрейтор или безграмотный дядька доброго старого времени. Этого не отрицает и Герберт Спенсер, иначе он не стал бы писать своего известного трактата о педагогике. Мы не вправе сказать, будто Герберт Спенсер за глаза отрицает возможность педагогического воздействия на дэмы людей; мы, напротив, думаем, что он глубоко убежден в благотворном воспитательном значении хотя бы своих собственных «Основных начал», но мы только полагаем, что, прежде чем определять возможность и характер сознательного воздействия людей на общественный организм, необходимо несколько основательнее уяснить себе и другим, какого именно вида организм изображают собою человеческие общества или хоть *дэмы* вообще. К этой существенной части задачи английский автор приступает во введении к своей «Социологии», вероятно уже известной в русском переводе нашим читателям. Здесь мы не без изумления замечаем, что Герберт Спенсер, подойдя ближе к своему предмету, хоть и не отрекается вовсе от основного своего положения, будто общество есть организм, тотчас же нейтрализует его, добавляя, что, однако же, этот общественный организм существенно отличается от всех других организмов, известных нам. Во-первых, говорит он, все организмы представляются нам сплоченными (*конкретными*), т.е. ограниченными определенными очертаниями и состоящими из прилежащих друг к другу частей, тогда как общественные организмы рассеяны (*дискретны*), т.е. не имеют определенных внешних очертаний и состоят из частей, более или менее далеко отстоящих друг от друга. Во-вторых, «в животных сознание сосредоточивается в одном чувствилище, т.е. в небольшой части целого, между тем как остальные части вовсе или почти вовсе лишены сознания; в обществе же сознание рассеяно повсюду, и все члены общества в равной или почти в равной степени способны наслаждаться и страдать: особое общественное чувствилище не существует нигде».

Ниже мы рассмотрим по существу значение этих спенсеровских ограничений и постараемся уловить соображения, на основании которых знаменитый английский эволюционист считает возможным под словом *общество* понимать только такие ассоциации, которые индивидуализировались до высшей степени дэмов. Теперь же заметим только, что автор напрасно торопился из положения об

органичности обществ выводить, будто они, подобно другим организмам, могут только самостоятельно расти, а не преобразовываться сообразно с сознательным воздействием, хотя бы даже и договором. Мы знаем, что остальные организмы способны поддаваться таким воздействиям, хотя и в разных степенях. Если *дэм,* т.е. общество-организм, представляет собою в непрерывной цепи эволюционных явлений нечто до такой степени новое, что с возникновением этих *дэмов* начинается новая и высшая научная ветвь — *социология*, то благоразумие советует нам воздержаться в ожидании дальнейших исследований от всяких априорных заключений на этот счет. В противном случае мы рискуем нагрузить новорожденную социологию таким биологическим балластом, которого она, пожалуй, и не снесет. Если же заключать по аналогиям, то не следует забывать, что все другие организмы тем именно восприимчивее к сознательным воздействиям, чем выше они стоят на лестнице морфологического развития. Не выходя из области *зоидов*, деревья мы можем заставлять давать нам более обильные и более вкусные плоды, диких зверей мы можем укрощать, домашних — дрессировать, детей — воспитывать. Где же ручательство за то, что в высшей области человеческих *дэмов* мы не можем осуществлять тех, более сложных воздействий, лозунгом которых можно пока принять теорию общественного договора?

VI

На древнегреческом языке было написано немало философских трактатов, и язык этот превосходно был приспособлен к выражению очень многих метафизических тонкостей, тем не менее такие разнородные, на наш взгляд, понятия, как *орудие и орган*, выражались на этом языке одним общим словом. Для самых утонченных классических мыслителей какой-нибудь заступ или кирка и самая человеческая рука, действовавшая этим заступом, были без различия — *органы,* т.е. орудия. Можно утверждать, что только благодаря научному развитию позднейшего времени наши собственные представления о *механичности и об органичности* выяснились со всею надлежащею определенностью и полнотою. Механизмы по внешнему виду могут очень близко приближаться к организмам, точно так же как и живые организмы могут более или менее значительными своими частями сильно походить на механизмы; но между теми и другими, на наш взгляд, непременно должны существовать очень строгие различия. Механизм всегда придумывается человеком ввиду какого-нибудь определенного назначения и не подлежит никакому самостоятельному развитию, но может подлежать улучшениям и изменениям, предел которых заключается не в нем самом, а в степени знания и изобретательности придумывающих его механиков. Организм родится и преемственно развивается в известном направлении, которое хотя и может подлежать в некоторой степени нашему сознательному воздействию, но в главнейших своих чертах строго обусловливается свойствами, присущими самому организму. Механизм приводится в движение внешнею, постороннею ему самому силою и состоит из таких же бездеятельных, как и сам он, частей. Организм сам вырабатывает силы, которыми он движется, пока он жив, когда же он умер и

самодеятельность его прекратилась, то мы не можем уже восстановить ее никаким искусственным путем. А между тем между механизмом и организмом существует несомненная последовательная связь: организм без всяких метафор и аналогий может быть назван живым механизмом, так как он действительно представляет не что иное, как громадное усложнение законов и начал, действующих тоже и в механизмах. Между механизмами и организмами существуют в действительности переходные члены, не представляющие типических признаков ни той, ни другой из этих групп. Таковы, например, небесные тела, которых «жизнь» исчерпывается теми же механическими явлениями, которые мы наблюдаем и в механизмах; а между, тем тела эти не придуманы сознательно человеком и совершенно не подлежат его сознательному воздействию. Кроме того, тела эти имеют свою эволюцию, приближающую их до некоторой степени к организмам, так как они (хотя бы наша Земля, например) в самом деле переживают известные возрасты: солнечный, планетный, лунный.

Учение Спенсера довольно обстоятельно само выясняет нам взаимные отношения мира механического и мира органического. Кроме того, оно еще позволяет нам, не насилуя создаваемые им рамки, пополнять наши представления о том и о другом всеми теми новыми данными, которые добываются положительною наукою в области космологии, физики, химии и биологических наук. Спенсер как бы предугадал самые плодотворные из естественнонаучных теорий новейшего времени, т.е. учение о единстве сил природы, рассматривающее все явления света, теплоты, электричества и химического средства только как особые роды движения; а также дарвиновское учение о происхождении видов. Это ставит его значительно выше Огюста Конта, тоже предугадавшего это объединительное мировоззрение, но далеко не сумевшего выразить свои догадки с такою стройною научною последовательностью.

Очутившись у преддверья социологической области, составляющей высшую из доступных нам сфер природной жизни, и решив утвердительно предварительный вопрос о возможности изучать и общественные явления так же объективно (т.е. так же научно), как мы изучаем явления двух низших областей, Спенсер, естественно, задается вопросом, в каких отношениях область социологическая состоит к двум низшим и уже философически исследованным им областям, т.е. к области механической и органической. Признаемся, что на его месте мы бы ответили на этот вопрос коротко и ясно: общества — не механизмы, а так же относятся к организмам, как эти последние относятся к механизмам. Говоря другими словами, законы биологические так же неспособны объяснять нам явления общественности, как законы механические (считая в том числе и химические) неспособны объяснять органическую жизнь. Такой ответ имел бы, кажется, то преимущество перед спенсеровским, что он сразу устранял бы возможность недоразумений, порожденных положением, будто общество есть организм.

Должно признаться, что это преимущество не так велико, как могло бы показаться на первый взгляд. Утверждая, что общество не механизм и не организм, мы тем еще не избавляем себя от необходимости расследовать то, что оно имеет общего с механизмами и организмами. А следовательно, в значительной степени мы должны бы были сказать то же, что сказал на эту тему и Герберт Спенсер, но

только в несколько иной последовательности, в других словах, т.е. что общества с механизмами имеют сходства очень мало, а с организмами значительно больше.

Признав, что общества не организмы и не механизмы, Спенсер был бы обязан показать те основания, на которых он тем не менее считает общественные явления подлежащими тому же объективному исследованию, которое до сих пор оказалось компетентным вполне только по отношению к механическим и органическим явлениям. Не следует забывать, наконец, что Спенсер не выдумал учение об органичности обществ, так как оно с большею или меньшею основательностью и последовательностью заявлялось еще со времен классической древности. В наше время морфологи и физиологи в области ботаники и зоологии пришли к выводу, что вышепомянутая нами градация биологических индивидуальностей останется незаконченною, если ее не пополнить новою ступенью — *дэмом*, т.е. коллективностью, состоящею из зондов, т.е. из очень совершенных биологических единиц, которые в свою очередь состоят из биологических индивидуальностей низшего порядка и т.д., снисходя до клеточек, которые в свою очередь, по новейшим исследованиям, оказываются не строго неделимыми в биологическом смысле, а тоже составленными из сотрудничающих (кооперирующих) между собою простейших морфологических элементов — пластид. Короче говоря, самые положительные научные исследования привели нас к тому заключению, что понятия общества и индивидуальности, с одной стороны, а с другой — понятия социологичности и биологичности вовсе не противополагаются одно другому, вовсе не нагромождаются одно над другим в виде резко разграниченных пластов, а тесно сплетаются одно с другим посредством множества тончайших разветвлений и нитей, которые распутать наконец оказывается строго необходимым в видах преуспеяния не только социологического, но и чисто биологического знания.

Индивидуалисты, например французские материалисты (Андре Лефевр, Летурно), очень энергически напали на Спенсера и на органическую теорию общественности, но они, однако же, не дали себе труда внимательно проследить те отношения, которые логически должны установиться между спенсеровским учением об условной органичности общественных явлений, с одной стороны, а с другой — между механическою и антропологическою теориею общественности. Исходя из ошибочного предположения, будто антропологическая точка зрения в социологии неизбежно должна привести к крайнему индивидуализму, они на спенсеровское основное положение смотрят как на такую чепуху, которая даже не заслуживает серьезного разбирательства. Очевидно, что, с их точки зрения, большею чепухою должна представляться еще более крайняя в фаталистическом увлечении *механическая теория*, стремящаяся совершенно выбросить из истории всякий психологический элемент. А между тем Спенсеру приходилось серьезно считаться с этим учением, и, на наш взгляд, немаловажною историческою заслугою его условно органической теории общественности должно признать то, что она безусловно отвергает это более элементарное механическое учение. Надо быть очень высокого мнения о своем философском развитии, для того чтобы считать себя вправе даже не обращать серьезного внимания на такие теории, которыми увлекались еще очень недавно такие умы, как, например, Кетле или отчасти Бокль, которыми многие солидные умы продолжают увлекаться и до настоящего времени. Во всяком случае, такое величавое презрение, как и всякое олимпийство в науке, по

самому своему существу способно дать только очень скудные результаты. Так именно и случилось с социологическим учением Спенсера, на которое напали в тех его частях, где оно остается строго верным обязательному во всяком человеческом исследовании антропологическому принципу, а вследствие этого и не выяснили достаточно тех его сторон, которыми, собственно, оно только и грешит против этого обязательного в социологии антропологического начала. Для научного обоснования антропологической социологии крайне необходимо, чтобы сторонники ее не были поставлены в необходимость открывать такие Америки, которые уже давно открыты их предшественниками. Хаос понятий, господствующий еще на этом поприще, не может быть устранен, пока мы не захотим отдать себе строгий отчет в тех своеобразных исторических условиях, при которых проявляется то или другое мировоззрение в области социологии.

В настоящую минуту отстаивающему антропологический принцип в социологии приходится прежде всего прочно установить принцип законосообразности общественных явлений, который для одних уже успел давно стать общим местом, другими же еще упорно оспаривается, и не только из одних чисто метафизических побуждений. Этот принцип чисто эмпирически установлен уже Кетле и его последователями, а до некоторой степени и французскими позитивистами. Пользуясь в этом специальном случае всеми статистическими трудами знаменитого бельгийского ученого, мы, однако, обязаны заявить о своей несолидарности с его учением с той поры, когда он начинает утверждать, будто законы, управляющие общественными явлениями, все сполна могут подлежать одному только математическому и физическому расследованию. Бокль, пользовавшийся такою громадною популярностью всего каких-нибудь лет двадцать тому назад за свою грандиозную попытку применить к историческому исследованию законы, установленные его предшественниками, не устаивает на скользкой почве механической теории общественности, так как он на каждом шагу прибегает к влияниям биологическим и в то же время показывает нам, что самые космические явления могут проявляться на историческом поприще не иначе, как отразившись физиологически или психологически (т.е., вообще говоря, антропологически) через человеческий организм. Но Бокль тем не менее не установляет своей точки зрения сколько-нибудь методически, т.е. стоит одною ногою на почве механической социологии, а другою делает не всегда верные шаги, чтобы утвердиться на почве органической теории общественности. Не подлежит ни малейшему сомнению, что по сравнению с Боклем Спенсер представляет уже очень значительный шаг вперед. Для нас важно не оправдать Спенсера против несправедливых нападений французских материалистов или иных индивидуалистов, в ряды которых скоро станет и сам Спенсер, для нас важно только перечислить те победы, которыми антропологическая социология обязана самому Герберту Спенсеру, а также эволюционному учению вообще. Победы эти очень ценны, потому что благодаря им принцип законосообразности общественных явлений, а следовательно, и подлежности их объективному изучению, можно считать уже окончательно установленным не только эмпирически, но и философски; вместе с тем показана несостоятельность всевозможных «статик и динамик цивилизации», т.е. механической социологии, пытающейся устранить из истории вообще антропологический или хотя бы только психологический элемент.

Показано, наконец, что органическая теория общественности, которая у Бокля является как желательный предел, сама может быть признана только условно. Индивидуалисты, обиженные словами «общество есть организм», не хотят даже дослушать спенсеровское положение до конца. И это очень жаль, потому что в конце-то именно и заключаются те ограничения общественной органичности, которыми ясно и определенно установляется обязательная для социолога антропологическая или, если хотите, гуманитарная точка зрения, лучше и объективней которой ни предшественники, ни последователи Спенсера ничего еще не придумали до сих пор. Мы уже привели выше два существеннейших из этих ограничений, а именно: «общественные организмы *дискретны* и не имеют определенных внешних очертаний, тогда как биологические организмы *конкретны* и замкнуты в определенных морфологических границах»; «общественные организмы не имеют особого чувствилища, каждый их член обладает способностью наслаждаться и страдать сам за себя».

Против первого ограничения общественной органичности Спенсером было, правда, заявлено возражение бывшим австрийским министром Шеффле в его довольно почтенном трактате «О строении и жизни общественного тела» («Bau und Leben des Sozialen Korpers»). С последовательностью, достойной лучшей участи и весьма близко подходящей к педантической бестактности, немецкий автор замечает, что и в биологических организмах клеточки не плотно прилегают друг к другу, а отделяются промежутками, наполненными междуклеточною тканью. По мнению Шеффле, роль этой междуклеточной ткани играют общественные богатства и пути сообщения, служащие связью между клеточками, или пластидами, общественного организма. Мы можем себе представить такое общество (например, английское Географическое общество), которого члены рассеяны по всем частям света. Но они до тех пор являются действительными членами этой ассоциации, пока они действительно помогают один другому в достижении одной общей цели деньгами, провизиею, советами и т.п., т.е. пока они состоят в конкретных сношениях между собою. Стоит только одному из членов забраться в какую-нибудь трущобу, не состоящую в сношениях с одним из центров патронирующего его общества, и он тотчас же утратит все выгоды и преимущества, связанные с его положением члена обширной кооперации, хотя за ним и останется чисто фиктивное право ставить после своего имени дорогие английскому сердцу каббалистические буквы F.R.G.S. (Fellow of the Royal Geographical Society)[iv]. Все это отчасти может быть и справедливо, но со спенсеровской точки зрения против этого прежде всего следует возразить, что его положение об условной органичности общества строжайшим образом исключает тот аналогический метод, которым так много уже злоупотребляли со времен Менения Агриппы[v] и до знаменитого гейдельбергского профессора Блюнчли включительно. Насколько общество есть действительный организм, настолько мы и имеем право переносить на него биологические законы, отнюдь не в метафорическом, а в буквальном их значении. Так, например, общества заведомо имеют органическую способность к эволюции, т.е. к преемственной и последовательной изменяемости, а потому мы без всяких обиняков и аллегорий можем утверждать, что общества действительно должны развиваться под опасением того же самого разложения, которым грозит и биологическому организму продолжительный застой. Но в конце концов, как уже

замечено, такие отождествления общественного организма с организмом биологическим охватывают только очень немногие из сторон общественной жизни, а потому и такие перенесения законов биологических на социологические сферы возможны только в тех же тесных пределах, в каких сама биология может пользоваться механическими законами. Главным же образом из положения о дискретности общественных организмов вытекает не только возможность для отдельного лица быть членом такого общества, которого средоточие находится от него на расстоянии каких-нибудь десяти тысяч верст. Из него следует также, что одно и то же лицо может одновременно состоять деятельным сотрудником разных обществ и исполнять в каждом из них роль какого-нибудь специального органа. Так, например, почтенный мистер Маркхам может одновременно состоять секретарем уже помянутого английского Географического общества, членом парламента, гражданином той обширной социологической единицы, которую мы называем английскою нациею, и т.д. Он может даже, если ему вздумается, отказаться от всех этих функций и стать, например, подданным бухарского эмира и асессором азиатского общества в Лондоне или т.п. Очень вероятно, что м-р Маркхам никогда не вздумает воспользоваться всеми этими возможностями, но они тем не менее вытекают очень логически из основного положения о дискретности общественных организмов. А потому социологическому знанию поневоле приходится считаться с такими возможностями, против которых немецкий исправитель и дополнитель Герберта Спенсера и ни один из вышепомянутых его индивидуалистических противников решительно ничего не возразил.

VII

Гораздо важнее второе из приводимых Спенсером ограничений общественной органичности, против которого, насколько нам известно, никаких основательных возражений не было предъявлено ниоткуда еще и до сих пор. Нельзя же считать за основательное возражение то беглое замечание, которое приводится Эспинасом во вступлении к его даровитому исследованию «общественности у животных» («Les Societes animates»). Этот молодой французский ученый, ссылаясь на психологические работы Льюиса, утверждает, что и в высших биологических организмах чувствительность не так уж исключительно сосредоточивается в особых центрах, а что она в некоторой степени разлита по целому телу. Мы согласны признать за исследованиями Льюиса даже большее научное значение, чем то, которое придается им цеховыми учеными. Но легко убедиться, что эти его исследования ни на волос не опровергают второго ограничения Спенсера ни в его общем социологическом значении, ни в его специально этическом значении, которое в настоящем очерке интересует нас всего больше. Мы не имеем притязания двигать вперед общественную науку нашими беглыми заметками, но мы чувствуем себя обязанными уяснять по мере сил нашим читателям те отношения, в которых новейшие успехи обществознания состоят к тому «антропологическому принципу в философии», который мы храним свято как

лучшее наследие нашего умственного оживления 60-х годов. Когда мы убедимся, что объективная, т.е. научная, социология непримирима с этим дорогим нам принципом, то мы и отвернемся от всякой научной объективности и побежим искать себе духовного объединения и исцеления в какой-нибудь сектантский скит. До сих пор мы видели, что эта непримиримость нисколько еще не доказана, что действительные успехи объективной социологии, напротив, только содействуют научному обоснованию этого самого принципа, который уже и в субъективном, т.е. партионном, или несколько сектантском своем развитии успел уже бесповоротно привлечь нас в свой стан. Потому-то мы и считаем своею и других ближайшею нравственною обязанностью содействовать тому научному обоснованию этого благотворного принципа, при котором он неизбежно должен будет привлечь под свои знамена не одних только a priori сочувствующих ему бойцов и поклонников, но и всех без изъятия порядочных людей, способных убеждаться научными доводами. При самом всестороннем и полном своем развитии наука никогда не будет способна всецело поглотить собою духовное существо живого человека, на всех своих ступенях она способна быть только мощным орудием к достижению тех или других индивидуальных и общественных целей.

Справедливо или несправедливо положение Льюиса о несколько ограниченном значении психических центров в биологических организмах, во всяком случае нельзя не заметить, что централизация чувствительности достигает все же очень крайнего предела в высших биологических существах, например в человеческом организме. Притом же централизация эта постоянно и непрерывно усиливается, по мере того как мы от низших организмов поднимаемся все выше и выше по зоологическим ступеням. Биологи уже очень давно, с Гёте и с Бэром, установили эту постоянно возрастающую централизацию чувствительности — законный плод постоянно возрастающей разнородности отдельных частей организма и разделения между ними физиологического труда — за лучшую мерку прогресса в сфере биологической. Мерку эту нельзя назвать морфологическою, потому что она принимает в расчет и физиологическую сторону дела; но мы вправе назвать ее критериумом формальным, так как она относится все же к внешней, а не к существенной стороне дела. Представим себе, что какой-нибудь умный дикарь, не имеющий ясного представления о действиях наших усовершенствованных машин и о их назначении, захотел бы определить, в чем именно заключается прогресс в специальной сфере, например кораблестроения. Осмотрев какой-нибудь музей, где собраны суда самых разнообразных систем, когда-либо строившиеся людьми, начиная с первобытной пироги и кончая лучшими броненосцами или скороходными паровыми клиперами нашего времени, он заметил бы, что первобытная пирога вся целиком выдолблена из одного древесного ствола, т.е. совершенно однородна во всех своих частях, тогда как новейший пароход состоит и из дерева, и из стали или железа, из меди, канатов, парусины и т.п., т. е. из множества частей, совершенно разнородных и по внешнему виду и по составу. Он заметил бы, что первобытная пирога и движется и управляется при помощи совершенно тождественных между собою весел, из которых каждое способно играть роль и гребного аппарата, и направляющего весла. В судах же более совершенного устройства аппарат двигающий все более и более отделяется от аппарата направляющего, причем оба они только благодаря возрастающей своей

специализации приобретают все большую и большую способность лучше служить назначению целого судна, которое (назначение) заключается в возможности скоро двигаться и в то же самое время легко поворачиваться в требуемом направлении... Короче говоря, такой дикарь неизбежно установил бы мерку судостроительного прогресса, очень схожую с критерием, установленным Гёте и Бэром для органического совершенствования. Нечего и говорить, что он был бы по-своему совершенно прав, так как прогресс в деле кораблестроения действительно, вообще говоря, не обошелся без вышепомянутого усложнения двигающего и направляющего аппаратов. Представим же себе теперь, что какой-нибудь корабельный инженер, усвоив себе этот критерий, затеял бы усовершенствовать употребительные теперь типы судов и пароходов, усложняя еще более их составные части, т.е. делая их еще более разнородными и способными каждая в отдельности исполнять еще меньшую часть выпадающего на их долю труда. Очень легко могло бы статься, что проект такого усовершенствования был бы, безусловно, отвергнут сведущим адмиралтейством, которое заметило бы такому изобретателю, что он увлекается одною формальною стороною дела. Со стороны же существенной усложнение частей представляется желательным только в такой мере, в какой оно окупается соответственным возрастанием быстроты хода судна и его послушностью рулю. Предполагая же, что эти два последние условия остались бы неизменными, прогресс заключался бы не в усложнении, а, напротив, в упрощении движущего и направляющего аппаратов судна так, что вышеупомянутый критерий оказался бы не показателем прогресса, а только верным выражением тех жертв, которыми куплен осуществленный прогресс в данной области. Мы действительно видим, что прогресс в области практической механики идет одновременно по двум диаметрально противоположным направлениям. Он точно заключается в большей разнородности частей и дальнейшей специализации исполняемого каждою частью труда; но он может точно так же заключаться и в обратном, т.е. в таких упрощениях механизма, которыми не уменьшается производительная работа машины. Точнее говоря, совершенство на механическом поприще заключается не в усложнении и не в упрощении самого механизма, а в его соответствии с предположенною целью. Более совершенною признается вполне основательно такая машина, которая позволяет нам достигать желанной цели с наименьшею возможною затратою вещества, времени и труда. Формальный же вопрос о разнородности частей и большей или меньшей специализации между ними труда совершенно подчиняется этому главному положению. Так как машины всегда придумываются людьми в виду определенных целей, то и руководство таким критерием в области механики не представляет решительно никаких теоретических или практических затруднений. Цель, достигаемая тою или другою машиною, определяется, конечно, человеческим произволом, но относительные достоинства двух или нескольких машин оцениваются вполне объективно, чаще всего простым сличением цифр, выражающих производительную работу и издержки производства, сопряженные с тем или другим механизмом.

Пока биологи рассматривали изучаемые ими растительные и животные организмы приблизительно так же, как наш предполагаемый умный дикарь обозревал кораблестроительный музей, т.е. не помышляя ни о каком их

соотношении с общею мировою жизнью, то вышеупомянутый критерий Бэра удовлетворял их вполне; да у них и не было возможности заменить его каким-нибудь другим. Всякая цель, которую мы бы навязали живым существам, рассматриваемым с этой изолирующей точки зрения, была бы совершенно субъективным порождением, с которым нет возможности считаться точному научному знанию. Но коль скоро новейшая биология была перестроена сообразно внесенному в нее Дарвином принципу, то и этот бэровский критерий развития отодвинулся сам собою на задний план, без борьбы уступая место более широкому мерилу органического развития.

Как бы то ни было, но дарвиновское представление об эволюции дает нам возможность и на биологическом поприще подчинить процесс дальнейшей разнородности органических форм и большей специализации труда известному представлению целесообразности, не имеющему в себе ровно ничего субъективного. С точки зрения учения Дарвина существенно только то, чтобы между организмом и средою установилось тем ли, другим ли путем необходимое соответствие. Таким образом, формальный вопрос о разнородности частей, о специализации труда и о подчинении частей целому отходит на такой же задний план, как и в сфере практической механики. Но мы имеем возможность отнестись к биологической эволюции еще с более философской точки зрения, чем та, с которой смотрел на нее Дарвин, остававшийся главнейшим образом естествоиспытателем, а потому и дороживший некоторыми подробностями, не имеющими общенаучного или философского значения. Мы можем окинуть биологическую эволюцию тем общим взглядом, от которого пестрящие картину бесчисленные подробности скрываются, и тогда обнаружится, что эволюция эта порождает не только бесконечное многообразие животных и растительных форм, но что она же создает и известную градацию ступеней жизни. Мы встречаем на низших ступенях органического мира такие бытия, которые сполна исчерпываются двумя физиологическими функциями — питания и размножения. На следующих ступенях к этим двум отправлениям примешивается уже психическая деятельность, начинающаяся с самых элементарных форм ощущения и постепенно усложняющаяся до формы самых сложных чувств, приводя нас в свою очередь к третьей, высшей ступени, имеющей своею исходною точкою мысль, затем знание и, наконец, способность сознательно действовать ради целей, биологически ненужных для самого действующего лица, как, например, для идеи, для блага другой особи или коллективности. Существование этой градации такой же конкретный факт, как и существование какого угодно вида растений и животных. Градация эта выражает собою то, что может по праву быть названо «объективным прогрессом», потому что прогрессивность такой градации совершенно независима от нашей произвольной оценки этого явления. Каждый последующий член этой прогрессии заключает в себе неизбежно предыдущий ее член плюс нечто новое, чего на предыдущей ступени быть не могло.

Мы видим, следовательно, что монистическое мировоззрение, в которое укладываются целиком учения эволюционистов и дарвинистов в той мере, в какой они являются плодом действительно научного, объективного метода, дает нам критерий прогресса, независимый от субъективных воззрений. Другое дело вопрос о желательности такого прогресса. С антропологической точки зрения он не может,

конечно, быть нежелательным, потому что им одним только и обусловливается сперва возможность, а потом богатство внутреннего содержания человеческого существования на Земле. Но с субъективной точки зрения какого-нибудь буддизма, в ожидании блаженной нирваны предпочитающего такое бытие, которое всего меньше отличается от небытия, прогресс этот столь же несомненно должен считаться нежелательным, потому что он-то именно постепенно и последовательно удаляет нас каждым новым своим шагом сперва от хаотического, нечленораздельного бытия туманных пятен, потом от тесно индивидуалистического бытия монер[vi] или амеб, еще дальше — от дряблой расплывчатости тел допотопных форм, в которых, например, усматривают какие-то «высшие типы» развития на том основании, что они будто бы не специализировались, не стали ни ящерицею, ни рыбою (ихтиозавр), ни птицею, ни земноводным (птеродактиль), а способны по своему благоусмотрению быть понемножку то тем, то другим. Но какое нам дело до того, в каких формах будут они влачить свое жалкое существование, коль скоро их бытие будет исчерпываться сполна процессами питания и размножения, за отправлением которых у них уже еле-еле хватает жизненной энергии на развитие в себе самих рудиментарных психических способностей...

VIII

Отступление это казалось нам крайне необходимым для того, чтобы читатель мог оценить по заслугам значение того возражения, которое сделал английский сравнительный анатом Гексли (Huxley) против спенсеровской теории условной органичности общественных явлений

Почтенный этот ученый начинает с прямого заявления, что, по его мнению, уподобление общества организмам может быть хорошо для аналога a la Менений Агриппа, но что в науке оно совсем неуместно, как всякая аналогия; так как уже давно было замечено, что сравнение не довод («comparaison n'est pas raison»). Мы уже заметили выше, что с этим его положением можно очень легко согласиться, если только не придавать значения тем «обстоятельствам времени», среди которых возникла эта новая редакция старой как мир теории, гласящей, что общество есть организм. Однако, останавливаясь на том решении, что общество не есть ни механизм, ни организм, надо бы было показать тотчас же, каким образом самая совершенная зоологическая индивидуальность довлеет себе только в узком деле питания. Чуть же дело коснется хотя бы только чисто физиологической функции размножения, то сама органическая необходимость ведет уже роковым образом к возникновению новой и иного порядка единицы — брачной пары, без которой могут обходиться только индивидуальности очень низменного порядка, допускающие самооплодотворяющий гермафродитизм...

Гексли, однако, этого ничего не показывает, а рассуждает так, как будто Спенсер не предупреждал его, что он не считает общественный организм вполне тождественным с организмом биологическим, и как будто он с азбучною ясностью не указал, в чем именно кроется здесь существенное роковое различие. Напоминая

автору «Основных начал», что в сфере зоологической богатство психологических функций является результатом крайней специализации труда, а совершенствование организации покупается ценою рабского подчинения частей целому, почтенный анатом ставит Спенсеру в упрек как вопиющее будто бы противоречие с его основным положением ту теорию общественной самодеятельности и правительственного невмешательства, которую Спенсер действительно заимствовал почти целиком у блаженной памяти манчестерских фритредеров, только переложив ее на новую, учено-философскую подкладку.

Выше мы уже имели случай показать, что Спенсер точно не всегда умеет оставаться верным и последовательным им же самим провозглашенному началу. Так, например, мы уже видели, что он свою теорию общества-организма считает победоносным возражением «революционным метафизикам». Должно ли повторять, что такие рассуждения несостоятельны даже там, где речь идет о безусловных (т.е. биологических) организмах, которые и во «всякое» время несомненно подлежат сознательному воспитательному воздействию, в которых и в «свое» время решительно ничего не делается само собою, как не режутся зубы у ребенка без лихорадочного возбуждения и потрясения целого организма, без мучительного раздражения и зуда непосредственно заинтересованных органов и тканей. Но мнимое возражение Гексли касается вовсе не этой действительной непоследовательности нашего героя. Гексли просто не может понять, что «органист» Спенсер допускает возможность общественного развития.

После всего сказанного легко, кажется, заметить, что непоследовательности в этом нет никакой и что промахом со стороны Спенсера было бы принять выводы, предлагаемые ему противником. В самом деле, процесс, который мы только что показали, состоит в последовательном переходе от жизни животной к жизни психической, ощущающей, чувствующей, познающей, сознательно действующей в направлении, не обусловленном индивидуальным приспособлением целей, и совершается сполна (или почти сполна, за изъятием, быть может, очень немногих безусловно высших своих ступеней) в той области, которая изучается биологиею и психологиею, где, следовательно, социологическая область еще не началась. Из этого, кажется, уже прямо следует, что прогресс социологический должен заключаться в чем-нибудь другом, не противоречащем первому, но существенно отличном от него. Да Спенсер, наконец, и прямо говорит, что общественное развитие не может иметь целей, независимых от благоденствия, физического и духовного, своих членов. А следовательно, и критерий общественного прогресса есть степень обеспечиваемого им антропологического благоденствия объединяемых в данном обществе людей параллельно со степенью равномерности распределения этого благоденствия между членами. Все это, может быть, очень неново, но едва ли позволительно было и ожидать чего-нибудь существенно нового от школы, которая ведь в собственно социологическую область еще и не вошла, а только копошится у преддверья социологии. Нового во всем этом, и может быть, только то, что «школа борьбы», насколько она держится в научных пределах и не касается заведомо не подлежащих ее разрешению задач, вовсе не доказывает призрачности гуманитарных стремлений, а, напротив, содействует их объективному обоснованию на строгой научной почве. Несомненно то только, что все, сказанное выше, вытекает логически последовательно и само собою из

основного положения Спенсера об условной органичности общества. Признать же безусловную его органичность нас никто и не приглашал, и два вышеприведенные спенсеровские ограничения (он приводит их четыре) остаются во всей своей силе, несмотря на все поправки и возражения Шеффле, Гексли и пр.

В мире биологическом — мире крайнего индивидуализма — всякая особь знает только одну узколичную и своекорыстную цель: удовлетворение неугомонной потребности в требуемую минуту. Ради этой цели она вступает с другими и с окружающею средою в ту неустанную борьбу, которую Дарвин для краткости назвал борьбою за существование. С психологической точки зрения борющихся ее, быть может, правильнее было бы назвать борьбою за удовлетворение потребностей. Для естествоиспытателей, давно уже выработавших себе привычку интересоваться вещами больше, чем словами, номенклатура не имеет существенного значения; но социологи нередко выходят из той среды, где номиналистические привычки берут еще значительный интерес над привычками реалистическими... Выше мы уже видели, что этою борьбою (понимаемою, конечно, в широком ее значении) обеспечивается не только бесконечное разнообразие органических форм, но обеспечивается также и тот биологический прогресс, который выражается последовательным переходом от жизни питания и размножения к жизни ощущений и чувств, мыслей и знания, наконец, к нравственной жизни действий, имеющих сознательною целью не свое только единичное приспособление. Во всей неисчислимой рати борющихся за существование особей встречаются, конечно, и такие существа, которые стоят на этой высшей ступени развития; но они являются в ней в роли такого микроскопического меньшинства, которое совершенно законно может и вовсе не приниматься в расчет биологами. Они ведь выражают собою предел, дальше которого биологической эволюции уже некуда идти; а философский интерес биологии заключается именно в уяснении тех путей, которыми эволюция эта дошла до указанного предела. Все остальные низшие ступени сознательности в борьбе за существование играют уже значительно важнейшую роль, и индивидуалистическое приспособление биологических борцов к среде предполагает порою громадный наследственный капитал веками накопившегося сознания. Однако и в тех случаях, где мы имеем право говорить о сознательной биологической борьбе, сознательностью освещаются только цели борьбы с точки зрения единичного индивидуалистического приспособления. В значительном большинстве случаев животное очень мало заботится даже о своем личном существовании и ест вовсе не для того, чтобы поддержать его, а только чтобы утолить мучительное ощущение голода. Еще менее ему может быть дела до сохранения вида.

Вернемся же теперь к определению общественного организма, по Спенсеру. Общество, говорит он, есть такой организм, которого части не сплочены между собою и который не может иметь другой цели, как благосостояние этих частей, из которых каждая способна наслаждаться и страдать за себя. Прибавим, что, по его же определению, социология (как и по определению О. Конта) должна преимущественно иметь в виду общества человеческие, т.е. состоящие из частей, выражающих собою высшие ступени психологического и физиологического

развития; тогда мы увидим ясно, что для общества объективный прогресс может заключаться в благосостоянии частей.

IX

Судите же сами, читатель, было ли основание перебивать Спенсера на слове «общество есть организм»... чтобы провозгласить биологический закон борьбы краеугольным камнем научной социологии (как поступают слишком многие скоропеченые социологи во Франции и в Германии). Мы же предупреждали уже в первой части этого исследования, что вопрос об органичности общества для нас даже не есть, собственно говоря, вопрос, т.е. что мы не придаем ему большого теоретического или этического значения. Никто не может серьезно вообразить себе, что общество в самом деле такой же точно организм, как рак, корова или человек. Признав же органическую теорию общественности в том виде и с теми ограничениями, как ее выразил Герберт Спенсер, мы не проигрываем ничего, хотя выигрываем, по правде говоря, очень мало. Мы убеждаемся, однако, что объективная социология не имеет в себе ничего способного наперед, огулом осудить наши гуманитарные мечты и стремления.

Сам Спенсер не делает из своего основного положения тех логических выводов, которые мы выше привели, но приходит к некоторым таким заключениям, которых несостоятельность, с его же собственной точки зрения, указана была выше. Так именно, он полагает, будто положение об органичности общества, хотя бы и ограниченное, заключает в себе самом безапелляционное осуждение сознательных воздействий на судьбы общества. Но мы знаем, что мало-мальски порядочный садовник или опытный скотовод оказывают и на действительные биологические организмы воздействие очень основательное благодаря именно его сознательности. Они понимают, что во «всякое» время с дикой груши сочного плода сорвать нельзя, но что «свое» время, когда этот требуемый плод явится сам собою, не придет никогда, если его будут ждать сложа руки. Остается, следовательно, вопрос о пределах и методах сознательного воздействия. Научная социология, конечно, должна будет объективно разрешить этот важный вопрос, о котором невозможно с успехом рассуждать, стоя у порога научной социологии.

Спенсеровское положение можно вывернуть наизнанку, как перчатку, и утверждать, что не общество есть организм, а, наоборот, организм есть общество. Биологи в самом деле давно уже заметили, что, коль скоро мы оставим первобытный мир растительных и животных клеточек, понятия об индивидуальности и коллективности так основательно перепутываются между собою, что их и вовсе распутать нельзя, не установив различных категорий индивидуальности и коллективности. В этом отношении они значительно забежали вперед социологической задачи, настолько, разумеется, насколько это оказалось необходимым в видах разрешения собственных своих задач; но задачею их все же таки осталось уяснить, каким образом путем биологической борьбы, имеющей точкою опоры индивидуалистический эгоизм, вырабатывается бесконечное многообразие органических форм и их постепенное совершенствование, т.е. два явления, вовсе нежелательные и ненужные с точки зрения самих борющихся организмов. Такое заскакивание биологов в социологические постромки, и наоборот, служит блистательным доказательством, что области биологии и социологии не разграничены никакою легко уловимою чертою, т.е. что граница их лежит не в конкретном предмете, а в приемах нашего научного подхода к нему. Мы

говорим о биологии и социологии точно на таком же основании, на каком мы разделяем, например, планиметрию от стереометрии. Мы знаем, что в природе не существуют такие тела, которые представляли бы только поверхности и не имели бы вовсе объемов. Но мы знаем также, что к изучению объемов было бы очень нерасчетливо приступать, не запасшись предварительно должными планиметрическими сведениями. Также напрасно стали бы мы искать в животном или в человеческом мире такого конкретного явления, которое сполна исчерпывалось бы исключительно социологическою или исключительно биологическою стороною. Клеточка долго считалась, правда, за безусловный индивид, но при ближайшем знакомстве, однако же, и она оказалась обществом еще более элементарных пластид; а если б и не оказалась, то ведь все равно никакая биология не могла бы ограничить свой кругозор изучением одних только клеточек. Начиная с самого О. Конта, который первый пустил в обиход мудреное слово «социология», о границах этой scienza nuova нашего времени уже очень было много говорено, но, к сожалению, не всегда с надлежащей точки зрения. Конт, как мы уже видели, считая общество за «самый живой изо всех организмов», но строго отличая его от организмов биологических, давая в то же время опорою общественным явлениям особый альтруистический инстинкт, проявляющийся, несомненно, и у животных, хотел сделать тем не менее социологию чисто антропологическою наукою. Не помню, на какой именно из страниц своей «Положительной политики» он с обычною своею догматичностью утверждал, будто явление жизни общественной в ряду органических явлений становится возможным только тогда, когда полы уже разделены; но для того чтобы это явление расцвело в полном своем цвете и достигло своей, так сказать, средней типичности, он считал необходимым появление членораздельной речи. С его точки зрения, было вполне последовательно предоставить биологам безраздельно весь зоологический мир и сосредоточить все внимание социологов своего толка на общественности человеческой. Для нас в этом его воззрении важно только то, что творец французского позитивизма искал, очевидно, грани между биологиею и социологиею в конкретных явлениях. Спенсер несколько уступчивее его в своем отношении к явлениям общественности у животных. Он не против того, чтобы социолог его направления захватил при удобном случае и зоологический цикл; но тем не менее и он под словом «общество» намерен понимать одни только постоянные ассоциации индивидуальностей высшего порядка, т.е. зондов. Т.е. и он точно так же ищет предметного разделения между областями двух интересующих нас здесь собою наук, промеж которых он довольно неудачно, на наш взгляд, втискивает животную и антропологическую психологию. Фактически же он точно так же начинает свою собственную социологию с первобытных ступеней семейной эволюции в человеческом мире. Почтенный автор, по-видимому, совершенно не замечает, что этим довольно существенно нарушается, так сказать, органическая стройность его учения.

X

Установив свое основное положение, что общество есть организм, почтенный автор, очевидно, считает, что он победоносно покончил с философскою стороною дела. Вопрос о том, что же составляет сущность общественных уз, разрабатывается им так поверхностно, что мы и не считаем нужным излагать далее его воззрения. Собственно говоря, Спенсер не имеет своего воззрения на этот счет, а только повторяет давно уже всем приевшиеся общие места, сводящиеся к тому, что обществом следует считать не всякое сборище людей, а только такую их группировку, в которой дорогое его манчестерскому сердцу разделение труда является хотя бы в зачаточной степени.

Мы вовсе не питаем суеверного страха к самому принципу разделения труда, хотя фетишистское преклонение перед ним социологов школы борьбы естественно наводит на нас некоторую острастку. Возможно ведь различное разделение труда, из которых одно не способно возбудить и самого утонченного чувства справедливости, тогда как другое решительно невозможно примирить никакою диалектикою с тем благосостоянием частей, которое сам же Спенсер считает за единственно возможное назначение общественных организмов. Существует, например, такое разделение труда, по которому полковник Пржевальский изъездил всю Монголию, а Стэнли, содействуя по мере своих сил успехам того же географического знания, странствовал но внутренней Африке и искал там Ливингстона. Мы решительно не видим никаких соображений, по которым следовало бы желать, чтобы полковник Пржевальский, попутешествовав немного по Монголии, являлся бы во внутреннюю Африку на смену Стэнли, который в свою очередь, не отыскав еще Ливингстона, отправлялся бы на смену нашему знаменитому путешественнику на Лобнор. Принцип разделения труда в биологии играет очень видную и достаточно уже определенную роль, но на каких правах и зачем он с первых же шагов преподносится нам в социологии именно в качестве характеристики тех общественных организмов, которых строй и назначение столь существенно разнятся от строя и цели организмов биологических? Одно это голое сопоставление принципа условной органичности обществ с принципом разделения труда, не связанное никаким внутренним единством, служит в наших глазах достаточным ручательством за то, что у указанного здесь предела в теоретической социологии начинается такой хаос, в котором даже и разобраться было бы очень мудрено на остающихся нам здесь немногих страницах. Само собою разумеется, что, находясь в таком хаотическом состоянии, сама эта теоретическая социология не может нам помочь сгруппировать в каком-нибудь методическом порядке тот громадный материал, который уже накопляется из года в год по всевозможным отраслям исторического и этнографического знания. Можно иметь в запасе очень много кирпичей и все же не выстроить из них дома, если нет в голове ясного представления о плане будущего здания. Об этом-то плане современные социологи борьбы очень упорно не хотят думать, предполагая довольно неосновательно, будто дарвинизм избавляет их сполна от этого труда. В действительности же дарвинизм именно с этой-то точки зрения и не дает нам решительно ничего, а при легкомысленном с ним обращении может только усугубить путаницу.

Уже Жоффруа Сент-Илер замечал, что многие из животных обществ иначе не могут быть объяснены, как симпатиею. Не придется ли признать в конце концов, что закон общественности, или кооперации, такой же мировой закон, как и пресловутая борьба за существование, но что он только бесплодно ожидает своего Дарвина и до сих пор?

В самом начале биологической эволюции мы встречаем факт коллективирования единичных клеточек, на который мы уже ссылались здесь много раз, но который до настоящей минуты остается все же неразъясненным с точки зрения борьбы за существование. Эспинас высказывал, правда, предположение, будто, увеличиваясь в объеме через агломерацию в форме малинной ягоды, клеточки эти избавляются от возможности быть пожранными; а это, говорит он, составляет громадное преимущество в мире инфузорий, где

прожорливость так велика. Но какою же прозорливостью должны мы совершенно голословно наделить эти одноклеточные организмы, чтобы удовольствоваться таким утилитарным объяснением этого факта, который рисуется нам общею исходною точкою как биологической, так и социологической эволюции, т.е. как эволюции борьбы за существование, так и эволюции кооперативного труда!

Наш очерк имел единственною целью показать читателю, что социологическая школа борьбы за существование, приютившись паразитом на научной дарвинской биологии, совершенно напрасно смущает нас своими скороспелыми, но строгими приговорами над лучшими стремлениями гуманитаризма. Она слишком бедна и объективными знаниями, и методическим объяснением для того, чтобы ее приговоры могли иметь должный научный вес. Прежде чем сплеча решать социальные вопросы, касающиеся нашего или чужого общественного быта, ей предстоит еще сойти с этой выгодной, но не почетной позиции, отбросить свои предвзятые мысли и терпеливо приняться за самостоятельное исследование всех явлений сотрудничества в природе, начиная с тех зачаточных (в социологическом смысле) питательных ассоциаций, где сотрудники механически связаны между собою перепонками или полостями, проходя по тем переходным формам, где роль этих перепонок играет излюбленный ими принцип разделения труда, и восходя последовательно к тем высшим ступеням, где consensus (соглашение), добываемый более психическими путями, делает излишними всякие перепонки и всякие, а тем более несправедливые, разделения труда.

[i] Статья была опубликована в 4-м и 5-м номерах журнала «Дело» за 1884г

[ii] Первичная *биологическая* индивидуальность есть пара, т.е. сочетание двух м*орфологических* особей — мужа и жены

[iii] Этот принцип существенно развили физиократы во главе с Э. Кинэ, а затем А. Смит, у которого он обозначает свободное передвижение рабочей силы, полную свободу торговли землей, отмену государственной регламентации промышленности и внутренней торговли, свободу внешней торговли. (См. также примечание 5 к статье «Душевная гигиена».)

[iv] Член (букв, докладчик) Королевского географического общества. — Прим. сост

[v] Менений Агриппа — римский патриций, который, по преданию, после ухода плебеев на Священную гору в 494 г. до н.э. уговорил их вернуться, рассказав притчу о частях тела, восставших против желудка

[vi] Монеры — простейшие одноклеточные организмы без ядра. Безъядерными считались многие формы, однако с развитием техники микроскопических исследований эта концепция не получила подтверждения

ЦИВИЛИЗАЦИЯ **и великие исторические реки**[1]

Предисловие Элизе Реклю

Незадолго до своей смерти Лев Мечников передал мне рукопись настоящего произведения и просил меня отредактировать ее и подготовить к печати, а также взять на себя заботу о ее напечатании. Я охотно согласился на это, зная, что рукопись моего друга имеет большую научную ценность. Взяв на себя обязанность издать ее, я думал этим самым хотя отчасти исправить несправедливость судьбы по отношению к Мечникову, которая никогда его не баловала, как, впрочем, это бывает со всеми, кто не стремится добиться жизненных успехов путем интриг и происков всякого рода. Мечникову был чужд путь карьеризма, и он знал в своей жизни только одну радость — правда, это высшая радость — найти в себе силы, чтобы следовать в жизни прямой дорогой и быть верным своему идеалу.

Я познакомился с Мечниковым вскоре после его приезда из Японии. В это время я предпринял составление «Всеобщей географии», и Мечников предложил мне свои услуги и ценные материалы о Китае и Японии. Последующие годы он помогал мне в моей работе по «Всеобщей географии», делая переводы с тех языков, с которыми я не был знаком, помогая мне также в редактировании и в правке корректур.

Смерть моего друга не разлучила его со мною. Ибо благодаря солидарности, любви и чувству благожелательности мы связаны друг с другом неразрывными

нитями, которые продолжаются и по ту сторону могилы. Умершие не перестают жить, когда их друзья хранят их образы в своей памяти и как бы мысленно беседуют с ними. Вспоминая взгляды и улыбки, угасшие, как говорят, навеки, оставшиеся в живых друзья покойного сохраняют о нем более чем только его образ и эхо его слов — нет, они наследуют от покойного и искорку его угасшей жизни; в их душе прибавляется некоторая частица и из мыслей того, кого уже более нет. Человек продолжает существовать при помощи тех, кто его любил, и через них он продолжает оказывать свое влияние и на других людей.

Наследие, которое получил я лично после Мечникова, налагает на меня большие обязанности, и я, приступая к изданию настоящего труда покойного друга, много раз предостерегал себя, чтобы мне чем-нибудь не нарушить его воли. Дело в том, что рукопись настоящего произведения осталась не совсем оконченной и некоторые части должны были быть слегка исправлены. При исправлении этих мест я всегда ставил себе вопрос: хорошо ли я понял смысл неясного места и достаточно ли точно по смыслу и по духу я передаю своими словами те фразы рукописи, которые необходимо было изменить? Я задавал себе вопрос: если бы мой друг вернулся теперь, то был ли бы он доволен моей работой и согласился ли бы с моими редакторскими изменениями?

Я старался поэтому, насколько мог, передать вернее мысли моего друга, представляя, что он находится все время около меня и наблюдает за моей работой. Я знаю, что произведение Мечникова не принадлежит к числу тех, какие привлекают внимание широких кругов читающей публики; эта книга не будет иметь шумного успеха модного романа, но я сознаю, что эта книга откроет новую эру в истории науки.

Мечников, живя бурной жизнью революционера и вынужденный лихорадочно работать и для революции, и ради заработка куска хлеба, к сожалению, не имел возможности как следует обрабатывать свои произведения. Все они носят отрывочный характер. Благодаря своим обширным познаниям во всех областях, благодаря своим путешествиям и наблюдениям в самых разнообразных странах от Италии до Японии и Америки, благодаря своей необычайной работоспособности Мечников собрал огромное количество научных материалов, которыми ежедневная борьба за существование не дала ему возможности воспользоваться целиком. Так, например, настоящее произведение, которое мне приходится редактировать, должно было представлять, по мысли автора, только часть более обширного труда по социальной философии. В этом труде Мечников после изложения своих взглядов по вопросу о человеческих расах, о влиянии географической среды, о прогрессе намеревался рассмотреть под углом своей точки зрения и будущее человеческого рода. В редкие минуты облегчения, когда приступы болезни несколько замедлялись, даже в самые последние дни своей жизни, когда чувствовалось уже приближение вечной ночи, Мечников не переставал говорить со мною о своих планах и мечтал написать книгу, которая была бы как бы продолжением настоящей. Эта книга должна была бы носить заглавие «*Цель жизни*». Мечников чувствовал наступление смерти, но его мысль была всецело занята великим вопросом о жизни.

«Что нужно делать, — говорил он не один раз во время наших бесед, — чтобы победить все враждебные человеку условия и сделать возможной на Земле счастливую жизнь? Каким образом можно обосновать действительно научную мораль, выполнение которой способно наполнить нас чувством радости и удовлетворения? После того как наука разрушила детскую веру в существование благого провидения, после того как она уничтожила наивную веру в благожелательную природу, которая оберегает нас в нашей жизни, вопрос о создании действительно научной морали является первой необходимостью. Единственный путь, который открывается перед человеком, — это объединить свои усилия с усилиями других людей, чтобы совместно победить все силы природы и направить их на служение новому обществу, построенному на принципах справедливости и взаимного уважения». К сожалению, Мечникову не суждено было выполнить эту вторую работу и набросать перед человечеством грандиозный идеал новой морали солидарности.

Настоящее произведение было также продиктовано идеей о необходимости более справедливого порядка вещей, чем существующий. Вместе с тем в нем затронуты и чисто научные вопросы, имеющие величайшую важность. Наиболее ценная часть этой книги, по моему мнению, это та, где автор разбирает вопрос о влиянии географической среды на человеческие расы. Я не сомневаюсь, что в будущем наука должна будет признать правильность выводов и заключений автора по этому вопросу.

Еще не так давно историки почти не занимались вопросом о влиянии среды на человека, считая это оскорбительным для достоинства человеческого рода. Природа, если историки решались говорить о ней, являлась для них только своего рода ареной, на которой должна разыграться заранее составленная драма; реки и моря, горы, лес — все это было создано для человека, подобно тому как аллеи сада проводятся для прогулок владельца.

Правда, со времени Монтескье ни один ученый не осмеливался отрицать действия среды на расы, но почти каждый из этих ученых, говоря о влиянии среды, говорил, что невозможно точно установить, в какой мере влияет среда на человека. Карл Риттер — Лейбниц современной географии — пробовал обойти трудность этого вопроса тем, что признавал заранее установленную между человеком и окружающей его средой полную гармонию, подобную той, какую Лейбниц установил между душою и телом. Согласно этому великому географу, в то же время и большому поэту, весь рельеф нашей планеты, все тело нашей планеты с его позвоночником, с его «членами» точно совпадает в своем влиянии на человека с гением того народа, который должен населять данную область. Взаимное влияние происходит между Землей и населяющими ее народами, и путем такого влияния среды на человека и человека на среду, путем такого действия и воздействия человеческий род развивается согласно божественному предначертанию.

Конечно, такая теория не могла быть долго разделяема современными антропологами и географами. Дальнейшее развитие науки показало ненаучность и ложность такого взгляда, но вместо него никто не смог создать новой теории, более отвечающей современным требованиям научного духа. Даже большинство тех ученых, которые с торжеством доказывают всю нелепость утверждений Боссюэта, признававшего маленький иудейский город центром всемирной истории, сами не

далеко уходят от точки зрения Боссюэта. Если они даже и отрицают теорию существования «избранного народа», они тем не менее продолжают говорить об «избранной расе», которая благодаря своему гению одна только способна к прогрессу.

Таким образом, мы видим, что даже среди защитников теории «эволюции» большинство ученых признают первоначальную иерархию рас и утверждают, что только избранная раса способна к прогрессированию и к цивилизации, остальные же расы обречены на вечное пребывание в варварстве и в состоянии дикарства. Конечно, раса, стоящая на первом месте и способная к прогрессу, — это *наша* раса.

Правда, утверждал приоритет нашей белой расы, ученые забывают нам сказать о том, отличалась ли наша раса от других рас при начале своего развития и не смешивается ли она, соприкасаясь с другими расами; нам не говорят о том, все ли нации и племена, называемые одними учеными «арийскими», другими «индо-германскими», входят в состав этой расы.

Не будет ли более научным признать, согласно новейшим теориям, принятым многими учеными, что избранной расой человечества является так называемая «средиземноморская» раса, так как еще «божественный Платон» говорил, что люди живут вокруг Средиземного моря, «подобно тому как лягушки живут вокруг большого пруда»?

Если мы будем придерживаться первого рода гипотез, то финны, венгерцы, баски, внесшие очень много в общую сокровищницу прогресса, должны будут быть отнесены в ряд наций низкого происхождения, тогда как первыми представителями избранной расы должны будут считаться в нашей Европе богемцы или цыгане, которые еще и в наши дни ведут кочевой образ жизни или наполняют грязные предместья наших больших городов.

Если мы будем придерживаться теорий второго рода, т.е. признавать приоритет «средиземноморской» расы, то из ряда избранных народов мы должны будем исключить индусов, которые между тем уже имели свои исторические эпопеи, знали грамматику и проделали весь круг философии в то время, когда народы Западной Европы еще бродили в диком состоянии по лесам.

Если мы будем, чтобы упростить классификацию, различать расы по цвету кожи их представителей, причем, конечно, белых людей поставим на первое место, то в этом случае мы должны будем признать как родных братьев европейцев племя малайских альфуров, живущих в лесах и охотящихся за людьми. Если же мы будем считать отличительным признаком расы язык, то мы должны признать в числе народов избранной расы все низшие нации, которые некогда были побеждены племенами высшей расы и усвоили *язык* победителей; чтобы быть логичными, мы должны будем причислить к избранным народам и детей рабов республики Сан-Доминго или Гаити, говорящих по-французски.

Наконец, если мы будем классифицировать людей по форме их черепа, по волосам, как то пытаются делать некоторые антропологи, то мы придем в этом случае к еще более случайным и странным выводам. Союзы людей, скрещивания всякого рода, вызванные войнами или мирными торговыми сношениями, до бесконечности изменяли первоначальные элементы того, что мы называем теперь расой и что в действительности представляет лишь просто местную и временную группировку.

Говоря вообще, как бы это ни было обидно для человеческого самолюбия, мы должны признать свое полное невежество в вопросе о расах и должны также признать, что современная классификация народов по расам и подрасам имеет лишь полунаучный и временный характер. Ни один факт не дает антропологам права ставить в привилегированное положение свою собственную расу и утверждать, что она не подвержена влиянию среды.

«Всякая раса не является основной причиной, но представляет следствие», она — «дочь Земли», т.е. всей совокупности физических условий, в каких эта раса живет. Расу создает физико-географическая среда, и эта среда постоянно видоизменяет расу и трансформирует. Не наблюдаем ли мы, даже в течение нашей короткой жизни, как формируются новые этнические образования, которые мы не колеблясь назвали бы «расами», если бы мы не знали истории таких образований. Разве мы не видим, как в узких горных долинах, лишенных света, создается особый тип кретина с большим зобом, который передается по наследству из поколения в поколение? В каждой стране население различается не только по своему умственному развитию, но также и по своему физическому типу, который вырабатывается благодаря профессиональным занятиям; в какую бы страну мы ни попали, мы легко сможем отличить в толпе кузнеца, матроса, солдата, чиновника, попа. « Антропопластическая» сила специальной среды, в которой живет человек, так велика, что католический монах умеренных областей Италии и калмыцкий «лама» с высоких плоскогорий Центральной Азии кажутся нам родными братьями.

В больших городах современных цивилизованных стран под влиянием ужасающих условий нищеты мы видим, как создается особая «раса» людей, нисколько не похожих на остальных жителей города. Итальянский ученый Ломброзо выступил в науке даже с гипотезой, что «преступный тип» человека, населяющего трущобы и предместья наших больших городов, представляет собою атавистический возврат к первобытному типу человека, населявшему Европу в эпоху каменного века. Но нам нет надобности прибегать к такого рода гипотезам, нам достаточно только констатировать, что «низшая раса родится — или возрождается, если угодно, — в вырождающейся среде».

В бесконечном разнообразии условий, создающих среду, — астрономических, физических, климатических, антропологических — некоторые условия постоянны или изменяются крайне медленно и незаметно, но рядом с ними существуют другие, которые изменяются сравнительно быстро, и эти-то условия оказывают наибольшее влияние на человека и на процесс образования этнических групп, называемых расами и подрасами; влияние это совершается или непосредственно, или же путем тысячи различных комбинаций взаимных влияний. В разных климатических поясах, под различными широтами, в разных областях суши и морей среда меняется, и вместе с ней меняется человек. Но среда изменяется не только в пространстве, она меняется также и во времени. Из века в век изменяются условия в каждой местности, и иногда случается, что условия, бывшие в известную стадию развития благоприятными для человека и имевшими большое значение для его жизни, позднее становятся бесполезными или даже вредными.

Человеческая история представляет не что иное, как длинный ряд примеров того, как условия среды и очертания поверхности нашей планеты оказывали

благотворное или задерживающее влияние на развитие человечества. Так, например, океаны, которые являются в наше время орудием международного единения и путем торговых и идейных сношений, некогда вселяли в человечество только чувство ужаса и служили средством разъединения народов. Еще только пять веков тому назад Атлантика была для народов Западной Европы ужасным «морем мрака». Подобно тому как птенец, повисший на краю гнезда, с ужасом смотрит на беспредельный воздушный океан, который позднее станет для него родной стихией, первобытный человек также со страхом смотрит на воды океана.

Изрезанные побережья, образующие бесчисленные полуострова и заливы, характерные для Греции, без сомнения, оказали огромное влияние на развитие древних эллинов и способствовали прогрессу мореходства и развитию культуры вообще. Многочисленные полуострова и заливы Великобритании способствовали также развитию английского народа и сделали из Англии морскую державу. Но что значат и какое влияние имеют эти изрезы берега в настоящее время, когда достаточно для парохода несколько часов, чтобы пройти то расстояние, по которому корабли Одиссея блуждали в течение многих лет. Какое значение имеют теперь естественные гавани, когда человек может на песчаном берегу, некогда недоступном для больших кораблей, создавать глубокие искусственные порты, куда могут входить океанские пароходы?

Таким образом, географическая среда не оказывает своего влияния в одинаковой степени всегда и постоянно. Ее влияние не происходит с фатальной необходимостью. Поражающий пример изменения физико-географической среды мы видим в Месопотамии, в древней области, где протекают реки Тигр и Евфрат. Некогда в этой благословенной долине культурные племена благодаря искусственному орошению и канализации достигли того, что земля давала урожаи в сам-сто. Когда Месопотамия была завоевана арабами, людьми пустыни, для которых родной стихией была песчаная степь с редкой и тощей растительностью, Месопотамия мало-помалу превратилась в пустыню: арабы постарались придать ей вид родной Аравии, они вырубали леса, не поддерживали запруды, оставляли без ремонта каналы, и постепенно пески покрыли плодоносные поля.

Таким образом, главную причину и характер социальных учреждений и цивилизации данного народа мы не должны искать всецело только во влиянии окружающей среды; характер цивилизации и социального строя зависит главным образом от того способа приспособления к условиям окружающей среды, какой практикует данный народ .

Приспособляясь к среде, а в этом и состоит вся цивилизация, человек научается двум вещам, с первого взгляда противоречащим друг другу: во-первых, он научается освобождаться от абсолютной власти среды, научается, например, в стране холода, снега и льда обеспечить себя теплом, обильной пищей и известным комфортом, и, с другой стороны, человек увеличивает до бесконечности точки соприкосновения с окружающей средой и научается использовать тысячи природных условий, бывших до того времени для него бесполезными или даже вредными.

Это положение верно и по отношению к рекам, как и ко всем другим органам нашей планеты. Ценность и полезность рек изменялась самым странным образом в течение истории человечества. Прежде всего, все реки, протекающие в полярных

областях или находящиеся значительную часть года скованными льдами, как, например, Печора, Обь, Енисей, Лена, Маккензи и др., текут, так сказать, вне исторической зоны, за пределами истории; этими реками может интересоваться только физическая география. Точно так же в тропической области, там, где естественные географические условия не способствуют в сильной мере развитию в человеке энергии и где, следовательно, народы едва вышли из стадии первобытного состояния, реки имеют также только второстепенное значение в жизни людей. Так, самая большая река на Земле — Амазонка — протекает почти по необитаемым областям. Наконец, самая большая река умеренного пояса — Миссисипи, — играющая огромную роль в экономической жизни Соединенных Штатов, ранее не имела никакого значения для индейцев, так как, живя охотой, они не нуждались в этой реке.

Однако, не приписывая влиянию рек на человека никакого таинственного и фатального характера, мы тем не менее должны признать тот факт, что с начала истории цивилизация Старого Света зародилась и развилась на берегах больших рек, между 20 и 40 градусами северной широты. Нил в своем нижнем течении, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Хуанхэ и Янцзы были колыбелью цивилизации и своими ежегодными разливами являлись учителями прибрежных жителей.

В своей книге Лев Мечников прекрасно изложил различные исторические периоды, берущие начало в бассейнах названных рек. Он знакомит читателя, как эти различные, узконациональные культуры, постепенно смешиваясь друг с другом, способствовали зарождению средиземноморской цивилизации: на западе — цивилизации, охватившей Малую Азию и Западную Европу, а на востоке — цивилизации Китая и Японии. Наконец, автор говорит нам о начале «мировой» цивилизации, океанической, интернациональной, которая охватила не только народы Европы, но и народы Америки и Австралии.

В своем произведении Мечников знакомит читателя с формами различных цивилизаций при посредстве дошедших до нашего времени записей, песен, молитвенных гимнов и т.д. Но все эти памятники былых цивилизации являются памятниками уже сравнительно высокой стадии культуры, а в некоторых случаях цивилизации, достигшей даже своей зрелости, потому что в ту эпоху, когда составлялись приводимые Мечниковым исторические записи, народы уже утратили свою творческую способность, которую дает свободная ассоциация, и большею частью были объединены в большие деспотические государства, в которых всякая частная инициатива находилась под контролем высшей власти царей или священников.

За исключением Индии, история не сохранила нам сведений о жизни тех первобытных коммун и общин, которые образовались на берегах рек и под влиянием чувства необходимости стали практиковать взаимопомощь в тех случаях, когда силы отдельного человека были недостаточны. История ничего не говорит о том, как первобытные люди научились объединять свои усилия, чтобы совместно бороться против наводнений, воздвигать общими усилиями плотины, прорывать каналы и т.п. А между тем знакомство с этими первыми проявлениями коллективного труда, выяснение вопроса о зарождении первых социальных объединений было бы в высшей степени интересно. К сожалению, мы не можем проникнуть сквозь завесу веков к первым истокам нашей цивилизации; мы лишь

можем составить приблизительное понятие о жизни первобытных наших предков, изучая жизнь современных диких племен и народов.

В своей книге Мечников, быть может, недостаточно остановился на этой стороне вопроса и не отдал должного внимания «дикарям» на тех немногих страницах своей книги, где он говорит об этих народах, так как эти «дикари» внесли также и свою долю в общее дело человечества.

Движение человечества вперед совершалось не по прямой линии и не непосредственно от группы к группе. Путь человечества и развитие цивилизации можно сравнить с целым рядом спиральных линий, чередований эпох прогресса, постоянных колебаний, как бы своего рода приливов и отливов.

В жизни каждого народа, так же как и в жизни огромных наций, которым принадлежит в настоящее время гегемония на нашей планете, мы можем видеть, как периоды различных фаз развития, устанавливаемых Мечниковым, сменяли друг друга; эти периоды Мечников называет: период насильственного объединения людей, период подчиненности и период согласованных усилий. Эти периоды Мечников считает необходимыми этапами нормальной эволюции.

В самом деле, если мы будем изучать жизнь наиболее диких племен, мы придем к заключению, что и среди них происходят в миниатюре те же явления, какие мы наблюдаем и в жизни так называемых «высших» наций. История маленьких наций и «полуварварских» народов повторяет историю всего человечества, но лишь в более простых, но не менее верных чертах.

Но будем ли мы изучать историю «малых» или «великих» наций, мы всюду натолкнемся на факт, что только благодаря солидарности, свободному объединению усилий совершается всякий прогресс. Не освободившиеся еще окончательно от дикости наших предков, но став уже «полубогами» по своему идеалу, мы знаем теперь, каким образом человечество совершило свой путь, начиная с того момента, как наши предки-людоеды вышли из своих пещер.

Историк как беспристрастный судья раскрывает нам картину прошедших веков и показывает нам, как в бесконечном процессе развития человечества закон слепой и жестокой борьбы за существование, так превозносимый поклонниками успеха, все более и более подчиняется второму закону — взаимной помощи, в силу которого слабые организмы объединяются друг с другом для совместной защиты и борьбы против враждебных сил, для совместного использования естественных условий их среды.

Мы знаем теперь, что если нашим потомкам суждено будет достигнуть высшего развития науки и свободы, то этому они будут обязаны только взаимному сотрудничеству, взаимной помощи, из которой мало-помалу разовьется истинное братство.

С чувством беспредельного стыда за человечество мы слышим еще и теперь, после стольких веков исторического развития и после стольких усилий лучших людей всех веков и народов, громкие голоса, прославляющие «избранных людей» или «сильное правительство».

История призвана разоблачить и разрушить эти рабские теории; она доказывает человеку, как даже среди наиболее диких деспотий социальная жизнь поддерживалась только солидарным трудом всех членов социального тела. Настоящая книга полна доказательствами этой мысли, и это заставляет меня

предложить ее вниманию читающей публики. Я счастлив, что мне удалось выполнить дело, порученное мне покойным другом.

[i] Эта работа была написана Мечниковым по-французски в конце 1880-х годов на основе курса лекций «Великие исторические реки», читанного им в 1885—1886 гг. в Невшательской академии в Швейцарии. По замыслу автора она должна была стать первой частью его труда «Цель жизни». Две последующие планировалось посвятить подчиненным и свободным союзам людей (соответственно средиземноморским и океаническим цивилизациям). Смерть помешала осуществить этот замысел.

Книга была издана в 1889 г. в Париже стараниями друга Мечникова Элизе Реклю и с его предисловием. Она сразу же вызвала живой интерес как за границей (известна рецензия будущего творца геополитики Ф. Ратцеля — отрицательная), так и в России (эссе Вл.С. Соловьева, критические статьи Г.В. Плеханова и П.Г. Виноградова). Первый русский перевод был выполнен М.Д. Гродецким и издан в Санкт-Петербурге в 23-м и 24-м номерах журнала «Жизнь» за 1897 г. Затем, в 1899 г., книга вышла в свет отдельным изданием в Киеве—Харькове. По цензурным соображениям, в обоих изданиях были опущены анархические положения, отчего и произошла невольная подмена мечниковской концепции зарождения и развития цивилизаций — от принуждения (деспотии, подневольные союзы) к анархии (солидарность, кооперация, свободные союзы) при освоении обществом географической среды — концепцией развития, строго определяемого географической средой. Это надолго определило отнесение взглядов автора к школе географического детерминизма. Между тем идеи, высказанные Мечниковым, в сущности, уже далеко вышли за рамки этой школы. Полностью и без искажений книга Мечникова на русском языке была издана лишь в 1924 г. московским издательством «Голос труда» под редакцией Н.К. Лебедева. Ее новый перевод был осуществлен Н.А. Критской. Это издание и воспроизводится в настоящем томе. Оно сопровождается предисловием Э. Реклю из публикации 1889 г., в котором опущена лишь та его часть, где Реклю весьма приблизительно излагает биографию Л. Мечникова

Глава первая
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРЕСС?

Общие понятия цивилизации и прогресса. — Философия истории. — Научное определение понятия прогресса по отношению к истории. — Масса как механический или количественный критерий прогресса в неорганическом мире неприложима в области биологии. — Дифференциация — биологический показатель прогресса — не имеет значения в области социологии. — Личность и общество в мире растений и животных. — Увеличение взаимной зависимости и социальной связи среди растений и животных.

Человеческая история, лишенная идеи прогресса, представляет лишь бессмысленную смену событий, вечный прилив и отлив случайных явлений, которые не укладываются в рамки общего мировоззрения.

Во все эпохи, у всех народов и во всякой среде безумие, лицемерие и преступление чередуются с тоскливой монотонностью. Наоборот, примеры самоотверженности и добродетели вообще, когда случайно мы встречаем упоминание о них в истории, зачастую облекаются в странные и иногда даже в бессмысленные формы — стоит вспомнить только Курция, бросившегося в порыве благородных чувств в пропасть, или Манлия, обезглавившего своего сына за простое неповиновение.

Уважение потомства — эта запоздалая награда мученикам истории — никогда не проявляется в прямом количественном отношении с истинным величием некогда совершенного подвига. В памяти людей остается лишь то, что ослепляет; но истинные благодетели человеческого рода остаются в тени. Имена людей, научивших людей употреблению огня, искусству приручения животных и возделывания хлебных злаков, навсегда останутся неизвестными. Пантеон истории населен только извергами, шарлатанами и палачами.

Любопытно отметить также и тот факт, что ошибки и заблуждения нередко играли в истории человечества большую роль, чем значение или величие характера. Так, например, Христофор Колумб, олицетворяющийся легендой как борец за науку против суеверий и умственной слепоты своего времени, обязан своей славой своему заблуждению относительно размера земного шара, и это заблуждение дало ему возможность открыть *Америку*[i].

Большинство ученых подразделяют всех обитателей Земли на две группы: группу исторических, или культурных, народов и группу диких народов — «дикарей», или варваров. Однако при более тщательном изучении народов и их быта мы должны будем признать, что подобное разделение покоится на слишком неясных определениях, благодаря чему возможны очень грубые ошибки.

Наиболее несчастные и дикие племена, описанные современными или прежними путешественниками, все же обладают кое-какими орудиями, они знакомы с употреблением огня, имеют своих фетишей, подчиняются какому-нибудь, хотя самому элементарному политическому и семейному строю, они, наконец, владеют хотя и примитивным, но все-таки членораздельным языком. Все это скромное культурное «имущество» является наследием многих поколений, оно составляет сумму приобретенных благ; народ, обладающий этими благами, уже

имеет свою историю, правда неписаную, а следовательно, имеет право на причисление себя к семье цивилизованных народов.

Но если, с одной стороны, цивилизация, как бы ни был низок ее уровень, охватывает безразлично все элементарные общественные группы, третируемые с высоты нашего собственного величия как варварские, то с другой стороны, это варварство мы видим всюду; нет ни одного человеческого общества, как бы оно высоко ни стояло по своему культурному развитию, которое было бы вполне свободно от всех пережитков варварства и дикарства. Между дикарем, стоящим на наиболее низкой ступени развития, и наиболее высоко стоящим цивилизованным человеком существует длинная и непрерывная связь. Когда приходится сравнивать два крайних или весьма друг от друга отдаленных звена этой цепи, то огромные различия между ними слишком ослепляют наблюдателя и эти звенья сами собой невольно выделяются в самостоятельные группы, несмотря на то что мы отлично сознаем, что в природе развитие никогда не идет по прямой линии. Между англичанином, например, и новозеландским маори, между дикарем африканского племени батеке и самым просвещенным чиновником Бельгийского Конго существует не только разница, при помощи которой мы отличаем «цивилизацию» от «варварства», но существуют наравне с этим и другие различия, которые затемняют вопрос и усложняют дело.

При переходе от крайних звеньев, форм и оттенков к промежуточным, средним количество затруднений еще более увеличивается и мы в своих наблюдениях подпадаем все более и более случайности и под влияние наших субъективных симпатий и тенденций, окончательно делающих нашу оценку недоказательной, противоречивой и произвольной.

В самом деле, изучая определенный социальный строй, как можем мы отличить, что является существенной частью цивилизации и что является наследием примитивного варварства?

Но прежде всего попытаемся установить, *что такое цивилизация*, что следует понимать под этим словом.

Понятие цивилизации, говорит П.Мужоль[ii], является одним из самых сложных; оно охватывает собою совокупность всех открытий, сделанных человеком, и всех изобретений; оно определяет сумму идей, находящихся в обращении, и сумму технических приемов; это понятие выражает также степень совершенства науки, искусства и промышленной техники; оно показывает данное состояние семейного и социального строя и вообще всех существующих социальных учреждений. Наконец, оно резюмирует состояние частной и общественной жизни, взятых в их совокупности.

Рассматривая прогресс, совершенный человечеством в течение всего своего «крестного» исторического пути, мы можем указать на одно несомненное доказательство существования прогресса — это усовершенствование техники. В самом деле, сравнивая современную технику и промышленное развитие с тем, чем была техника и индустрия в предыдущие периоды, мы должны будем признать колоссальный рост человеческой мощи, гигантский рост власти человека над силами природы, над временем и пространством — этими двумя космическими врагами человека.

Однако, как ни бесспорен факт, что технический прогресс является одним из главных составных элементов общего прогресса, тем не менее одним техническим прогрессом понятие общего прогресса далеко не исчерпывается. Какое дело страдающей и мыслящей личности до того, красив ли памятник, воздвигнутый на ее могиле, или хорошо ли оружие, которым ее убивают. Кроме того, технический прогресс происходит толчками, скачками и, следовательно, не может служить для нас верным критерием общего прогресса и мерой для оценки прогрессивной степени последовательных фазисов исторической эволюции. Накануне последнего собрания Генеральных штатов во Франции[iii] техника стояла почти на том же уровне, как во времена римских императоров Антонинов[iv]. Если сравнить «эпоху пирамид» с эпохой Декарта, то можно, пожалуй, даже констатировать небольшое движение назад.

Более несомненное доказательство существования общего прогресса в истории дает нам непрерывная эволюция социальной связи между людьми и факт нарастания общечеловеческой солидарности. Вот почему только эти факты, по нашему мнению, и заслуживают быть признанными в качестве критерия и признака общественного прогресса.

В области геологических явлений вулканические извержения, сотрясение почвы и вообще все явления, носящие название катаклизмов, унося с собою массу жертв, сильно поражают человеческое воображение и приковывают к себе внимание. Но, в общем, эти катаклизмы вызывают только поверхностные изменения на поверхности нашей планеты. Это, скорее, последствия, результаты, а не причины.

Истинные, творческие силы, создающие глубокие изменения на поверхности нашей планеты, — это дождевые капли, ручьи, звонкие и прозрачные потоки, воздушные течения, беспрерывные и постоянные колебания температуры, смена тепла и холода — одним словом, целый легион агентов, которые своей незаметной, но беспрерывной и продолжительной деятельностью разрушают гранитные утесы и создают, откладывал песчинку за песчинкой, целые острова и даже огромные материки.

Точно так же и в истории человечества незаметный труд многочисленных поколений, живших до нас, является творцом исторических формаций, но эта работа безвестных поколений ускользает от исследователя; мы видим лишь результаты этого труда.

Летописи человечества заносят на свои скрижали только исключительные, необычайные явления, лишь те факты, которые поражали умы. Памятники, оставленные нам прошлыми веками, представляют, за редким исключением, храмы и дворцы, т. е. здания, не имевшие почти никакого отношения к жизни большинства, здания, в которые это большинство допускалось лишь в исключительных случаях[v]. Но те скромные жилища, где народ проводил свою обыденную, тусклую и монотонную жизнь, где он медленно погибал под ярмом тяжкого труда, — эти жилища всегда и всюду были слишком непрочны для того, чтобы противостоять разрушающему действию времени. Если бы не сохранились кое-какие смутные воспоминания и отголоски старины среди самих народных масс, пожалуй, для нас оказалось бы совершенно невозможным восстановить картину былой жизни даже в самых общих чертах.

С начала исторической эпохи судьбы отдельных народов и человечества в целом столько раз подвергались коренным изменениям, века невежества и нищеты столько раз сменяли эпохи мирного развития, расцвета наук и искусств, что теперь нам весьма трудно разобраться во всем историческом лабиринте.

Прагматическая история, т.е. история, довольствующаяся занесением на свои страницы фактов и деяний главнейших народов земного шара во всем их хронологическом беспорядке, не может служить для обоснования теории прогресса, она может лишь доставить материалы для истории прогресса, но не больше. Задачу создания этой теории прогресса, задачу отыскания ариадниной нити, необходимой для нашего руководства в запутанном лабиринте исторических фактов, подлежащих исследованию, надлежит выполнить более абстрактной науке, которую принято теперь называть философией истории.

Но *существует ли философия истории*? Такой вопрос был поставлен французским философом Булье[vi].

«Я тщательно исследовал, — говорит он, — системы и теории, носящие название философии истории, и мне не удалось извлечь из всех этих систем ничего, что заслуживало бы серьезного внимания. *Существует только один исторический закон — это закон прогресса...* Выше всех законов и обобщений, которым древние и современные писатели пытались подчинить историческое движение, выше всех «циклов», всех исторических «приливов и отливов», выше всех теорий о прямолинейном, криволинейном, спиральном движении истории или движении зигзагами, по которым якобы развивается человечество, стоит этот великий закон прогресса, конечно, истинного прогресса, освобожденного от всех ошибочных и ложных понятий, делающих идею прогресса ложной, смешной или опасной. На этой идее прогресса приходят в согласие между собою большинство пишущих по вопросам философии истории. Почти все историко-философы соглашаются признать закон прогресса наивысшим законом жизни, некоторые же ученые даже делают из этого закона своего рода божество и слово «прогресс» пишут всегда с большой буквы. Но если все согласны признать закон прогресса в истории, то какое различие и какая масса ошибок в понимании прогресса различными философскими школами! Согласно утверждениям одних, прогресс проявляется фатальным образом, как и все космические законы; согласно другим, прогресс является неизбежным потому, что входит в планы провидения».

С той точки зрения, на которой стоим мы, для нас не важен вопрос, откуда исходит и какими путями проявляется в истории прогресс. Существенной задачей для нас является определить, в чем состоит прогресс и по какому точно определенному признаку можно узнать, прогрессирует ли данное общество, не употребляя при этом никакого субъективного произвола, никакого предвзятого мнения, обыкновенно выставляемого различными социологическими теориями.

Для ученого автора, которого я только что цитировал, «прогресс» обозначает не просто движение вперед, к достижению общего блага. «Существо, не обладающее ни разумом, ни свободой, может переходить из одного состояния в другое, может развиваться, эволюционировать, но ни в каком случае не может прогрессировать». На каком основании, спрашивает Булье, жидкое состояние земного шара (взятое само по себе) по отношению к газообразному или же твердое состояние по отношению к жидкому могут считаться прогрессивными? Без

сомнения, нам ответят, говорит Булье, что этот последующий ряд изменений прогрессивен потому, что он подготовил появление человека на Земле, или же, другими словами, потому, что этот ряд явлений составил условие, необходимо долженствовавшее предшествовать появлению человека. Но ведь между сценой, на которой должны появиться актеры, лишь только она окажется готовой, и самими актерами слишком огромная пропасть, чтобы ее можно было заполнить ничего не говорящими словами. Поэтому не будем смешивать прогресс с развитием материальных условий существования человечества на Земле и сохраним это великое название прогресса только для определения разумного, сознательного и свободного движения к общему благу.

Булье, по-видимому, не замечает, что предлагаемая им произвольная очистка идеи прогресса не может быть принята без некоторых оговорок. В самом деле, безусловное принятие ее повело бы не только к отрицанию прогресса в философии, но также к отрицанию прогрессивного значения за бесспорными завоеваниями человеческого разума, сделанными за последнюю четверть века в области точных наук. Булье требует непременно «свободного и разумного» стремления к общему благу. Но мне кажется, что определить долю участия элемента свободы и разума в истории весьма затруднительно. Только с большим трудом мы сможем отыскать в истории улучшения жизненных условий, осуществленные добровольными и сознательными усилиями людей, сознательными притом настолько, что предусматривались бы все возможные последствия совершаемых поступков.

По мнению Герберта Спенсера, часть прогрессивного движения, вызванная сознательными и разумными причинами, очень незначительна в сравнении с общей массой прогрессивного движения, происходящего, так сказать, фатально, благодаря стечению непредвиденных обстоятельств, а также из столкновения интересов, страстей и бессознательных или внушенных мелкими эгоистическими соображениями поступков. Говоря вообще, прогресс был бы очень непрочным явлением, если бы его единственной причиной, а следовательно, и единственной гарантией его осуществления являлась бы добрая воля немногих избранников. Строго точное применение того определения, которое рекомендует Булье, при всем том сообщило бы самому понятию прогресса смутный и неопределенный характер. Оно создало бы пропасть между природой и человеком, а несомненно, ни история, ни философия не выиграли бы от этого разрыва между естественными науками и науками философскими.

Наоборот, понятие прогресса приобрело точное, свободное от всяких метафизических ухищрений и произвольных толкований определение именно с расцветом естествознания и с торжеством дарвиновских идей эволюции. В области естественных наук под прогрессом понимают ту дифференциацию явлений природы, которая в каждой последующей фазе эволюции проявляется с большей интенсивностью. Явления считаются прогрессивными, если каждый из их составных элементов, воспроизводя отличительные свойства всех предыдущих ступеней развития, содержит в себе еще какой-нибудь новый элемент, еще не проявлявшийся в предыдущих фазах, и если при всем том новая стадия в состоянии зародить еще *новые*, способные к эволюции элементы.

Растение, например, представляет прогрессивно высшую форму организации по сравнению с минералами: в растении мы наблюдаем все явления

неорганического мира *плюс* специальные способности питания, роста и размножения.

Животное в свою очередь является прогрессивно высшей формой организации по сравнению с растением, потому что к способностям растения прибавляется еще способность движения и ощущения. Наконец, человек стоит выше всех остальных позвоночных животных по интенсивности своей интеллектуальной жизни, достигающей в нем такой высоты, какой она не достигает ни у одного животного.

> Мы можем даже ответить Булье, что отвердевание земной коры как необходимое условие для появления на Земле человека носит также прогрессивный характер, так как оно обусловливает такую интенсивность жизни, какая была несовместима с жидким или газообразным состоянием нашей планеты.

В высших фазах эволюции в областях, неправильно называемых мертвой природой, или «неодушевленной», химический состав тел относительно прост и однороден; развиваемая в этих телах энергия находится в прямом соответствии с массой данного тела, т.е., говоря другими словами, энергия тел здесь прямо пропорциональна количеству материальных частиц. Вот почему в течение многих веков науки о неорганической природе знают только одну силу — молекулярное притяжение, только один закон — ньютоновский закон притяжения и только один критерий — тяжесть. Интересно отметить, что в области неорганической природы наиболее индифферентный газ — водород — является в то же время и наиболее легким, тогда как углерод, элемент, заслуживающий названия наиболее прогрессивного благодаря своей роли в органических соединениях, по своему удельному весу превосходит большинство газов.

В области биологии дело обстоит несколько иначе.

Химический состав тел становится здесь все сложнее и разнообразнее. Высокая интенсивность жизни и энергии организма перестает зависеть исключительно от количества молекул и начинает главным образом обусловливаться разнообразием и сложностью молекул, а также степенью совершенства разделения труда между различными органами тела. Организм в биологии считается тем выше и совершеннее, чем при данной массе тела он развивает более жизненной энергии. Несколько граммов мозгового вещества — этой наиболее прогрессивной органической ткани — обладают физико-химической энергией, более могущественной, чем какой-нибудь гранитный утес в несколько сот кубических метров. Таким образом, по-видимому, сразу устанавливается пропасть между мертвой природой и органическим миром. Но в действительности эта пропасть существует лишь в нашем воображении благодаря нашему способу рассмотрения вещей и оценки явлений с человеческой точки зрения. Наука не видит строго определенной границы между «неживой» и «живой» материей, равно как между животным и растительным миром.

В области биологических явлений жизнь проявляется в таких разнообразных формах, что нам для общего понятия необходим объединительный синтетический принцип и отличительный признак прогрессивности. В биологии критерием прогрессивности не может быть вес или тяжесть; при вступлении в область биологии наблюдатель-исследователь принужден переменить свои орудия

исследования, подобно тому как приходится откладывать в сторону ртутный термометр, когда хочешь измерить слишком высокие или слишком низкие температуры.

Со времени Чарльза Дарвина большинство ученых считают, что специфическим законом биологии должен быть признан *закон борьбы за существование*, или, говоря другими словами, *закон жизненной конкуренции*, направляемый и поддерживаемый *отбором* (selection). Но еще до великого английского натуралиста русский ученый Карл Бэр доказал научным образом, что в мире органических явлений прогресс определяется морфологическим критерием, а именно степенью *дифференциации*. Дифференциация состоит в том, что в организме все более и более увеличивается количество отдельных органов, которые постепенно и специализируются на выполнении какой-либо, строго определенной части общей работы организма. Каждый орган выполняет свою особую функцию, и совокупность этой коллективной работы всех органов составляет общую жизнь организма.

Теперь, когда биология окончательно и в высшей степени ясно формулировала оба эти принципа, ее можно не без оснований рассматривать как вполне установившуюся точную науку, независимую от метафизических фикций и предвзятых партийных мнений.

Цивилизация, как мы уже видели, характеризуется прогрессивным ходом человеческих обществ, жизнь и деятельность которых неизмеримо сложнее жизни и деятельности животных и растений. Согласно утверждению французских позитивистов и английских эволюционистов, наука, занимающаяся изучением явлений общественной жизни, т.е. социология, по отношению к биологии занимает такое же место, какое занимала сама биология по отношению к наукам неорганическим. Биология может считаться и зависимой и независимой наукой от наук физико-химических, смотря по тому, с какой точки зрения мы будем рассматривать ее. Она тесно связана со всеми физико-химическими науками, так как изучает высшие фазы прогрессивной серии, начинающейся элементарно простыми явлениями, входящими в область физико-химических наук, и затем без перерыва поднимающейся вплоть до самых сложных проявлений жизни. Но в то же время биология представляет совершенно независимую и самостоятельную науку, так как она имеет свой особый предмет изучения — жизненные явления — и рассматривает эти явления со своей собственной точки зрения.

Таким образом, если социологии в свою очередь суждено стать точной наукой, то для этого она должна ясно и определенно установить специфический закон социальной жизни и дать свой собственный критерий, при помощи которого в области социальных явлений мы могли бы определить прогресс столь же безошибочно, как это делает биолог в своей области, определяя степень дифференциации данного организма.

Наиболее характерной чертой всякой социальной жизни является *кооперация*. Если в области биологии существа более или менее индивидуализированные, начиная от простейшей клетки и до человека, ведут борьбу за существование, т.е. за достижение каких-нибудь эгоистических и личных целей, то в области социологической, наоборот, отдельные особи объединяют свои усилия для достижения общей цели. Пусть в действительности очень часто

кооперация, объединение усилий, является только необходимым и логическим результатом борьбы за жизнь; не важно, что стремление к кооперации зарождается в живых существах под влиянием эгоистических интересов; существенно для нас то, что принцип кооперации совершенно отличен и противоположен дарвиновскому принципу борьбы за существование, насколько этот принцип сам отличается от более общего принципа — ньютоновского закона всеобщего тяготения.

Безразлично, заключают ли отдельные особи союз для обороны или нападения, все же принцип соглашения совершенно отличен от принципов борьбы.

Разграничение областей биологии и социологии не представляет, следовательно, никаких затруднений. Биология изучает в области растительного и животного мира явления борьбы за существование, социология же интересуется только проявлениями солидарности и объединения сил, т.е. фактами кооперации в природе[vii].

«Общество есть организм», — утверждали Огюст Конт и Герберт Спенсер. Ослепленные этим определением, самые выдающиеся ученые утверждали и утверждают до сих пор, что дарвиновский закон борьбы за существование составляет не только основной закон биологии, но является и главным законом социальной жизни. В действительности, однако, положение «общество есть организм» представляет собою только фигуральное выражение, утратившее еще со времен Менения Агриппы[viii] даже оттенок оригинальности.

Такое определение общества, впрочем, можно допустить при одном условии, чтобы не выводить отсюда заключения, что законы биологии вполне достаточны и для разрешения социальных проблем. Конечно, общества представляют организмы, так же как и все тела представляют собою своего рода организмы; но не следует забывать, что организмы растений или животных бесконечно более сложны, чем минералы, и не с помощью простых физико-химических формул наука смогла осветить запутанные вопросы эволюции. Дарвин и Бэр дали объяснение для всех биологических явлений при помощи закона борьбы за существование и закона дифференциации. Но так как общества суть явления несравненно более сложные, чем организмы растений и животных, то логично и естественно допустить, что только одними биологическими законами нельзя разрешить вопросы социологии.

Герберт Спенсер, как мне кажется, признает эту точку зрения. Во-первых, он считает социологию наукой автономной и зависимой от биологии только постольку, поскольку последняя сама зависит от наук неорганических. Во-вторых, он различает три вида эволюции: механическую, органическую и надорганическую. Наконец, он различает индивидуализированные организмы, способные к наиболее развитой дифференциации своих частей, от организмов социальных, в среде которых дифференциация возможна лишь в узких рамках[ix].

Социологи всех эпох и всех направлений обращали усиленное внимание на отношения между личностью и обществом на различных ступенях социальной эволюции. Но когда этими отношениями заинтересовались натуралисты, привыкшие к точному языку и определенной терминологии естественных наук, то они не замедлили обнаружить, насколько смутны и неопределенны наши понятия об индивидууме и обществе. Единственный бесспорный индивид-неделимое — это клетка, ибо, разделяя ее, мы получим уже бесформенную материю. Эти

абсолютные индивиды рассеяны в громадных количествах всюду, где только возможна жизнь; микроскоп открывает наблюдателю мириады таких индивидов; они живут изолированно эгоистической жизнью, растут и размножаются, ведут борьбу за свое существование на свой страх и риск, не прибегая к высокому и благотворному принципу кооперации и солидарности.

Но, с другой стороны, существуют другие мириады организмов, которые под влиянием некоторых условий, сущность которых нам абсолютно неизвестна, объединяются в общины и колонии. Эти коллективные, или многоклеточные, организмы могут быть рассматриваемы двояким образом: в их совокупности можно видеть организмы высшего разряда, а с другой точки зрения, в них можно видеть только составные части, ткани и органы новых образований еще более высшего порядка.

С точки зрения современной биологии человек, отношения которого к обществу (по терминологии Ж.Ж. Руссо) регулируются социальным договором, является тоже своего рода коммуной, составленной из многочисленных индивидов низшего порядка, т.е. органов, состоящих в свою очередь из групп наиболее элементарных индивидов, т.е. клеток.

Таким образом, одно и то же живое существо может быть рассматриваемо то как целостный самостоятельный индивид, то как орган или член некоторой коллективности, связанной кооперативной связью, то, наконец, как общество более элементарных индивидов. В современной науке для обозначения существ, достигших такой высокой степени индивидуализации, какой достигли, например, человек и высшие животные, условились употреблять термин *бион*.

Будучи несравненно более сложной, нежели у низших организмов, индивидуальность бионов далеко не отличается высокой степенью абсолютности, какую мы наблюдаем у простейшей клетки. В то время как одноклеточный организм вполне и всецело удовлетворяется сам собою даже для воспроизведения, бионы, отличающиеся более сложной организацией, должны для поддержания и сохранения вида объединяться с себе подобными, но другого пола, создавая таким образом новую группировку высшего порядка — *дэм*. Примером наиболее элементарной формы дэма может служить хотя бы обыкновенная и часто встречающаяся в животном мире брачная пара.

Само собой разумеется, что значительное разнообразие форм естественного дэма далеко не ограничивается формой брачной или семейной пары. Эта последняя служит лишь отправной точкой для развития чрезвычайно разнообразных форм[x].

Заметим, кстати, что позитивисты вслед за Огюстом Контом и англичане-эволюционисты вместе со Спенсером считают, на мой взгляд совершенно произвольно, началом социологической области именно зарождение дэмов, оставляя, таким образом, на долю биологии изучение эволюции низших форм коллективной жизни. Для Конта половое влечение, толкающее бионы к образованию дэмов, является в некотором роде физиологической основой *альтруистических инстинктов*, на которых покоится все социальное здание. В другом месте[xi] мне пришлось высказать свои взгляды по этому поводу и определить ценность контовского утверждения; повторю здесь кратко, чтб я писал раньше: по моему мнению, область социологии охватывает все те явления, в которых проявляется кооперация; но с этой точки зрения нельзя провести резкой

границы между индивидом и обществом. Когда биологи вводят в область своего исследования также и дэм, мы не имеем права восставать против этого, так как своим изучением брачных отношений с биологической точки зрения они внесли много света и в область социологических проблем.

Первоначальные многоклеточные организмы представляют собою общества, где каждый из индивидов точно походит на других, где еще не существует ни малейшего разделения труда, а следовательно, нет и дифференциации между элементами, составляющими общество: клетки здесь составляют одно целое, спаянное и сплоченное лишь какой-либо общей оболочкой или просто механической связью. Если случайно происходит разрыв общей связи, то каждая составная частица этого общества начинает свою самостоятельную жизнь, общество распадается, не причинив ни вреда, ни ущерба для индивидов.

Но с развитием кооперации или вынужденного сожительства в обществе возникает разделение или, вернее, специализация труда, вначале примитивная, но с течением времени все более и более усложняющаяся; благодаря этому возникает взаимная зависимость между членами данной коллективности.

Это видно хотя бы из следующего примера: наружные клетки, приходящие в соприкосновение с питательной средой (например, с жидкостью), ограничиваются ее поглощением, оставляя заботы о переваривании ее центральным клеткам, которые не могут сами непосредственно всасывать окружающую тело жидкость.

Бэр первый из натуралистов констатировал, что начиная с этого момента примитивного разделения труда дифференциация все более и более возрастает и разделение труда все более и более специализируется, причем эти все увеличивающиеся дифференциация и разделение труда соответствуют каждому последовательному прогрессивному шагу, осуществляющемуся в растительном или животном организме. Однако было бы неправильным сказать, что в серии биологических явлений прогресс целиком исчерпывается дифференциацией и увеличением разделения труда; в области биологии, как и всюду, истинный прогресс состоит в увеличении интенсивности разнообразия жизненных проявлений. Необходимо лишь заметить, что начиная с наиболее простых многоклеточных организмов степень дифференциации является одним из самых очевидных признаков прогресса; прогресс всегда сопровождается через всю серию биологических явлений дифференциацией, определяющей его повышения и понижения, подобно тому как в термометре колебания ртути показывают изменения температуры.

Развитие дифференциации частей достигает наивысшей точки своего развития у высших позвоночных животных: в человеческом организме, например, дифференциация частей и разделение труда между органами уже настолько совершенны, что все части, органы, ткани и клетки, составляющие тело человека, окончательно утратили свою физиологическую самостоятельность и не могут существовать одни без других. В случае, когда один из наших органов получает какое-нибудь сильное повреждение, это подвергает опасности не только весь наш организм, но и отдельные члены, не затронутые непосредственно повреждением; возможно даже, что они даже погибнут, не имея возможности обойтись без работы разрушенного или поврежденного члена.

Органическая эволюция не останавливается, однако, у бионов на этой степени дифференциации. Заботы о размножении вида побуждают, как мы видели выше, высших животных образовывать общества и коллективные формы высшего порядка — дэмы, в которых ботаники и зоологи видят своего рода биологические индивиды, еще более сложные и разнородные, чем человеческая личность. Здесь, как только образовались такие коллективные объединения, непогрешимый критерий прогресса Бэра, т.е. степень дифференциации, перестает давать точные указания, подобно тому как и ртуть в термометре, дойдя до своей точки кипения, внезапно прекращает показание верной температуры. Однако неспособность принципа Бэра определить степень прогресса в данном случае не дает еще нам права предполагать пробела в самой эволюции живых существ.

Известно, что многие ученые неоднократно и упорно указывали на морфологические различия между особями мужеского и женского рода у высших животных как на характерный признак прогрессивного развития человечества. Но в действительности наиболее бросающиеся в глаза половые различия не могут идти в сравнение с теми громадными уклонениями от нормального типа, которые без ущерба для всего организма имеют место среди различных органов и тканей нашего тела. Не нужно забывать, что ни один из членов, образующих дэм, не теряет своей независимости и самостоятельности до такой степени, чтобы физиологически не быть в состоянии существовать отдельно от других. Это, между прочим, удачно и убедительно доказал Герберт Спенсер[xii].

Если, рассматривая социальные явления, мы будем упорствовать в том, чтобы непременно считать дифференциацию единственным признаком прогресса, мы этим самым осудим себя на ошибочные выводы и можем прийти даже к оправданию самых возмутительных фактов. Так, например, применяя биологический критерий прогресса к совершенствованию брачных отношений, мы логично будем видеть идеал семейства и брака в тех связях, которые еще не так давно заключались между американскими плантаторами и рабынями-негритянками. В самом деле, ведь здесь врожденное несходство мужчины и женщины резко дополнялось еще и различием рас, а следовательно, для проявления дифференциации являлся полный простор.

В области социальной жизни мы также должны были бы сожалеть об исчезновении законов Ману[xiii], проповедовавших столь последовательную дифференциацию, что, по их предписаниям, различные занятия должны были подлежать ведению различных этнологических групп. Один ученый, которого я уже цитировал в своей книге, говорит, что «английский народ кажется ему наиболее цивилизованным, потому что в его среде социальная дифференциация играет видную роль; богатства и дары судьбы распределены так неравномерно в Англии, что мы видим там рядом поражающее изобилие с ужасающей нищетой»[xiv].

Правда, Мужоль пытается смягчить антисоциальную окраску своей теории, прибавляя тут же, что существует не только вредная дифференциация, но и полезная, благодетельная. По его мнению, «естественное неравенство, вытекающее не из преимуществ рождения, а из личных способностей и индивидуальных качеств, все более и более получает преобладающее значение под влиянием мирной конкуренции. Этот прогресс вызывает падение кастового устройства общества; в то же время под влиянием беспрестанно действующего отбора и

скрещиваний между людьми мало-помалу исчезают и искусственные неравенства, завещанные нам от прошлых эпох грабежа, насилия и деспотизма».

Но я нахожу, что в данном случае трудно различить *искусственное и естественное* неравенство, трудно увидеть разницу между *полезной* и *вредной* дифференциацией, не говоря уже о том, что, рассуждая так, Мужоль допускает чисто фактическую ошибку. Ни одному лорду Великобритании, разумеется, никогда не придет в голову мысль, что он обладает громадными поместьями в силу особых личных достоинств. Наоборот, всякий лорд гордится тем, что он обязан своими богатствами подлинному грабежу или более или менее достоверному происхождению от покорителей-норманнов, что, в сущности, одно и то же. Я нахожу, что Мужоль преклоняется именно перед результатами вредной дифференциации, перед «остатками эпохи грабежа и насилия». Мы не желаем этих «остатков и результатов», потому что, сравнив дифференциацию при английском государственном строе с тем, что «естественно» происходит во всех демократических государствах, во Франции, например, или в Соединенных Штатах Северной Америки, мы ясно видим, что «отбор наиболее деятельных» и биржевая спекуляция ничем не лучше наследственных привилегий.

Для более точного уяснения себе этого станем на минуту на ту точку зрения, которой придерживаются Спенсер и Мужоль. Представим себе, что существует некая страна Утопия, где дары судьбы распределены строго по заслугам, где, следовательно, лица, одаренные чрезмерным богатством, являются в то же время образцами добродетели, талантливости и мудрости, тогда как в нищенское состояние погружены отбросы общества: глупцы, лентяи, трусы... По какому праву мы должны считать социальную организацию этой страны более прогрессивной, чем социальная организация другой страны, где все граждане одарены приблизительно в одинаковой степени умом, энергией и добродетелями, где не существует ни заметной дифференциации, ни значительных неравенств жизненных условий!..

В то время как социологи спорят по вопросу о всеобщем критерии прогресса, биологи на свой страх также пытаются дать решения тех социологических вопросов, область которых соприкасается с биологией. Строго научный метод, руководящий этими исследованиями, делает их результаты крайне ценными для теории прогресса в природе и истории.

Резюмируя эти исследования, мы получим следующие весьма интересные выводы по вопросу об эволюции форм социальной жизни.

Ассоциация, или *кооперация*, т.е. объединение более или менее многочисленных усилий отдельных особей, направленное для достижения общей цели, встречается уже среди первичных многоклеточных организмов, почти в самом начале органической жизни[xv].

На различных ступенях морфологической лестницы этот принцип ассоциации, или кооперации, объединенного труда многих индивидов принимает разнообразные формы, а именно:

На самой низшей ступени (среди первичных многоклеточных организмов) кооперация выражается в простой *механической* связи, различным образом соединяющей отдельные клетки организма.

На более высшей ступени биологической лестницы кооперация проявляется в силу *физиологической необходимости*, вытекающей из невозможности для каждой отдельной особи или члена существовать вне общения и сотрудничества с другими членами.

Наконец, на высшей ступени развития кооперация принимает все более и более свободный и добровольный характер. Зачаточные формы этой высшей формы ассоциации — дэмы (брачные группы) — образуются уже под воздействием таких факторов, как половое влечение, которые нельзя назвать ни механическими, ни чисто физиологическими, но которые являются уже в значительной мере факторами психологическими[xvi].

По мере того как дэм совершенствуется, не выходя даже из биологической области, психологический характер кооперации, объединяющей его членов, проявляется все сильнее и сильнее, а первоначальное чисто физиологическое половое влечение все более и более уступает свое место взаимному влечению, общим заботам о потомстве и сознательной солидарности склонностей и интересов и т.д.

Улучшение, или прогресс, социальной связи, проявляющееся вначале чисто механическим и принудительным образом, принимает постепенно все более и более психологический характер и выливается в форму свободного союза. В этом прогрессивном движении дифференциация является характерным признаком лишь на промежуточной ступени; на низшей ступени она еще не проявляется, а на высшей дифференциация теряет для нас всякий интерес, так как она не является более характерным признаком прогресса.

В наше время, когда телеологический или антропоморфический способ выражения уже не в состоянии ввести кого бы то ни было в заблуждение, да будет мне позволено выразить мою мысль более ясно следующим фигуральным образом. Природа, нуждаясь в солидарности существ, помимо которой она не смогла бы осуществить высшие формы жизни, вынуждена была употребить следующие меры: вначале она объединила отдельные живые организмы в коллективы при помощи принуждения и необходимости; затем, приучив как бы насильственно их к общественной жизни, она видоизменила формы общественной жизни посредством дифференциации; наконец, когда, по ее расчетам, отдельные личности достаточно созрели для сознательной и добровольной кооперации и объединения своего труда, природа уничтожает всякое принуждение и подчинение. С этого момента самое важное с биологической точки зрения дело, именно воспроизведение новых существ, вверяется не инстинктам, а свободным личным склонностям существ.

Таким образом, социальный прогресс находится в обратном отношении к степени принуждения, насилия или власти, проявляющихся в общественной жизни, и, наоборот, в прямом отношении к степени развития свободы и самосознания, или *безвластия, анархии*. Это положение стремился доказать и Прудон в своих произведениях.

По моему мнению, превосходство и преимущество группировок третьего рода, т.е. *анархических дэмов*, сравнительно с двумя предыдущими формами объединения, никем не могут быть серьезно оспариваемы. На самом деле: 1) индивиды, входящие в состав добровольных союзов, несравненно совершеннее тех клеточек, тканей и органов, которые составляют общества первых двух низших

серий; 2) цель, для осуществления которой создаются, организуются и существуют эти общества — именно сохранение и беспредельное развитие человеческого вида, — несравненно шире и гораздо важнее, чем результаты, достигнутые двумя низшими формами ассоциации и сотрудничества, т.е. поддержание жизней отдельных особей, а не целого вида; наконец, 3) только союзы высшего типа, основанные на свободе и взаимном договоре, вполне отвечают требованию сознательного человека, и поэтому только такие союзы могут быть причинами желательными.

[i]Вместе с арабскими географами своего времени Колумб был убежден, что берега Восточной Азии находятся гораздо ближе к западным берегам Европы, чем это есть на самом деле. Вследствие этого ложного соображения Колумб и надеялся, что его путь к Индии на запад от Гибралтара будет не длиннее, чем восточный путь, которым следовали в Индию до того времени венецианские купцы

[ii] P. Mougeo11e. Statique des Civilisations. Paris, 1883

[iii]*Генеральные штаты* Франции в последний раз созывались 5 мая 1789 г

[iv] Династия Антонинов правила в Риме с 96 по 192

[v]Mougeo11e. Les Problemes de 1'Histoire. Paris, 1886

[vi] «Revue philosophique», апрель, 1886

[vii] Более подробно см. об этом мою статью «Evolution and Revolution» в журн. «Contemporary Review», сентябрь, 1886

[viii] См. сноску 2 к статье «Школа борьбы в социологии».

[ix] H. Spencer. Principes de Sociologie. Vol. II, ch. П. Paris, 1879

[x] Ботаники и зоологи еще не пришли к определенному и окончательному соглашению относительно количества и номенклатуры морфологических ступеней, которые полезно различать в области биологии. Я лично принимаю всюду четыре ступени, или серии: 1) клеточка, 2) орган или ткань, 3) бион, 4) дэм. См. G. Cattaneo. Le colonie lineari e la morfologia del molluschi. Milano, 1882

[xi] См. мою статью в «Contemporary Review», сентябрь, 1886

[xii] H. Spencer. Principes de Sociologie. Vol. П, ch. П. Paris, 1879. Это, однако, не мешает знаменитому философу признавать закон дифференциации всеобщим критерием прогресса, внося в него поправку в виде закона интеграции

[xiii] *Законы Ману* (в дошедшем до нас виде) были составлены, очевидно, во П в. до н.э.—I в. н.э., но отдельные их разделы явно древнее. Содержат 2685 шлок (двустиший), которые, сообразно религиозным догматам брахманизма, регламентируют частную и общественную жизнь индийцев. Авторство приписывается мифическому прародителю людей — Ману

[xiv] P. Mougeo11e. Les Problemes de 1'Histoire. Paris, 1886

[xv] Профессор Петербургского университета зоолог Кесслер в одной из своих статей, с которой я знаком только по отзывам в журналах, высказал мнение, что принцип кооперации должен быть признан в науке таким же автономным и специфическим, как и принцип борьбы за существование, так как этот последний является недостаточным для объяснения некоторых явлений, с которыми иногда встречаются ботаники и зоологи

[xvi] Французский ученый Эспинас в своем замечательном труде «Общественная жизнь животных» весьма ярко осветил психологический характер брачных связей у

некоторых животных

Глава вторая

Прогресс в истории

Сходство между биологическими и историческими группировками. — История представляет собою социологическую эволюцию, подчиненную космическому влиянию среды. — Деспотизм и анархия. — Рабство, крепостничество и система наемного труда. — Три периода в развитии общественной солидарности.

Социологический прогресс, так, как мы его определили в предыдущей главе, без сомнения, играет значительную роль в истории, но тем не менее одним только таким понятием прогресса нельзя объяснить целиком исторического процесса. Загадка, предлагаемая в течение бесчисленного ряда веков сфинксом истории, остается неразрешенной и до сего времени. Ни один «Эдип социологии» не дал до сих пор точного, ясного и определенного объяснения, почему историческая жизнь началась не с анархических и свободных группировок как наиболее совершенной формы организации, но совершенно с противоположных форм.

Совершенно легко понять угнетение и эксплуатацию слабых существ сильными — мир животных полон такими драматическими фактами, — но каким образом можно объяснить факт угнетения сильных слабыми, эксплуатацию многочисленных народных масс незначительным меньшинством, иногда даже одним невежественным и полубольным человеком?

Эту картину мы находим с некоторыми небольшими вариациями в начале исторического периода каждого народа. Интересно отметить, что такие факты, т.е. угнетение большинства меньшинством, не встречаются в природе и человеческий род составляет в этом отношении как бы исключение. Человеческая история, начинающаяся с рабства и подчинения одних людей другим, является каким-то парадоксом в природе и насмешкой злого божества.

С тех пор как человечество научилось говорить и писать, люди не перестают проклинать деспотизм, но ни один пророк, ни один поэт не попытался объяснить, откуда и в силу каких причин появился деспотизм.

Когда Жан Жак Руссо провозглашает, что «человек рожден для свободы, а между тем мы его видим всюду в цепях», и когда с высоты своего олимпийского величия Гёте вещает, что «человек создан не для свободы», оба они в своих утверждениях выходят за пределы научного исследования и действительной жизни. Несомненно, что окружающая человека среда и способность человека приспособляться к этой среде вполне должны способствовать тому, чтобы человек мог наиболее наилучшим образом устроить свое существование; с другой стороны, свобода не есть нечто недостижимое и химерное, ибо мы знаем, что очень многие племена, в умственном отношении сравнительно скудно одаренные, все-таки сумели создать более или менее действительно такой свободный общественный строй, о котором большинству культурных народов приходится только мечтать.

Насколько мне известно, единственной и хотя до некоторой степени научной теорией происхождения деспотизма является теория Герберта Спенсера. Спенсер видит причину различия в судьбах народов, в смысле развития свободы, в

милитаристических и в *экономических* стремлениях, выработавшихся у разных народов в весьма отдаленный от нас доисторический период.

Легко, однако, видеть, что выставленная Спенсером гипотеза покоится на вполне априорном предположении, которое в свою очередь основывается на слишком преувеличенной оценке значения милитаризма. В действительности война является лишь эпизодом в истории и представляет частный случай всеобщей борьбы за существование.

Египетские пирамиды, стены Вавилона, плотины в бухте Ханчжоу, масса других поразительных созданий человеческой силы и энергии, т.е. все то, что Герберт Спенсер не замедлил бы отнести к области *экономизма*, заключает в себе больше крови и слез, больше страданий и гнета, чем все мировые поля сражений вплоть до Седана и Плевны. И наоборот, во все эпохи и у самых различных народов можно найти примеры того, как общество создавалось благодаря войне и под влиянием военных обстоятельств и тем не менее где деспотизм, элемент принуждения, проявлялся в самых микроскопических дозах. Такими группировками были, например, в XVII веке Украинская Сечь, а в позднейшее время Черногория, республика сикхов в Пенджабе, многочисленные горные республики на Кавказе и в Абиссинии. Кабилы — один из самых воинственных народов на земном шаре, вместе с тем и один из самых свободных среди всех когда-либо живших или живущих на земле племен. Вот что говорит о них Эрнест Ренан, которого, как известно, трудно заподозрить в симпатии к анархическому принципу:

«Общественная жизнь берберов представляет нам редкий пример весьма совершенного социального строя, поддерживаемого без участия или вмешательства какой-либо власти, ставшей вне самого народа. В их жизни осуществлен идеал демократии, прямого народоправства в том идеальном виде, о котором мечтают наши утописты... Здесь вы не найдете и следов грубого восточного деспотизма, культа силы, рассматриваемой как выражение божественной воли... Монархическая форма правления у этого народа редкое исключение, и всюду, где она только встречается, можно быть уверенным, что здесь общественный строй складывался ненормальным образом.

Политическая и общественная организация берберов покоится на весьма развитом чувстве солидарности, которое превосходит солидарность, проявлявшуюся в других обществах. Учреждения взаимной помощи доведены у кабилов до удивительной степени совершенства. Их обычное право установило наказания для тех, кто осмеливается отказаться от проявления так называемых у нас чувств милосердия и сострадания... В частности, бедняки содержатся за счет общины... Если кто-либо захочет убить животное для мяса, он обязан уведомить об этом коммунального старосту и уделить часть мяса убитого животного для больных и беременных женщин своей коммуны. Иностранец, как только он прибывает в данную коммуну, становится участником общинного имущества»[i].

Другой, не менее компетентный ученый прибавляет к этой характеристике следующее: «Физический труд отнюдь не считается постыдным и унизительным занятием у берберов, все члены общины занимаются им. У них также не существует возмутительного деления общества на благородных и неблагородных,

на паразитов, проводящих время в праздности, и на трудящихся, кормящих господ»[ii].

Наконец, вот еще свидетельство третьего писателя, Дево: «Если кто-либо у берберов не в силах обработать землю собственным трудом за неимением рабочего скота или если он не в состоянии самолично перестроить свой дом, то джемаа (община, аналогичная швейцарской ландсгемейнде) решает, что она общими силами обязана оказать ему помощь. Отказаться от участия в общей помощи никто не смеет»[iii].

Кабилы точно так же, как и туареги, этот воинственный народ, отдающий войне лучшую часть своей жизни, пользуются, таким образом, сравнительно полной свободой. Им неизвестны в то же время двусмысленные благодеяния, вытекающие из социальной дифференциации населения на класс тунеядцев — паразитов — и класс трудящихся; богатые ничем не отличаются у них от бедных[iv].

С другой стороны, мы видим значительное количество народов, в течение веков стонущих под гнетом деспотизма и тем не менее питающих полное отвращение к войне, до такой степени, что они даже теряют способность защищаться; таковы, например, китайцы, таковы были венецианцы в эпоху управления дожей[v].

Правда, существует много исторических примеров, доказывающих, что происхождение деспотизма может быть связано с войнами. Но так как общественные организации, созданные мечом, обыкновенно непрочны и недолговечны, то сам собою возникает вопрос: не представляется ли милитаризм только кажущейся, но не действительной причиной деспотизма? Все государства, созданные благодаря только завоеваниям, отличаются эфемерностью своего существования и притом никогда не бывают деспотическими в истинном смысле этого слова. Например, монголы, завоеватели Китая, весьма быстро «окитаились», приняли законы, нравы и даже самый язык побежденных. Турки, как хищные звери, бросившиеся на умиравшую цивилизацию Византии, уничтожали, грабили, разрушали, умерщвляли все, что только могло быть уничтожено и разрушено, но им все-таки удалось создать лишь поверхностно деспотический образ правления.

Мы видели выше, что в природе, т.е. в области биологических явлений, степень свободы отдельных особей, объединенных в коллективы, может служить мерилом прогресса. Если история как наука преследует задачу открытия под новыми социологическими наслоениями тех же законов и ступеней органической эволюции, то мы получаем возможность установить в области истории следующие стадии исторической эволюции:

I. *Низший период*. Этот период характеризуется преобладанием подневольных союзов, основанных на принуждении и устрашении, связанных внешней силой, подобно тому как это мы наблюдаем в рудиментарных колониях клеток, которые объединены вместе лишь простой внешней механической связью.

II. *Переходный период*. Этот период характеризуется преобладанием подчиненных союзов и группировок, объединенных между собою благодаря социальной дифференциации, разделению труда, доводимого до все большей и большей специализации.

III. *Высший период*. Этот период является периодом преобладания свободных союзов и групп, возникающих в силу свободного договора и объединяющих

отдельных людей в силу общности интересов, личных наклонностей и сознательного стремления к солидарности.

Одно из самых распространенных общих мест социологической науки также говорит, что истинная цивилизация познается по степени распространения в обществе свободы. И однако, если мы попытаемся применить непосредственно к истории критерий «все уменьшающегося принуждения», заимствуемый из области биологии, то мы на первом же шагу встретим серьезные препятствия. Так, например, мы уже заметили выше, что кабилы, этот полуцивилизованный народ, пользуются, несомненно, более высокой с социологической точки зрения общественной организацией, чем сами французы, победители кабилов. Между тем никто не будет оспаривать у французов права занимать первые ряды среди цивилизованных народов. К несчастью, мы имеем в данном случае дело не со случайной аномалией. Свободные народы довольно многочисленны на земном шаре, но все они без исключения представляют больше интереса для этнографа, чем для историка, так как в области наук, искусств и индустрии эти народы не вышли большею частью из периода так называемого «каменного века». Но между культурными народами можем ли мы назвать хоть один народ, который хотя бы в один какой-нибудь период своей истории не подвергался бы деспотизму, доходившему иногда до такой наглости, что осмеливался приписывать угнетению божественное происхождение. «Счастливые народы не имеют истории». Этот афоризм, однако, находится в резком противоречии с установленным нами выше принципом: утверждение, что «счастливые народы не имеют истории», как бы говорит, что культура несовместима и непримирима со свободой, хотя свобода — существенный элемент не только счастья, но и простого материального благосостояния.

Подобная пессимистическая оценка истории, как мне кажется, лежит в основании всех социальных теорий, пользующихся в наше время известностью и успехом. Эволюционисты вместе с Гербертом Спенсером утверждают, что дифференциация, т.е. неравенство людей в умственном и материальном отношении, является признаком прогресса цивилизации[vi].

Экономисты, придерживающиеся теорий Мальтуса, в свою очередь признают только один вид свободы — свободу конкуренции, т.е. право победителя пользоваться и злоупотреблять отнятым имуществом побежденного. Для мыслителей-эстетиков, блестящим представителем которых является Э. Ренан, плод развитой культуры — чрезвычайный рост материального и духовного богатства нашего времени — составляет достаточное вознаграждение за потерю свободы и счастья, потерю, которую следует рассматривать как роковой выкуп за пользование благами культуры и цивилизации; и даже самые страшные революционеры в конце концов недовольны не отсутствием свободы вообще, а только тем, что слишком недостаточно вознаграждение за утрату этой свободы.

Однако если мы, видя столь согласное утверждение взаимно враждебных партий и теорий, говорящих, что свобода несовместима с культурой, попытаемся взять свое утверждение обратно и примем теорию, утверждающую, что «человек вышел свободным из рук природы и только история и общество поработили его», то мы впадем в еще большее противоречие, чем прежде. Ведь все эти племена уганда с берегов озера Виктория-Ньянза, головы которых подвергаются

беспрестанной рубке для развлечения короля, все дагомейские негры, которые гибнут в ужасных мучениях, чтобы доставить славу своему царю и удовольствие своему доброму богу — змее, все несчастные, доводящие свою рабскую привязанность до того, что лишают себя жизни на могиле своего умершего владыки, чтобы скорее встретиться с ним в загробном мире и там стать снова его рабами, — ведь все они, несомненно, не развращены культурным воспитанием, привившим им рабские привычки. Джон Леббок в своем труде о первобытной цивилизации с истинно английской обстоятельностью собрал массу примеров, доказывающих в противоположность учению Руссо, что «человек природы», еще не испорченный цивилизацией, является отнюдь не «любезным, простым, добрым, но ревниво оберегающим свою свободу силачом», как его рисовала фантазия савойского философа во время его прогулок под сенью рощ Шарметта. Если свобода в том виде, в каком о ней мечтали наши утописты, действительно процветает у некоторых первобытных племен, то, с другой стороны, и деспотизм в столь необузданной форме, от которого приходили в восторг Боссюэ, Ксавье де Местр и автор «Махабхараты»[vii], также не чужд для значительного количества племен, отсталых в культурном отношении.

Признавая, во всяком случае, что с точки зрения современной науки *свобода* есть единственная характерная черта цивилизации, мы не должны обойти молчанием того соображения, что социальная эволюция всюду находится в зависимости от органических условий. Следовательно, окружающая среда и вообще все естественные условия влияют со своей стороны на форму кооперации, направляя и координируя усилия отдельных личностей. В известной среде эта координация благодаря целому ряду благоприятных естественных условий совершается легко и просто; полезность дела, требуемого от каждого человека, так настоятельна и понятна всем, что объединение усилий не вызывает никаких споров и возражений.

В таких случаях человеку удается без большого труда осуществить те свободные общественные союзы, которые стоят гораздо выше союзов, возникших в силу принуждения, и которым могут позавидовать даже самые цивилизованные нации. Понятно, история не интересуется такими народами-счастливцами, являющимися как редкие исключения в общей семье человечества; живя в особо благоприятной среде, они разрешили сравнительно легко и просто основную проблему человеческой истории, не затратив на это особенно много энергии и не создав культуры. Будучи, быть может, счастливее остальных народов, они не могут, однако, ничего завещать потомству и поэтому не интересуют историка.

> Но особо благоприятствующая для человека среда, как мы сказали, является редким исключением, в большинстве же случаев мы всюду встречаем физико- географические условия другого порядка, которые допускают процветание человеческой жизни только при условии разумной и сложной работы разнородных и многочисленных сил, стремящихся к такой широкой цели, всей важности которой даже и не понимает подавляющее большинство работающих. Здесь необходимая степень взаимной солидарности, естественно, не может получиться сразу из разумного и свободного содействия заинтересованных, и мы действительно

видим, что в подобных случаях общественная группа приступает к коллективной деятельности под самой грубой социологической формой, аналогию которой можно подыскать только в колониях одноклеточных организмов, объединенных чисто внешней механической связью. Легко понять, что окружающие условия подобного рода пользуются особо привилегированным положением у историков, обязанных, между прочим, подсчитывать и изучать победы человека над космической средой.

Мы далеки от *географического фатализма*, в котором нередко упрекают теорию о влиянии среды. По моему мнению, причину возникновения и характер первобытных учреждений и их последующей эволюции следует искать не в самой среде, а в соотношениях между средой и способностью населяющих данную среду людей к кооперации и солидарности. Таким образом, историческая ценность той или другой географической среды, предполагая даже, что она в физическом отношении при всех обстоятельствах остается неизменяемой, тем не менее бывает различна в разные исторические эпохи, смотря по степени способностей обитателей к добровольному солидарно-кооперативному труду.

Пусть деспотизм проявляется под какой угодно формой — монархической, военной или жреческой, пусть это будет в какой угодно фазе исторического развития - в варварской или в цивилизованной, — человек будет угнетаем только потому, что он неспособен сознательно проявить кооперативную солидарность для отпора силе угнетения. Деспот под видом ли жреца, воина, царя всегда являлся в истории только живым символом и олицетворением неспособности, бессознательности и бессилия угнетаемых им народных масс.

Но в тех случаях, когда история развивается нормальным образом, в известный период наступает все большее и большее равновесие между условиями среды и анархическими стремлениями народа; мало-помалу проявляется прогресс, т.е. те изменения в общественном самосознании, которые наблюдаются уже в чисто биологических явлениях; этот прогресс в общественной жизни идет от угнетения к анархии, от солидарности, предписываемой средой или внешней силой, к солидарности добровольной и сознательной.

Что касается до различия, устанавливаемого Спенсером между *милитаризмом*, порождающим угнетение, и *экономизмом*, неизбежно ведущим к свободе, то мы должны сказать по этому поводу, что это различие не объясняет ничего; по моему мнению, оно даже не соответствует действительности. В самом деле, средневековый крепостной крестьянин только из одних экономических побуждений шел в крепостную зависимость к феодалу-грабителю; с другой стороны, чисто «экономический» элемент — купцы Карфагена и Венеции властвовали над слабыми народами силой наемного оружия, т.е. при помощи «милитаристического» элемента.

Говоря вообще, война, как это я уже отметил выше, представляет собою далеко не самый кровопролитный и жестокий акт в общем историческом ходе. Значительное большинство людей, несомненно, предпочли бы умереть геройской смертью спартанцев под ударами врагов, чем наподобие египетских феллахов влачить несчастное существование и умирать медленной смертью, проводя

всю свою жизнь над бесполезной, тяжкой и вредной для здоровья работой, какой, например, была постройка пирамид!

Проследив подробнее развитие социального прогресса в истории, мы ясно сможем различить в нем три главных периода, так сказать, три этапа человечества.

В первом периоде мы видим четыре великие культуры — египетскую, ассирийскую, индусскую и китайскую, — которые, с нашей точки зрения, наполняют собою всю эпоху древней истории. Эти культуры характеризуются беспримерным развитием деспотизма и обоготворением угнетателей. Социальный строй всех этих четырех культур развил принцип власти до неслыханных в позднейшее время размеров; позднее деспотизм нигде не проявлялся в такой степени — ни в классических тираниях Древней Греции, ни в абсолютных монархиях феодального и послефеодального периода в Европе. Наиболее жестокие цезари Рима, французский король Людовик XI, русский царь Иван Грозный лишь до некоторой степени, и то в исключительные моменты своей жестокости, приближаются к этим восточным деспотам, под игом которых угнетенные племена считали себя за какой-то ненужный придаток, не имеющий никакой ценности и прав.

Власть абсолютного повелителя — бюрократическая в стране фараонов, жестокая и военная в Месопотамии, мрачно-величавая и жреческая в Индии, наконец, патриархальная и тщательно уравновешенная в Китае, — эта власть была главной основой этих древних цивилизаций, среди которых с большим трудом можно заметить зачатки позднейшей социальной дифференциации, утопающие в волнах рабства.

Но эти зачатки социальной дифференциации и подразделения общества на классы уже подготовляли переход от первобытного рабства к более легкой форме подчинения, сравнительно с рабством, к крепостничеству. С точки зрения прогрессивности общественной дифференциации Индия с того момента, как в ней упрочилось кастовое деление общества, представляет пример наиболее прогрессивного государства древнего мира. Рабство здесь уже не составляет общего удела для всей нации[viii]. Оставаясь несокрушимыми в принципе, угнетение и подчинение распределяются в кастовой Индии в различной степени, смотря по касте. В Древнем Египте ни один человек не имел прав более, чем его наделял каприз фараона. В браминской Индии произвол верховного повелителя и жрецов ограничен уже невозможностью для властителя сделать человека низшей касты членом касты высшей: владыка не мог сделать из шудры вайшия, а из вайшия кшатрия[ix].

Второй великий исторический период начинается с появлением на исторической арене финикийцев. С этого момента политический характер истории глубоко видоизменяется. Отныне начинается постепенный упадок восточных деспотий, и федеративно-республиканский строй становится почти общим правилом. Вообще, в начинающийся «классический» период человеческой истории монархии появляются как редкие исторические эпизоды, так что мы имеем полное право обойти их молчанием и не видеть в них характерных форм социальной жизни. В эту эпоху господствующим фактом политической истории становится *олигархия*, т.е. опять-таки форма деспотизма, связанная со случайностью завоевания и захвата: победитель и хозяин, военнопленный и раб в этот период

настолько сливаются вместе, что чрезвычайно трудно выделить те элементы «милитаризма» или «экономизма», о которых говорит Спенсер.

В этот период история идет скачками: то победители-аристократы поднимают высоко принцип олигархической власти, то народ, усиливаясь и восставая против олигархии, ослабляет власть. Однако в эту эпоху истории принцип демократизма имеет еще мало успеха. Наиболее чистая форма классической демократии — афинская республика — так же, как и более поздняя народная флорентийская коммуна, в сущности, были едва прикрытыми олигархиями. Афины даже в наиболее демократический период своего развития насчитывали гораздо больше рабов, чем свободных граждан, а свободе флорентийских буржуа как неизбежное следствие этой свободы сопутствовало порабощение сельского населения Тосканы. Олигархический принцип — принцип политической и социальной дифференциации, основанной на случайности завоевания и захвата, тщетно пытавшейся укрепить свою власть путем передачи завоеваний и приобретений по наследству, — составлял и силу и слабость, несчастье и блеск республик переходного исторического периода. Каждый новый шаг прогресса, осуществлявшийся в среде этих обществ, неизбежно вызывал за собою нарастание различий в экономических и социальных условиях отдельных лиц и классов. Рост количества покоренных и бедных роковым образом вел к возникновению тираний. Эти тирании, будучи сами результатом прогрессивного движения вперед, тем не менее являлись или реакцией и атавистическим возвратом к первобытному деспотизму, или же вели к распадению обществ, так как человеческая мысль еще не успела выработать высшего принципа, способного заменить принцип олигархический.

Несомненно, между классической и пунической олигархией, с одной стороны, и европейским феодализмом, с другой, существует некоторое различие, но, по моему мнению, это различие не существенно, а лишь формально. Принципы и сущность господствующей формы угнетения и власти оставались неизменными и после торжества христианства и падения Западной Римской империи.

> Феодализм, рассматриваемый с общей точки зрения, точно так же, как и олигархия, характеризуется лучше всего как право победителя или собственника распоряжаться личностью и имуществом побежденного, не имеющего ничего своего. Если олигархия вела за собою неизбежно рабство, то феодализм не менее фатально вызывал крепостничество; между этими двумя формами рабства, по моему мнению, не существует очень большой разницы, кроме разницы в словах.

Чтобы подчеркнуть непрерывность исторического развития и прогресса во всех трех принятых нами периодах всеобщей истории, историки обыкновенно берут в качестве характерного признака наиболее распространенный в данную эпоху способ труда. Так, для древних деспотий и олигархий таким характерным способом будет *рабство*, для феодальных государств средних веков — *крепостничество*, а для новейшего времени — *система наемного труда*, при которой человек, считаясь номинально свободным, продает свой труд и получает за это известную *заработную плату*.

Положение *наемного работника*, этой рабочей машины наших культурных обществ, в действительности во многих отношениях гораздо хуже, чем положение раба в древности или крепостного в средние века. Однако тем не менее между положением самого несчастного пролетария нашего времени и положением раба или крепостного, даже поставленных в наилучшие условия, лежит громадная разница. Социальный строй, характеризуемый системой наемного труда, не представляет хозяину, или патрону, никаких прав на личность трудящегося, но лишенного собственности; хозяину дается только право эксплуатации труда пролетария, причем это право приобретается обыкновенно под видом покупки рабочей силы. Феодальный же властитель пользовался постоянным и даровым правом на труд своего крепостного и при всем том имел над его личностью право столь широкой и неограниченной юрисдикции, какой не пользовался ни один римский рабовладелец и во времена Антонинов[x].

Впрочем, классическая древность не знала слова *раб*, термин servi glebae (прикрепленный к земле крепостной) был уже в употреблении гораздо раньше возникновения феодального строя. Немецкий ученый Гушке считает, что крепостное право юридически установлено одним из декретов императора Августа (formula censualis)[xi]; этот декрет даровал сельским рабам несколько привилегий, которые были неизвестны рабам домашним (право женитьбы по собственному почину и даже право иметь в известной мере собственность), но тем не менее этот декрет принуждал сельских рабов к определенной работе в пользу патронов, или своих владельцев, как бы в виде вознаграждения за предоставленную им и ими же обрабатываемую землю. Рабовладелец, согласно этому декрету, пользовался ограниченными правами контроля и наказания своих рабов. Впрочем, крайне трудно установить точным образом, в чем состояли фактические и правовые различия между домашним и сельским рабом в Римской империи. Но, основываясь, однако, на том, что закон угрожал переводом в число домашних рабов тех из сельских рабов, кто истощал свой участок земли, можно предположить, что положение сельских рабов-земледельцев было несколько лучше положения домашних рабов. Но с течением времени эти различия все более и более сглаживались, по мере того как римские патриции и рабовладельцы усваивали себе афоризм Тиберия: «Добрый пастырь только стрижет своих овец, но не сдирает с них кожи» — и поэтому ограничивали произвол над рабами. Так, например, закон Петрония запретил рабовладельцам посылать или продавать своих рабов в цирк (на растерзание диким зверям или на смертный бой), за исключением взбунтовавшихся рабов.

Император Клавдий даровал свободу каждому рабу, тяжко заболевшему и вследствие этого оставленному владельцем на произвол судьбы. По декрету Клавдия рабовладелец, убивший своего раба, должен был наказываться как обыкновенный убийца. В эпоху Антонинов рабы получили право жаловаться на жестокость своих владельцев, на недостаточную пищу, на оскорбление их целомудрия и т.д. Наконец, Адриан применил закон о наемных убийцах к рабовладельцам, увечившим своих рабов.

Вопреки очевидности и наперекор фактам многие и до сих пор утверждают, что христианство значительно смягчило участь рабов и способствовало их обращению в крепостных. Если бы я попытался доказать противное, меня

обвинили бы, пожалуй, в парадоксальности и даже, быть может, в клевете на христианство; поэтому я ограничусь только ссылкой на уже цитированный мною труд Дюрюи. Из этого труда читатель увидит, что с момента победы христианства снисходительное отношение римского законодательства к сельским и домашним рабам внезапно исчезает; закон «Junia Narbonia» императора Юстиниана создал непреоборимые препятствия для освобождения рабов; закон «Aelia Sentia» ограничил число рабов, которых можно было освободить по завещанию. Чем ближе подвигалась Римская империя к своему концу, тем яснее сказывался этот поворот, так что в половине средних веков мы уже видим, что юридически нормальное положение крепостных рабов сделалось несравненно более худшим, чем положение городских рабов при цезарях. Так, например, во время первых императоров в Риме при продаже рабов было запрещено разлучать близких родственников; в России, где крепостное право имело, в общем, более легкие формы, чем в феодальной Европе, эта мера была принята, однако, только в начале XIX века.

Европейские феодалы имели неограниченную власть над жизнью своих оброчных и барщинных крестьян вплоть до самой Французской революции, тогда как римские рабовладельцы утеряли эту власть уже при Адриане и Марке Аврелии.

В одном документе, опубликованном Уэббом и Бертело[xii], найденном в архивах одного из монастырей острова Канделария и помеченном 1657 годом, мы ясно видим, до какой степени доходил произвол по отношению к крепостным. В этом акте король испанский Филипп IV пишет: «Так как вы мне доказали, что поселение Адейя и земля вокруг него принадлежат вам, то я вам дарую право пользоваться при совершении вами правосудия в этом городе виселицей, тюрьмой, бичами и щипцами...» (далее идет перечисление других орудий пыток). Таким образом, всего каких-нибудь сто тридцать лет до Французской революции право над жизнью, не говоря уже о праве мучить и пытать, вытекало из одного лишь факта феодального владения землей, на которой обитали подлежавшие казням и пыткам. Этот факт тем более замечателен, что в это время прошло уже более шестнадцати веков с тех пор, как в языческом мире властитель рабов не имел уже права над их личностью.

Подобные безграничные права рабовладельцев, правда, очень часто ограничивались самими крепостными, не раз восставшими против произвола феодалов, а во Франции ослаблялись главным образом королевской властью, игравшей по отношению к феодализму ту же роль, какую классические тирании и деспотии играли по отношению к республиканским олигархиям. Но в общем итоге феодализм вместе с крепостничеством все-таки представлял почти точный слепок с олигархий Карфагена, Рима или Афин, олигархий, покоившихся на всеобщем рабстве.

В эпоху римского владычества, по мере того как провинции начинали играть все более и более значительную роль по отношению к самой метрополии, сама империя мало-помалу обращалась в феодальное государство. Следовательно, феодализм, основанный на политическом подчинении всех людей, не имеющих собственности, владельцу земли, не мог создать новой эры или нового исторического периода. Феодализм представляет только другую сторону того периода социальной дифференциации, который, составляя второй великий период

истории, начался олигархиями финикийского типа. Ни одна из цивилизаций этого второго периода не миновала прохождения через стадию феодализма — этот средний этап социальной эволюции.

Третий намеченный нами период исторического развития едва лишь начинается. Его начало можно считать с момента провозглашения знаменитой декларации «Прав человека и гражданина»[xiii]. Главная задача этого периода заключается в том, чтобы уничтожить социальное неравенство и воплотить в жизнь принципы, сформулированные в Декларации прав человека. Однако протекшее со времени исторической ночи 26 августа столетие не смогло окончательно ввести эти принципы в наши социальные учреждения: задача грядущего века и состоит в том, чтобы осуществить эти принципы, так как без этого невозможен никакой дальнейший прогресс.

Три великих исторических периода, через которые проходит история человечества, соответствуют вполне трем последовательным фазам органической эволюции, о которых мы говорили на предыдущих страницах. По отношению к историческому развитию народов эти три фазы органической эволюции подразделяются следующим образом:

I. *Период подневольных объединений*. В истории человечества этот период начинается с основания восточных деспотий и обществ, основанных на принуждении, на рабстве всех и на подчинении всех одному лицу, являющемуся как бы символом космического фатализма и обожествляемой силы.

II. *Период подчиненных группировок и союзов*. Этот период в истории человечества характеризуется преобладанием олигархических и феодальных федераций, известной степенью социальной дифференциации, причем внутри общества происходит интенсивная борьба между отдельными классами, которая иногда выливается в форму экономической конкуренции. Этот период характеризуется также развитием крепостничества и подневольного труда.

III. *Период свободных объединений*. Этот период истории человечества только начинается и принадлежит еще будущему, но наше время уже произнесло его принципы; эти принципы следующие: Свобода — т.е. уничтожение всякого принуждения, Равенство — уничтожение всех ненормальных и несправедливых социальных и политических делений и привилегий, Братство — т.е. солидарная согласованность индивидуальных сил, заменяющая борьбу и разъединение, ведущие к жизненной конкуренции.

Предпринимаемое исследование истории человечества с географической точки зрения поможет нам обрисовать названные выше три великих периода человеческой драмы. Оно даст нам возможность выделить и оттенить каждый из этих трех актов величественной драмы и кровавого шествия человечества по пути прогресса.

История, если мы попытаемся глубже проникнуть в ее тайны, оказывается более идеалистичной, нежели это можно было бы предположить, судя по грубости и жестокости некоторых ее проявлений. Не будем забывать, что последнее слово самой жестокой войны — это *мир.*

E. Renan. La Societe berbere. — In: «Revue des Deux Mondes», 1873

[ii] A. Pome1. Des races indigenes de 1'Algerie... Oran, 1871
[iii] Ch. Devaux. Les Kabailes du Djurjura... Marseille, Camoin, 1859
[iv] «Присутствуя на собрании коммуны, очень трудно отличить богатых от бедных», — говорит Э.Ренав в цитированной нами статье
[v] *Дожи* управляли Венецианской республикой с конца VII по ХУШ в.
[vi] Если исторический прогресс действительно, как уверяют эти ученые, осуществляется параллельно с развитием социальной дифференциации, если самой цивилизованной страной следует считать ту, где чрезмерное богатство существует рядом с ужасающей нищетой, то, естественно, количество применяемой в обществе свободы будет всегда находиться в обратном отношении к степени развития культуры. Это явствует из следующего соображения: невероятно, чтобы беднота спокойно переносила эксплуатацию богачей, если бы ее порывы не были сдерживаемы сильной принудительной властью. Поэтому чем резче социальная дифференциация в данном обществе, тем меньше в нем должно быть истинной свободы. Недостаток ее будет прикрываться различными суррогатами, как это мы и видим в современных капиталистических странах
[vii] «*Махабхарата*» (санскр. «Сказание о великой битве бхаратов») — древнеиндийский эпос VI—П вв. до н.э. Авторство приписывается легендарному древнеиндийскому поэту Вьясе
[viii] Кастовый строй появился в Индии в эпоху создания законов Ману и упрочился только после долгой и ожесточенной внутренней борьбы
[ix] В Индии высшими кастами (варнами) являются: *брахманы* (жрецы), *кшатрии* (воины и вожди племен) и *вайшии* (земледельцы, скотоводы, ремесленники и торговцы). Низшая каста — *шудры*
[x] V. Duruy. Histoire des Romains... Vol. V. Paris, 1880
[xi] Император *Цезарь Август* (63 г. до н.э.—14 г. н.э.) — внучатый племянник Гая Юлия Цезаря. Установленные Августом цензы (переписи) проводились раз в пять лет и включали в себя оценку под присягой происхождения, возраста, имущества и т.д
[xii] Ph. Webb, S. Berthelot. Histoire naturelle des iles Canaries. Paris, 1836—1850.
[xiii] *Декларация прав человека и гражданина* — самый известный документ Великой французской революции 1789 г., принятый Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г

Глава третья

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ИСТОРИИ

Предмет и метод сравнительной географии. — Влияние среды на человека и общество. — Влияние астрономической среды. — Влияние физических условий. — Влияние на человека растительного и животного мира. — История и цивилизация. — Неравномерное распределение цивилизации на земном шаре. — Быстрые завоевательные успехи европеизма. — De minimis non curat praetor: история не интересуется и не занимается некультурными народами.

Одной из главных задач сравнительной географии следует считать задачу изучения Земли в ее особых отношениях к человеку. Сравнительная география изучает одновременно различные страны земного шара, сравнивает их особенности и выводит свое заключение об их относительных преимуществах для развития человеческого рода, для социального прогресса и для развития цивилизации. Задачи сравнительной географии таким образом и понимали ее знаменитые творцы: Карл Риттер, Александр Гумбольдт, Арнольд Гюйо; так понимают задачу своей науки и современные географы. Подобно всем отраслям человеческого знания сравнительная география располагает двумя методами логического исследования — анализом и синтезом.

Аналитический метод изучает сначала влияние отдельных условий, а затем изучает влияние всей вообще физико-географической среды во всей совокупности и разнообразии различных условий. Мы постараемся здесь кратко рассмотреть влияние тех условий, которые имеют наибольшее значение в исторических и социальных судьбах народов.

1. *Астрономические влияния*. Наша Земля представляет собою небесное тело и составляет часть Солнечной системы. Вследствие этого она испытывает на себе влияния других небесных тел, и главным образом центрального светила нашей планетной семьи — Солнца. Всякая жизнь на Земле проявляется благодаря известному количеству тепла и света, единственным источником которого является Солнце; но различные части земного шара получают живительные лучи не в одинаковом количестве и не под одним и тем же углом наклонения, а мы знаем, что нагревательная сила солнечного луча зависит от более или менее вертикального направления этого луча. Чем вертикальнее падают лучи солнца на земную поверхность, тем сильнее нагревают они ее. Вследствие этого поверхность земного шара разделяется на несколько климатических поясов, находящихся в неодинаково благоприятных положениях для развития в них органической жизни и исторических процессов.

Так, например, две околополярные области на крайнем севере и на крайнем юге, имея в силу климатических условий очень слабо развитую растительную и животную жизнь, совершенно непригодны для развития и образования мощных человеческих коллективов. Вот почему роль этих областей в истории человечества совершенно ничтожна.

В жарком поясе, несмотря на его роскошную флору и фауну, до сих пор также не возникло прочной цивилизации, которая занимала бы почетную страницу

в летописях человечества. Здесь причина этого кроется в самом факте, так сказать, излишнего развития органической жизни во всех ее формах, это изобилие жизни служит в ущерб развитию энергии и умственных способностей у населения; жители жаркого пояса, получая в изобилии и почти без всяких координированных усилий со своей стороны все необходимое для материального благоденствия, по этой самой причине лишены единственного стимула к труду, к изучению окружающего мира и к солидарной, коллективной деятельности.

В теплых и влажных странах жаркого пояса растут без всякого ухода со стороны человека хлебное дерево, финиковая пальма, кокосовая пальма и масса других растений, доставляющих человеку ежедневную пищу, утварь для ее приготовления, ткани и волокна для изготовления легкой одежды. Человек, еще не вышедший из первоначальной зоологической стадии развития, может вполне благоденствовать в этих условиях, но он не может подняться здесь на более высокую ступень цивилизации, так как здесь отсутствует первое и самое необходимое условие для зарождения исторической жизни и прогресса — потребность постоянного и более или менее напряженного *труда*. «Венец творения» не является в жарком поясе царем природы, которая, осыпая его своими дарами, подавляет его энергию, устрашает его сознание ужасными и грозными явлениями циклонов, тропических бурь и других величественных явлений, столь многочисленных под пламенным небом экватора.

Великие исторические цивилизации по крайней мере на материках Старого Света сосредоточены исключительно в умеренном поясе. Цивилизация Индии не составляет исключения из этого общего правила, она возникла и развилась в области верхнего Пенджаба, который по своему климату принадлежит к умеренному поясу, так как близость ледников и снегов Гималайских гор сильно охлаждает воздух. Заметим, кстати, что древнейшие цивилизации умеренного пояса, каковы, например, египетская и ассиро-вавилонская, равно как и древние арийские культуры Ирана и Индии, получали особенное развитие и, так сказать, процветали в субтропических странах, где средняя годовая температура была не ниже 22°[i].

Но с момента наступления «классического» периода истории цивилизация, явившаяся наследницей Египта и Ассиро-Вавилонии, начинает постепенно, но неуклонно перемещаться по направлению к северу или, вернее, к северо-западу, к Средиземному морю, а затем через Западную Европу к Соединенным Штатам Северной Америки. Такое отклонение потока цивилизации невольно вызывает в уме сравнение его с аналогичным, хотя и в противоположную сторону, отклонением великих воздушных течений — муссонов и пассатов. Цитированный нами Поль Мужоль не без основания замечает по этому поводу, что в каждый последующий период всеобщей истории Запада легко заметить движение значительных очагов культуры от тропиков по направлению к полярному кругу[ii].

Действительно, Тир, Сидон, Афины, Карфаген, Рим хронологически последовали за субтропическими культурными центрами, с тем чтобы в свою очередь уступить пальму первенства столицам Франции, Испании и Центральной Европы, к которым в ближайшую к нам эпоху присоединились Лондон, Берлин и большие культурные центры России и Швеции[iii].

Однако ученый автор преувеличивает важность этого интересного явления, отыскивая в нем характерное проявление великого статического закона цивилизации. Известно, что две великие цивилизации крайнего Востока, именно китайская и индийская, двигались по диаметрально противоположному пути, подвигаясь, с одной стороны, с берегов Желтой реки (Хуанхэ) к Кантону и Тонкину, а с другой — от Пенджаба к Цейлону и экваториальным островам Малайского архипелага.

Не придавая той доминирующей и исчерпывающей роли, которую ей приписывает Мужоль, мы тем не менее должны признать значительное влияние географической широты и климата вообще на развитие цивилизации. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту годичных изотермических линий. Основываясь на этой карте, мы можем сказать, что самые значительные на земле города и селения сгруппированы между двумя крайними изотермическими линиями: +16° и +4°[iv]. Изотерма +10° с достаточной точностью определяет центральную ось этого климатического и культурного пояса; на этой линии сгруппированы богатейшие и многолюднейшие города мира: Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Лондон, Вена, Одесса, Пекин.

К югу от изотермы +16° в виде исключения рассеяно несколько городов с населением более чем в сто тысяч человек: Мехико, Новый Орлеан, Каир, Александрия, Тегеран, Калькутта, Бомбей, Мадрас, Кантон. Северная граница, или изотерма +4°, имеет более абсолютный характер: к северу от нее нет значительных городов, кроме Виннипега (в Канаде) и Тобольска и Иркутска (в Сибири). Наконец, на изотерме 0° расположены лишь очень небольшие поселения, как, например, Туруханск, Якутск, Верхоянск и другие места ссылки, куда русское царское правительство ссылает на медленную смерть своих политических противников.

С точки зрения исторической и социальной жизни влияние географической долготы играет значительно меньшую роль. Для древних писателей цивилизация, а следовательно, и история в своем развитии шли вслед за солнцем: как и солнечный свет, благотворный свет культуры и цивилизации возникает на востоке и оттуда распространяется к западу. Были даже попытки создать на основе этого поверхностного утверждения особый космический закон развития цивилизаций. Все главные исторические переселения народов, заканчивавшиеся в Европе в разное время, начинал с гипотетического переселения в Европу азиатских арийцев, продолжая нашествием варваров на разлагавшуюся Римскую империю, монгольскими завоеваниями под предводительством потомков Чингисхана, кончая, наконец, вторжением арабов и турок, — все они являлись с востока. Несколько позже, после открытия Америки, начавшееся движение европейцев в Новый Свет, казалось, доставило защитникам этой теории новое подтверждение. Но не мешает помнить, что простое чередование фактов, хотя бы и часто повторяющихся, но, очевидно, не связанных с общей суммой космических явлений, не должно иметь значения «естественного закона» в том смысле, какой ему придает научная мысль нашего времени.

При всем том этот предполагаемый «закон» имеет массу исключений. Так, например, известно, что Древняя Греция с самого начала своей истории много заимствовала из стран азиатского Востока, но не менее известно и то, что в пифагорейские и орфические времена главный культурный поток шел в Грецию с

берегов Нила, т.е. с юга. Римское владычество и культура распространялись сразу во все страны, но в общем их распространение с запада на восток, с берегов Тибра на берега Инда, носит более широкий характер, чем противоположное движение, на запад — во Францию и Испанию. Многие страны, расположенные в самых различных областях земного шара, примеры которых берутся мною наудачу — как, например, Япония, Полинезия и Россия, — испытывают культивирующее воздействие с запада. В Африке мы наблюдаем крайне интересное явление в этом отношении, и это явление, по мнению Элизе Реклю[v] напоминает собою подпрыгивание мяча: в то время как нашествия арабов происходили в традиционном направлении, с востока на запад, нашествие других народов, и в последнее время европейцев, совершается с запада на восток. Наконец, разве в XIX веке мы не являемся свидетелями грандиозного распространения наук, искусств, промышленности, идей, нравов и учреждений Западной Европы по всем направлениям и во все области обитаемой Земли?

2. *Влияние физической среды*. Если тепловое могущество солнечных лучей определяется астрономическим отношением Земли к Солнцу, то способность поглощать и собирать теплоту, которую в различной степени получают разные страны земного шара, обусловливается в свою очередь целой сложной совокупностью условий, изучение которых входит также в область сравнительной географии. Бросим беглый взгляд на разные, но часто с трудом уловимые влияния, которые, вытекая из разнообразия отношений между *геосферой, гидросферой и атмосферой*, т.е. между тремя составными частями нашей планеты, оказывают влияние на исторические и социальные судьбы человечества.

Климат большей части стран и местностей лишь отчасти соответствует их географическим широтам.

> Неодинаковое распределение морей и материков, различная изрезанность и расчлененность береговой линии, высота, конфигурация и геологическое строение почвы, форма и направление горных цепей, морские и атмосферные течения, обилие или недостаток осадков, наконец, бесчисленные случайные метеорологические явления — все это создает иногда значительные отступления изотермических линий, обозначающих географическую широту. Говоря вообще, параллели должны считаться абстрактными, придуманными лишь для удобства линиями. Охватить одним взглядом все бесчисленные черты и особенности климата на земном шаре можно, лишь основываясь на изотермах, расположение которых на первый взгляд крайне капризно.

Помимо непосредственного влияния сложные физические условия влияют на социальную жизнь людей самым различным образом, поощряя или затрудняя развитие солидарности и взаимопомощи между людьми. Так, например, водопады, пороги и быстрины больших рек (Нила, Конго, Замбези, Оранжевой) в связи с устройством поверхности, плоскогорьями, лежащими одно над другим, оказались достаточными, чтобы сделать внутренность Черного материка непроницаемой для культурного воздействия. Культура, зародившаяся в долине нижнего течения Нила, проникла в область, находящуюся у истоков этой реки, только сделав гигантский

обход через Средиземное море, Атлантический океан, Америку, Тихий и Индийский океаны. Целый ряд физико-географических преимуществ Европы, обусловленных удачным ее расчленением, слегка волнообразным рельефом ее поверхности, направлением ее главных горных хребтов параллельно экватору (Альпы, Пиренеи) и, наконец, тем фактом, что ее берега омываются теплым океаническим течением — Гольфстримом, давно уже обратили внимание географов, начиная с Карла Риттера и Гумбольдта и кончая их современными продолжателями.

Тройная непроходимая горная цепь Сулейман-Дага, направляющаяся от горного узла Гиндукуша к югу до встречи с морем, создала между востоком и западом Азии такое препятствие, которое до сих пор еще не побеждено культурой. Если Европа в настоящее время и сообщается с Китаем и Индией, то это сообщение происходит не через Персию и Иран, а через берега Тихого океана, где Европа и Азия отделены друг от друга двумя океанами и материком Америки.

В большинстве случаев простая случайная особенность природы какой-либо страны очень часто оказывает чисто местное, неожиданное, но тем не менее решительное влияние на судьбы обитателей данной страны. Так, например, японцы обязаны своей национальной обособленностью морскому течению Куро-Сиво и подводным камням, делающим доступ к берегам Японских островов весьма опасными. Точно так же туманы и морские течения, омывающие Британские острова, оказались в XVI веке, во время морской войны Англии с Испанией, покровителями и защитниками англичан против ярости Филиппа II. Со многих точек зрения можно считать государственное устройство Великобритании простым результатом ее островного положения. Альпийские горы очень долгое время служили колыбелью и защитой свободы швейцарских крестьянских коммун. Наконец, Пиренеи защищали «льготы и вольности» горных басков несравненно лучше и вернее, чем королевские хартии и грамоты.

Изучение влияния физико-географической среды на развитие и судьбы человечества еще только начинается, но тем не менее применение установленных принципов к объяснению социальных и исторических явлений привело уже ко многим ценным выводам. К сожалению, в данном случае благодаря новизне дело не обошлось без ошибок и увлечений: поверхностный анализ способствовал созданию многочисленных телеологических фантазий и ошибочных дедуктивных обобщений. Многими географами упускалось из виду, что факторы физико-географической среды, более или менее аналогичные, представляют весьма различную ценность в разных областях земного шара для историка и социолога. Несколько примеров легко пояснят мою мысль: в социологии и в политике мы привыкли смотреть на высокие горные цепи как на естественные границы между государствами, расами и культурами. Этим взглядом мы сознательно или бессознательно руководствуемся всюду, тем не менее такой взгляд неверен. Так, Альпы, составляющие политическую границу между Францией, Италией и Германией, являются в то же время местом смешения трех главных европейских рас — латинской, галльской и германской. Точно так же и Пиренейские горы, отчасти действительно разделяющие население Лангедока и Арагонии, нисколько, однако, не помешали каталонцам расселиться на всем пространстве между

Нарбонной и Аликанте, а баскам на западе занять всю область между Гаронной и долиной верхнего течения Эбро.

Наконец, сложный этнологический состав населения Кавказа или Гималайских гор, по-видимому, должен был бы неопровержимо доказывать, что самые высокие и неприступные горные цепи вопреки общераспространенному мнению играют роль убежищ, где происходит сближение самых разнородных этнических элементов. Близкое соседство народов и племен влечет за собою сближение их нравов и интересов, преобразующееся впоследствии в федеративный строй; таковы, например, союзы кавказских горцев, таков и швейцарский союз, создавшийся несмотря на все разнообразие вошедших в него народностей, верований и наречий.

3. *Влияние растительного и животного мира*. Влияние антропологических условий. Растительный и животный мир оказывают также свое влияние, иногда очень решающее, на социальную жизнь людей. Страны, покрытые лесами, изобилующими дикими животными, как, например, Сибирь и Маньчжурия, способствуют образованию охотничьих наклонностей у населения; и наоборот, население невольно становится пастушеским, если оно обитает среди обширных травяных степей, льяносов, пампасов и прерий.

В Северной Африке земледелец-феллах, кочевник из пустыни Сахары и араб из Алжира представляют весьма различные друг от друга социальные типы, которые в значительной мере созданы фитогеографическими особенностями обитаемых этими народами областей. Переходя от этого примера к более местному, укажем, что в Швейцарии, в кантоне Невшатель, слова «виноградники, горы и долины» употребляются не только для выражения различных топографических понятий, но и для обозначения трех различных социальных условий политической и экономической жизни.

Не говоря ничего о громадной роли, которую играли хлебные растения в доисторический период жизни человечества, мы укажем здесь лишь на многочисленные примеры образования социальных коллективов исключительно благодаря существованию каких-либо полезных растений или животных. Эксплуатация первых, разумно организованное истребление вторых, как, например, охота на китов, ловля сельдей и трески в северных морях, осетров и белуги в Каспийском море, трепангов в китайских морях, составляют даже у цивилизованных народов занятие значительного количества населения. Вся жизнь эскимоса, все моменты его отдыха и труда отмечены, так сказать, общением с китообразными животными полярных морей. Тунгусы руководятся в своих переселениях чутьем своих оленей[vi]. Древние ведийские песни будут вечно свидетельствовать о той громадной и важной роли, которую сыграло для арийцев Пенджаба обладание крупным рогатым скотом. Индийские тоды до сих пор употребляют поговорку: «Народ, не имеющий стад, не в состоянии познать богов».

Значительная густота народонаселения некоторых областей Китая, Индии и Японии находится в прямой и непосредственной зависимости от применения там культуры риса. Относительно низкий рост цивилизации и сама численность населения Океании находятся в бесспорной зависимости от степени распространения того или иного растения. Виноград, шелковичное дерево, оливковое дерево играют свою особую и довольно заметную роль в истории

человечества. Пряности и драгоценные бальзамические растения привели европейцев на острова Малайского архипелага. Опиум играет, правда, не весьма хорошую, но более важную роль в истории Англии и Китая, чем в трактатах по ботанике и фармакологии.

Антропологические и этнографические исследования наряду с изучением человеческих рас, их происхождения и их географического распределения можно также включить в область сравнительной географии. Рассматривая их, мы с первого же момента наталкиваемся на факт, который с первого взгляда кажется парадоксальным. Дело в том, что сфера географического распределения какого-либо вида растений или животных тем меньше и ограниченнее, чем данный организм сложнее и, так сказать, нежнее. Это общий факт, и, однако же, человек, это наиболее совершенное существо, лишь один занял все без исключения страны земного шара, где только возможна жизнь, начиная с адски жарких областей теплового экватора, где, как в Феццане[vii], температура в тени превышает иногда 50°, и кончая ледяными тундрами вокруг северного полюса, где органическая жизнь представлена лишь несколькими низшими существами.

Человек занял даже высокие плоскогорья Гималайского хребта, хотя даже верный спутник человека — собака — может акклиматизироваться там только при условии потери некоторых из своих способностей, например умения лаять. По-видимому, мы встречаемся здесь с противоречием. Но в действительности это противоречие только кажущееся, так как человек, обладая вместе со всеми организмами способностью приспособляться к среде, господствует над всеми животными видами в силу ему одному свойственной способности приспособлять среду к своим потребностям. Способность эта, как кажется, может развиваться у человека до бесконечности вместе с прогрессом науки, искусства и промышленности .

Бесчисленные переселения племен и народов, из которых некоторые, происходившие в доисторические времена, остались совершенно неизвестными для историка, беспрерывно перемещали и перемешивали между собою различные этнические группы. Переселяясь в какую-либо новую страну, весьма отличную от той, в которой он родился, человек приносил с собою в новое свое местожительство свои прежние нравы, обычаи, физические и моральные способности, развитые и приобретенные на старой родине. Влияние человека на географическую среду в наше время входит в область новой научной дисциплины а*нтропогеографии*[viiiix]. В этой науке, которая еще только формируется, научный анализ должен быть особенно тщательным и обдуманным. Только строго научный метод может предохранить от поспешных и банальных обобщений и избавить нас от фетишизма и преклонения перед совершившимися фактами именно потому, что они факты; только строго критическое отношение может охранить нас от излишнего преклонения перед торжеством грубой силы, которое царствует в наше время в науке, прикрываясь громким наименованием эволюционной или дарвиновской социологии.

После анализа следует синтез. Здесь, в области географического синтеза, мы могли бы для подтверждения своих идей сослаться на образные страницы Ж. Мишле, где он ставит в причинную зависимость географический характер каждой

из французских провинций и их исторические судьбы. Несколько позднее Мишле английский ученый Томас Бокль, обладавший в меньшей степени поэтическим чувством, но большей методичностью и эрудицией, чем Мишле, попытался определить ту долю в истории цивилизации, которую можно приписать влиянию почвы и климата, словом, влиянию географической среды в политической истории Англии, Шотландии и Испании.

Классический труд Бокля, не вполне совершенный, но зато в высшей степени оригинальный и остроумный, к сожалению, остался незаконченным. Стремясь следовать по пути, намеченному этими двумя выдающимися учеными, я не хочу ограничиваться той или иной страною, а, наоборот, хотел бы дать читателю опыт географического синтеза всех явлений с первого взгляда неравномерно капризного распределения и прогрессивного развития цивилизации Старого Света. Я стремился изучить скрытую внутреннюю связь между различными историческими фазами и течениями, общими всем цивилизованным народам, и тою географической средой, в которой жили и развивались эти народы.

Наиболее характерной чертой нашего времени, мне кажется, является стремление европейской цивилизации стать универсальной, проникнуть во все, даже глухие уголки земного шара и заглушить все местные различия. В настоящий момент с большим трудом можно указать какую-либо страну от полюса до экватора, которая находилась бы вне сферы влияния европейской цивилизации и не видела бы у себя миссионеров европейской культуры, не знала бы усовершенствованного оружия, английских хлопчатобумажных материй и спиртных напитков, выделываемых главным образом в Германии, но сбываемых на международном рынке под французскими названиями.

Некогда изолированные народы, обитатели Сандвичевых [Гавайских] островов, Сиама [Таиланда], Японии, в настоящее время стремятся преобразовать свою жизнь по европейскому образцу, заимствуют у европейцев технику, политические учреждения, науку, искусство, нравы, обычаи и даже костюмы. Другие народы, еще более многочисленные, тщетно оказывают упорное и отчаянное сопротивление нашествию европейской цивилизации; из этих народов наиболее всего стремятся охранить себя от европеизма китайцы, но и они заимствуют от европейцев то оружие и приемы борьбы, при помощи которых они думают победить европейцев.

Недоступные области, которые еще очень недавно были совершенно неизвестны, как, например, Центральная Азия, внутренность Африки, теперь пересечены во всех направлениях европейцами. В последнее время, с тех пор как для европейцев открыты порты Кореи и хотя отчасти исследован Тибет, едва ли найдется на нашей планете страна, где бы существовало вполне изолированное население.

Тем не менее в настоящий момент цивилизация еще далеко не в одинаковой степени распределена между различными областями земного шара; наблюдателю приходится в этом отношении встречать самые поразительные и неожиданные контрасты. Так, в Австралии рядом с цветущими и вполне европейскими городами (Сидней, Мельбурн, Аделаида, Брисбен) вымирают целые племена туземцев, живущих в самых первобытных условиях и ведущих самый ужасный образ жизни. Ожидая своего возрождения, для которого так много сделал один из наиболее

симпатичных современных донкихотов, русский путешественник Миклухо-Маклай[x], папуасы Новой Гвинеи в наш век телефонов и электричества продолжают быть образцами доисторического человека. Североамериканские краснокожие индейцы продолжают оставаться кочующими охотниками в самых недрах американской цивилизации, правда, не особенно утонченной, но по крепости и своей интенсивности превосходящей даже европейскую.

Еще недавно рядом с более или менее цветущими факториями Франции, Англии, Португалии и Германии дагомейские короли продолжали праздновать так называемый «великий обычай», т.е. ежегодные массовые убийства, причем для его совершения даже не требовалось, чтобы ему предшествовали какие-либо чрезвычайные обстоятельства[xi].

Людоедство и человеческие жертвоприношения вместе с другими жестокими и развратными религиозными обрядами в Океании стали постепенно исчезать только в течение последнего века, но и в наши дни примеры людоедства и человеческих жертвоприношений еще иногда встречаются среди дикарей. В Экваториальной Африке людоедство и человеческие жертвоприношения открыто практикуются в нескольких шагах от европейских христианских миссий и факторий, существующих более 300 лет. У истоков Нила, не без основания признаваемых колыбелью человечества, немецкий путешественник Швейнфурт недавно наблюдал такую же картину торговли человеческим мясом, какая некогда была нарисована Пигафеттой, спутником Магеллана и историком первого кругосветного путешествия. Свирепые племена момбутту и теперь проводят свою жизнь в охоте за человеческим мясом. «Мяса, мяса!» — вот их военный клич, возбуждающий храбрость предчувствием ужасной добычи.

Почти все путешественники и этнографы рассматривают цейлонских ведов, население Андаманских островов, некоторые племена острова Борнео, негритосов Филиппинских островов, наконец, почти всех обитателей Меланезии как едва вышедших из стадии животного состояния. Клеманс Ройе считает все эти народы остатками рас, предшествовавших современным расам; то же самое говорят и по поводу населения Огненной Земли. Во всей Южной Америке полуцивилизованное население — потомки испанских и португальских эмигрантов — окружает слабым кольцом плотное ядро дикого населения, еще не вышедшего из периода каменного века.

С момента научной и философской революции, произведенной бессмертным трудом Дарвина «О происхождении видов», со времени появления трудов по истории культуры Тэйлора и Леббока прежнее утверждение школы Жан Жака Руссо, представлявшее «человека природы» как существо, свободное от всяких культурных пут, как образец добродетели и разумности, уступило место желанию найти настоящего первобытного человека, человека-зверя, к представлению о котором нас логически приводит теория эволюции; поэтому следует принимать лишь в качестве гипотезы те изображения первобытных племен, которые рисуют нам путешественники и особенно кабинетные писатели-этнографы.

Резюмируя все вышесказанное, мы должны признать, что в наши дни лишь одна Европа имеет более или менее неоспоримое право на название цивилизованного материка. Ее ближайшая соседка, огромная Азия, с исторической и физико-географической точки зрения делится цепями гор и высоких

плоскогорий, пересекающих ее по направлению наибольшей длины (от Черного моря до берегов Великого океана), на две неравные части. Половина, большая, занимающая все пространство к северу от этой демаркационной линии и спускающаяся к Северному Ледовитому океану, представляет собою обширную пустыню, где едва в среднем приходится один человек на квадратный километр и где несколько незначительных городов вместе с остатками древних культурных центров составляют немногие культурные базисы в бассейнах Аральского моря, озера Или и реки Тарим. Наоборот, южная половина и юго-восточная часть Азиатского материка отличаются густым населением и сохранили памятники былых цивилизаций, некогда горевших ярким светом, погасшим уже несколько столетий тому назад. В обеих Америках занесенная из Европы цивилизация еще борется с туземным варварством. Наконец, Африка, за исключением узкой береговой полосы, коснеет еще в дикости.

Если мы станем рассматривать цивилизацию как общее создание всего человечества, как дело, в котором участвуют все народы мира, то мы тем не менее должны будем признать, что по отношению «званых» (т.е. по отношению ко всему числу всех жителей земного шара — приблизительно один миллиард шестьсот тысяч человек) приходится слишком незначительное число «избранных», т.е. действительно работающих или работавших когда-нибудь над этой грандиозной задачей человечества. Из этих «избранников» и составляются «исторические народы», называемые так в отличие от «народов природы», которым дал это название, если не ошибаюсь, антрополог Вайц. Весьма возможно, что это было сделано им отчасти под влиянием воспоминания «о естественном состоянии» человека, о котором так много говорили Жан Жак Руссо и его школа в конце XVIII столетия.

Но нужно ли доказывать, что в строгом смысле этого слова «народов природы» не существует. В жизни человечества не было эпохи настоящего «естественного состояния», так как зачатки цивилизации и искусства существовали на Земле даже до появления человека, хотя бы у бобров и у других животных. Самые отсталые племена, стоящие на наиболее низкой ступени развития, все же обладают некоторыми зачатками культуры; они успели еще с начала четвертичного периода, а может быть, и раньше, худо ли, хорошо ли приспособиться к окружающей среде, успели приобрести, хотя бы и в слабой степени, разумную власть над своими инстинктами и над природой, одержать большие победы над космическими силами, сумели превратить себе на пользу то или иное растение, научились приручать животных и почти всюду пользуются огнем.

Многие из этих народов, как, например, племена Малайского архипелага, пользуются, по уверениям Уоллеса, таким материальным благосостоянием, какому позавидовало бы большинство обездоленного населения богатейших городов Европы. Но эти «народы-счастливцы» являлись на историческую арену слишком поздно, они добирались до начальных пунктов цивилизации только в то время, когда эти последние уже давно бывали покинуты «историческими народами». Поэтому мы и имеем право сказать, что ни один из этих народов не принес ни единого камня для постройки величественного здания всемирной цивилизации, не вложил ни одной лепты в общую сокровищницу человечества.

Всегда и всюду история заносит на свои скрижали лишь тяжкий, очень часто кровавый труд, который существующее в данный момент поколение выполняет ради пользы неизвестного будущего.

Но, быть может, народы, не знающие этого тяжелого труда на пользу цивилизации, пользуются счастьем? Ренан дает и на этот вопрос утвердительный ответ. Я ограничусь здесь лишь указанием на то, что эти «счастливые народы», если только они действительно счастливы, не интересуют историка и социолога — их жизнь и быт могут интересовать только антрополога и этнографа.

Задача, к разрешению которой я стремлюсь, может быть сформулирована в следующих словах: какая таинственная сила налагает на некоторые народы то ярмо истории, которое остается совершенно неизвестным для значительного количества племен? Каковы естественные причины неравного распределения благодеяний и тягостей цивилизации?

Может быть, наше исследование внесет некоторый свет в эти «проклятые» вопросы истории человеческого рода, социологическую важность которых нет необходимости еще лишний раз доказывать.

[i] Каир, Багдад, верхнее течение Инда

[ii] P. Mougeo11e. Statique des Civilisation. Paris, 1883

[iii] Следует заметить, что в Америке, в Соединенных Штатах, линия цивилизации отклоняется вместе с изотермами к тропикам

[iv] На изотерме +16° находятся Сан-Луи [Сент-Луис], Лиссабон, Рим, Константинополь, Шанхай, Охосака [Осака], Киото и Токио. На изотерме +4° лежат Квебек, Христиания [Осло], Стокгольм, Петербург и Москва. (Здесь и далее в квадратных скобках приводятся современные географические названия. — Прим. ред.)

[v] E. Rec1us. Nouvelle geographie universelle. La terre et les hommes. Vol. 1-18. Paris, 1876-1893. Vol. 12, 1887

[vi] E. Rec1us. Les Primitifs. Paris, 1885

[vii] *Феццан* — историческая область на юге Ливии

[viii] Ратцель первый ввел в науку этот термин и дал название «Антропогеография» своему большому труду, появившемуся из печати в 1883 г. С этого момента этот термин прочно вошел в научный язык

[ix] *Антропогеография* — школа в социальной географии, основным объектом изучения которой являются связи и взаимодействия человека и окружающей среды

[x] Умер в 1888 г., в апреле месяце, в России

[xi] «Великий обычай» дагомейских королей был уже много раз описан путешественниками. Письма Пуарье и Водуэна, французских миссионеров (1876), содержат описание любопытных обрядов при аналогичных массовых убийствах у народностей Счастливого берега. См. также письмо Циммермана (Annales de la propagation de la Foi. Vol. LIII, 1881). В майской книжке за 1881 г. журнала «L'Afrique exploree et civilisee» (Женева) можно найти следующее место: «Король принужден поклясться, что он уничтожит человеческие жертвоприношения...»

Глава четвертая

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ

Расы «отверженные» и расы «избранные». — Неудовлетворенность выработанных до сего времени антропологических и этнологических классификаций. — *Приспособление и наследственность*. — Раса как совокупность наследственно приобретенных физических и умственный особенностей представляет собою не причину, а результат. — Среда — фактор более могущественный, чем раса.

Для объяснения различия в ролях, какие играют те или другие народы в деле осуществления основной проблемы истории — развития культуры и цивилизации, — современная наука создала две теории. Одна из этих теорий — *этнологическая* — признает причиной неравномерного распределения цивилизации среди народов земного шара различие прирожденных способностей у тех или других рас. Другая теория, которую для краткости мы будем называть *географической*, признает, что различная степень цивилизации у различных народов обусловливается влиянием «среды». Первая теория — этнологическая — основывается в своих построениях главным образом на консервативном принципе наследственности; вторая же — географическая теория — выдвигает на первое место принцип эволюции и *приспособления к среде*, принципы, впервые указанные Ламарком и впоследствии развитые Дарвином.

В рядах наиболее энергичных защитников теории наследственности мы, к нашему удивлению, встречаем многих ученых-натуралистов наших дней, известных своей преданностью эволюционной теории, как, например, Карла Фогта, автора книги «Уроки о человеке», Клеманс Ройе и др. Самым верным истолкователем и наиболее типичным представителем этнологической теории, опирающейся на наследственность, является, как мне кажется, известный ученый, член Парижского антропологического общества доктор Шарль Летурно. Вот в кратких словах сущность этой теории, как ее определяет сам Летурно:

«Среди человеческих рас существует известного рода *иерархия*... Раса как совокупность наследственно приобретенных физических и умственных способностей более, чем среда, влияет на социальное развитие. Человек, каково бы ни было место его жительства, слишком недостаточно вооружен для прогрессивного развития, если только он не обладает совокупностью необходимых способностей, медленно и с большим трудом приобретенных предыдущими поколениями в борьбе за свое существование и передаваемых одним поколением другому путем наследственности. В число этих способностей входят: общественность, которая объединяет и координирует индивидуальные усилия, разумность, направляющая эти усилия к полезной для коллектива цели, и, наконец, терпеливая и настойчивая воля, заставляющая упорно работать... Внешняя среда играет также большую роль, но она еще не все, и сама раса как фактор прогресса значительно превосходит в этом отношении влияние среды. Известно, что никогда не было ни единой великой цивилизации, созданной неграми. Население Древнего

Египта состояло из негроподобных и метисов, причем берберы и некоторые белые азиатские расы также входили в его состав...»[i]

«Еще ни разу, — продолжает дальше Летурно, — низшей по анатомическому строению расе не удалось создать культуру высшего порядка; над низшими расами тяготеет нечто вроде органического проклятия, которое может быть сброшено лишь отчасти путем тяжелых усилий, путем борьбы за лучшее существование в течение целых тысячелетий и даже геологических периодов. Говоря вообще, человеческие расы сильно отличаются друг от друга, если можно так сказать, «степенью органического благородства» (noblesse organique); одни расы, несомненно, достойны названия «избранных», другие же, столь же очевидно, составляют особый класс «отверженных» рас»[ii].

«Некоторые ученые (напр., Бокль) утверждают, что первые цивилизации, достойные этого названия, зародились и развились исключительно там, где растительное царство доставляло людям обильное пропитание почти без труда с их стороны. В этом утверждении, — говорит Летурно, — пожалуй, имеется своя доля истины, но только именно доля, так как условия среды еще не составляют всего цикла влияний на судьбы народа. В самом деле, — добавляет Летурно, — есть ли страны, более одаренные в смысле флоры, чем страны Океании, лежащие между тропиками, а между тем их население коснеет в дикости и невежестве. Мне возразят, — говорит Летурно, — что, быть может, обитатель Полинезии не развился исключительно по причине своей изолированности, благодаря тому, что поле его опыта и область передвижения были слишком узки. Действительно, в Азии и в Европе поток цивилизации имел перед собою более обширные области, но если мы возьмем в пример Африку, то здесь дело обстоит уже совершенно иначе. В самом деле, кафр Южной Африки в умственном и культурном отношении стоит нисколько не выше человека из племени чиллуков, живущих в области Белого Нила, а готтентот стоит по своему умственному развитию еще ниже кафра[iii].

Для Америки влияние переселений и климата на развитие цивилизации подлежит еще большему сомнению. Вообще, всюду цивилизация высшего порядка имела очагом своего развития субтропические области, тогда как в Америке, наоборот, население обширной территории центральной и субтропической Америки пребывало и пребывает еще и теперь в диком состоянии, доходящем до того, что краснокожим обитателям этих областей не пришло в голову приручать бизонов, на охоту за которыми у них уходит почти вся жизнь»[iv].

Познакомившись с этими утверждениями авторитетного представителя этнологической теории, взгляды которого мало чем отличаются от взглядов негроторговцев и бывших американских рабовладельцев, обратимся теперь к самой науке с вопросом: чем же так резко отличаются «избранные» расы от рас «отверженных»? И я полагаю, что ответ на этот вопрос будет крайне затруднителен.

В течение последнего столетия ученые очень часто пробовали разделять человеческий род на резко ограниченные друг от друга группы. Некоторые ученые брали за отличительный признак разграничения рас окраску человеческой кожи, хотя, несомненно, ни одному человеку не пришла бы в голову мысль всерьез определять принадлежность собаки или лошади к известной породе по цвету их шерсти. Другие ученые в своих выводах основывались на еще более

незначительном признаке, а именно на разнице, существующей в поперечном разрезе волос: у народов с курчавыми шерстистыми волосами (ulotriques) волос в поперечном разрезе имеет несколько овальную форму, а у европейцев и семитов, обладающих прямыми или слегка волнистыми волосами (leiotriques), волосы в поперечном разрезе имеют круглую форму.

Наконец, некоторые ученые признавали за основной признак расового различия форму черепа. Как известно, антропологи разделяют людей по форме их черепа на короткоголовых (брахицефалы) и длинноголовых (долихоцефалы); придерживающиеся такого деления ученые разделяют человечество на две головные расы, а затем на целый ряд подрас. Менее многочисленные попытки обосновать классификацию рас не на одном каком-либо признаке, а на целом комплексе антропологических различий тем не менее также приводили к неясным и друг другу противоречащим результатам. Ученые не могли примирить с выводами своих теорий многочисленные противоречия, которые они встречали на каждом шагу: так, например, как объяснить, что в центре Африки живут люди, в умственном отношении весьма одаренные, несмотря на свои курчавые волосы, по которым они должны были бы принадлежать к низшим расам, и в то же время целые племена наиболее привилегированных «избранных» рас отличаются почти животным прогнатизмом[v].

«Если бы человеческие расы были абсолютно обособлены друг от друга, — говорит Топинар в своей замечательной книге «Антропология», — то для естественной группировки их надлежало только подвести итоги всем их характерным особенностям, а также дать себе отчет в свойственных им индивидуальных и патологических уклонениях. Но дело в том, что расы слишком рассеяны, перемешаны друг с другом: большая часть представителей коренных рас потеряла давно уже свой первоначальный родной язык, заменив его языком победителей. Главные массы первоначальных рас, может быть, даже исчезли с лица земли, и весьма вероятно, что современный исследователь имеет дело с второстепенными ветвями этих рас, происхождение которых еще необходимо выяснить... Современные классификации рас верны только в тех случаях, когда приходится иметь дело с вполне изолированными народами, вроде гренландских эскимосов или тасманийцев. Но во всех других случаях с этнографической точкой зрения обыкновенно не сообразуются и термином «раса» пользуются для самых разнообразных целей; говорят, например, об индогерманской, латинской, немецкой, славянской, английской расах, хотя все эти термины служат для обозначения случайных агрегатов из самых разнообразных антропологических элементов... В Азии, где народы и племена перебрасывались с востока на запад и с запада на восток несколько раз, человеческие расы так перемешались между собой, что крайне трудно сказать, какая раса была первоначальной и основной азиатской расой. Быть может, самую характерную для Азии расу следует теперь искать где-нибудь по ту сторону Великого океана или около полярного круга. В Африке тот же самый процесс повторялся тоже несколько раз в течение жизни человечества. В Америке, где подобный процесс смешения и перемещения рас происходил уже в исторические времена, также нельзя встретить представителей чистой первобытной расы, а лишь продукты бесконечных смешений и скрещиваний... Истинную классификацию делений и подразделений человечества надлежит еще

создать, но возможность создания наступит лишь тогда, когда ясно будут определены составные элементы современных народностей».

Как пример тех несообразностей, вытекающих из современной классификации рас, несостоятельность которой так красноречиво выяснена Топинаром, можно привести немцев. Немцы, столь многим пожертвовавшие для своего национального единства (основанного якобы на научных данных, но в действительности совершенно ложных), представляют одну из самых сложных и разнородных антропологических групп, где можно встретить и длинноголовых блондинов северных провинций, и короткоголовых брюнетов юга. Почти то же самое можно сказать и об Италии. Наоборот, Швейцария, которую так часто выставляют образчиком случайной агломерации самых разнородных рас, в действительности имеет более выраженное антропологическое единство, выражающееся в брахицефализме, чем многие из европейских стран.

Затем не мешает заметить, что в истории цивилизации нам никогда не приходится иметь дело с народами вполне изолированными, каковы, например, гренландские эскимосы или тасманийцы. Вот почему вполне правильно утверждение Топинара, что все антропологические классификации человеческого рода не имеют значения, по крайней мере для социологии и истории. Остаются еще так называемые лингвистические классификации, созданные филологами, например венским ученым Фр.Мюллером; эти классификации представляют на самом деле гораздо более логичное и точное построение, чем рассмотренные нами выше классификации, основанные на антропологических и антропометрических данных. Но тем не менее и лингвистические классификации имеют лишь относительную ценность. Будучи весьма полезны в тех случаях, когда дело идет о систематизации наших знаний об отдельных наречиях или знаний в области описательной этнографии, эти классификации не в состоянии осветить и уяснить многие вопросы социологии и философии истории. Руководясь чисто лингвистическими указаниями, придется в самый низший разряд «отверженных» рас поместить, например, китайцев и другие народы Восточной Азии только потому, что они говорят на языках, состоящих из односложных слов. Напротив, зулусы, бечуаны и другие народы Южной Африки, говорящие на одном из наречий банту, звучном, полном и приспособленном для выражения самых незначительных оттенков мысли и чувства, должны быть причислены, по лингвистическому признаку, к «избранным» расам.

Летурно отдает себе отчет в том, что антропологические различия рас не вполне удовлетворяют научным требованиям и при их помощи нельзя решать сложные социологические проблемы, но он тем не менее рассчитывает разрешить проблему деления человечества на расы, основываясь на антропологических данных. Разумеется, такое отношение к делу приводит в конце концов к несомненному petitio principii (предположение, требующее доказательств). Придерживаясь взгляда, что существуют «избранные» и «отверженные» расы, Летурно делит весь человеческий род на три группы, отличающиеся друг от друга цветом кожи, отчасти анатомическими особенностями, а главным образом степенью развития культуры и цивилизации.

I. *Черная раса,* наследственно неспособная вне смешения с расами высшими создать высшую цивилизацию.

II. *Желтая раса*, монгольская, стоящая несравненно выше черной. Наиболее способные ее представители, говорит Летурно, азиатские монголы, уже в очень ранний период своей истории образовали огромные и сложно устроенные общества, соперничавшие с обществами людей белой расы, а иногда, в некоторых отношениях, служившие этим последним даже образцом. Стоявшие на самой низкой ступени развития, интеллектуально наиболее неразвитые племена монгольской расы, как, например, американские индейцы, несчастные остатки которых и посейчас находятся на самой низкой ступени умственного и социального развития, — и те, говорит Летурно, «в лице наиболее одаренных представителей создавали некогда выдающиеся цивилизации Мексики и Перу».

III. *Белая раса*, «стоящая на иерархической лестнице еще несколькими ступенями выше. У представителей этой расы сильно развиты мозговые полушария, лоб расширен и выпрямлен, челюстные кости значительно уменьшены. Среди людей белой расы почти не встречается прогнатистов и лиц с толстыми, широкими губами»[vi]. Только народы белой расы способны к культуре и цивилизации.

Эта поверхностная классификация человеческих рас, несомненно, обладает достоинствами крайней простоты и ясности. Но, к сожалению, она даже не вполне точно констатирует факты. Бесспорно, что большинство народов, играющих или игравших первые роли во всемирной истории, принадлежат к одной из отраслей белой расы. Таковы арийцы Пенджаба, ассиро-вавилоняне (только отчасти), финикийцы, греки, итальянцы, французы, германцы и вообще все народы средневековой и новой Европы, за исключением, быть может, финнов и негров.

Но не следует забывать, что бесспорно наилучше изученная ветвь человеческого рода, именно группа арийских народов, является своего рода единым коллективом только в одном лингвистическом отношении. Не будем забывать, что на огромном пространстве, ограниченном с одной стороны круглоголовыми народами Индии, а с другой стороны длинноголовыми блондинами северной Германии, можно встретить бесконечные изменения в окраске кожи, волос, глаз и бесконечное разнообразие во всех других антропологических признаках.

Кроме того, мы знаем, что большое количество народов, принадлежность которых к белой расе бесспорна, тем не менее играли в истории цивилизации почти такую же роль, как гвинейские папуасы или какие-либо еще другие представители «отверженных» рас. Интересно отметить, что афганцы, считающиеся близкими сородичами англичан, тем не менее представляют собою совершенно другой тип. Бедуины, относящиеся крайне враждебно ко всякой высшей цивилизации, несмотря на тысячелетнее соприкосновение с наиболее развитыми цивилизациями, остаются до нашего времени в том же состоянии, в каком история видела их еще во времена фараонов. Тем не менее бедуины-семиты, будучи еще более чистыми по крови представителями низшей расы, создали высокую ассиро-вавилонскую цивилизацию, а позднее арабскую цивилизацию[vii].

Таким образом, на основании всех этих данных можно было бы легко заключить, что арийцы и семиты с более или менее белой кожей одни только среди всех *при известных условиях* оказывались способными к созданию высокоразвитых цивилизаций. Но так как *при других условиях* те же народы переживают

совершенно другую историческую судьбу, то очевидно, что центр тяжести вопроса лежит не в способностях, присущих расе, а в каких-то еще, пока не определенных условиях.

Основная ошибка метода, предложенного Летурно для классификации рас, приведет нас к еще более ошибочным выводам, если мы будем применять ее ко второй расе, по классификации Летурно, т.е. к группе желтых, или монгольских, народов. Изо всех народов Азии, объединенных Летурно в одну расу желтых народов, лишь одни китайцы занимают в истории человечества почетное место, но всем известно, что как по своему языку, так и по своему внешнему виду они значительно отличаются от других народов монгольской расы.

Правда, что Монгольское царство, созданное Чингисханом и его преемниками — Хубилаем на востоке и Батыем на западе, — завоевало себе историческую известность, но, увы, эта известность носит слишком печальный характер. Нет никаких оснований ставить примитивную цивилизацию монголов эпохи Чингисхана в культурном отношении выше цивилизации, памятники которой в Зимбабве[viii] и поныне приводят в удивление путешественников и заставляют невольно думать, что не имеем ли мы здесь дело с творениями европейских строителей, каким-либо образом попавших некогда в недра Черного материка[ix].

Из всех народов древнего мира, причисляемых к желтой расе, нам остается только указать на турок-османлисов, или оттоманов. Они действительно вписали свое имя на страницах всемирной истории, но только не в качестве творцов цивилизации. Наоборот, их историческая роль очень часто и весьма справедливо сравнивается с ролью шакалов и хищных птиц, составляющих нечто вроде санитарной полиции на улицах мусульманских городов и пожирающих ту падаль, которую никто не заботится убрать. Но это сравнение верно только отчасти, и, если турки захватили остатки умиравшей византийской цивилизации и халифата, они не заботились нисколько о трупах этих цивилизаций, оставляя их разлагаться на открытом воздухе. Не следует также забывать, что турки, точно так же как и крымские татары, только по языку принадлежат к урало-китайской семье народов; говоря антропологическим языком, они «облагородили» свою расу благодаря вековому обычаю пополнять свои гаремы женщинами белой расы, плененными или купленными в Греции, на Балканах, в Польше, на Украине, на Кавказе и в Армении.

Итак, ту неспособность к созданию высших культур, которую Летурно считает наиболее характерным признаком для «отверженной» расы негров, можно констатировать также и у значительной части народов белой расы и почти у всех представителей желтой. Говоря вообще, великие исторические цивилизации являлись результатом совместной работы самых сложных смешений различных этнологических элементов, смешений, в которых даже приблизительно нельзя определить долю участия «белых», «желтых» или «черных»[x].

Египетская культура, считающаяся одной из самых древних и наиболее изолированных, тем не менее потребовала для своего возникновения соединения четырех различных этнологических групп. Изображения представителей всех этих четырех групп воспроизведены с удивительной точностью на гробнице[xi] фараона Сети I (XIX династия). На этих изображениях мы можем видеть представителей

всех трех рас Летурно: *белого человека* (Tama'hou — это название и до сих пор носят некоторые весьма похожие на европейцев африканские племена, которых арабы называют туарегами), *желтого человека* (Amou) с семитическими характерными чертами, с более или менее ясной примесью туранского элемента и, наконец, *черного человека* (Nahasiou) — обыкновенного негра с курчавыми волосами. Четвертый изображенный там же тип не нашел себе места в классификации Летурно, хотя представители его играли, по всем вероятиям, главную роль в Египте в эпоху фараонов. Это представитель народа Rot (по Ленорману), или Retou, иероглифический синоним народа loud книги Бытия[xii], народа с красной кожей, по-видимому тождественного темно-коричневым народам, жившим в доисторические времена по берегам Красного моря, в Сирии и Палестине. Остатки этого народа сохранились еще и до сих пор в пустынях мыса Гвардафуй (полуостров Сомали), в верховьях Нила и на южном берегу Аравии.

Намек на окраску их кожи можно найти в их старинном имени Poun, откуда, по всей вероятности, произошло название funicos греков и Poeni, Punici римлян. Красное море, быть может, именно им обязано своим названием. Это предположение станет еще более вероятным, если мы вспомним, что слово Himyarites, название, данное *сабеям* Счастливой Аравии, происходит от корня h=m=r, по-арабски homra, что обозначает красный цвет в семитических языках.

При современном состоянии науки невозможно определить роль каждого из этих четырех этнических элементов в деле создания египетской культуры. Основываясь на свидетельстве египетских жрецов, большинство ученых-египтологов признает, что наиболее видная роль в создании египетской культуры принадлежит эфиопскому элементу из долины нижнего Нила. Действительно, по преданию, Осирис — олицетворение порядка, прогресса и культуры — имел темную кожу[xiii], Тифон — его антипод и противник — обладал, напротив, красными волосами и желтой кожей[xiv], каковые признаки в изображениях на гробнице Сети I присвоены желтой расе.

Конечно, мы не можем принять ныне без всяких ограничений мнение греческих историков и египетских жрецов, так как изучение языка и верований древних египтян заставляет нас предполагать, что культура Древнего Египта имела какую-то связь с семитическим элементом[xv]. Но так как ни семитам, ни ливийцам в одиночку никогда не удавалось создать высокую и устойчивую цивилизацию в той же самой области Африки, то на этом основании можно было бы выставить гипотезу, диаметрально противоположную положениям Летурно, а именно можно бы утверждать, что белая привилегированная историческая раса нуждается для выполнения своей великой роли в «отверженной» крови негров и что, не будучи оплодотворена ею, она тем самым осуждается на бесплодие. В самом деле, можно думать, что арийские народы, населяющие Европу, никогда не сделались бы умственно и морально выше дикарей, если бы они не получили при посредстве финикиян и древних эллинов драгоценное наследство от египетской цивилизации, бывшей целиком созданием негров и метисов.

Перейдем к другой великой цивилизации, которая завещала нам не менее драгоценное наследие, чем цивилизация египетская, — я говорю о цивилизации ассиро-вавилонской, или месопотамской; в некоторых отношениях эта цивилизация может конкурировать за пальму первенства с нильской цивилизацией.

На пороге истории мы находим здесь то же смешение крови различных рас, какое мы только что констатировали в Египте. Задолго до появления арийского элемента здесь уже работали над созданием цивилизации племена шумеров и аккадов, т.е. желтые туранцы и белые семиты. Но и этим народам в нижней Халдее предшествовали народы с еще более темной кожей, нежели большинство современных негров (кушиты наших археологов и этнографов). Таким образом, по мнению самых авторитетных ученых, слава и честь закладки фундамента ассиро-вавилонской цивилизации принадлежит именно черным народам[xvi].

Если мы теперь перенесемся мысленно с запада далее на восток и, перейдя через тройной хребет Соломоновых гор, вступим в Индию, из которой на историческую арену вышли самые привилегированные представители арийской расы, то и здесь увидим, что арио-индусы при своем вступлении в преддверие Индии, в область Пенджаба, нашли уже здесь более высокую цивилизацию, чем та, которой они уже достигли. Эмиль Бюрнуф видит доказательство такой гипотезы в том, что в древних ведийских молитвах часто встречаются просьбы к богам о передаче в руки арио-индусов всего богатства, стад и драгоценностей *дакиев*[xvii].

Все эти блага культуры, воспеваемые ведийскими поэтами, отнюдь не были, как это мы узнаем из современных исследований, плодом труда дакиев или их туранских завоевателей. Они представляли собою результаты работы туземного населения — аборигенов Индии, весьма отличавшихся от дакиев и туранских народов и которых, между прочим, «Рамаяна»[xviii] смешивает с обезьянами. Эти туземцы (дравиды) отличались весьма темной кожей[xix] и, согласно новым исследования Липперта[xx], находились в родстве, даже составляли одну ветвь кушитов, уже встреченных нами в Египте и в Месопотамии. Кушиты отличаются от негров меньшей шерстистостью и меньшей курчавостью волос. Но достаточно ли такого отличия, чтобы отделить кушитов от негров и поместить их в разряд менее «отверженных», но зато более неопределенных народов — негроидов, — это остается открытым вопросом.

Впрочем, для того чтобы представить негров совершенно обособленной группой человечества, необходимо одно условие — именно, ни разу не иметь случая наблюдать их непосредственно. Все те, кому приходилось на живых примерах изучать этнологию Черного материка — Ливингстон, Стэнли, Вернер, Мунцингер, Бастиан, Гартманн, Казалис, Фритч и многие др., — единогласно утверждают, что проведение точной демаркационной линии между «неграми» и «не неграми» совершенно невозможно. Фритч, особенно в своей талантливой попытке новой классификации человечества[xxi], рассматривает обитателей стран вокруг Средиземного моря, людей белой расы, а также монголов и негров, т.е. «*белых, желтых и черных*», по классификации Летурно, как разновидности, происходящие от одного общего источника — первоначальной расы, представителей которой Фритч называет *Homo primitivus migratorius*, в противоположность *Homo primitivus sedentarius* — предполагаемому предку австралийских и океанийских племен, папуасов, а также дравидов, айносов и готтентотов.

Так как способность к переселениям, предполагающая обладание известной эластичностью организма и умение приспособляться к различным условиям среды, является большим преимуществом «переселяющегося» человека над вечно

«оседлым», то негры, «отверженная» раса Летурно, помещаются Фритчем — самым авторитетным знатоком негрских племен кафров, или банту, — в ряд «избранных» и привилегированных народов.

Допустим на минуту, забыв все сказанное выше, что различные расы наследственно одарены специальными способностями, необходимыми для того, чтобы сыграть определенную роль в истории, одарены ими так, как, например, мак одарен наркотическими свойствами[xxii], в таком случае как сможем мы ответить на следующие вопросы:

1. Почему столь родственные этнические группы, как курды и немцы, англичане и афганцы, принадлежащие к одной и той же арийской ветви белой расы, тем не менее сыграли и играют в истории столь несхожие роли?

2. Почему в различные исторические периоды наблюдается перемещение ролей между народами? В самом деле, в ту эпоху, когда, например, кушиты зажгли в нижней Халдее и в северной Индии тот великий культурный светильник, который в течение тысячелетий, переходя из рук в руки, и доныне освещает путь человечеству, современные им социологи и этнографы имели полное право удивляться неспособности тогдашних белых людей к развитию и прогрессу и с полным правом могли зачислить белую расу в число «отверженных».

Геродот свидетельствует, что египетские жрецы имели полное основание смотреть на белокожих эллинов примерно так, как смотрим теперь мы на каких-нибудь папуасов или зулусов.

3. Почему исторические судьбы одной и той же группы народов так часто менялись, несмотря на то что ее этнографические и антропологические характерные черты остаются неизменными? Феллахи современного Египта, будучи изумительно похожи на своих предков времен фараонов, не играют, однако, в современной истории той роли, какую некогда играли египтяне. Современные греки точно так же не занимают в современной жизни того почетного места, какое занимали эллины эпохи Перикла. Отношения итальянцев и немцев при короле Гумберте и Бисмарке не имеют уже того характера, каким они отличались в эпоху Тацита, т.е. двадцать веков тому назад.

«Вырождение», — ответят нам, чтобы объяснить эти явления. Но ведь это слово ничего не объясняет в области истории. Эволюционная биология учит, что наследственность не помешала потомкам лемуров стать обезьянами, приматами или даже человеком, смотря по тому, каковы были условия окружающей среды, к которой они должны были приспособляться. Нет никакой причины предполагать, *что* может или должно служить причиной резкого разделения между различными группами человечества или создать между этими группами, непроходимые границы. Напротив, расовые отличия, отнюдь не составляя неизменных и основных условий развития, должны рассматриваться только как результат приспособления человека к среде, т.е. к разнообразным географическим и социальным условиям[xxiii].

Такой взгляд подтверждается массой примеров. Так, например, известно, что англосаксы и африканские негры, живя в Америке, подвергаются значительным и резким изменениям. Один из добросовестных наблюдателей русской жизни, известный русский писатель Глеб Успенский, в целой серии своих писем с Кавказа, помещенных в журнале «Русская мысль» за 1887 г., также указывает, что русские раскольники, переселившись на Кавказ, т.е. в горную страну, из беспредельно

монотонных равнин Великороссии, в течение нескольких десятков лет изменились до того, что образовали как бы совершенно новый этнический и социальный тип.

Аналогичных случаев можно было бы привести огромное количество. Самый резкий пример изменений, происходящих под влиянием среды, приводит Ливингстон, наблюдавший у голландских женщин Трансвааля случаи стеатопигии[xxiv], которую обыкновенно большинство ученых считают отличительным признаком готтентотской расы. Этот пример достоин нашего внимания потому, что в нем нельзя видеть результатов скрещивания или смешения рас, так как буры, презрительно относящиеся к готтентотам, никогда не входили с ними в половые общения.

Интересные многолетние изыскания итальянского ученого Чезаре Ломброзо, сделанные им в тюрьмах Турина и Милана, будто бы доказали существование особой человеческой разновидности в населении больших городов Ломбардии и Пьемонта. По своим антропологическим особенностям эта новая разновидность человеческого рода во многом отличается от нормального типа населения северной Италии. Она приближается по своему цвету кожи, по цвету и жесткости волос, косоглазию, выдающимся широким скулам и заметному уменьшению вторичных половых признаков к туранским народам желтой расы[xxv]. К сожалению, почтенный итальянский ученый, как мне кажется, не уяснил себе всего научного значения сделанных им наблюдений. Он придал им исключительно криминально-преступный характер и даже ввел в науку новый термин для наименования всех вырождающихся элементов нашего общества, термин преступный тип. Чтобы объяснить присутствие этого первобытного варварского типа среди населения богатейших городов современной Италии, Ломброзо создал одну из самых фантастических теорий. Он утверждает, что преступники миланских и туринских тюрем состоят главным образом из остатков какого-то таинственного древнего племени, которое некогда жило в Италии, и благодаря атавизму некоторые его представители сохранились и до нашего времени, невзирая на смешение с другими народами, на эмиграцию и на все исторические перипетии.

Однако один тот факт, упоминаемый вскользь самим Ломброзо, что представители «преступного типа» несравненно чаще встречаются в больших городах, чем в глухих деревнях, совершенно достаточен, чтобы подвергнуть сомнению атавистическую гипотезу Ломброзо.

В самом деле, очень многие ученые уже высказывали мнение, а недавно английский натуралист Уоллес[xxvi] блестяще доказал, что среда, к которой приходится приспособляться неимущему населению больших европейских городов, в смысле содействия развитию человека гораздо менее благоприятна, чем условия, в которых живут дикари Малайского архипелага или другой какой-либо дикой области.

«Преступный» человек Ломброзо представляет только показательный тип человека, вырождающегося исключительно под влиянием неблагоприятной среды, т.е. вредных жизненных условий. «Преступный» человек Ломброзо — это представитель вырождающейся расы, созданной непосредственно вырождающейся средой. Так как развитие пауперизма в Ломбардии и Пьемонте относится главным образом к началу XIX столетия, то, значит, в данном случае не понадобилось даже

действия целых геологических периодов времени для образования в анатомической и физиологической организации человека столь важных изменений.

Существование этой «отверженной» человеческой расы не ограничивается одной только Италией. Эта раса, продукт нищеты и тяжелых условий, в которых живет бедное население наших больших городов, к несчастью, встречается всюду в Европе. Ее представители встречаются всюду, где только имеется среда, благоприятная для появления вырождающихся типов. Многочисленные труды по криминальной статистике и социальной психиатрии, как, например, работы Моро-Кристофа во Франции[xxvii] или доктора Маудсли в Англии[xxviii], появившиеся еще раньше труда Ломброзо, установили факт распространения «человека-преступника» во всех больших городах цивилизованного мира. Жаль только, что ученые-исследователи, сделавшие это новое и важное открытие, были поглощены всецело узкой задачей, которую они себе поставили (чисто психиатрической у Маудсли и криминальной у Ломброзо), и не попытались изучить, каким образом возникает благодаря окружающим условиям новая антропологическая разновидность человека. Лишь некоторые из них мимоходом показывают, что появление ненормальных типов обусловливается несколькими специальными агентами, каковы, например, плохой воздух в жилищах, недостаточная и нездоровая пища и т.п.[xxix]

Большинство ученых, признавая, что преступление и вообще извращение морального чувства в некоторых случаях передаются по нисходящей линии родства, склонны видеть главную причину вырождения не в неблагоприятных условиях жизни, а только в одной наследственности. Мне лично думается, что наследственность в данном случае, как, впрочем, и во всех других случаях, играет только второстепенную роль: ее задача сводится только к тому, чтобы передать результаты влияния неблагоприятных условий последующим поколениям, укрепляя путем наследственной передачи характерные черты вырождения, приобретенные одним из отдаленных предков. Таким образом, роль наследственности в данном случае всецело отрицательная.

Не так давно французским ученым А. де Кандолем и русским ученым доктором П.Якоби были опубликованы их исследования по вопросу о наследственности и ее отношении к естественному отбору у людей. Несмотря на мое глубокое уважение к науке вообще и к талантливости названных ученых в частности, я должен заметить, что они проявили значительную слабость в пользовании научным методом в этих трудах, посвященных столь важному вопросу. Всякий раз, как им приходится заметить одну характерную черту или целую их совокупность, передающуюся от отца к сыну в течение нескольких поколений, они заключают отсюда о несомненном влиянии наследственности; но чаще всего случается, что сын, поставленный в сравнительно такие же условия, в каких жил отец, получает отцовские качества просто в силу непосредственного влияния той же среды, влиянию которой подвергался и его отец. Так, карьера ученого наиболее доступна сыну ученого, карьера извозчика — сыну извозчика и т.д. Конечно, сын преступника имеет больше шансов стать преступником, чем остальные дети, но не в силу унаследования от отца преступных черт, а просто потому, что он с детства живет в среде, которая более всего способствует развитию преступных наклонностей.

Конечно, весьма возможно, что каждый человек получает в наследство от своих родителей некоторую специальную способность, но тем не менее центр тяжести все-таки остается в том, что человек с самого детства подвергается влиянию той или иной специальной обстановки, которая и определяет его будущую деятельность и его дальнейшую судьбу.

Как убедительный пример возникновения новых рас, т.е. особенных антропологических типов, образовавшихся под влиянием «среды» и закрепленных наследственностью, можно указать на кретинизм[xxx] — явление, характерное для горных областей (кретины часто встречаются в Савойе, в Швейцарии, в Колумбийских Андах, на Кавказе и т.д.). Но кретинизм — лишь исключительный факт, где влияние среды ясно видно даже самому простому человеку. Но сколько фактов этого влияния остаются для нас незаметными!

В заключение мы можем упомянуть еще о так называемых профессиональных типах, создаваемых благодаря влиянию характерных особенностей профессии или ремесла, которыми человек занимается продолжительное время. В то время как признаки, по которым ученый-антрополог различает человеческие расы, в высшей степени неопределенны и сбивчивы, каждый простой внимательный наблюдатель всюду сможет распознать представителей различных профессий: крестьянина-земледельца, матроса, солдата, ученого, кузнеца и т.д.

Но позволительно задать вопрос: если продолжительное занятие одной и той же определенной отраслью труда отмечает людей различного происхождения одной и той же печатью, притом более заметной, чем унаследованные и врожденные расовые особенности, то не большее ли влияние оказывают те сложные и очень часто незаметные с первого взгляда, но постоянно действующие физико-географические условия, которые определяются одним словом — *среда*? Не достаточно ли одного этого влияния, чтобы дать исчерпывающее объяснение всех анормальных и болезненных изменений человеческого типа?

Резюмируя все сказанное в этой главе, мы можем сделать следующее заключение: наследственность, в общем, является могучим фактором эволюции, она укрепляет и передает от поколения к поколению приобретенные человеком под влиянием среды способности и привычки и тем самым содействует видоизменению человеческих рас, но действие одной только наследственности не в состоянии освободить человека от еще более могучего влияния *среды*.

[i] Доктор Ливингстон и Винвуд Рид не согласны с этим мнением, они уверяют, что встречали настоящий древний египетский тип у негров области озер Бангвеоло и Моеро Окато (см. Dernier Journal du D-r Livingstone, vol. I).

[ii] За последние годы жизнь нанесла много жестоких ударов «расовой» теории. Изобретенная учеными из среды «белой» расы, эта теория призвана была научно оправдать мировое владычество белых, которые будто бы от природы наделены решительно всеми преимуществами над прочими расами земного шара. Но действительность, выдвинувшая вперед, в первые ряды цивилизованных народов, представительницу желтой расы, японскую нацию, жестоко разрушила все хитроумные теории ученых. Точно так же за последние годы в Америке появились

негры писатели и поэты. В 1922 г. в Нью-Йорке вышел сборник «Негритянская поэзия», который показывает, как много ценного внесли негры в поэзию американцев. Во Франции пользуется большой известностью писатель-негр Ренэ Маран, роман которого «Батуала» из жизни африканских негров переведен и на русский язык. Все эти примеры красноречиво опровергают «расовую» теорию, и в настоящее время большинство ученых не имеет уже больше смелости защищать ее. Из современных ученых Отто Генне-ам-Рин блестяще доказал несостоятельность расовой теории. — Прим. Н.Лебедева

[iii] Возражения такого рода при всей своей справедливости нисколько не поражают географической теории прогресса, а указывают лишь на преувеличение некоторых писателей, преувеличивающих социологическое значение изотермических линий и градусов широты. Мужоль, как мне уже приходилось замечать, погрешил в этом отношении еще сильнее, чем его знаменитый предшественник Томас Бокль

[iv] Ch. Letourneau. La Sociologie d'apres 1'Ethnographie. Paris, 1880

[v] *Прогнатизм* (*греч*. pro — вперед, gnathos — челюсть) — выступание вперед всего лица или верхней челюсти

[vi] Ch. Letourneau. Sociologie d'apres 1'Ethnographie. Paris, 1880

[vii] G. Maspero. Histoire ancienne des peuples de 1'Orient. Paris, 1875

[viii] *Зимбабве* — археологическая культура VI—ХУШ вв. в Южной Африке. Названа по наименованию крепости Большой Зимбабве, обнаруженной в междуречье Замбези и Лимпопо на рубеже 70-х годов XIX в

[ix] R. Hartmann. Die Nigritier. Bd. 1. Berlin, 1876

[x] Трудность выяснения исторической роли той или иной расы в развитии цивилизации увеличивается еще и тем, что ученые еще и до сих пор не изгнали из своего языка термины, заимствованные из десятой главы книги Бытия. Так, серьезные ученые наших дней еще и теперь продолжают говорить о хамитах, к которым они причисляют, с одной стороны, черные племена африканских негроидов и, с другой стороны, ливийцев или берберов, имеющих белую кожу и светлые волосы. Эти же ученые рассматривают чернокожих кушитов как протосемитов, т.е. сородичей многих ветвей белой расы. Современные этнологи и до сих пор рассматривают евреев и финикийцев как два народа разных рас, относя евреев к семитам, а финикийцев к хамитам, тогда как в действительности эти народы близко родственны друг другу и различаются только тем, что один народ жил на побережье, а другой в области пустынь

[xi] Речь идет не о гробнице, а о кенотафе (*букв*. пустая могила) Сети I. по преданию, убитого в Абидосе, главном центре культа Осириса

[xii] Fr. Lenormant. Histoire ancienne de 1'Orient jusqu'aux guerres medigues. Vol. 1—3. Paris, 1881

[xiii] Plutarque. Sur Jsis et Osiris

[xiv] В древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы *Осирис* изображался в виде мумии, а *Тифон*, персонаж греческой мифологии, — в виде стоглавого огнедышащего чудовища

[xv] G. Maspero. Histoire ancienne des peuples de 1'Orient. Paris, 1875

[xvi] G Maspero и Fr. Lenormant. Названные выше сочинения.

[xvii] E. Burnouf. Essai sur le Veda. Paris, 1863

[xviii] «*Рамаяна*» — древнеиндийская эпическая поэма, повествующая о подвигах

народного героя Рамы. Авторство ее приписывается легендарному поэту Вальмики. Время создания — VI—П вв. до н.э. или даже ранее

[xix] См. E. Burnouf. Цит. соч.; A. Quatrefages de Brëau. Materiaux pour servir a 1'histoire de 1'homme

[xx] J. Lippert. Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Aufbau. Bd. 1—2. Stuttgart, 1886—1887

[xxi] G. Fritsh. Verhandlungen der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. Bd. VI. 1881

[xxii] С той, впрочем, разницей, что каждый торговец маком сумеет легко определить разные сорта мака, тогда как ни одному ученому-антропологу не удалось до сих пор распределить человеческие расы

[xxiii] Именно такой точки зрения придерживается Липперт в своем значительном труде по истории культуры, когда он пытается создать новую классификацию человеческих рас.

[xxiv] *Стеатопигия* — чрезмерное развитие подкожного жирового слоя на бедрах и ягодицах человека. Характерна для женщин некоторых южноафриканских народов (бушменов и готтентотов). Считается признаком женской красоты

[xxv] C. Lombroso. L'Uomo delinquente... Torino, 1889.

[xxvi] A. Wallace. Land Nationalisation, its nesessity and its aims. London, 1882.

[xxvii]L. Moreau-Christoffe. Le Monde des Coquins. Paris, 1864.

H. Mauds1ey. Le crime et la folie. Paris, 1874; Pathologie de 1'Esprit. Paris, 1883.[xxviii]

[xxix] См. интересные работы самого Ломброзо о болезни пеллагре, вызываемой употреблением испорченной маисовой муки и полевты.

[xxx] *Кретинизм* — заболевание, связанное с дефицитом в воде и пище йода, что определяет задержку физического и психического развития и нарушение функций щитовидной железы. Распространен главным образом в горных местностях.

Глава пятая

Среда

Физические различия в строении земной поверхности. — Гипотеза Адольфа д'Ассье об отношениях между зарождением цивилизации и ледниковым периодом. — Предварение равноденствий. — Преувеличенное значение, приписываемое термическим влияниям. — Значение среды изменчиво.

История и цивилизация беспрерывно перемещаются на поверхности земного шара. Европа, стоящая теперь во главе прогрессивного движения человечества, еще не так давно была погружена во мрак невежества; светоч цивилизации в это время блистал в другой части Земли, в настоящее время пустынной и дикой. В Египте и в Азии некогда процветали многочисленные города, навсегда вписавшие свое имя в историю мира, но от этих городов теперь остались или бесформенная куча развалин, частью погребенных под песками пустыни, или несколько отдельных памятников, или, наконец, одно только название; полудикий кочевник попирает ногами то место, где некогда возвышались величественные здания, столько же размышляя о былом величии этих городов, сколько и пасущиеся под его охраной стада.

Нередко упадок цивилизаций совпадает по времени с геологическими или климатическими изменениями среды. Говоря вообще, различные области нашей планеты, быть может, еще больше, чем судьба народов, испытывают на себе тяжесть веков и изменяются под действием физико-географических причин. Земная кора нашей планеты изменяется и принимает различные формы в течение веков. От большого в древности Латмийского залива в Греции в наше время осталось лишь небольшое озеро, окруженное заражающими воздух болотами. Вся остальная его часть заполнилась наносным илом Меандра [р. Бол. Мендерес], причем некоторое поднятие почвы еще более ускорило этот процесс[i]. Древний город Милет, некогда цветущая столица ионийской федерации, обязанный своим процветанием Латмийско-му заливу, обратился в настоящее время благодаря этому в жалкую деревушку Палация.

Однако, если бы жители нового Милета обладали еще и теперь той творческой энергией, создавшей некогда в их среде Фалеса и Анаксимандра, они могли бы противопоставить медленному процессу поднятия почвы такой же отпор, какой некогда оказали их далекие предки Александру Македонскому; но, увы, биение «пульса» истории прекратилось в милетской артерии раньше, чём она была занесена илом Меандра. Жители Милета не смогли сделать того, что позднее сделали римляне со своей гаванью Остией. Как известно, Остия, древний порт Рима, еще во времена Августа начала заполняться наносами реки Тибр, однако мощь Рима от этого нисколько не пострадала, так как по повелению цезарей к югу от занесенного лимана вырывались новые каналы.

Наиболее значительные изменения земной поверхности чаще всего наблюдались в странах, лежащих на восток от Средиземного моря. Из некоторых достоверных указаний можно заключить, что почва каменистой Аравии некогда была менее бесплодной. Берега ее современных безводных рек — «уади» —

обросли акациями и тамарисками, показывающими, что в течение громадного количества лет в сырое время года вода поднималась только на два метра[ii]. Но утесистые берега этих высохших рек носят еще и теперь несомненные следы разрушительного действия вод даже на высоте 15 метров. К сожалению, в преданиях арабов не сохранилось воспоминаний об этой эпохе. Так как каменистая Аравия и соседний с нею Синайский полуостров никогда не были покрыты большими лесами, то высыхание рек нельзя приписать истреблению лесов. Оно объясняется гораздо проще и вероятнее физико-географическими причинами, а именно поднятием почвы и изменением климатических условий.

Несколько лет тому назад Эрнест Ренан, чтобы объяснить упадок Палестины, предложил гипотезу о том, что климат Палестины сделался гораздо суше со времен эпохи Христа и Понтия Пилата. Элизе Реклю в свою очередь[iii] предпринял проверку этого интересного вопроса исторической климатологии. Реклю считает несомненным, что годовая температура остается в Палестине приблизительно одной и той же, как и две тысячи лет тому назад, так как северная граница зоны вызревания фиников и южная граница области винограда до сих пор совпадают на берегах Иордана. Следовательно, средняя годовая температура в 21—21,5° держится в Палестине устойчиво и неизменно в течение двадцати пяти веков. Но тем не менее можно вполне допустить, что в стране, рельеф которой носит неровный характер, как в Палестине, незначительные изменения в границах областей распределения отдельных растений могли произойти, не будучи замечены современниками и историками. Известно, что поднятие поверхности на 200 метров значит то же, что удаление данной области от экватора на один градус широты.

В древней Палестине, точно так же как и в современной, дождей часто не хватало для того, чтобы могли вызреть хлебные растения. Это доказывается тем, что постройка цистерн и водопроводов для снабжения водою городов и полей и тогда уже считалась необходимой общественной работой. Молитвы о ниспослании дождя возносились уже и тогда. Происходило это главным образом в октябре, когда обыкновенно выпадают первые ливни, и в апреле, когда ждут первых дождей.

Но как бы то ни было, без сомнения, климат древней Палестины был более влажным, чем в наши дни; страна, «текущая млеком и медом», в древности была покрыта лесами на значительном протяжении. Теперь леса совершенно исчезли отовсюду, за исключением узкой береговой полосы вдоль моря и нескольких горных склонов, обвеваемых влажными ветрами. Неопровержимым свидетельством того, что в древности Палестина была покрыта большими лесами, служат остатки могучих корней, добываемых из-под земли еще и теперь жителями Палестины для топлива.

> Некогда область культурных земель была значительно шире в Палестине, чем теперь. Остатки древних городов и местечек мы встречаем в настоящее время в пустыне, где нет влаги и никакая культура невозможна.

Говоря вообще, современная, столь бесплодная, каменистая и знойная Палестина некогда во всей своей южной части была сплошным садом с богатейшей растительностью; горные склоны ее были обращены в террасы, похожие на террасы Прованса и Лигурии, покрытые виноградниками.

Внимательное изучение физико-географических условий Малой Азии, и особенно Месопотамии, заставляет нас признать, что высыхание почвы имеет место и здесь. И все-таки, даже находясь в печальном периоде упадка, эта область реки Евфрат, «где был создан первый кусок хлеба»[iv], и до сих пор заслуживает прежнего названия «житницы», так как она еще и теперь гораздо плодороднее многих стран Европы и Северной Америки и могла бы прокормить гораздо более многочисленное население, чем то, какое живет сейчас в этих областях. Несомненно, что честь ухудшения плодородной почвы следует приписать неблагоприятным социальным условиям и самому человеку, но эту причину нельзя считать причиной упадка цивилизации, так как она сама есть [s] продукт этого упадка.

Явление прогрессивного высыхания почвы и уменьшение влажности воздуха в названных нами областях Азии заставляют предполагать, что здесь мы имеем дело с какой-нибудь общей физико-географической причиной, для нас, к сожалению, еще не известной[v]. Весьма возможно, что это явление находится в связи с постепенным, но быстрым исчезновением последних остатков океана третичной эпохи, волны которого некогда разделяли Европу и Азию и остатками которого являются Каспийское и Аральское моря, озеро Балхаш и другие, меньшие бассейны Центральной Азии[vi].

Приведенных нами примеров вполне достаточно, чтобы сделать очевидным, насколько значительный интерес с исторической и социологической точек зрения представило бы исследование явлений динамической геологии и зависящих от геологических перемен изменений в климате.

Насколько мне известно, единственная попытка связать всемирную историю человечества с космической и физико-географической историей нашей планеты была сделана французским ученым Адольфом д'Ассье. Ему принадлежит честь первого исследования этого важного вопроса при помощи строгого и точного метода и громадной разносторонней эрудиции.

«Почему, — спрашивает д'Ассье, — некоторые народы Востока пробудились уже сто пятьдесят веков (?) тому назад, а европейцы всего семь или восемь тысяч лет тому назад еще пребывали в состоянии троглодитов?»[vii] Ученый автор надеется найти ключ к этой загадке в теории ледниковых периодов.

«Будучи лишен высоких гор и прилегая своей южной границей к тропику Рака, Египет был всегда защищен от явлений, связанных с ледниками. В подобном же положении находились все страны, лежавшие к югу от громадных горных цепей, пересекающих Азию от берегов Средиземного моря до восточных берегов Китая.

Совершенно в другом положении находилась Европа, расположенная вдали от тропиков и граничащая с Северным Ледовитым океаном; благодаря этой близости к полярному океану Европа имеет сравнительно прохладный климат и длинный период холодов.

В течение ледникового периода ее поверхность была покрыта толстым покровом снега, что задерживало процесс развития и распространения ее народонаселения. Только после исчезновения ледников и снегового покрова сделалось возможным ее заселение, и, действительно, первые следы существования доисторического человека в Европе мы встречаем только в период,

непосредственно следовавший за исчезновением ледников. Только тогда человек начал селиться в гротах, пещерах и стал возводить свои жалкие хижины на сваях на берегах озер».

Таким образом, по мнению д'Ассье, в страшном полярном холоде и в суровости климата северного полушария следует видеть причину того, что народонаселение высоких плоскогорий Азии было вынуждено эмигрировать из своей родины и поселиться вдоль южного берега Средиземного моря, на берегах Персидского залива и на побережье Индостана и Индокитая, климат которых в то время был приблизительно такой, каков теперь климат наиболее теплых стран. Человечество, так сказать, выросло и расцвело в благоприятной для него среде, в климатическом отношении не оставлявшей желать ничего лучшего, так как зной умерялся здесь близостью ледников. Но мало-помалу, с отходом ледников к северу, их умеряющее действие прекращалось, климат становился все более и более тропическим, умственная энергия населения слабела, и, наконец, их цивилизация пришла в упадок, уступив место более северной, европейской цивилизации.

В свою очередь климат Европы со времени дилювиального периода[viii] значительно смягчился, сохраняя вм[ix]есте с тем все преимущества климата внетропического, без раздражающего и расслабляющего зноя.

Но если Европа оказалась, таким образом, в сравнительно более благоприятных условиях для развития цивилизации, зато ей грозит опасность в будущем стать первой жертвой постепенного охлаждения северного полушария, когда грядущее наступление ледников с севера заставит поток цивилизации изменить направление от севера к югу. Правда, д'Ассье предвидел это и утешает нас тем, что человек будущего сумеет победить разрушительные тенденции природы при помощи техники и науки.

Смелая гипотеза д'Ассье не лишена привлекательности, как и вообще все теории, пытающиеся объединить разрозненные явления в нечто целое и грандиозное. В данном случае она связывает интеллектуальную и политическую историю человечества с ходом беспрерывных изменений в Солнечной системе вообще и в частности на нашей планете. К сожалению, гипотеза д'Ассье недостаточно обоснована или, вернее, построена на . очень зыбком фундаменте; так, например, д'Ассье признает египетскую цивилизацию существующей пятнадцать тысяч лет, хотя самые смелые хронологические вычисления не дают и половины этой цифры[x].

Кроме того, д'Ассье обусловливает возникновение ледниковых периодов космическими причинами, хотя этого нельзя утверждать наверное. Наконец, он преувеличивает влияние климатической среды, якобы проявляющееся при различии между средними годовыми температурами всего в несколько градусов, тогда как всем известно, что в действительности цивилизация может процветать и прогрессировать в областях, где существует большая амплитуда колебаний между теплом и холодом, как, например, в России, Швеции и Шотландии.

Многие ученые приписывают широкое распространение ледников в древней Европе действию более или менее местных причин: значительной высоте гор, может быть, также и поднятию почвы, влажности, приносимой восточными ветрами и приобретенной ими при проходе над громадными водными пространствами Центральной Азии (несравненно более обширными, чем теперь) и

над Черным морем, соединенным в то время с Каспийским; наконец, отсутствию сухого и горячего ветра фена[xi], дующего теперь с юга и обладающего способностью «съедать», по выражению швейцарцев, снега и льды. Этот ветер, до тех пор пока еще не высохло внутреннее море Сахары, являлся, наоборот, насыщенным парами и, следовательно, бессильным разрушиельно действовать на снега и льды.

Перейдем теперь к рассмотрению астрономических причин, могущих вызывать те или другие изменения температуры на земном шаре, укорачивая или удлиняя зимнее время в местностях, лежащих к югу и северу от экватора. Из вычислений астрономов Кролля, Стона, Мора и геолога Чарльза Лайеля мы узнаем, что одна из причин ледниковых периодов может заключаться в изменениях величин эксцентриситета[xii] земной орбиты, которые переходят от максимума к минимуму раз в восемьсот пятьдесят тысяч лет, т.е. в течение столь громадного периода времени в сравнении с исторической эпохой, что мы смело можем оставить их влияние вне рассмотрения.

Мы не можем поступить так же просто с явлением, известным в астрономии под именем «предварение равноденствий»[xiii], которое, различным образом видоизменяясь, совершает полный цикл в двести десять веков. Известно, что математик Адемар усматривал в предварении равноденствий существенную причину наступления ледниковых эпох.

Как известно, наша Земля прошла свой перигелий в момент зимнего солнцестояния в 1248 году по Р.Х. Таким образом, этот год представляет собою критическую дату в истории нашей планеты, которая не могла остаться вне всякой связи с хронологией древних цивилизаций. 9252 год до Р.Х. был самым холодным годом для всего северного полушария; затем температура северного полушария постепенно повышалась, с тем чтобы в 1248 году снова начать свое движение в обратном направлении, которое в 11747 году достигнет кульминационной точки

Наиболее авторитетные и заслуживающие доверия египтологи, как мы видели выше, относят возникновение монархии фараонов к эпохе 45—50 веков до Р.Х. Расстояние между двумя хронологическими датами, 9252 годом, самым холодным годом нашего полушария, и 4500-м, в котором приблизительно Мена явился в Мемфисе, очень значительно: около 5000 лет должно было протечь до перигелия. Много веков должны были настать и кончиться, пока один за другим народы леденевших стран не закончили эмиграцию в северо-восточную часть Африки, тогда еще обладавшую умеренным климатом. При их появлении на исторической арене они встретили египтян уже обладателями довольно развитой цивилизации, бывшей, разумеется, плодом работы бесчисленных ранее живших поколений[xiv].

Древние обитатели Египта, приспособившись к нильской среде, уже в то время были знакомы с устройством особых приспособлений — *шадуфов*, при помощи которых они черпали воду из Нила и переносили ее на засеянные поля; эти приспособления были для них несравненно полезнее, чем все мемфисские пирамиды и фивские храмы. Современные феллахи пользуются *шадуфами* еще и в наше время.

Определить с достоверностью момент возникновения халдейской, или ассиро-вавилонской, цивилизации еще труднее. Обыкновенно считают, что эта цивилизация гораздо моложе египетской, но успехи новейшей ассирологии доказали существование следов этой цивилизации, которые должны быть отнесены примерно к 3000 году до начала христианской эры. Весьма вероятно, хотя наука еще не сказала своего последнего слова, что начало исторической цивилизации в нижней Халдее современно с началом цивилизации в Египте.

На примере халдейской цивилизации мы можем видеть, как действительность не согласуется с теорией д'Ассье. Ассиро-халдейская цивилизация, вопреки гипотезе д'Ассье, продвигалась не на север, а на юг, к Персидскому заливу, а позднее — к Индийскому океану. Противоречит гипотезе д'Ассье и другой важный факт.

Блестящий период расцвета Багдадского халифата, являющийся как бы заключительным аккордом халдейской цивилизации, в течение которого произошло завоевание арабами Экваториальной Африки, Индостана и расширение мусульманского влияния вплоть до китайских морей, этот расцвет пришелся как раз на .XIII столетие, долженствующее быть для халдейской цивилизации именно пагубным как период наибольшего охлаждения северного полушария.

Перейдем теперь к цивилизации Индии. В Индии Малабарский и Коромандельский берега, а тем более область Пенджаба (Пятиречия), подобно долине реки Нил, были защищены от вредного влияния северных холодов высокими горными хребтами Гималаев. Действию тропической жары Индия была подвержена более, чем Египет. Пробуждение Индии к исторической жизни, по всей вероятности, произошло спустя восемьдесят веков после самого холодного года в северном полушарии и за тридцать веков до наиболее жаркого года (т.е. до 1248 года). Правда, на это наиболее вероятное предположение можно возразить, что индостанские арийцы (находящиеся в родстве с иранцами) в течение долгих веков до своего появления на берегах Инда проживали в Бактрии. Но в таком случае мы будем иметь противоречие с термической теорией, так как, в то время как, по ее объяснениям, температура северного полушария все повышалась, арийская цивилизация, несмотря на это, продвигалась все далее к югу из Бактрии (изотерма +18°) в Ганго-Индийскую низменность (изотедоа +22°), а затем, позднее, в Декан (изотерма Дели +26°), где в конце концов достигла термического экватора (средняя годовая температура в настоящее время +28°). Почти то же самое возражение можно было бы сделать и по поводу китайской культуры, зарождение которой, даже принимая конфуцианскую хронологию[xv], нельзя отнести ранее чем за двадцать девять веков до начала нашей эры. Эта цивилизация не переставала распространяться к югу, с берегов Желтой реки (изотерма +15°) к долине реки Янцзы (изотерма +18°), чтобы затем перейти через тропик Рака и занять Кантон и Формозу (изотерма +22°).

Как нам пришлось уже видеть раньше, изотермические линии действительно образуют границы той области, которую можно назвать ареной исторических цивилизаций. Эти границы, будучи не вполне определенными и постоянными, совпадают, однако, за весьма немногими исключениями, северная — с изотермой

+4°, а южная — с изотермой +20° или +22°, не более. Пять больших и весьма населенных городов, лежащих к югу от этой границы, — Мехико, Мадрас, Бомбей, Калькутта, — каково бы ни было их местное значение, играют слишком подчиненную роль в летописях всемирной истории.

Всякая, однако, цивилизация, особенно в эпоху своей зрелости, ни в коем случае не похожа на один из тех нежных цветков, которые сразу гибнут вследствие малейшего понижения температуры. Человеческая цивилизация более стойкий продукт истории и может переносить иногда и крайне неблагоприятные условия. Сыны зеленого Эрина (Ирландии) родились на острове, где средняя годовая температура не достигает и +10°, но они отлично себя чувствуют и в жаркой Калифорнии, и даже на границах Мексики.

Русские также легко приспособляются к климату с изотермой +12° и с изотермой —12°. Китайский кули от Маньчжурии до Перу сохраняет свой дух ассоциации, свою физиономию и внешний вид, свой собственный запах — смесь опиума, камфоры и тухлых яиц, — свою спокойную, но непоколебимую трудовую энергию, наконец, свое умение устраиваться всюду, даже при самых неудобных жизненных условиях, умение, соединенное вместе с тем со склонностью к эпикурейству и к утонченности. Все эти факты не внушают нам слепого доверия к ученым космологическим соображениям и сопоставлениям, которые мы рассмотрели выше.

Тем не менее следует признать, что некоторые из приведенных нами гипотез бесспорно полезны как рабочие гипотезы, полезны хотя бы по одному тому, что они, так сказать, расширяют наш горизонт и побуждают к новым исследованиям.

Гораздо раньше д'Ассье, но с теми же целями, т.е. для объяснения незначительной роли, сыгранной Европой в греко-римский период истории, многие ученые полагали, что ее климат должен был бы быть в то время слишком сырым и холодным. Точные изыскания по этому вопросу были сделаны Гумбольдтом, Фраасом[xvi], Гей-Люссаком, Араго[xvii], Беккерелем[xviii], Моро де Жонесом, Дюро де Ля Малем в Европе и еще многими учеными в Америке. Вопрос, однако, не получил еще окончательного решения, и если, с одной стороны, установлено, что климатические изменения действительно имели место в истории, то, с другой — сделалось известным, что все эти изменения распространялись в слишком узких пределах. Следовательно, мы не имеем никаких оснований приписывать большие, социального характера перемены действию этих незначительных причин.

Конечно, в сравнении с быстротой исторических событий, человеческие, почвенные и климатические изменения происходят невероятно медленно. «В наше время, как и во времена Плиния, — говорит Кинэ, — гиацинт цветет в Галлии, барвинок в Иллирии, маргаритка на развалинах Нуманции[xix], как в то же время вокруг них сотни государств переменили сотни правителей и названий, тысячи городов разрушились и перестали существовать, цивилизации сталкивались и падали, а скромные и мирные поколения цветов пережили века и дожили до нас все такие же смеющиеся и свежие, как и в дни былых войн и битв...»[xx]

Говоря вообще, примеры падений исторических цивилизаций, которые без натяжки могут быть приписаны непосредственному действию геологических факторов, крайне редки. Случай с Милетом, пришедшим в упадок благодаря высыханию Латмийского залива, и подобный же случай с Пизой, потерявшей

возможность успешно конкурировать с Венецией и Генуей вследствие занесения песком ее собственной гавани, — вот наиболее характерные из известных примеров такого рода.

Если мы окинем одним общим взглядом страны и области, где родились и развивались великие цивилизации и протекала всемирная история человечества, то мы должны будем констатировать, что влияние климатических и геологических явлений существенно видоизменялось, смотря по времени воздействия.

«Известно, насколько благодетельно было влияние физико-географической среды для прогрессивного развития Европы, и можно смело утверждать, что европейцы обязаны своим первенством не творческим силам своей расы, так как родственные им народы в других странах Старого Света не проявили себя ничем замечательным. Благоприятные условия: почва, климат, форма и положение материка, словом, *благоприятная среда* — вот что послужило для возвышения европейцев и дало им возможность стать в авангарде человечества...

Но не следует забывать, что географические условия влияют в истории человечества различным образом, смотря по состоянию цивилизации, которой достигла данная нация. Так, например, та же самая река, которая составляет непобедимое препятствие для некультурного народа, становится средством сообщения у народа культурного. Та же самая гора, которая в древности была доступна только охотникам и пастухам, на высшей ступени культуры начинает привлекать промышленников и рудокопов и перестает быть преградой для сообщения народов...»[xxi]

Говоря вообще, надлежит помнить, что историческое значение очертаний и рельефа страны — это главный факт, на который надлежит обращать внимание при изучении истории... Изучая пространство, необходимо, конечно, отдавать себе отчет и о действии другого равносильного элемента — времени.

Здесь, однако, следует прибавить, что мы отнюдь не являемся защитниками теории «географического фатализма», провозглашающего наперекор фактам, что данная совокупность физико-географических условий играет и должна всюду играть одну и ту же неизменную роль. Нет, дело идет только о том, чтобы установить историческую ценность этих условий и изменчивость этой ценности в течение веков и на разных ступенях цивилизации.

В настоящей книге мне хотелось бы выяснить влияние физико-географической среды на развитие и прогресс цивилизации и попытаться найти общую синтетическую формулу, позволяющую выразить в кратких словах, не теряясь в частностях, те отношения и взаимную связь, которые существуют между определенной физико-географической средой и различными стадиями социальной эволюции, между различными периодами коллективной истории человеческого рода.

[i] Оставшееся от Латмийского залива озеро Капикерен в настоящее время находится на высоте 29 метров над уровнем моря

[ii] G. Marsch. Man and Nature... London, 1864

[iii] E. Rec1us. Nouvelle geographic universelle. Vol. IX. Paris, 1884

[iv] E. Rec1us. Nouvelle geographic universelle. Vol. IX. Paris, 1884.

[v] П.А. Кропоткин считает высыхание Азии, а также Европы и других стран естественным геологическим процессом, следствием ледникового периода. Свои взгляды по этому поводу он изложил в докладе Лондонскому географическому обществу в 1904 г. В докладе П.А. Кропоткин защищал свою теорию о постепенном высыхании Евразии и других стран земного шара, которые некогда были покрыты ледяным покровом. Эта теория высыхания земного шара проливает свет на многие геологические явления современной эпохи. — *Прим. Н.Лебедева.*

[vi] Русский географ М.Венюков поместил в августовской книге за 1886 г. журнала «Revue de Geographic» интересную статью, где он приводит результаты своих наблюдений над высыханием внутренней Азии.

[vii] «Revue Scientifique», № 26, jullet, 1879.

[viii] *Дилювиальный* период — устаревшее название плейстоценового периода четвертичной системы. Продолжался 600—700 тысяч лет и завершился примерно ,11,5 тысячи лет назад с окончанием последнего оледенения.

[ix] Мужоль в своей книге «Statique des Civilisations» пытался также объяснить развитие и ход цивилизаций по направлению от экватора к полюсам и предложил теорию, во многом сходную с взглядами д'Ассье.

[x] Мена, основатель египетской монархии, согласно мнению Манефона, жил за 5000 лет до христ. эры. Бругш думает, что эту цифру надо уменьшить до 4500 лет; Лепсиус сводит ее к 3600 годам; Мариетт устанавливает 4000—4500-летний возраст некоторых египетских надписей и статуй.

[xi] *Фен* — сухой и теплый ветер, сильный и порывистый, дующий с гор в долины. Обычно длится менее суток. Наблюдается во многих горных странах.

[xii] *Эксцентриситет* — степень удлиненности земной орбиты.

.

Чтобы представить себе это явление, мы не должны забывать, что земной шар при своем вращении вокруг Солнца делает колебательные движения, причем полюсы медленно перемещаются; благодаря таким колебаниям воображаемая земная ось, проходящая через полюсы, ежегодно поворачивается несколько в сторону, к новым областям небесного пространства. Вследствие такого постоянного изменения в направлении земной оси происходит изменение и в положении земного экватора относительно Солнца, так что с каждым годом наступление мартовского равноденствия начинается на 16 минут раньше, чем в предшествующем году. Так как земная ось неизменно поворачивается в течение длинного ряда веков, то по прошествии периода в сто пять веков условия времен года на обоих полушариях совершенно изменятся. Полушарие, получавшее прежде наибольшее количество тепла, будет получать его меньше, а то полушарие, на долю которого выпадало большее количество зимних дней, будет получать больше света и тепла, и в этом полушарии лето будет длиннее зимы. Затем, по прошествии второго периода в сто пять веков, отношение времен года снова изменится в обоих полушариях, и земная ось завершит полный круг своих колебаний, употребив на это двести десять веков. — *Прим. Н. Лебедева.*[xiii]

[xiv] Fr. Lenormant. Цит. соч.; G. Perrot et Ch. Chipiez. Histoire de Tart dans 1'antiquite. 10 vol. Paris, 1882—1903, vol. I.

[xv] Но конфуцианская хронология совершенно неприемлема; см. по этому поводу замечательную статью В.Васильева в «Истерии древних литератур» Корша.

[xvi] K. Fraas. Khma und pflanzenwelt in der Zeit. Landshut, 1847.
[xvii] D. Arago. Annales du Bareau des longitudes, 1834.
[xviii] A. Becquerel. Des climats et de 1'influence qu'exercent les sols boises et mm boises. Paris, 1853.
[xix] *Галлия* — древнее название области, занимавшей территорию современных Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии и части Нидерландов. *Иллирия* — римская провинция (П в. до н.э.—VIII в. н.э.) на Балканском полуострове. *Нуманция* — древнее иберийское укрепленное поселение на реке Дуэро в Испании. Возникло на месте более древнего поселения кельтов-ареваков. Во время Нумантийской войны (143—133 гг. до н.э.) была центром сопротивления римлянам.
[xx] E, Q u i n e t. Introduction a la Fhilosophie de 1'Histoire de 1'Humanite.
[xxi] E. Rec1us. Nouvelle geographic universelle. Vol. I. 323

Глава шестая

ВЕЛИКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

Закон трех фазисов исторического развития. — Речная эпоха. — Зарождение цивилизации на берегах великих рек — в Египте, в Халдее, в Индии и в Китае. — Морская эпоха. — Эпоха *океаническая,* или всемирная.

До сих пор достоверно неизвестно, в какой географической среде, т.е. в каких физико-географических условиях, возникла первичная цивилизация, послужившая фундаментом всемирной истории человеческого рода. Все древние народы вели свою историю с самого начала мира, и каждый из них с детской гордостью запечатлевал в своих преданиях и священных гимнах те обстоятельства, при которых появился данный народ.

Но новейшие успехи антропологических и исторических наук сильно поколебали эти традиционные воззрения, согласно которым колыбель великих цивилизаций человечества находилась в области между озером Балхаш и устьями рек Тигр и Евфрат.

При современном состоянии наших знаний Египет является, без сомнения, наиболее древней страной в смысле культуры. Однако это свидетельство не есть еще безусловная истина, а только вероятность, так как сохранение древнейших памятников в Египте обусловливается многими внешними причинами; быть может, еще ранее египетской культуры в другой какой-либо области Земли была более древняя цивилизация, памятники которой исчезли бесследно благодаря целому ряду неблагоприятных обстоятельств. Не все древние народы имели в своем распоряжении одинаково прочные строительные материалы. В самом деле, что такое халдейские кирпичи и черепицы в сравнении с каменными глыбами египетских пирамид? Затем, климат различных стран не в одинаковой степени способствует сохранению произведений человеческих рук. Наконец, известно, что у некоторых древних народов, например у индусов вплоть до буддийского периода, не было обычая возводить грандиозные здания, развалины которых поражают нас в Египте. Это отсутствие памятников эпохи, предшествовавшей буддийскому периоду Индии, нисколько, однако, не помешало Боклю — по моему мнению, несколько легкомысленно — утверждать, что культурные традиции индусов охватывают больший период времени, чем у остальных народов Азии.

Было бы крайне интересно разрешить вопрос о том, зажглись ли светочи цивилизации и культуры в одном месте, так сказать, в одном общем очаге или же различные культуры и возникли и зародились независимо и отдельно друг от друга? Существуют основания предполагать, что между Египтом и Юго-Западной Азией существовала связь еще в доисторические времена, но ни характер, ни значение этой связи еще не удалось точно определить[i]. Что касается до взаимных отношений в древности между ассиро-вавилонской цивилизацией, с одной стороны, и цивилизацией Индии и Китая, с другой, то они до сих пор не установлены. Известно, что между двумя великими западными цивилизациями (египетской и ассиро-вавилонской) и двумя восточными (индийской и китайской)

отсутствует хронологическая преемственность; между ними мы видим как бы пропасть в десять — пятнадцать столетий, что, естественно, не вяжется с гипотезой об общем происхождении культуры на земном шаре. Говоря вообще, вопрос о происхождении цивилизации на Земле один из самых темных. Утверждают, например, что халдейская цивилизация зародилась под влиянием черных кушитов, которые населяли в доисторические времена всю область от внутренней Африки до берегов Индостана; другие ученые приписывают происхождение цивилизации азиатской континентальной расе, называемой монгольской, или туранской, к которой принадлежало и племя «ста семей», пришедшее откуда-то с запада на берега Хуанхэ и положившее здесь начало китайской цивилизации. Высказывается и такое мнение, что египетские иероглифы и китайское письмо зародились из одного источника, но доказательства, приводимые в подтверждение этой теории, по моему мнению, малоубедительны.

Сходство и даже аналогичность изображений в Египте и Китае таких явлений и понятий, как, например, небо, горы, солнце, свет, день и т.п., объясняются вполне просто. Наблюдая, что дерево изображается в египетских иероглифах под видом рисунка кипариса, а в китайском письме под видом другого какого-то большого растения, или узнав, что понятие «власти» изображалось на берегах Нила в виде человека с кнутом в руке (быть может, с классическим курбачом из гиппопотамовой кожи), тогда как в Китае понятие «власти» изображалось в виде человека с бамбуковой палкой, мы еще не имеем никакого права выводить отсюда заключение, что древние египтяне и китайцы только воспроизводили заимствованное из какого-то более древнего письма условное обозначение «власти». Напротив, нам следовало бы признать, что и те и другие только находились под непосредственным внушением и воздействием действительности.

Еще очень недавно известный голландский синолог Шлегель в интересной работе об «Уранографии [описание неба] древних китайцев» стремился доказать, что астрономы древнего Востока почерпнули свои первые астрономические познания из того же источника, из которого заимствовали свои знания и древние халдейские маги. Если факты, подтверждающие это предположение, могут быть обоснованы достаточно прочно, если будет найдено средство объяснить или же свести на нет отсутствие синхронизма между моментами зарождения двух западных и двух восточных цивилизаций, то явится возможность без особенных затруднений принять гипотезу о существовании в весьма отдаленное от нас время в Центральной Азии единого очага цивилизации, осветившего древний мир на запад вплоть до Ливийской пустыни и на восток — до берегов Великого океана.

Наиболее древней китайской легендой, в которой говорится о сношении китайцев с западными народами, следует считать легенду о принце или короле Му-Ванге, отправившемся на быстром скакуне посетить «мать западных царей», обитавшую в горах Куэнь-Лунь. Официальная и столь малодостоверная хронология Небесной империи относит эту более или менее баснословную поездку к довольно скромной исторической дате: именно она утверждает, что это случилось приблизительно за тысячу лет до христианской эры[ii], т.е. к периоду, когда цивилизации Африки и Западной Азии уже процветали в странах, соседних со Средиземным морем.

Сношения Индии с Западной Азией имели место в еще более близкие к нам времена; история не сохранила никаких следов сношений Индии с Западной Азией до эпохи первого вторжения в Индию Салманасара[iii] в IX веке до начала нашей эры[iv]. Только начиная с этой эпохи на ассиро-вавилонских памятниках начинают попадаться изображения слонов и носорогов, как известно не встречающихся ни в Египте, ни в Месопотамии, но зато вполне характерных для Индии.

Если теперь, оставив в стороне неразрешимый в настоящее время вопрос о происхождении цивилизации, мы попробуем охватить одним общим взглядом всю историю человечества, начиная с эпохи легендарного основателя египетского царства Менеса, то мы легко можем наметить в ней три последовательных периода, или три фазиса, развития цивилизации, которые протекали каждый в своей собственной географической среде.

Четыре древнейшие великие культуры все зародились и развились на берегах больших рек. Хуанхэ и Янцзы орошают местность, где возникла и выросла китайская цивилизация; индийская, или ведийская, культура не выходила за пределы бассейнов Инда и Ганга; ассиро-вавилонская цивилизация зародилась на берегах Тигра и Евфрата — двух жизненных артерий Месопотамской долины; наконец, Древний Египет был, как это утверждал еще Геродот, «даром» или «созданием» Нила.

По прошествии многих веков поток цивилизации спустился по берегам рек к морю и распространился по его побережью. Так наступила вторая эпоха в истории развития цивилизации, которую можно назвать морской эпохой, или средиземноморской, так как цивилизация охватила главным образом берега этого внутреннего морского бассейна, расположенного между Африкой, Азией и Европой. Начало этому второму периоду положили финикийцы, которые еще за десять веков до начала нашей эры основали многочисленные города на берегах Средиземного моря. Финикийцы колонизовали острова Средиземного моря и усеяли своими богатыми факториями берега Северной Африки. Между прочим, они основали Великий Лептис, Гадрумет, обе колонии Гиппо; они выходили на своих кораблях за Геркулесовы столбы (Гибралтар), основали на берегу Атлантики колонию Гадес (Кадис) и, по всей вероятности, бывали даже на Канарских островах[v].

Карфаген, что значит «Новый город» — Новгород, будучи основан приблизительно за восемьсот лет до начала нашей эры, почти тотчас же сделался наиболее деятельным очагом новой цивилизации, носящей ясно выраженный средиземноморский характер. Всем известна заслуга финикийцев в области мореходства, однако главная заслуга финикийских федераций перед человечеством заключается в том, что они передали в руки греков и народов Италийского полуострова священный светоч цивилизации, взятый ими у египтян и ассиро-вавилонян[vi].

Прованс и Иберийский полуостров также до некоторой степени подверглись прямому культивирующему влиянию Финикии и Карфагена, но зажили исторической жизнью гораздо позднее, после покорения этих стран римлянами.

Вступление на историческую арену финикийских федераций было началом для западного мира новой великой цивилизации международного характера, носившей черты морской культуры, совершенно отличной от древних

цивилизаций, бывших изолированными друг от друга и имевших речной характер. Финикия, Греция и Рим — вот главные представители этой новой фазы цивилизации.

Период упадка настал для Греции только через шесть веков после начала этой фазы, а для римской цивилизации и вообще народов, расселившихся по берегам Средиземного моря, даже несколько позднее. Но этот упадок имел относительный характер; Эрнест Ренан убедительно доказал, что наука и искусство греков главенствовали в Европе и оказывали влияние на европейскую культуру вплоть до падения Византийской империи. В эпоху Возрождения, и даже позднее, в Италии сохранились многочисленные остатки прежнего величия Греции, католический Рим вырос из пепла пожарища, зажженного варварами, и на заре нового исторического периода городские республики Апеннинского полуострова еще продолжали жить традициями классических олигархий эпохи владычества финикийцев.

Одна особенно яркая черта, по моему мнению, характеризует этот второй период развития цивилизации: отныне отдельные народы и нации могли исчезать с исторической арены, могли умирать, как это случилось с древними египтянами и самими финикийцами, но светоч всемирной цивилизации от этого не угасает и, разгораясь все ярче и ярче, преемственно передается одним народом другому.

После разрушения Серапеума и уничтожения Александрийской библиотеки христианскими монахами[vii], после убийства знаменитой женщины древнего мира — математички и философа Гипатии — и установления папской теократии в Риме и теократии патриархов на востоке дух аскетизма, казалось, почти погасил свет цивилизации и погрузил средиземноморский мир в мрак варварства и невежества[viii].

Но в наиболее опасный момент семиты. Передней Азии еще раз явились на помощь арийской Европе; арабы, обращенные в ислам, тесня перед собою ливийцев и берберов, прошли победителями весь африканский берег Средиземного моря и основали на Иберийском полуострове Мавританское государство, послужившее для всей Европы в то время единственным убежищем философской мысли, науки, искусств и промышленности.

Средиземноморский период всемирной истории охватывает не только те народы, которые сгруппировались на берегах обширного Средиземного моря, расположенного между Европой и Африкой и представляющего наиболее удачный образец внутреннего бассейна, но цивилизация в этот период распространяется и по берегам других «средиземных» морей. В этот период развития цивилизации культура снова расцветает и на берегах Персидского залива. В эпоху расцвета цивилизации в бассейне Средиземного моря древние города Багдад и Бассора [Басра] сделались одними из главных центров того великого движения, главным результатом которого было магометанское движение арабских кочевников на запад. Когда знаменитый эл-Тарик переправился через пролив, носящий в настоящее время его имя (Гибралтар — пролив эл-Тарика), он положил основание Мавританскому государству на Иберийском полуострове и вместе с тем передал европейской средиземноморской цивилизации дар от ее скромной соперницы на Востоке. Крестовыми походами, этим колоссальным народным движением, христианский Запад отплатил Востоку и в свою очередь перенес в Азию элементы

европейской цивилизации, но ни одно из основанных в это время в Леванте «франкских» государств не имело столь славной истории, как мусульманские государства Валенсии, Гранады и Кордовы.

Географически континентальная Бвропа соприкасается со Средиземным морем лишь берегами Прованса, и замечательно, что ей пришлось выступить во втором периоде развития всемирной цивилизации именно благодаря латинскому влиянию на ту область Галлии, которая прилегает к побережью Средиземного моря. Вплоть до эпохи средних веков народы континентальной Европы выступают на исторической арене лишь как члены или враги Римской империи; и даже в средние века они живут исторической жизнью лишь постольку, поскольку им удалось спасти при крушении древнего мира те культурные ценности, которые они приобрели у Рима и Греции; культ их носит греко-семитический характер, а их государственное устройство отмечено элементом цесаризма. Их наука арабского или еврейского происхождения, а искусство — византийского. Только одна архитектура составляет в этом отношении исключение[ix].

Но континентальная Европа, сделавшаяся благодаря перемещению оси цивилизации центром культурного мира, которого она еще недавно была только частью, обладала также и своими внутренними морями, которые и дали новое направление всемирной цивилизации в ее европейскую фазу. С внутренними европейскими морями, находящимися на севере, освещенными не столь ярким солнцем, как южные моря, с их большими притоками — Рейном, Сеной, Дунаем и т.д. — соединено все, что наши средние века знают свежего, самобытного, свободного.

На берегах Северного моря в этот момент не замедлили образоваться второстепенные цивилизации Англии, рейнской дельты, Дании, а на Балтийском море — Швеции, Ливонии, России. На большом континентальном пути, соединяющем Балтику с Черным морем, вырастают республики: Польша, Литва, Украина.

Средние века в Европе и в Передней Азии представляются нам просто как эпизод огромного исторического периода развития цивилизации, который начался с эпохи основания финикийских федераций. На Дальнем Востоке дело сложилось несколько иначе: там арио-индийская цивилизация, будучи надолго задержана в своем развитии на многочисленных притоках двух великих рек полуострова Индостан, только с большим трудом пробилась к внутреннему морскому бассейну, притом сравнительно небольшому и открывавшему пути лишь к Малайскому архипелагу и Индокитаю.

В свою очередь китайцы вынуждены были научиться регулировать капризное течение рек Хуанхэ и Янцзы раньше, чем распространить сферу своего влияния на побережье Желтого, Кохинхинского [Восточно-Китайского] или Тонкинского [Южно-Китайского] морей. Во время I этого поступательного движения китайцам приходилось одерживать мирные победы не столько над соседними, менее культурными народами, которых они, так сказать, впитывали в себя, подвигаясь к тропику Рака и к океану, сколько над участками пахотной плодородной земли, находившимися в бассейнах Голубой и Желтой рек.

Всякая большая река впадает в море. Всякая речная цивилизация, т.е. цивилизация, развившаяся на берегах больших рек, должна рано или поздно

погибнуть: или быть поглощенной в широком потоке, или развиться в более обширную, морскую цивилизацию. Город Александрия не замедлил возникнуть у устья Нила, как только почва для его возникновения оказалась достаточно подготовленной и соседние нации стали иметь возможность заняться мирной, упорядоченной работой. Однако уже истощенный народ бывает иногда не в состоянии победоносно пройти эту новую стадию развития; он может уже не обладать достаточным запасом энергии и жизненности, и центр цивилизации переходит в другую область. Так было и в данном случае: Александрии не суждено было сделаться центром морской египетской цивилизации; она не была даже чисто египетским городом; главными хозяевами Александрии были греки; энергии египтян хватило лишь на исполнение части мировой культурной задачи.

Цивилизации, возникшие на берегах великих исторических рек, могли быть только первобытными, изолированными и отличными друг от друга, и, наоборот, когда цивилизации распространялись с берегов рек на побережья морей, они становились способными к распространению, к дальнейшему развитию и постепенно охватывали целый ряд народов, приобретая международный характер. Способность цивилизации к передаче и распространению, весьма уже развитая при начале средиземноморского периода, идет все более и более увеличиваясь, по мере того как она переходит с побережьев внутренних морей на берега океана.

Но всякий океан, в особенности Атлантический, есть не что иное, как более обширное внутреннее междуматериковое море. Всякое внутреннее море является океаном в миниатюре. Хотя вообще все исторические подразделения имеют чисто условный и относительный характер, тем не менее установился более или менее освященный веками обычай устанавливать границу между средними веками и новым временем: демаркационной линией этих двух исторических периодов является, как известно, открытие Нового Света Христофором Колумбом. Это событие является одним из величайших в истории человечества. Результатом этого открытия явилось быстрое падение средиземноморских наций и государств и соответственный быстрый рост стран, расположенных на побережье Атлантического океана, т.е. Португалии, Испании, Франции, Англии и Нидерландов. Народы этих стран не замедлили воспользоваться географическими выгодами своих стран, и центры цивилизации переместились с берегов Средиземного моря на берега Атлантического океана. Константинополь, Венеция и Генуя потеряли свое значение, и во главе культурного движения стали Лиссабон, Париж, Лондон и Амстердам.

Этот новый и последний период всемирной истории, период цивилизации *океанической*, молод сравнительно с двумя предшествующими периодами цивилизации: *речным и средиземноморским*. Но тем не менее в этом периоде мы уже можем установить некоторые подразделения. С момента наступления новых веков и вплоть до второй половины XIX столетия из всех пяти океанов, омывающих нашу Землю, один только Атлантический океан служил главной ареной развития цивилизации. Но за последние тридцать лет[x] дело обстоит несколько иначе: быстрый экономический прогресс Калифорнии и Австралии, открытие портов Китая и Японии для международного обмена, большое развитие китайской эмиграции, распространение русского влияния на Маньчжурию и Корею окончательно присоединили Тихий океан к области мировой цивилизации.

Тем не менее я не нахожу возможным дать название этому второму периоду современной истории периода тихоокеанического, так как подобное название слишком неудачно выражало бы наиболее характерную черту совершающегося у нас на глазах развития цивилизации. Победа Великого океана над Атлантическим не означает еще того, что Атлантика перестает играть какую бы то ни было более или менее значительную роль, как это произошло при победе Атлантики над Средиземным морем.

Наоборот, характерной чертой современного исторического периода является то, что благодаря прорытию Суэцкого канала[xi] Атлантический и Великий океаны как бы сблизились друг с другом и, кроме того, лежащий между ними Индийский океан преобразуется как бы в большое внутреннее море. Индийский океан приобретает в наше время все большее и большее значение. Наконец, новейшие путешествия Норденшельда вдоль северных берегов Сибири и восточных берегов Азии[xii] показывают, что культурная ценность Северного Полярного океана отнюдь не равняется нулю, как это полагали раньше. Кто знает также, какое будущее хранит история для Антарктического океана, до сих пор остающегося вне общего потока цивилизации?

Капризное на первый взгляд и случайное передвижение центра цивилизации из одной страны в другую в разные эпохи, изменение в течение истории культурной ценности различных географических областей в действительности представляются явлениями строго закономерными и подчиненными порядку. Географическая среда эволюционирует во времени, она расширяется вместе с прогрессом цивилизации. Ограниченная в начале исторического периода не особенно обширными бассейнами больших рек, уже названных мною, эта среда в известный момент охватывает побережья внутренних морей, а затем распространяется на океаны, охватывая мало-помалу все обитаемые области земного шара.

Германский ученый Бёттигер в своем большом труде о Средиземном море первым высказал эту идею[xiii]; в предисловии к этому труду он говорит: «Средиземное море послужило той переходной географической средой, где произошел переход древних речных цивилизаций, речного культурного мира, представителями которого и до сих пор являются Китай и Индия[xiv], к океаническому периоду наших дней». Таким образом, продолжает он, географическая среда, в которой развивается цивилизация — речная, средиземноморская и океаническая, — имеет своим характерным признаком воду; вода оказывается животворящим и оживляющим элементом не только в природе, но и истинной двигательной силой в истории (die eigentliche ugkraft in der Weltgeschichte). Не только в области геологических явлений и в мире растений, но и в истории животных и человека вода является силой, побуждающей цивилизацию развиваться и переходить из области речных бассейнов и долин на берега морей и океанов.

Подводя итоги всему сказанному выше, мы можем разделить всю историю человечества на следующие периоды.

I. *Древние века, речной* период. Он охватывает собою историю четырех великих цивилизаций древности — Египта, Месопотамии, Индии и Китая, — возникших в бассейнах великих рек. История этих четырех цивилизаций не

синхронистична: восточная группа (Индия и Китай) с самого начала своего возникновения несколько запаздывает в своем развитии сравнительно с двумя западными цивилизациями (Ассиро-Вавилония и Египет). При дальнейшем подразделении, которое мною будет сделано, я имел в виду исключительно эти две последние цивилизации, которые, развившись в более благоприятных географических условиях, перешли сравнительно быстро в фазу морской цивилизации и оказали большое влияние на Европу и европейские народы. В периоде древних речных цивилизаций можно различить две эпохи:

1) эпоха *изолированных народов*, завершающаяся к XVIII веку до начала нашей эры[xv];

2) эпоха первоначальных международных сношений и сближений народов, начинающаяся первыми войнами Египта и Ассиро-Вавилонии и заканчивающаяся вступлением на историческую арену пунических (финикийских) федераций приблизительно около 800 года до начала христианской эры.

II. *Средние века, средиземноморский период*. Этот период охватывает двадцать пять веков, с основания Карфагена до Карла Великого, и подразделяется в свою очередь на две следующие эпохи:

1) эпоха Средиземного моря, во времена которой главные очаги культуры одновременно или поочередно представлены крупными олигархическими государствами Финикии, Карфагена, Греции и, наконец, Рима при цезарях, вплоть до Константина Великого;

2) эпоха морская, начинающаяся со времени основания Византии (Константинополя), когда в орбиту цивилизации втягиваются Черное море, а затем Балтийское. Эта эпоха охватывает собою весь период средних веков.

III. *Новое время, или период океанический*, характеризующийся заметным перевесом западноевропейских государств, лежащих на побережье Атлантики. Этот третий период развития цивилизации, несмотря на свою молодость по сравнению с двумя предыдущими[xvi], может быть разделен также на две эпохи:

1) *атлантическая эпоха* от открытия Америки до момента «золотой лихорадки» в Калифорнии и Аляске, широкого развития английского влияния в Австралии, русской колонизации берегов Амура и открытия для европейцев портов Китая и Японии;

2) *всемирная эпоха*, едва только зарождающаяся в наши дни[xvii].

Это разделение человеческой истории, представляющей в действительности единый процесс, вполне соответствует также и трем последовательным фазисам социальной эволюции, и трем восходящим ступеням органической эволюции в природе.

Главная задача настоящей книги и заключается в том, чтобы выяснить и отыскать естественные, но часто таинственные пути, при помощи которых различная физико-географическая среда оказывает влияние на судьбы народов, предоставляя некоторым из них верховенство над другими народами. Проблема, поставленная нами, слишком обширна, чтобы ее можно было разрешить силами одного только человека и в одной небольшой книге. Вследствие этого в настоящем произведении я ограничусь лишь рассмотрением вопроса о развитии первоначальной цивилизации в речных бассейнах, которые я уже называл много раз на предыдущих страницах.

С первых проблесков зари исторических времен эти реки (Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Хуанхэ и Янцзы) наложили на жителей, населявших берега этих рек, своего рода ярмо исторической необходимости: народы, обитавшие в бассейнах названных рек, самими физико-географическими условиями были сразу прочно привязаны, как пленники к колеснице Джаггернаута[xviii], к цивилизации и прогрессу.

[i] Египетская мифология с ее культом Осириса имеет общую почву с мифологией Сирии и Месопотамии

[ii] См. цитированную уже статью Васильева

[iii] Ch. Lassen. Indische Alterthumskunde. Bd. IV. Leipzig, 1874

[iv] Имеется в виду ассирийский царь *Салманасар III*, правивший с 859 по 825 (824) г. до н.э., совершавший военные походы в Мидию и Урарту и обложивший данью финикийских торговцев и Израильское царство

[v] По мнению Авезака (P. A v e z a c. Les lies africaines), Тенерифе некогда в глазах финикийцев был последним из Геркулесовых столбов. Страбон рассказывает, что финикийцам были даже знакомы и Азорские острова. В описании путешествия вокруг Африки карфагенянина Ганнона действительно упоминается о каком-то острове, откуда неслось благоухание и над которым высилась громадная гора, но возможно, что эти горы были пик Камеруна, так как Ганнон упоминает о встреченных гориллах и шимпанзе, которые уже не встречаются севернее Гвинейского залива

[vi] Основываясь на немногих остатках финикийского искусства, некоторые ученые утверждают, что в развитии Финикии играла роль только ассиро-вавилонская цивилизация и что роль Египта в этом отношении была равна почти нулю. Но зато другое бессмертное создание финикийского гения — изобретение алфавита — есть не что иное, как видоизменение египетских письмен для выражения звуков других языков. По моему мнению, влияние Египта на народы Греции и Италии передалось главным образом через финикийцев, тогда как ассиро-вавилонские влияния [непосредственно] проникли в Грецию

[vii] В 391 г. христианами-фанатиками в Александрии был разрушен *храм Сераписа (Серапеум)*, где размещалась большая часть Александрийской библиотеки. Остатки библиотеки исчезли в VII—VIII вв. во время господства в Египте арабов

[viii] J. Draper. Les conflits de la science et de la religion. Paris, 1875; V. Duruy. Histoire des Romaines... Vol. V. Paris, 1880

[ix] E. Havet. Le Christianisme et ses origines. Paris, 1884. Но мне кажется, что автор этого переводного труда несколько преувеличивает ту долю вклада еврейского народа, которую он внес в христианство, и не указывает на средиземноморское происхождение христианской религии. Различные секты гностиков, возникновение которых считается более поздним, чем христианство, были, скорее, остатками средиземноморского мистицизма, сопротивление которому оказывалось со стороны только евреев, но вместе с Филоном Александрийским евреи-христиане были также увлечены общим течением. Проповеди и «деяния» апостолов были не чем иным, как рядом попыток эллинизации еврейской религии и попыток ввести идеи эллинского мира в иерусалимскую синагогу. Интересно заметить, что слово

Chreiste (Хреист), греческий перевод египетского слова Oun-Ouphr, является одним из имен Сераписа. *Krystos* александрийских философов и *Христос* евангелистов смешиваются до такой степени, что совершенно невозможно установить долю каждого из них в образовании христианского учения. Император Адриан в своем знаменитом письме из Александрии определенно говорит, что поклонники Сераписа называют себя *христианами*

[x] писано в 1888 г

[xi] *Суэцкий канал* был открыт в 1869 г

[xii] Имеется в виду самое известное путешествие Норденшельда на пароходе «Вега» в 1878—1879 гг. — из Атлантики вдоль северных берегов Евразии в Тихий океан (с зимовкой).

[xiii] C. Bottiger. Das Mittelmeer. Leipzig, 1859

[xiv] Ученый автор, по моему мнению, недостаточно ценит роль Индии и Китая в истории человечества. Мы увидим ниже, что Индия, например, представляет собою пример подлинно великой цивилизации, «недоношенной», однако, в силу неблагоприятных особенностей своей географической среды. Наоборот, Китай, хотя и следующий с большим опозданием за общим культурным течением", тем не менее перешел границу, отделяющую первый период (речной) человеческой истории от второго, или средиземноморского, и в настоящее время находится у порога океанического периода. Вообще закон трехчленного географического развития имеет гораздо более общее значение, чем это предполагает Бёттигер

[xv] G. Maspero. Цит. соч

[xvi] Геологические периоды, точно так же как и периоды социально-географические, становятся короче, по мере того как мы удаляемся от первобытных времен

[xvii] Эта эпоха цивилизации, в которую сейчас вступает человечество, более всего заслуживает наименование интернациональной, так как *интернационализм*, международное общение народов и международное объединение трудящихся являются наиболее характерными фактами для нашего времени. — Прим. Н.Лебедева

[xviii] *Джаггернаут* (Джагганатха) — одно из воплощений (аватар) бога Вишну. Поклоняющиеся Джагганатхе бросаются под его колесницу, считая за счастье погибнуть под нею

Глава седьмая

ОБЛАСТЬ РЕЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Термические условия развития первобытной цивилизации. — Превосходство Запада над Востоком в древности объясняется естественными географическими преимуществами первого. — Зона высохших морей (han=hai). — Территория древних речных цивилизаций могла быть населена только взаимно солидарными и строго дисциплинированными племенами. — Характер природы речных областей с самого начала цивилизации налагал на население под страхом общей гибели иго жестокого деспотизма.

Те части Старого Света, где протекал речной период всемирной истории, представляют собою нечто целостное и единое, хотя и не совпадают с обычно принятыми географическими делениями Старого Света на три части — Европу, Азию и Африку. Три великие цивилизации древности зародились и выросли на азиатской почве, колыбель четвертой находится в области, обычно причисляемой к Африке[i].

Область речных цивилизаций ограничена на севере громадной цепью высоких гор и возвышенных плоскогорий, протянувшихся от архипелага Эгейского моря и составляющих своего рода «диафрагму» Старого Света, которая является естественной границей между севером и югом. Направление этой границы может быть более или менее точно определено 40 градусом северной широты. Южная граница этой области почти совпадает с тропиком Рака.

Заключающийся между этими двумя линиями огромный четырехугольник занимает в ширину всего шестнадцать градусов, тогда как в длину он простирается от 25 градуса восточной долготы (по Парижскому меридиану)[ii] почти на сто градусов, т. е. от цепи Ливийских гор на западе до берегов Желтого моря на востоке.

Параллель 30 градуса северной широты составляет как бы среднюю ось этого параллелограмма и вместе с тем проходит вдоль каждой из древних речных культур или же пересекает их. Три древние речные цивилизации, именно египетская, ассиро-вавилонская и индийская, во всем своем объеме заключены между средними годовыми изотермами в +20° и +26°. Китайская цивилизация на севере выходит за пределы этих изотерм и достигает изотермы в +15°. Речные цивилизации могут быть, таким образом, сравнимы со стойкими растениями, процветающими при разных термических условиях, колебания которых доходят более чем до десяти градусов.

Разделим огромную область речных цивилизаций воображаемой линией, выходящей из горного массива Гиндукуш на 65 градусе восточной долготы (по Парижскому меридиану), и проведем эту линию на юг, к заливу Кач, по гребню самой высокой из цепей Сулейман-Дага. Этот горный массив, поднятый самой природой между цивилизациями крайнего Востока и цивилизациями Передней Азии, является одним из наиболее пустынных мест на всем земном шаре. Элизе Реклю, описывая эти горы, говорит: «Наиболее знаменитая группа Соломоновых гор (Сулейман-Дага) носит специальное название трона царя Соломона (Takht-i-Souleiman)... Северная вершина этих гор особенно высока (3444 метра) и известна

тем, что на ней, по преданию, остановился Ноев ковчег. Легенда прибавляет, что пещера, высеченная в каменной скале, и куча камней, считаемая развалинами храма, представляют собою трон, на котором восседал царь Соломон, обозревая неизмеримые земные пространства. С высоты этих гор, — прибавляет Реклю, — какой-нибудь титан с орлиным зрением был бы в состоянии увидеть направо и налево от себя два совершенно обособленных исторических мира, столь различающихся по своему характеру, именно Запад и Восток»[iii].

Отгораживая полуостров Индостан от Передней Азии, Соломоновы горы тем не менее не защищали его от нападения завоевателей, являющихся с запада или с северо-запада. «Возьмите какую угодно эпоху истории, — говорит один английский ученый, — и вы увидите, что обладание или стремление захватить Индию всегда были для всех народов вопросами величайшей важности»[iv]. Наоборот, даже во времена самого пламенного расцвета буддийского прозелитизма в Индии нельзя было констатировать каких-либо попыток движения на запад.

На запад от хребта Гиндукуш, в наиболее возвышенной части горного массива Ко-и-баба (Отец гор), поднимающегося почти на 5000 метров над уровнем моря, берет свое начало река Кундуз, впадающая в Амударью (древний Оке) невдалеке от старинной Бактрии. Эта река вырыла для себя извилистое и длинное ущелье, известное в истории под именем Бамиан[v]. К югу от так называемого индийского Кавказа долина реки Кабул образовывает несколько проходов к Инду. Самый знаменитый из них, Хайбер, был хорошо известен буддийским миссионерам. Этим же проходом пользовались Магомет Газневидский, Бабер (Великий Могол), Акбар, Надир, Ахмет-шах и, наконец, английские генералы. Горный проход, по которому проник в Индию Александр Македонский и, как кажется, следовали первые завоеватели Индии, проходит к северу от реки Кабул, в стране Юсуф-Заи. В настоящее время англичане выстроили там железную дорогу, начинающуюся от Лагора [Лахор] и Реваль-Пинда [Равалпинди], проходящую мимо Аттока и соединяющуюся с рекой Кабул у самого входа в ущелье недалеко от Пешавара.

Далее к югу ущелья, пересекающие южные выступы Соломонова Трона, открывают также сравнительно легкий доступ со стороны Кандагара к реке Инд через горный проход Болан. Проходящая здесь английская железная дорога, выходя из Шикарпура, пересекает пустыню Кач-и-Гандава на запад от великой реки, поднимаясь затем на плоскогорье. «Начиная со времен седой древности, — писал в 1602 году историк Акбар, — на Кабул и Кандагар смотрели как на двери Индостана: через первый возможен доступ из Турана, через второй — из Ирана». За обладание этими воротами в Индию, этими ключами богатейшей страны, и шла вековая борьба между мировыми завоевателями, стремившимися к созданию «мировой империи» и желавшими господствовать сразу и над Востоком и над Западом.

Жестокая кровавая борьба за овладение Востоком относится, однако, далеко не к первобытной эпохе. В период расцвета великих речных цивилизаций благодаря двум названным высоким горным хребтам — Гиндукушу и Сулейман-Дагу — Запад и Восток составляли еще два обособленных мира, имевших каждый свои особые судьбы, вследствие чего их и надлежит изучать отдельно.

Правда, обширные территории, на которых развивались речные цивилизации Востока и Запада, представляют некоторые аналогии и сходства в строении своей поверхности. Но верно и то, что каждая из этих областей состоит из двух частей, имеющих настолько различный друг от друга характер, что каждую из этих частей можно было бы сравнить с островом, игравшим свою специальную роль. Направо от намеченной нами линии, т.е. от Соломоновых гор, расположены Китай и Индия, а налево — Египет и Тигро-Евфратская долина со своим естественным дополнением — Ираном. В каждой из этих двух половин восточная часть, т.е. Китай, с одной стороны, и Ассиро-Вавилония — с другой, имеет более умеренный и холодный климат, чем половины западные, т.е. на Востоке — Индия, а на Западе — Египет. Для восточной половины центр цивилизации находится в умеренном поясе и расположен к северу от 30-й параллели, на Западе он приближается к жаркому поясу и переходит за 30-ю параллель к югу.

Если до сих пор еще нельзя утвердительно и с полной уверенностью сказать, что южные цивилизации, т.е. египетская и индийская, возникли и созрели раньше, чем цивилизации Китая и Ассиро-Вавилонии, зато вне всякого сомнения находится факт их более раннего падения. Более теплые очаги цивилизации, Египет и Индия, отмечены более резкой чертой изолированности, чем более умеренные области Китая и Месопотамии. Действительно, Египет представляет собою оазис среди обширной пустыни; Индия образует большой треугольник, отделенный от остальной Азии высочайшими горами. Наоборот, Древний Китай и Месопотамия воздействуют на соседние с ними области и на населяющие их народы так, что рано или поздно приобщают их к себе.

Кроме этого отличия, разница между Востоком и Западом существует еще во многих отношениях. Так, например, разница изотерм (линий средних годовых температур) между Египтом и Месопотамией равна всего только четырем градусам, тогда как на Востоке разница между западной половиной (Пенджаб) и восточной (долина Желтой реки) составляет уже двенадцать градусов. Сверх того, изолированность каждой из двух восточных цивилизаций гораздо сильнее, чем на Западе. Недоступные хребты Гималайских гор и Тибета, расположенные на востоке и северо-востоке Индии, вполне отрезывают Китай от Индии, между тем как на Западе Египет и Месопотамия связаны между собою Синайским полуостровом.

В эпоху нашествия гиксов[vi], а может быть, и раньше, но, во всяком случае, не позднее, чем за двадцать веков до начала нашей эры, уже можно было констатировать первые сближения между Египтом и семитическим миром[vii]. Индия и Китай, напротив, не знали друг друга вплоть до сравнительно недавних времен буддийской пропаганды. Когда наконец и им удалось перейти через свои границы, то встреча произошла на чужой почве, на крайнем юго-востоке Азии, населенном бирманцами, аннамитами, малайцами, сиамцами. Эта область во многих отношениях чрезвычайно соответствует своему названию Индокитай, так как народы этой области заимствовали от арийской Индии религию и большую часть искусств, а от китайцев — свое политическое устройство и литературу.

Для того чтобы понять ту роль, какую сыграл в развитии восточных цивилизаций непроходимый горный барьер между бассейном Ганга с одной стороны и великими речными бассейнами Небесной империи с другой, достаточно привести следующий факт: в этом гигантском, почти совершенно неисследованном

горном массиве на незначительном расстоянии от очагов цивилизаций, насчитывающих тысячелетия своего существования, живут совершенно дикие племена, называемые китайцами «западными варварами»; эти племена остались совершенно незатронутыми ни цивилизацией Китая, ни цивилизацией Индии, хотя, как мы сказали, очаги этих культур и находились сравнительно близко.

Морские воды, омывающие полуостров Индостан, еще резче увеличивают его изолированность. Бенгальский залив благодаря циклонам, многочисленным мелям, непостоянности его течений представляет одно из самых негостеприимных мест на Земле. Малабарский берег имеет также многочисленные неудобства, а небольшое Оманское море настолько непригодно для плавания, что прибрежные рыбаки пользуются при плавании по этому морю судами, снабженными плавучими противовесами и вследствие этого не могущими опрокинуться; но с этими противовесами нельзя совершать далекие плавания. Наименование пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном — Баб-эль-Мандеб (Ворота погибели), — является доказательством того страха, который охватывал арабских мореплавателей средних веков, которые по своей смелости и отваге были несравнимы с потомками ведийских индусов.

Приведенных фактов вполне достаточно, чтобы понять отсутствие синхронизма между цивилизациями древних народов. Если бы даже ученые сумели доказать, что четыре древние цивилизации не зародились самостоятельно и независимо друг от друга в тех странах, где они развились, если бы был даже установлен факт происхождения этих цивилизаций от одного общего корня, то и тогда период созревания и роста цивилизации мог бы быть неодинаков для различных стран и ее последовательное развитие могло бы идти более или менее быстрым темпом соответственно физико-географическим условиям данной страны.

За четыре тысячи лет до начала нашей эры, т.е. почти шесть тысяч лет тому назад, Египет обладал памятниками[viii], бывшими уже древними для современников основателей Мемфиса; в эпоху первых фараонов эти памятники приходилось уже реставрировать. Если в Халдее не осталось следов столь седой древности, то, во всяком случае, успехи современной ассирологии стремятся отодвинуть момент зарождения цивилизации на берегах Евфрата дальше в глубь веков.

В Китае, наоборот, самые преувеличенные вычисления летописей Небесной империи не захватывают эпохи более древней, чем XXII или XXIII века до начала христианской эры. Что касается цивилизации, зародившейся в арийском обществе Пенджаба, то здесь мы находимся совершенно в потемках. Известно лишь, что законы Ману (XI век до начала нашей эры) рисуют нам в Индии столь же архаический строй, какой был в Египте во времена первых фараонов первых мемфисских династий. Говоря вообще, с самого начала исторических времен движение цивилизации на Востоке сравнительно с Западом следует со значительным опозданием, и это запаздывание, являющееся, несомненно, результатом физико-географических особенностей Востока, проявляется еще и до сих пор.

Если мы попытаемся проследить установление первых торговых связей Индии с другими цивилизованными странами, то мы легко заметим, что инициатива этих сношений всегда исходила от народов Запада: в X веке до Р.Х. финикийцы по поручению египетских фараонов, а иногда и за счет еврейских

царей первыми проникли в моря крайнего Востока. Глава одиннадцатая первой книги Царств (в Библии) сообщает нам интересные подробности о флоте, снаряженном Соломоном в «Азиангабер, находящийся вблизи Элата, в Эдольской стране, на берегу Красного моря». «Хирам послал и своих людей, опытных в море, на кораблях этого флота, чтобы помочь людям Соломона. Все они вместе прибыли в Офир, взяли там четыреста двадцать талантов золота и отвезли его царю Соломону». Первая глава той же книги рассказывает, что «корабли Хирама, доставлявшие золото Соломону, однажды привезли множество драгоценных камней и благовонного дерева. И из этого дерева царь повелел сделать балюстрады для храма и царского дворца и арфы и тимпаны для певцов. До того времени никто никогда не доставлял такого дерева в Палестину и никто из жителей не видел ничего подобного». С тех пор финикийские экспедиции, покровительствуемые Соломоном и тирским царем Хирамом, стали снаряжаться регулярным образом. «Через каждые три года корабли поднимали паруса и направлялись в Тарзис, где нагружались золотом, серебром, слоновой костью, обезьянами и павлинами». Книга Паралипоменон указывает даже, что портом, в котором по преимуществу организовывались такие экспедиции, был Азиангабер[ix].

Историки и географы много спорили о местонахождении таинственного Офира, откуда еврейские цари вывозили золото и другие сокровища; некоторые ученые предполагают, что Офир должен был бы находиться в Африке, другие помещают его в Азии. Корабли, выходя из Азиангабера, могли заходить в гавань на африканском побережье и там запасаться слоновой костью, но золото, серебро, драгоценные камни в то время добывались только в Индии. Любопытная подробность — упоминание о благовонном дереве заставляет полагать, что это было сандаловое дерево, вывозимое из Океании[x]. Но могли ли смелые моряки сирийского побережья, хотя бы в виде исключения, доходить до стран, столь отдаленных? Конечно, утвердительно ответить на этот вопрос невозможно; быть может, финикийцы получали это дерево в какой-либо гавани Индокитая от малайских мореплавателей, этих финикийцев Индийского океана, долгое время властно державших в своих руках все торговые сношения Индии с жителями юго-восточных бергов Азии[xi].

Инертная и пассивная роль, какую играла Индия в истории с самых древних времен, всецело обусловливается неблагоприятным географическим положением Индии, эти условия вызывали лишь угнетение и деспотизм. В противоположность Индии Запад никогда уже не выпускал из своих рук влияние, которое он сумел захватить на Востоке при посредстве финикийцев, с большим искусством пользовавшихся выгодным географическим положением их стран. Позднее от финикийцев узнали морскую дорогу в опасные воды Индийского океана и Тонкинского [Южно-Китайского] моря и греки. Изучение описания одной морской экспедиции приблизительно в I веке христианской эры дало полковнику Юлю[xii] основание определить приблизительное направление путей, по которым в эпоху римских цезарей греческие мореплаватели ходили из Эритрейского [Красного] моря до морей Теин (омывающих китайские берега). Столетие спустя Клавдий Птолемей уже ясно различает страну Теину, или Sinae, т.е. Китай, достигнуть которого можно по морю, от страны Серее, т.е. от континентального Китая, посылавшего шелк и шелковые ткани в Рим сухопутным путем через Бактрию.

В то время как проникновение Запада в отсталый Восток, развиваясь все шире, продолжается и в наше время, Индия и Китай в течение долгого периода времени оставались совершенно изолированными друг от друга и, как нам кажется, даже были в полном неведении о существовании друг друга. Все, что нам известно о легендарных путешествиях великого китайского идеалиста Лао-цзы, не имеет никакой исторической ценности, но если бы эти путешествия и были в действительности, то все-таки они представляют слишком беглый и случайный эпизод, не могущий послужить для обоснования серьезной гипотезы о сношениях Китая с Западом. Китайский народ вступает вообще в область более или менее достоверной истории лишь с конца III столетия до Р.Х., когда китайская империя была поглощена царством Теина, но и в эту эпоху китайская цивилизация двигалась все-таки не к Индии, а к Согдиане и к стране Та-Ван (Бактрия), причем китайцы воспользовались долиной реки Тарим и обогнули Памир — «крышу мира» — с северо-восточной стороны. Индия, таким образом, осталась совершенно непричастной этому первому соприкосновению Востока с Западом.

Начиная с завоевательных походов У-ти (186—140 гг. до Р.Х.) и военной экспедиции Чанг-Киена, торговля Китая со страной Та-Ван принимает довольно значительные размеры[xiii]. Между обеими странами по реке Тарим и вплоть до берегов Сырдарьи[xiv] стали ходить караваны, иногда насчитывавшие в своем составе несколько сотен путешественников. Доктор Бреттшнейдер считает, что потомки Хама (китайцы) обязаны этим торговым сношениям с Малой Азией познанием многих полезных растений, играющих весьма важную роль в их народной экономии. И действительно, китайские легенды сообщают нам, что шелковица и шелковичные черви перенесены к ним из Туркестана.

К северу от горного барьера, отделяющего территорию первых исторических цивилизаций от остальной части материка Старого Света, лежит обширная область, обладающая чрезвычайно характерными чертами, не встречающимися ни в какой другой стране земного шара. Защищенная огромным массивом Гиндукуша и Памира, втиснутая между Гималаями и Небесными горами, Тянь-Шанем, Алатау, Тарбагатаем, Алтаем и т.д., эта возвышенная, по большей части равнинная местность простирается с запада на восток на сорок географических градусов, вплоть до горного хребта Хинган, который отделяет эту область от лесистых холмов Маньчжурии. Вдоль по этой стране, в направлении с юго-запада на северо-восток, проходят значительные отроги гор, ответвляющиеся от основных хребтов Гиндукуша или гигантского горного узла Кара-Корум (Черная стена). Эти отроги делят все обширное плоскогорье на две совершенно отдельные области, из которых северная — Тибет — значительно выше южной половины. В географии эти горные отроги известны под наименованием Кунь-Лунь со своим продолжением Алтын-Даг, Нань-Шань, Бай-ян-Кара; наконец, здесь же находятся горы Ордос, пре-мыкающие к хребту Хинган через посредство длинной горной цепи, по которой, между прочим, к западу от Пекина проходит Великая Китайская стена. Эта обширная внутренняя равнина подразделяется обыкновенно на Китайский Туркестан, Монголию и Джунгарию и образует Центральную Азию в истинном смысле слова[xv].

Высокое плоскогорье Центральной Азии далеко не бесплодно и не представляет собою пустыню, лишенную всякой растительности. Наоборот,

бесплодные песчаные солончаки расположены здесь с большими интервалами и образуют своего рода плешины среди общей густо поросшей травой местности, испокон веков доставляющей обильную пищу бесчисленным стадам различных кочевников: племенам туранцев, монголов и других турко-татарских народностей разных наименований. На западе, в Туркестане, островки пустыни разбросаны редко и отличаются незначительными размерами; характерным образцом их могут служить такламаканские пески, залегающие между рекой Тарим и цепью Алтын-Дата; на востоке, в пустыне Гоби, песчаные и бесплодные островки учащаются и образуют настоящие *ша-мо*, т.е. моря песка. Китайцы называют эти ша-мо *хан-хай,* что означает «высохшие моря». Действительно, по всей вероятности, в древности эти территории были водными бассейнами.

Окруженное и сплошь изборожденное крутыми высокими горами и снежными вершинами и ледниками плоскогорье Центральной Азии значительно богаче водою, чем африканская пустыня Сахара. Здесь мы встречаем многочисленные озера, среди которых Балхаш, Куку-Нор, или Голубое озеро, Тэнгри-Нор, или Небесное озеро, Коссогель, Иссык-Куль имеют довольно значительные размеры; большинство же среднеазиатских озер представляют собою болотные лагуны без стока воды, с неопределенными очертаниями и с изменяющейся величиной. Всюду, где только это допускает уклон и непроницаемость почвы, здесь по плодородным долинам протекают реки значительной величины, несущие, однако, свои воды не в море. Таков, например, Тарим, имеющий 2000 километров длины.

Этот огромный речной бассейн, не имеющий выхода в море, простирается далеко за пределы собственно центрально-азиатского плоскогорья как географического целого. Потоки, сбегающие с северных и северовосточных склонов Гиндукуша, Памира и Тянь-Шаня, соединяясь вместе, образуют две большие и знаменитые в истории человечества реки: Оке (Амударья) и Яксарт (Сырдарья), протекающие в значительной части своего протяжения уже по низменности. Выйдя из пределов горной страны и утратив характер горных потоков, обе эти реки вступают в область, которая в третичную эпоху была покрыта громадным внутренним морем, отделявшим Европу от Азии и в настоящее время высохшим. Благодаря чрезвычайно слабому наклону почвы воды Сырдарьи и Амударьи текут крайне лениво, мало-помалу теряются в песках пустыни и часто даже меняют свое направление. Некогда они впадали в Каспийское море, но в настоящее время они доходят лишь до Аральского моря.

Входит ли высокое плоскогорье Центральной Азии вместе с долинами Окса и Яксарта в территории речных цивилизаций? Ответить на этот вопрос крайне трудно. В очень многих отношениях эта область более всего заслуживала бы наименования «страны первобытных варварских обществ». В самом деле, даже расширив северные границы древних великих цивилизаций, даже включив в область Центральной Азии Согдиану и Бактрию, все же нельзя не признать, что и центральное азиатское плоскогорье, и прилегающая к нему на юго-западе низменность до сих пор служили лишь областью пастушеской и кочевой жизни. Обитавшие здесь монгольские и тюркские кочевники, правда, неоднократно пытались принимать активное участие в исторической жизни человечества, но все эти попытки, как, например, внезапные появления их в истории вместе с Аттилой,

Чингисханом, Тамерланом в темные века первых переселений, равно как и в века европейской истории, неизменно носили характер варварских грабежей, сопровождаемых массовыми убийствами.

Однако тем не менее существует основание предполагать, что в известный исторический период, предшествовавший возникновению арийской цивилизации в Пенджабе, страна между горами Гиндукуш и теперешним Каспийским морем имела свой очаг цивилизации, который возник независимо от названных нами выше четырех великих цивилизаций древности. Первобытный период истории Бактрии происходил в такой полной изолированности, что о нем не сохранилось никаких следов. Известно, однако, что именно там получили начатки культурного воспитания западные арийцы и что там родилась возвышенная религия Зороастра (Заратустры), которая задолго до стоиков и христианства впервые провозгласила равенство людей на Земле, их братство в труде и одинаковые права на блага мира и цивилизации.

Оке и Яксарт должны были бы, следовательно, занять место среди культурно-исторических рек, но, в силу того что они не имели выхода к настоящему внутреннему морю, соединяющемуся с океаном, их цивилизация смогла влиться в общую сокровищницу человечества только косвенным путем, отдав свои силы и завоевания более мощной цивилизации Месопотамской долины. Области Окса и Яксарта оставались неизвестными в истории вплоть до VII столетия до Р.Х., когда первые полчища переселенцев из Бактрии в качестве авангарда будущих многочисленных армий эмигрантов напали на Персию под предводительством Урахатара (Киаксара, по Геродоту), основателя Экбатаны и мидийского государства. Мидийцы, приведенные Урахатаром, вскоре сделались повелителями ассиро-вавилонского мира. Но если их нашествие и положило начало новой исторической эпохе на Западе[xvi], то оно, во всяком случае, не присоединило новых стран к территории речных цивилизаций. Действительно, в географическом отношении Иран представляет собою не что иное, как проход между Бактрией и Месопотамией, между Передней Азией и Индией; необходимо отметить, что мидяне и персы задерживались в области Ирана лишь «мимоходом», направляясь в плодородную «страну рек».

Иран, в полном смысле слова континентальная страна, представлял в древности своего рода сухое «внутреннее море», но самое неудобное и неблагоприятное для развития международных сношений. Мы уже говорили, что по этому трудному пути китайцы пробовали установить связи с Западом. Китай, прилегая к берегам Великого океана, где прибрежные воды отличаются своей бурностью, и будучи отделен от Индии целым рядом высоких недоступных гор, был бы осужден на полную изолированность и на уединение, если бы он не имел возможности воспользоваться хотя и крайне неудобными сухопутными путями через Тибет и Монголию. И если историческое развитие Китая шло крайне медленным темпом, то причину этого следует искать в том, что нормальное развитие Китая, процесс нарастания цивилизации здесь как бы раздваивался: часть народных сил направлялась к восточным морям, а другая часть тратилась на бесплодные стремления отыскать выход на Запад через пустынные области Си-Ю (Центральной Азии). Китайцы сами, по-видимому, понимали положение

Центральной Азии и часто давали этой стране наименование «дороги к северу и к югу от Небесных гор»[xvii].

Определив границы той обособленной части материка Старого Света, которая послужила местом пробуждения человечества к исторической жизни, мы вынуждены здесь задать вопрос: какая особенность географического положения послужила главной причиной этого пробуждения и явилась как бы колыбелью человеческого рода?

Наш земной шар представляет в очень многих своих областях много благоприятных физико-географических условий, способных пробудить в первобытном человеке, мысль и зародить у него стремление к лучшему. Доисторическая археология, эта наука, родившаяся едва только на свет, во всех исследованных странах мира находит следы искусства и промышленности таких групп человечества, которые никогда не фигурировали в истории. Уже в неолитическую эпоху во многих местах Старого и Нового Света люди умели делать и совершенствовать более или менее остроумно домашнюю утварь, устраивали мастерские для производства каменных орудий «фабрично-заводским» образом, обменивались материалами и продуктами своего труда.

Очень часто обширные племена, сумевшие худо ли, хорошо ли приспособиться к окружающим физико-географическим условиям, после долгого периода сравнительного процветания под влиянием каких-либо вновь возникших условий медленно вымирают и затем исчезают окончательно, не оставляя после себя никаких других следов, кроме разбитой примитивной утвари, охотничьих и рыболовных орудий, каменных топоров и ножей, свайных построек и т.д.

Для того чтобы вписать свое имя в летопись коллективной истории человечества, необходимо создать нечто полезное и вместе с тем способное возбудить интерес у последующих поколений. Но человечество не всегда работает для потомства. Скромные строители египетских пирамид, работавшие под бичом надсмотрщиков, конечно, работали не из чести фигурировать некогда в книгах по всемирной истории!

В то время как ученые и философы задаются еще вопросом, есть ли цивилизация зло или благо, истинные творцы этой цивилизации, безымянные народные массы, как кажется, всегда видели в цивилизации зло, ибо их заставляли силой и при помощи принуждения возводить здание мировой культуры. Всюду с самого начала истории мы встречаем страшное угнетение народных масс и неограниченный абсолютизм правителей всякого рода. Всюду, где была только для этого возможность, народные массы насильственным образом запрягались в ярмо истории.

Какая же таинственная причина проявилась в тех областях, где зародилась первичная цивилизация, которая смогла создать те могущественные деспотии, соединившие в гигантские нации дикие, разрозненные племена, принадлежавшие к самым разнообразным расам, — арийцев и семитов, ливийцев, кушитов, туранцев, китайцев, дравидов и т.д.?

Нельзя видеть основную причину зарождения цивилизаций в климатических условиях, так как эти условия крайне разнообразны в различных частях той области, где впервые зародились древние цивилизации. Небо Месопотамии совершенно непохоже на небо Египта, а между ведийской Индией и областью

китайских рек разница в климате доходит в среднем до 15°. Прилегающий к Средиземному морю берег Африки на всем своем протяжении от Киренаики до берегов Атлантического океана заключен между изотермами +25° и +20°, т.е. имеет почти такой же климат, как и главные очаги древних цивилизаций, т.е. Египет, Месопотамия и Индия, но тем не менее не стал местом возникновения цивилизации. Цепь невысоких Ливийских гор, лежащих на запад от долины Нила приблизительно на 25 градусе восточной долготы (по Парижскому меридиану), является крайней западной границей территории древних цивилизаций. Средняя в климатическом отношении Европа, включающая в себя Англию и южную половину Ирландии, принадлежит к зоне, ограниченной изотермами +20° и +10°, и, хотя при той же температуре развивались цивилизации Бактрии и Китая, нашу современную блестящую европейскую цивилизацию все же приходится считать не самостоятельным продуктом европейской среды, а продуктом ассиро-египетских влияний.

Бокль думал, что он нашел исчерпывающее объяснение причины различий между современной цивилизацией и цивилизацией восточных деспотий в том, что, как он признавал, Европа обязана расцветом своей цивилизации климату, тогда как Африка и Азия — плодородию своей почвы.

С нашей точки зрения, разница между европейской цивилизацией и цивилизациями Древнего Востока объясняется гораздо проще: европейская цивилизация принадлежит ко вторичному, средиземноморскому, фазису развития, тогда как восточные деспотии возникли в первом фазисе цивилизации. Конечно, плодородие почвы, на которой выросли древние речные цивилизации, играло большую роль и явилось одним из самых необходимых условий развития первобытной цивилизации. Но чрезмерное плодородие почвы тем не менее не является единственным фактом преимущества бассейнов великих исторических рек; Мавритания, например, на которую я уже указывал, имеет также плодородную почву, но она тем не менее не стоит в рядах первобытных очагов цивилизации.

Существуют еще более красноречивые примеры. Так, в некоторых частях бассейна реки Конго, классической реки варварства, благодаря изумительному плодородию почвы образовалось столь же густое население, как и в наиболее культурных странах, и тем не менее там процветает еще и теперь людоедство.

С нашей точки зрения, основной причиной зарождения и развития цивилизации являются реки. Река во всякой стране является как бы выражением живого синтеза, всей совокупности физико-географических условий: и климата, и почвы, и рельефа земной поверхности, и геологического строения данной области. Быстрота или медленность ее течения, обилие воды в реке обусловливаются дождями, таянием снегов, сменой времен года и бесчисленными климатическими изменениями; рельеф земной поверхности, степень удаленности реки от моря определяют длину реки и извилистость русла; геологическое строение, обилие или недостаток наносов, присутствие или отсутствие органических остатков и различных минеральных веществ в русле обусловливают прозрачность или мутность вод; те же условия сообщают речной воде специальные свойства, окраску, запах, увеличивают или уменьшают ее пластическую или разрушительную мощь.

Беглый обзор поверхности земного шара вполне достаточен для того, чтобы понять, что историческое значение рек отнюдь не пропорционально длине их течения или массе приносимой ими воды. Скорее даже можно было бы утверждать, что наиболее мощные реки до сих пор почти не играли заметной исторической роли. Правда, река Нил находится в числе гигантов речного мира, но лишь по своей длине, а не по количеству воды. По длине Нил следует тотчас же за Миссисипи—Миссури, не имеющей почти никакого значения в истории, но собственно исторический Нил начинается только около Сиены [Асуана] (за вторым порогом вниз по реке) и, следовательно, имеет всего несколько сот километров[xviii].

Река Евфрат, если даже считать ее вместе с ее притоком Мурад-чаем [Мурат], все же является пигмеем в сравнении с Амазонкой, а из двух исторических рек Китая именно меньшую по справедливости следует считать творцом китайской цивилизации. Более длинная, чем Хуанхэ, Янцзы не достигает, однако, величины многих сибирских рек, которые, невзирая на это, играют весьма скромную роль в истории цивилизации. Впрочем, эти реки всегда приводятся как доказательство того положения, что социальная и экономическая ценность этих рек сводится почти к нулю благодаря тому, что они впадают в Северный Ледовитый океан, покрытый плавучими льдами и почти непригодный для плавания. Это утверждение, для меня лично весьма спорное, может иметь географическое значение в занимающем нас вопросе. Бесспорно, зачатки цивилизации, возникшие на берегах великих рек, оканчивающихся в ледяных пустынях арктической области, не могли нормальным путем развиться в следующую, вторую, морскую стадию, но сущность дела заключается в том, что в бассейнах этих рек никакой цивилизации не было, а связать причинной связью арктическое положение рек и отсутствие в их бассейнах какой-либо культуры представляется безосновательным. В древности великие исторические реки, на берегах которых зародилась цивилизация, были, пожалуй, еще в более неблагоприятных условиях, чем сибирские реки. Их устья были почти недоступны и засыпаны песками. Современная нильская дельта и Шатт-эль-Араб сами являются скорее продуктами цивилизации, нежели природы. Нижний Инд изливается в пустынное море рукавами, не поддающимися утилизации. Ганг заканчивается лабиринтом постоянно гниющих болот и лагун, миазмы которых послужили причиной того, чтобы посвятить богине смерти и разрушения Кали значительную часть Бенгальской области. Точно в таком же положении находится и Хуанхэ: миновав город Кайфын, Хуанхэ как река почти совершенно исчезает, расчленяясь на бесчисленное множество рукавов, каналов и протоков.

Великая сибирская река Амур, впадающая в Тихий океан, лишена многих неудобств больших северных сибирских рек, но тем не менее Амур не сделался очагом цивилизации, хотя в некоторых местах его течения плодородие почвы почти баснословно и его вековые леса с приречной долиной могли бы стать раем для охотников, рыболовов и даже для земледельцев. Енисей в верхнем своем течении представляет нам, точно так же как и его громадный приток Ангара, любопытный образец географической среды, в некоторых отношениях, быть может, слишком благоприятствующей человеку и вследствие этого непригодной для развития и прогресса цивилизации. Дело в том, что слишком благоприятные и удобные условия позволяют обитателям данной географической среды

задерживаться на низших ступенях развития и оставаться целые века в состоянии бродячих земледельцев, довольствующихся только новой, неистощенной землей. Вознаграждая слишком щедро отдельных, живущих изолированной жизнью людей, такие благоприятные условия не имеют в себе стимула к координированию отдельных условий в нечто сложное, обобществленное, не заставляют человека переходить к высшим формам солидарности, составляющим необходимое условие исторического развития.

Исторические реки, эти великие воспитатели человечества, как мы уже сказали выше, не выдаются среди прочих рек мощностью объема своих вод. Нил, например, приносит в море воды в три раза меньше, чем Дунай. Но все эти реки обладают зато одной замечательной характерной чертой, способной объяснить секрет их выдающейся исторической роли: все они обращают орошаемые ими области то в плодородные житницы, питающие миллионы людей за труд нескольких дней, то в заразные болота, усеянные трупами бесчисленных жертв. Специфическая географическая среда этих рек могла быть обращена на пользу человека лишь коллективным, сурово дисциплинированным трудом больших народных масс, хотя бы состоявших из самых разнообразных этнических элементов. Каналы Цзинаня и плотины Хуанхэ являются, вероятно, результатами мудро объединенной коллективной работы многих поколений, вероятно, гораздо более многочисленных, чем те поколения, какие строили египетские храмы и пирамиды. Малейшая оплошность при прорытии какого-нибудь канала, простая леность, эгоизм одного человека или небольшой группы при общей работе над созданием коллективного богатства — оберегания драгоценной влаги и рационального пользования ею — могли быть причиной бедствия и голодовки всего народа. Под страхом неминуемой смерти река-кормилица заставляла население соединять свои усилия на общей работе, учила солидарности, хотя бы в действительности отдельные группы населения ненавидели друг друга. Река налагала на каждого отдельного члена общества некоторую часть общественной работы, полезность которой познавалась впоследствии, а вначале бывала непонятна большинству. Очень часто это большинство было не в состоянии дать себе отчет о плане исполнения общей работы. Вот где истинный источник того боязливого благоговения и чувства уважения, проявленных народами по отношению к рекам, этим божествам, по верованию древних народов, дающим пищу людям, умертвляющим и оживотворяющим, открывающим свои тайны только немногим избранным, которым они и поручают управление народом наподобие того, как управляет судьба. Типичная великая историческая река Нил ежегодно создавала своими благодетельными разливами не только новый слой плодородной почвы, но вместе с тем создавала и новые социальные связи, содействовала укреплению и развитию сложно организованного общества.

Египетское общество, прозаическое вначале, в котором преобладали чисто материальные интересы, было как бы чуждо всякой солидарности; в жизни древнего египтянина нельзя было заметить видимой или осязательной солидарной связи, и каждый человек, казалось, был всецело поглощен эгоистическими заботами о самосохранении. И однако, каждый из жителей Египта исполнял свою часть общей коллективной работы; когда наступал момент общественных работ, все должны были исполнять их и, как свидетельствуют историки Древнего Египта,

«исполняли их со страстным рвением верующего, которое так легко отличить от привычного возбуждения при исполнении повседневной работы»[xix].

Приступая теперь к описанию четырех древних речных цивилизаций, мы прежде всего будем говорить о цивилизации в долине Нила, которая, по выражению древнего египетского папируса, «иссушает слезы со всех глаз и повсюду распространяет изобилие своих благ»[xx].

[i] Древнегреческие историки рассматривали Египет как составную часть Азии, но они не соединяли с понятием о Египте ни тех размеров, ни тех границ, какие устанавливают для Египта современные географы

[ii] Разница в градусах долготы *Парижского меридиана* и меридиана Гринвича составляет 2° 20' 15". Таким образом, 25° в.д. от Парижского меридиана — это 27° 20' 15" по Гринвичу [iii] R. Rec1 s. Цит. соч. Т. XI [iv] W. Reade. The Martyrdom of Men. London, 1875

[v] Бамиан — местность в Афганистане восточнее Кабула, некогда главный центр культа Будды с многочисленными развалинами и изваяниями *Гиксы* (гиксосы) — кочевые азиатские племена, которые около 1700 г. до н.э. пришли из Передней Азии в Египет и завоевали его. Поселившись в Дельте, они основали там свою столицу Аварис. В начале XVI в. до н.э. были изгнаны египтянами[vi]

[vii] Fr. Hommel. Die Vorsemitischen Kulturen in Aegypten und Vorderasien. Leipzig, 1883.

[viii] Архаический храм, открытый Мариеттом; сфинкс в Гизе

[ix] Очевидно, Мечников либо цитирует Библию по памяти, либо пользуется каким-то другим переводом. Согласно каноническому изданию, приводимые им фразы относятся к Третьей Книге Царств, гл. 9 (26—28) и гл. 10 (11, 12, 26). [x] A. Mer. Memoire sur le Penple d'Hannon, Paris, 188S

[xi] Одна из первых документально подтвержденных экспедиций была организована в 1493—1492 гг. до н.э. (по другим данным, в 1517 г. до н.э.) царицей Древнего Египта Хатшепсут. Она отправила корабли в страну Благовоний — Пунт. Как теперь считается, Пунтом египтяне называли восточную оконечность Африки (п-ов Сомали) или, возможно, юго-западную часть Аравийского полуострова. Экспедиция доставила в Египет три десятка мирровых деревьев, высаженных на террасах храма-усыпальницы отца царицы Хатшепсут Тутмоса I, и многое другое [xii] H. Yu1e. Proceedings of the Royal Geographical Society, 1882 [xiii] В современной транскрипции У-ти — это ханьский император У Ди, *Чанг-Киена* — один из известнейших китайских путешественников древности Чжан Цзянь, *Та-Ван* — довольно развитая земледельческая страна Давань [xiv] См. статью Васильева, цитированную выше [xv] F. von Richthofen. China. T. I. Berlin, 1877—1883

[xvi] Момент нашествия мидян и персов составляет важную хронологическую дату, так как со времени Кира арийцы приобретают преобладающее значение в западном мире, хотя верховенство у них еще в течение нескольких веков оспаривалось семитами

[xvii]Тянь-Шань-Пе лу и Тянь-Шанъ-Нан-лу. Наши синологи слово *тао,* означающее путь, метод, иногда переводят словом *дорога*, но *тао* имеет более широкий смысл, чем слово *лу*, которое выражает понятие *ходить*, и поэтому это слово в названиях местностей можно перевести терминами «дорога» или «проход».

[xviii] По данным последней работы Тилло, длина восьми важнейших рек земного шара выражается в следующих цифрах (справа современные данные. — Ред.)-

Миссисипи—Миссури	6600 км	6420 км.
Нил	5920	6671
Амазонка—Укаяли	5500	более 7000
Янцзы	5080	около 5800
Енисей—Селенга	4750	4511
Амур	4700	4440
Конго	4640	4320
Маккензи	46154250	

Из всех великих исторических рек, не приведенных в этой таблице, одна только Желтая река (Хуанхэ) превышает 4000 км, но, по уверению Пржевальского, изображение этой реки на картах неверно, а глубокая излучина Хуанхэ в Ордосе сильно преувеличена. Длина Инда только 3000 км, а длина Евфрата не превышает 2800 км

[xix] Fr. Lenormant. Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres mediques. Vol. 1—3. Paris, 1881

[xx] Papyrus Sellier, II, pl. XI. 1, 6

Глава восьмая

Нил

Истоки Нила. — Конго-Нильская ось. — Нил как историческая река и Конго как река варварская. — Седды, т.е. огромные скопления плавучей растительности. — Общественный режим, обусловленный разливами Нила. — Деспотизм фараонов. —Прогресс в Египте.

В самом сердце Африки проливные экваториальные дожди, падая в изобилии на почти непроницаемую для влаги каменистую почву, определяют собою крайне замечательную географическую область, изучение которой началось лет сорок тому назад. То, что известно об этой области в наши дни, доказывает, что географы XVI столетия имели о ней более правильные сведения, чем это можно было бы предположить. В самом деле, по словам географов того времени, две величайшие реки Африканского материка — знаменитый Нил и безвестное Конго — получают свое начало из одного и того же внутреннего моря (Atche Lunda), которое занимало, по их мнению, всю ту площадь, на которой находятся большие водные бассейны озер Ньяса, Бангуэло [Бангвеулу], Мверу, Танганьика, Виктория-Ньянза (это последнее имеет некоторое право называться морем, так как по своим размерам оно превосходит так называемое Аральское море).

Промежуточные пространства между этими большими озерами, которые окружены как бы сеткой притоков и вытекающих из них рек, во многих местах состоят из лагун, болот и топей. Благодаря этому обстоятельству вся эта обширная область целиком может произвести на путешественника впечатление моря. Сведения об этом море португальцы получили от караванных проводников, негров, которые ежегодно отправлялись из Бигэ на границе Бангуэло в область Великих озер и нижнего течения Замбези[i]. Еще не так давно такого же мнения придерживались все арабы и занзибарцы, с незапамятных времен ведущие торговлю с внутренними областями Африки по дороге, конечные пункты которой находятся на восточном берегу Танганьики и на верхнем Конго.

В первой половине XVII века в Мадриде была издана книга под названием: «Relacion de la Mision Evangelica el regno de Congo de la serafica corporation de los Capuchinos ». Прочтя помещенное в этом труде описание Центральной Африки, легко можно, понять, почему известный английский путешественник Брюс, добравшийся до истоков Голубой реки, или Бар-эль-Азрека [Бахр-эль-Азрак], был уверен, что ему удалось наконец разрешить почти десятитысячелетнюю проблему об истоках Нила, проблему, которая с самой глубокой древности волновала столько выдающихся людей[ii] и стоила жизни стольким исследователям.

Уже во второй половине II века до. Р.Х. Клавдий Птолемей знал, что таинственная река течет из южного полушария, из Лунных гор[iii], и в самом деле, название области к югу от озера Виктория-Ньянза — Ounyamouezi — составлено из трех слов наречия банту: Ou означает *страна,* nya — частица, выражающая отношение, mouezi — луна[iv].

Кроме того (и это является доказательством того, что Птолемей черпал свои сведения не из легенд и фантастических рассказов того времени), он проводит шесть рек, которые, по его мнению, образуют начало Нила (Caput-Nili), через два озера, расположенных к востоку и западу одно относительно другого (Танганьика и Виктория-Ньянза). В общем, сведения, которые он оставил нам о великой реке, не более отдалены от истины, чем то, что знали на этот счет Спик и Грант, когда они советовали двадцать пять лет тому назад известной исследовательнице Тинне не продолжать своего пути, так как, по их словам, они воочию убедились, что Нил вытекает из озера Ньянза. И однако, блестящие открытия этих двух офицеров были достаточны, чтобы решить вопрос об африканском водоразделе, и тщетно Ливингстон продолжал свои поиски истоков Нила в тех болотистых низменностях Бангуэло, которые принадлежат уже к бассейну Конго, как это доказал недавно Стэнли[v].

Для сопоставления с почти верными взглядами Птолемея посмотрим, как отвечали в последние времена фараонов египетские ученые на вопрос о великой тайне «Головы Нила». По словам Геродота, эта тайна была известна лишь одному человеку — верховному жрецу при храме богини Нейт в Саисе[vi]. Каким образом греческому путешественнику удалось выведать эту тайну? Этого Геродот не говорит, он лишь рассказывает в своей «Истории», что местом истоков Нила служат две горы с остроконечными вершинами — Крофи и Мофи, — расположенные между Сиеной (Асуаном) и Элефантиной (Абу)[vii].

Отсюда видно, что древние египтяне отождествляли истоки Нила с крайним пределом его благотворных разливов; ни египтяне, ни Геродот, который дает в своей «Истории» точный маршрут от Элефантины до Мероэ через Тахомпсо и далее до страны Аутомолов, не могли не знать, что река продолжается значительно дальше этого мнимого места истока. Но в глазах народа, благосостояние которого зависело исключительно от разливов Нила — самой сущности божественного Нила, — эта река утрачивала для них всякий интерес, как только она, запертая в стенах каменистой пустыни Нубии, теряла возможность выходить из своего русла и оплодотворять своим илом низменные берега. Река, запертая в узкую щель утесов, была здесь не в силах остановить ядовитое дыхание пустыни, олицетворявшееся в виде жестокого бога Сета (Тифона). Мне кажется гораздо более непонятным, почему вопрос об истоках Нила считали какой-то великой тайной; ведь всякий рыбак или лодочник, наиболее презираемые профессии в Древнем Египте, могли осквернить и поколебать эту тайну своим «нечистым взором». Нерон, интересовавшийся, как и все цезари первых времен Римской империи, вопросом о «Голове Нила», послал двух центурионов разыскивать истоки этой реки. Центурионам удалось пробраться вверх по течению Нила выше слияния Нила с Бахр-эль-Арабом и гораздо дальше, чем это удавалось сделать европейским путешественникам последнего полувека. Но эти два посланца Нерона были остановлены в своем дальнейшем пути *седдами* — этим скоплением плавучей растительности, которое делает невозможным всякое продвижение вперед.

Эти эмиссары римского цезаря выведали в Египте тайну о «Голове Нила» и слепо поверили тому, что им об этом рассказали; пробравшись на 1500 километров выше по течению от того места, где, по воззрению египтян, находились истоки реки, они тем не менее, возвратившись в Рим, донесли Нерону, что они

действительно видели место зарождения Нила между двумя горами — Крофи и Мофи — в виде родников неизмеримой глубины. По их словам, водный поток, берущий начало в этой пучине, сразу же делится на два рукава: один из них направляется на север, образуя Нил (Хапи египтян), а другой течет по направлению к Эфиопии и теряется там в неприступных болотах.

Для Птолемея, как и для наших современных исследователей, вопрос об истоках Нила имел только чисто географический интерес; для египтян, наоборот, вопрос об истоках Нила являлся своего рода религиозным вопросом и был покрыт покровом таинственности; в области религиозных тайн объяснение явления причинами, более всего противоречащими законам природы, скорее всего принимается верующими...

Если наши сведения относительно истоков Нила и до сих пор неполны, то мы знаем по крайней мере, что две главные артерии Африки — Нил и Конго — выходят из различных, но довольно близких между собою источников. Озеро Танганьика, которое связано с Конго при помощи реки Лукуга, и озеро Виктория-Ньянза, из которого вытекает Нил, принадлежат к двум различным бассейнам. Водораздел между Нилом и Конго представляет ряд возвышенных холмов, по всей вероятности, вулканического происхождения. Но эти холмы не соединены ни между собою, ни с гигантскими массивами гор Кения и Килиманджаро, ни с так называемым хребтом Исследователей, который окаймляет Мвутан-Нциге (озеро Альберт-Ньянза) с запада. Далее к северу демаркационную линию между бассейнами Нила и Уэле, одного из больших притоков Конго, образуют небольшие неровности почвы или даже равнины с едва заметным уклоном. Возможно, что в период дождей какое-нибудь болото или лагуна, столь многочисленные в этой местности, сливают свои воды с водами обоих бассейнов и служат, таким образом, временным соединительным звеном между Танганьикой и Викторией-Ньянзой, между Конго и Нилом.

Как бы то ни было, от истоков Уэле, впадающей в Конго, до предполагаемых мест зарождения самых южных притоков Нила ясно заметна демаркационная линия, идущая с северо-запада на юго-восток. Продолжая эту линию через весь Африканский материк, мы получим некоторую воображаемую ось, идущую от мыса Спартель к Занзибарскому морю; если теперь, начиная от южной оконечности Сулейман-Дага, провести такую же линию, прорезывающую Азию и Европу параллельно Конго-Нильской оси, то обеими этими линиями мы отрежем две огромные материковые площади (одна налево от Конго-Нильской оси до Атлантического океана, а другая — направо, до второй проведенной нами линии), величина и особенно историческое значение которых далеко не одинаковы; каждая из этих областей имеет свою великую реку, одного из двух близнецов, зародившихся в общей колыбели, в области величайших озер Экваториальной Африки.

Направо от Конго-Нильской оси находится Нильская область; здесь, правда, есть несколько пустынь, уединенных пространств, находящихся во вполне диком состоянии, но здесь же находится и область всех великих культур, которые некогда горели ярким светом, передававшимся от одного народа к другому. Здесь Египет и Эфиопия; Передняя Азия, от дельты Инда до Кавказа и Сирии, Малая Азия; вся Центральная и Западная Европа с Британскими островами. Территория, лежащая

налево от Конго-Нильской оси, заключает в .себе всю остальную Африку, т.е. весь собственно Черный континент, до сих пор являющийся столь враждебным всякой цивилизации.

Чисто количественная разница между протяжением, т.е. величиной этих двух огромных континентальных отрезков, не имеет никакого значения. Точно так же с географической точки зрения, как я уже показал выше, несущественна и величина реки, орошающей ту или иную область зарождения цивилизации. Река Нил по длине значительно превышает своего юго-западного соседа — Конго, но чем дальше по течению реки вниз, тем она более ослабевает и уменьшается, как бы теряя по дороге к Средиземному морю свою энергию. Более короткая река Конго, наоборот, многократно изгибается, свертывается в величественную спираль, принимает в себя массу многоводных и могучих притоков, так что вся целиком местность, орошаемая ею, по площади значительно превосходит бассейн Нила. И тем не менее до самого последнего времени Конго остается рекой по преимуществу варварской, между тем как Нил по справедливости должен считаться если не первым и единственным творцом, то, бесспорно, одним из главных факторов мировой цивилизации, светоч которой горит в течение уже шести или восьми тысяч лет.

В отношении судоходности Конго и Нил проявляют сходство со всеми остальными африканскими реками; все они, спускаясь с возвышенных террас Черного материка, изобилуют быстринами и порогами, не только препятствующими судоходству, но иногда делающими его совершенно невозможным. Эти неудобства, общие со всеми остальными африканскими реками, усложняются для Нила еще особыми затруднениями, так называемыми *седдами*. По выходе из озера Мвутан-Нциге [Альберт] Нил шириною в 500—200 метров змеится широкими излучинами между двумя зеленеющими берегами и течет спокойно. Посреди фарватера глубина его равна от 5 до 12 метров, так что даже большие суда могли бы ходить километров на двести вниз по течению от озера. Острова и островки, покрытые богатой растительностью, словно букеты папируса, поднимаются из воды и окаймляют берега; зачастую при начале половодья можно наблюдать, как по течению проносятся плавучие острова. Материалом для образования таких островов служат обыкновенно опавшие листья и высохший камыш; все эти растительные остатки, попав на густую массу водяных растений, постепенно разлагаются и образуют фундамент будущего плавучего острова; прибрежный песок и пыль, переносимые ветром, постепенно увеличивают массу островов, и вскоре на таких островах вырастают маленькие растения, кусты и травы. Иногда случается, что такие плавучие острова скопляются где-либо на повороте или излучине реки, растущие на них растения пускают корни на дно реки, прикрепляются таким образом, и в конце концов река покрывается жидким и зыбким покровом, по которому иногда рискуют пробираться даже караваны. Благодаря быстрому образованию таких травяных островов Нил очень часто задерживается в своем поступательном движении и бывает вынужден пробивать себе новое русло.

«Поток, образующий верхнее течение Нила, будучи сжат в одно узкое русло, как, например, в Гондокоро или Ладо, производит внушительное впечатление, но такие места редки. Протекая по равнине с весьма слабым уклоном, Нил

обыкновенно разветвляется на множество рукавов. Главное русло реки в некоторых местах раздваивается, и в то время как собственно Нил направляется к северо-западу, другой главный рукав — Бар-эль-Зараф, или «река Жирафов», — течет прямо к северу и соединяется с Нилом только после блуждания на пространстве трехсот километров среди саванн и болот.

В особенности много плавающих островов скопляется на Ниле в месте крутого поворота, известного под названием «Ярмо рек». Здесь богатейшая водная растительность почти совершенно загромождает русло реки; плавучие островки, приносимые сюда течением, задерживаются здесь благодаря крутым поворотам и протягиваются от берега до берега, словно подвижный плот. Не будучи в состоянии преодолеть вырастающие здесь преграды, река изменяет течение и поворачивает на запад, огибая высокие равнины Кордофана; но и на новом русле свежие массы водяных растений, новых плавучих островков, массы особого растения «амбач» (более легкого, чем кора пробкового дерева) тотчас же загромождают новый фарватер, земля и песок, скрепляющие плавучие органические остатки, вскоре уплотняются, твердеют, покрываются папирусом и даже древесной растительностью. Наконец, над скрытой рекой, продолжающей медленно течь под плотным растительным покровом, вырастает целый лес. Многочисленные группы живущих в этой области туземцев иногда устраивают на этих плавучих островах свои хижины и занимаются рыбной ловлей, проделывая для этого отверстия в зыбкой почве.

На возвышенных берегах реки и болот в разных местах виднеются мириады глиняных холмиков, построенных термитами и настолько многоэтажных и возвышенных, что верхняя часть их не затопляется в самые высокие разливы. Смотря по высоте подъема воды, термиты переходят из этажа в этаж. Одним из наиболее характерных обитателей этой области является громадная птица, называемая арабами «башмачником» за форму ее клюва. Когда издали заметишь на вышке холмика термитов эту странную птицу с длинными ногами, покрытую серым опереньем, с громадной головой, то очень часто затрудняешься сказать — птица ли это или туземец-рыбак, выкрасивший свое тело в пепельный цвет...»[viii]

В 1864 году известная путешественница, мадемуазель Тинне, благодаря своей упорной энергии проникла дальше тех мест, куда некогда доходили два центуриона Нерона; Тинне сумела подняться вверх по Нилу на небольшом пароходе дальше озера Но и поворота «Ярмо рек». В 1880 году итальянский путешественник Джесси во главе отряда из 500 египетских солдат и многочисленных черных невольников безуспешно пробивался через плавучие острова «Ярма рек» в течение целых трех месяцев. Более половины участников этой экспедиции погибли от голода или ядовитых миазмов, распространяемых массой гниющих растений; остальные, принужденные уже питаться трупами своих умерших товарищей, спаслись лишь благодаря явившейся к ним на помощь экспедиции знаменитого австрийского исследователя и охотника Марно. Впрочем, сам Джесси все-таки умер спустя несколько месяцев после своего возвращения; он принес в своем организме микробы какой-то болотной заразы, схваченной им во время блужданий по Нилу. Его юный освободитель Марно пережил Джесси только на несколько лет.

Верхний Нил, затерянный среди трав и болот, казалось бы, совершенно непригоден для судоходства. Однако с впадением в него реки Газелей [Бахр-эль-

Газаль] картина Нила меняется. Этот многоводный приток вливает в Нил массу воды, собранной между областью людоедов племени ньям-ньям[ix] и страною Вади; быстрое течение реки Газелей в значительной мере очищает Нил от загромождающих его преград, и великая река, обогащенная еще водами из южной Абиссинии, становится вполне доступной для судов. Между Хартумом и устьем притока Атбары фарватер загромождается каменными порогами, которые с небольшими интервалами продолжаются вплоть до Асуана (древней Сиены), где начинается собственно исторический Египет, т.е. область, которую оплодотворял Нил.

Таким образом, на всем своем громадном протяжении Нил не представляет ни одного судоходного плеса, который по своей длине превышал бы одну треть судоходного пространства Конго (от Стэнли-Фоле до Стэнли-Пул 7700 километров), не говоря уже о том, что река Конго имеет много притоков, дающих возможность судам проникнуть в глубь страны на сотни, а иногда даже на тысячи километров.

По плодородию почвы и в отношении условий жизни бассейн Конго одарен несравненно богаче, чем бассейн Нила. Об этом можно судить по цветущему виду окруженных возделанными полями факторий, которые основаны торговцами арабами и занзибарцами там и сям по верхнему Конго, например в Нангуэ [Ньянгве]. Исследователи Конго — Стэнли, Франсуа, Вайсман, Гренфель и многие другие — с удивлением отзываются о крайней густоте населения на правом берегу Конго, между Стэнли-Пулом и Алимой, а также в стране Бангала, в бассейне реки Кассаи и других больших притоков «варварской реки».

Правда, в бассейне Конго по соседству с цветущей местностью иногда встречаются почти пустынные пространства, но это зависит не от плохого качества почвы и не от нездоровых свойств климата. Обыкновенно это просто результат визита негроторговцев, разграбивших окрестные деревни и принудивших оставшихся жителей бежать в лес... Человек-зверь, дикарь, находит в бегстве единственное средство спасти себя при таких условиях, так как, поскольку он является социальным существом, он бессилен сопротивляться успешно нападающим грабителям, атакующим его с превосходным оружием в руках.

Переходя к обзору нильского бассейна, мы должны заметить, что древняя египетская легенда о том, что Нил вытекает из пучины между двух холмов Крофи и Мофи, содержит в себе известную долю истины. Близ Элефантины, в Верхнем Египте, действительно находится таинственная пучина, делящая великую африканскую реку на два отрезка, различающихся не только по своей длине, но и по своему историческому и социологическому значению: нижнее течение, своими разливами создавшее Египет, а следовательно, и всю цивилизацию западного мира, и верхнее течение, которое при всей своей величине в течение многих тысячелетий оставалось совершенно в стороне от цивилизации и только питало своими водами нижний Нил.

Если бы истоки великой исторической реки Африки не находились в Центральной Африке, в области с каменистой и водонепроницаемой почвой, в которой в течение девяти месяцев в году идут обильные тропические дожди, то воды Нила отчасти испарились бы под действием палящего солнца этих широт, отчасти были бы впитаны песками пустыни задолго до того момента, когда они

достигли бы Средиземного моря. Божественный Нил подвергается и другой опасности. Несмотря на неиссякаемое могущество своих экваториальных источников, в верхней части своего течения Нил рискует затеряться в гнилых болотах, образуемых рекой Жирафов и Горной рекой; только благодаря водам реки Газелей Нил приобретает силу вырваться из объятий болотистых топей. Освободившись из «Ярма рек», Нил принимает воды первого своего большого притока Собат[x] и затем вступает в тесные нубийские берега, поднявшиеся и сузившиеся словно для того, чтобы помешать водным богатствам Нила без пользы пропадать в жгучих песках пустыни. Начиная с этого места русло Нила, до сих пор обладавшее лишь слабым уклоном к северу, спускается к Средиземному морю шестью уступами, как будто бы с исключительной целью ускорить течение реки и таким образом уничтожить возможность слишком быстрого испарения.

Наконец Хапи (т.е. Нил) минует Элефантину и вступает в узкую долину разливов, пересекающую безграничную пустыню в направлении с юга на север и окаймленную с востока и запада двумя грядами гранитных и известковых холмов. В соответствии с тем, насколько сходятся или расходятся эти гряды холмов, сужается или раздвигается и речная долина, орошаемая оплодотворяющими разливами. Восточная гряда холмов со стороны Аравии ближе подходит к реке, как будто для того, чтобы Нил не мог повернуться на восток и попасть в Красное море, что, без сомнения, имело бы самые роковые последствия не только для Египта, но для всего человечества.

Итак, мы постепенно проследили, как потоки Экваториальной Африки образовали великую историческую реку. Теперь нам предстоит рассмотреть, каким образом Нил создал культурную страну Египет. В том виде, в каком он вышел из области Великих озер Центральной Африки, Нил навсегда останется одним из самых больших речных гигантов мира, но, оставаясь таким, он пока не обладает характерной отличительной чертой, делающей из него как бы творца человеческой цивилизации. Питаясь в своем истоке экваториальными, не знающими периодичности дождями, Нил оказывается достаточно могуч, чтобы, не иссякая и не теряясь в болотистых местах, пройти огромные области болот и лагун, а затем область сыпучих знойных песков, отделяющих его от моря. Но мы не знаем еще причины нильских разливов, без которых египетская Изида — земля, — не будучи оплодотворена, не могла бы давать богатейшие жатвы, которые в свою очередь послужили причиной зарождения египетской цивилизации.

Не испытывая благодетельных воздействий нильских разливов, почве Египта пришлось бы томиться так г, как томится ее сестра страдалица Нефтис (почва, до шторой не достигают воды нильских разливов), предоставленная во власть бесплодного духа Сета-Тифона, сатанического божества пустыни, беспорядка и отчаяния.

Но, к счастью для египтян и всего человечества, между Нилом и Красным морем высится горный массив Абиссинии, привлекающий дождевые облака и испарения Индийского океана. Когда солнце вступает в зенит нашего северного полушария, в этой горной стране разражаются с необычайной силой тропические ливни; в несколько часов образуются огромные потоки, отрывающие большие куски скал и прокладывающие себе русло в ущельях и долинах. Бесчисленное множество раз такие внезапно нахлынувшие потоки воды смывали, как песчинку,

целые армии, войска или караваны, пользующиеся обыкновенно в сухое время года высохшими долинами, оставленными прежними потоками...

Река Собат, самый южный из нильских притоков, уже носит до известной степени характер периодического абиссинского потока; Голубой Нил и Атбара находятся уже в полной зависимости от времен года. Только благодаря их периодическим половодьям Нил выходит из берегов и оплодотворяет страну во всех тех местах к югу от первого порога, где это допускается понижением берегов.

Воды Нила, говорит Винвуд Рид, прозрачны и светлы; напротив, воды Атбары и Голубого Нила приносят из своей родной страны особый черный осадок, который река и распределяет в виде удобрения слоями по всей долине. После того как река снова войдет в свое обычное русло, обитателям Египта ничего более не остается делать, как доверить семена жирному грязному илу и тем закончить свой земледельческий труд. Им даже нечего бояться немилости неба и поднимать к нему тоскующие взоры. Для того чтобы обратить их семена в баснословно богатый урожай хлеба, необходимо лишь солнце, в котором, можно быть уверенным, никогда не будет недостатка в Египте[xi].

Итак, значит, без Белого Нила абиссинские воды были бы поглощены пустыней, а без бурных потоков Ат-бары, Голубого Нила и Собата сам Белый Нил оказался бы бесполезной рекой, как и многие другие. Другими словами, река Нил создается экваториальными дождями, а плодородная почва Египта является продуктом тропических ливней, разражающихся над величественным массивом Абиссинских гор.

Поскольку дело касается только периодических разливов, утверждения Рида вполне правильны; именно Белый Нил доставляет массу воды, к которой Голубой Нил и Атбара присоединяют чудесный дар — ил — для оплодотворения им прибрежной полосы во время, удобное для обсеменения полей... Но поскольку мы говорили о качестве, об оплодотворяющих свойствах нильской воды, то утверждения Рида не совсем правильны; конечно, черный ил, образующий оплодотворяющую массу, состоит из всевозможных остатков и мельчайших частиц, оторванных бурными потоками от сланцевых пород абиссинского горного массива, но оплодотворяющая сила нильского ила зависит главным образом от сгнивших растительных частиц *седдов* и травяных плавучих островов, о которых мы говорили выше; эти частицы выносятся в Нил только усилием реки Газелей, которая своим быстрым течением размывает плавучие острова и уносит в нижний Нил сгнившие частицы растений. Одних этих, исключительно органических остатков было бы, без сомнения, недостаточно, чтобы покрыть толстым слоем оплодотворяющего ила бесплодную почву египетской долины, но, прежде чем пройти воображаемую пучину Крофи и Мофи, Нил примешивает и меловые осадки Собата, и темный минеральный ил Бар-эль-Азрека и Атбары.

Возможно, что замечательные качества нильского ила обусловливаются какой-либо химической реакцией, происходящей в смешанной массе различных органических и минеральных остатков, но ни древняя богиня Нейт из Саисского храма, ни современная наука еще не открыли этой тайны Нила. Известно только, что, прежде чем распространить драгоценный ил по поверхности почвы, благодетельный Хапи (Нил) подвергает его некоторым предварительным процессам. Органические остатки, вынесенные Нилом из области *седдов*,

благодаря незначительному своему удельному весу первые всплывают наверх и сообщают водам Нила зеленый цвет. Вода великой реки, обыкновенно приятная на вкус и безвредная, в это время ядовита, и ее остерегаются пить. Во второй фазе разлива воды Нила окрашиваются в красный цвет, ядовитость воды исчезает, но вода кажется как бы пропитанной кровью. Если в это время зачерпнуть воды в стакан и дать ей отстояться, то можно увидеть, как черная грязь быстро осаждается на дно и что, невзирая на это, верхняя часть воды остается красной и непрозрачной; вкус воды в это время неприятен.

Такова тайна Нила, заключающаяся в сложности физических условий, столь необычных и экстраординарных, что мы напрасно стали бы искать аналогию во всех других странах нашей планеты. Ни с чем не сравнимая географическая среда Египта, сам Египет, часто называемый обособленным миром, микрокосмосом, необходимо должен был иметь исключительную историческую судьбу. Если история и археология до сих пор еще не установили, где действительно зародилась наша западноевропейская культура, то географические данные говорят за то, что колыбелью этой цивилизации была именно «земля разливов» (Pe-to-me-ra).

Мы старались показать на предыдущих страницах, как природа создает Нил и его оплодотворяющие качества, мы видели, как Нил благодаря этим качествам творит Египет с его плодородной почвой. Теперь мы постараемся осветить, по возможности кратко, вопрос о том, как Египет создал нашу историю.

Здесь прежде всего является вопрос, представляют ли периодические оплодотворяющие разливы Нила действительно бесспорное благо, составляют ли они как бы подарок природы, гарантирующий обитателям нильской долины за небольшое количество труда и издержек г более высокое материальное обеспечение, нежели каким они пользовались бы в других странах?

Начиная с Геродота и вплоть до наших дней столько раз ученые и географы настаивали на факте исключительных благодеяний нильских разливов, что поставленный мною вопрос может показаться праздным. Действительно, почтительные названия и ласкательные прозвища, которые давались жителями Египта Нилу, подтверждают традиционное мнение: во времена фараонов Нил называли «Тзаф-ан-та» (Кормилец мира), а современные феллахи называют великую реку «Абу-эль-Барака» (Благословенный отец). Такое же почтительно-любовное отношение к Нилу мы видим и в древнем египетском гимне в честь Нила[xii]. Вот этот гимн:

«Слава тебе, Нил! Слава тебе, явившийся к нам на землю, чтобы дать жизнь Египту! Таинственный Бог, ты заменяешь день тьмою всюду, где тебе нравится, ты орошаешь сады и поля, созданные природой для того, чтобы дать жизнь всем животным, ты наполняешь землю всюду... Властитель рыб, когда ты поднимаешься над затопленной тобою землей, ни одна птица не может расхищать полезных богатств. Создатель пшеницы, творец ячменя, ты умножаешь длину времени. Твой труд дает отдых для миллионов несчастных. Когда твои воды спадают, боги на небесах падают ниц и люди на земле гибнут. Ты покрыл животными всю землю, и благодаря тебе они все благоденствуют... Едва твои воды подымаются, земля наполняется ликованием, всякое живое существо исполняется радостью, все получают пищу и всякий зуб измельчает ее. Ты доставляешь людям приятные вещи, ты господин и создатель вкусной пищи; если мы имеем жертвы для

приношения богам, то только благодаря тебе. Ты заставляешь расти траву на пищу животным и приготовляешь священные дары для богов... Ты наполняешь продуктами все склады и житницы, чтобы приготовить пищу для бедных. Тебя не изображают на камне, тебя не видно на статуях, никакая жертва не нужна тебе... Ни один проводник не проникал в твое сердце... Ты радуешь поколения твоих детей, тебе воздают почести на юге и исполняют твои повеления на севере... Ты осушаешь слезы на всех глазах и создаешь изобилие благ...»[xiii]

Этот гимн, замечательный особенно по своему контрасту с лирическими преувеличениями ведийских гимнов и других произведений подобного рода, нет основания приписывать творчеству какого-нибудь светского поэта или одного из многочисленных чиновников, кормившихся при дворцах фараонов. Еще более неосновательно считать автором этого гимна какого-либо жреца, проводившего свою жизнь в праздном созерцании. Мне кажется, что этот гимн ясно отмечен духом народной поэзии. Человек, создавший его, был очень близок с трудовым ярмом и мучениями голода: «отдых, радость жизни, измельчание пищи зубами» имеют в его глазах больше цены, чем различные славословия, придуманные исступленными почитателями для возвеличения других божеств. Певец Нила вступает в область поэзии, не смущаясь упоминаниями о мелких банальностях повседневной жизни, и даже в редкие моменты, когда он платит свою дань пафосу, неразлучному с этим родом творчества, он все-таки говорит о реальных фактах, но только таким образом, что их истинное значение может с первого взгляда не возбудить внимания...

В своей сущности приведенный мною гимн носит ясно выраженный оттенок фетишизма, т.е. чистейшего обоготворения такого явления, которое с материалистической точки зрения представляет нечто конкретное и реальное; если автор гимна идет дальше тех границ, каких когда-либо достигала теософия, то это он делает лишь потому, что воодушевившая его река действительно отмечена природой единственным в своем роде характером. «Тебя не изображают на камне, никакое святилище не способно вместить тебя, никому не известны все места твоего пребывания...» и тому подобные выражения, напоминающие выражения израильских пророков, в устах автора гимна Нилу были только умеренным отражением географического положения Египта. Автор гимна, как мне кажется, обладал великой поэтической душой и вместе с тем был добросовестным и точным исследователем: невозможно было бы более кратким и точным образом перечислить все характерные особенности Нила, как это было сделано в гимне.

Но всякая медаль имеет свою оборотную сторону. Не принадлежит ли к отрицательной стороне и та картина, которая нарисована певцом Нила? Конечно, Нил — бесспорное благо для жителей Египта, потому что он «создает лучшую пищу», вызывает к жизни растительность, которой питаются животные, приготовляет «жертвенные приношения для всех богов» и т.д., но, для того чтобы стать благом, разлив Нила должен достигнуть высоты шестнадцати футов, а это случается далеко не каждый год. Общая сумма условий, производящих разлив, слишком сложна, чтобы здесь не играла роли случайность, тем более что достаточно всего только трех футов нехватки до нормального уровня в высоте воды, и «на небесах боги падут ниц, а на земле люди обречены на гибель» —

словом, появится на сцену та жизненная картина, о которой говорит Библия в предании о тощих коровах.

В Абиссинии тропические дожди подвержены тысячам случайностей и изменений, иногда вода поднимается слишком быстро, затопляет страну, сносит жилища и людей; в этом случае разлив Нила не только не благодеяние, но, скорее, большое зло. Конечно, во всех цивилизованных странах неурожайные годы обыкновенно чередуются с урожайными, но нигде контраст между ними не достигает такого резкого различия, как в зеленеющей долине Нила, стесненной со всех сторон объятиями пустыни[xiv].

Но не будем долго останавливаться на несчастных уклонениях от нормального хода вещей и перейдем к изучению нильских разливов в их наиболее благоприятной форме.

Египет, страна Менеса, появился на сцене всемирной истории, как богиня Минерва, вышедшая из головы Юпитера, вооруженный всеми техническими усовершенствованиями и со сложной социальной организацией. Но для того чтобы оценить естественные преимущества географической среды Египта, памятники исторической жизни прошлых веков еще не могут сослужить особенной пользы. Для подобной оценки необходимо представить себе Нил в его первобытном состоянии, в каком его увидели первые обитатели, а вовсе не таким, каким он оказался в результате коллективной работы бесчисленных поколений, живших еще до начала основания деспотического государства фараонов. К счастью, при восстановлении доисторической географии Египта нам не приходится руководиться всецело фантазией: происходящие теперь в верховьях Нила явления до некоторой степени могут нам помочь набросать приблизительную картину первобытного состояния Египта.

Нельзя упускать из виду, что низменное положение, в сравнении с Нубией, нильской долины в Египте подвергало ее в более значительной мере испытаниям и капризам реки. Во время разлива воды Нила, естественно, не могли в разные годы покрывать страну одинаковым образом, и каждое изменение в направлении течений каждый раз перемещало наносы предыдущих годов. При спаде вод каждое почвенное возвышение являлось препятствием для стока воды, каждая рытвина, каждое углубление в почве превращались в лужи воды, тотчас же обращавшиеся в гниющие болота с удушливыми смертоносными испарениями. Египет, созданный самой природой, совершенно не был похож на Египет цивилизованный, на тот Египет, который вызвал справедливое удивление Геродота.

Для первых своих колонизаторов Египет представлял более или менее точное изображение первобытного хаоса. Возможно, что авторы Библии почерпнули свое представление о хаосе из непосредственного наблюдения страны фараонов[xv]. Действительно, хаос, оставляемый разливами, заключает в себе все элементы для образования всего, «что есть хорошего на свете», и тем не менее остается совершенно непригодным ни к чему хаосом вплоть до тех пор, пока чья-либо могущественная и мудрая воля не вмешается и не изменит хаотический мир. Божественный Хапи (Нил) предоставлял всю творческую работу инициативе и заботам населявших его берега людей.

Раньше, чем одарить этих людей своими дарами, Нил подвергал их тяжким испытаниям. Дикие племена и орды всех цветов кожи, пришедшие на берега Нила,

прежде чем перейти к тесной солидарности и пользоваться благами цивилизации, гибли целыми массами от голода, нищеты и болезней, невзирая на изумительные природные богатства нильской долины.

Поддерживать в реке постоянное русло; распространять оплодотворяющее начало по возможно более широкой поверхности при помощи ирригационных каналов; устраивать поперечные плотины, заставляющие воды задерживаться на долгое время над почвой и спокойно осаждать свой ил; укреплять и защищать места, избранные для поселения, от опасности быть снесенными слишком сильным разливом; сооружать приспособления для поднятия воды в места, куда не достигает разлив; наконец, когда уровень воды начинает понижаться, облегчать регулярный спад воды с тем, чтобы не оставалось луж и болот, испарения которых могли бы заражать воздух, — вот полная программа необходимых работ, которые древние египтяне должны были исполнять, чтобы пользоваться естественными благами нильских разливов. Вот почему древним египтянам прежде всего пришлось выполнить и завершить работу по завоеванию почвы.

Необходимые работы по ирригации, вытекавшие из физических условий нижней нильской долины, плодородие которой находилось в зависимости от работ, оказали на историю Египта столь решительное влияние, что их невозможно игнорировать. Система общественных работ, регулирующих и усиливающих благодетельные последствия разливов, образует в Древнем Египте нечто стройное, целое, объединяющее составные части необходимой связью и комбинирующее их отдельные действия на всем протяжении Египта, от порогов Сиены (Асуана) до моря. Достаточно, чтобы одна какая-либо часть общей работы была не исполнена, чтобы вся система оказалась в опасности. Пусть только одна какая-либо область вверх по течению реки допустит свои каналы заполниться илом, прекратит уход за ними, и равновесие окажется нарушенным для всех областей, лежащих ниже по реке, и урожай будет погублен, быть может, во всей стране. Необходима всюду одинаковая бдительность, необходимо, чтобы в целой системе и в ее отдельных частях царствовало одно общее направление и чтобы все подчинялись одной воле... Лежавшие в основе этой необходимости физико-географические условия не ограничивались наложением единства на всех обитателей Египта. Необходимым последствием и логическим результатом всех физико-географических условий Египта являлось осуждение древних египтян под иго деспотизма. Ни один народ не доводил до такой большой степени повиновение царской власти, не возносил самого понятия ее на такую высоту, не признавал за нею божественное происхождение, как египтяне., Объясняется это, конечно, тем, что ни один народ не испытывал настолько сильно необходимости в центральной воле для более рациональной организации материальной жизни и для производства всего необходимого для пропитания.

Ученый автор, у которого я заимствовал вышеприведенные замечания, определив с поразительной точностью и ясностью чисто географическое происхождение в Египте абсолютизма и деспотизма, говорит: «Защитники теории детерминизма с полным правом и большим удобством могли бы воспользоваться примером Египта в качестве подтверждения того своего принципа, что в природе существуют роковые стечения обстоятельств и условий, тяготеющие над человеком настолько властно, что он не может и мечтать о том, чтобы

освободиться от ярма; природные условия предоставляют пользование свободой жителям только некоторых стран; большинство же народов осуждено оставаться вечно согбенными под палкой деспота... Да, без сомнения, элемент фатализма проявляется и в природе и в исторической жизни людей; он является результатом совокупности несметного множества внешних обстоятельств и проявляет свое действие на судьбах обитателей тех или других стран»[xvi].

Такое признание со стороны столь компетентного и опытного ученого, столь убежденного противника философского материализма для нас крайне ценно. Но ученый-археолог и едва ли не последний защитник теории «божественного руководительства в истории» идет в своих утверждениях даже дальше наиболее рьяных и убежденных детерминистов. Школа исторического детерминизма в некоторых случаях гораздо меньше придерживается принципа фаталистического развития истории, чем сам Ленорман в приведенном выше отрывке. Детерминисты, придерживаясь теории эволюции, не могут тем не менее признать правильной его фразу «о роковых силах природы, тяготеющих над человечеством и приговаривающих его к угнетению и рабству».

В самом деле, несмотря на отмеченные мною характерные особенности Египта, исторические судьбы его населения не могут считаться непреложно и неизменно обусловленными совокупностью физико-географических условий. В египетской долине, как и всюду, во всем свете, политический и социальный строй населения естественно и логически вытекает, с одной стороны, из отношений между характером кооперативной деятельности людей, к которой они принуждаются средой, и между способностью населения доставить в силу свободного добровольного сообщества достаточную сумму коллективной работы, требуемую средой, с другой стороны. Два определяющих начала, указываемые здесь, т.е. *среда и способность населения к приспособлению, являются элементами изменчивыми*, откуда неопровержимо вытекает, что и исторические судьбы народов, живущих в каких бы то ни было странах, должны постоянно меняться.

За исключением очень небольшого количества частных случаев, названных мною выше, здесь можно не принимать в расчет медленных и малозначащих в истории человечества геологических и климатических изменений. Наоборот, совершенно иначе надлежит относиться к изменениям, вносимым в жизнь страны успехами техники, и к изменению физико-географических условий благодаря труду многих поколений. Доисторические колонизаторы нильской долины оставили своим потомкам мемфисской эпохи страну далеко не в таком виде, в каком они получили ее из рук природы. Важные работы, предпринятые еще позднее, вроде, например, создания гигантского водоема у Файюма, еще более значительно изменили физико-географические условия страны, полученной в наследство египтянами фивских династий.

Еще более подвержена изменениям и колебаниям способность отдельных людей и поколений к добровольному координированию усилий, т.е. к коллективной работе, к которой принуждает среда. Человек наследует от своих предков трудовые привычки и привычки общественности, которые с великим трудом были приобретены предшествующими поколениями; он долгими годами

опыта уясняет себе полезность различных работ, сложный план которых был еще не понятен его предшественникам, начинает смутно понимать свою связь с обществом и государством; благодаря всему этому человек все более и более вырабатывает в себе способность добровольно и свободно выполнять свою долю общественно необходимой работы, и, таким образом, в обществе постепенно теряется нужда во внешней власти, которая ранее регулировала и управляла общественными работами.

Подчиненные тысячам различных влияний пути исторического развития народов, как и пути природы, не могут быть прямолинейными, но уже один факт возможности накопления результатов труда и опыта предыдущих поколений свидетельствует, что в виде общего правила, в виде нормы в истории должен осуществляться прогресс в том виде и направлении, как мы определили выше. Широта и быстрота прогрессивных изменений растут по мере того, как увеличивается власть человека над временем и пространством, так что историческая ценность различных периодов жизни человечества не пропорциональна их продолжительности. В первые века своего исторического существования человечество подвигалось вперед со скоростью черепахи по тому пути, который мы теперь пролетаем на всех парах. Если не принимать в расчет исторической перспективы, то при рассмотрении исторического прошлого кажется, что в прошлой жизни человечества был полнейший застой, но в действительности наши предки, хотя и медленно, все-таки прогрессировали и шли вперед. Эта иллюзия застоя относительно прошлых веков вводила в заблуждение относительно Египта очень многих историков, начиная с Геродота и кончая Боссюэ и братьями Ленорманами, но новейшие исследования показали ложность такого взгляда: Древний Египет жил и развивался, и его социальная организация не была застывшей.

Даже с самого начала истории Египта физико-географические условия нильской долины нисколько не ставили перед ее обитателями необходимости угнетения и деспотизма. Наоборот, вся среда, где жили первые обитатели Египта, толкала их к солидарности, к коллективной работе, к товарищескому труду и кооперации; только это и послужило причиной дальнейшего процветания Египта и развития цивилизации. Анархист-ученый Элизе Реклю более верно, чем благочестивый автор «Происхождения истории по данным Библии», следующим образом выясняет истинные, реальные, географические причины египетской цивилизации. Реклю говорит: «Нил, общественное достояние народа, заливал все земли сразу и одинаково, и раньше, чем землемеры вымерили и расценили землю, египетский народ обратил землю в коллективную собственность. Оросительные каналы, необходимые для полей там, где не достигали разливы, могли быть вырыты и поддерживаемы только коллективным трудом многих людей. Перед земледельцами Древнего Египта стоял выбор: быть вместе равными и обобществленными или же быть всем рабами одного повелителя, туземного или чужестранца »[xvii].

Жители Древнего Египта разрешили поставленную перед ними природой задачу во втором смысле: все они обратились в «рабов». Понятие эволюции, прогресса было бы лишено смысла, если бы с первых шагов на исторической арене человечество уже умело бы в самых трудных условиях разрешать проблему

свободной добровольной солидарности в ее наивысших формах. Для того чтобы на исторической арене появилась египетская цивилизация и, следовательно, для самого существования всемирной истории было необходимо, чтобы появился «распределитель Нила», фараон, но необходимость эта чисто *психологического* порядка. Лучший и наиболее талантливый из фараонов не мог ничего прибавить к приспособляющейся способности народа к среде. Как и все символы и фетиши, фараон не обладал никакими иными качествами, кроме тех, какие ему давались его подданными. Он не мог быть ни более сильным, ни более мудрым или искусным из людей, потому что перед непостижимой тайной Нила все люди были одинаково слепы и бессильны. По мнению Мариуса Фонтана, фараон не превосходил остальных египтян даже коварством и хитростью. « В то время как подданные могли думать, — говорит он, — что фараон знает тайну реки, сам он не постигал всей глубины своего незнания и, чувствуя над собой высшую, более могущественную власть, не позволял надменности ослепить себя». Мне кажется, что это соображение, несмотря на свою остроумность, не совсем правильно; чтобы играть высокую роль властителя и владыки людей, необходимо дурачить себя и обманывать самого себя для того, чтобы лучше обманывать других. Впрочем, сам Фонтан дальше говорит: «Кажется, в истории нельзя указать другого, более почитаемого божества, чем Нил; он был единственным видимым божеством, внушавшим страх своим жрецам». Чтобы «честно» выполнить свою функцию толкователя божественных повелений Нила, у фараона было только одно средство — добросовестно и точно подражать своим предшественникам, особенно в той части действий, которая носила непонятный характер. Этим объясняется, по моему мнению, крайний традиционализм, суровый и боязливый ритуализм и рабская подражательность прошлому, составлявшие основу египетской морали и нравов.

Резиденция фараонов — Мемфис — носила также название «жилище божества» (Ha-Ka-Ptah), из которого древнегреческие писатели и сделали слово Aegiptos. Основываясь на этом названии, многие египтологи уверяли, что египтяне уже при жизни фараона смотрели на него как на божество, но мне кажется, что это предположение было бы верным лишь в том случае, если бы древние египтяне имели отдельное представление божества. Археологи, внимательно исследовавшие все уголки пантеона первых династий, нашли там, кроме изображений покойных фараонов, лишь двух других обитателей: быка, т.е. по преимуществу рабочее животное, и барана, рога которого в более позднюю эпоху, при Птолемеях, украшали голову Юпитера-Амона. Египтяне составили себе самостоятельную идею о божестве, по всей вероятности, гораздо позднее, чем были заложены первые основы египетской цивилизации. При своем первом появлении на страницах египетской истории фараон совмещает в себе не только все религиозные и общественные учреждения, но и представляет собою квинтэссенцию столь абсолютного деспотизма, что размеры его было бы трудно выразить на современном языке.

Вот в каких выражениях фараон Аменемхет I, родоначальник новой династии, характеризует свою деятельность, обращаясь к своему сыну и наследнику: «С тех пор как я родился, я ни разу не отступал ни перед беспорядками во дворце, ни перед несчастьями во время разливов, когда не хватало воды и высыхали резервуары... Я возделал землю вплоть до Абу, я вырастил три

рода хлебных злаков. Только внимая моим мольбам, Нил разливал свои воды по окрестным полям, никто не голодал при мне, никто не страдал под моей властью, так как все поступали согласно моим повелениям и все, что я приказывал, было новым поводом любви ко мне. Я победил льва и пленил крокодила. Поступай еще лучше, чем твои предшественники, и поддерживай добрые отношения между тобою и твоими подданными».

Таким образом, абсолютный деспот в приведенном нами отрывке начинает уже сомневаться в своем божественном праве и в божественном происхождении своей власти, он стремится внести в свои действия элемент полезности, а это представляет уже большой шаг к падению деспотизма... Тот же самый фараон, слова которого мы только что привели, начинает уже сознавать свое бессилие перед народом и делает следующее признание: «Вот против меня поднимают оружие, и я становлюсь бессилен, как полевая змея».

Интересно отметить, что уменьшение деспотизма в Египте не было куплено ценою упадка технических достижений. Правда, позднейшие фараоны уже не строят огромных пирамид, но зато они предпринимают другие работы, например повелевают вырыть озеро Мэрис, способное вместить в себя более трехсот тысяч миллионов кубических метров воды и играющее с тех пор важную роль в гидрологии Египта; даже наши современные инженеры до сих пор удивляются этому гигантскому сооружению.

С начала XII династии история Египта представляет длинный последовательный ряд фаз, свидетельствующих о разложении первобытной власти фараона и в то же время отмечающих собою новые даты по пути прогресса. Постепенно первобытная власть фараонов раскалывается на два составных элемента — светский и духовный, на царя и жреца, которые вскоре начинают враждовать друг с другом.

Если при фараонах мемфисских династий жрецы были похожи на обыкновенных гражданских чиновников, подвластных воле фараона, то позднее они уже составляли нечто вроде самостоятельной касты, и эта каста в течение веков все более и более освобождалась от подчинения светской власти. Оба противника иногда заключали перемирие, чтобы продолжить общую свою агонию, но в силу того, что две неограниченные власти не могут существовать рядом, они уже заранее были осуждены на гибель: династические стремления, честолюбие фараонов, бюрократические стремления чиновников... — все, чем характеризуется институт самодержавной власти, — и сами по себе оказались бы достаточными для того, чтобы расшатать здание абсолютизма и сокрушить его, однако нашествие чужеземцев еще раньше естественной смерти деспотизма отбросило умиравший фараонизм с исторической сцены. Собственно говоря, настоящие фараоны исчезли еще задолго до политического падения своего государства: с момента вторжения гиксов и восстановления народных династий лица, носившие звание фараонов, были, в сущности, только главными управляющими над администрацией, над собственной гвардией и над войсками. Но божественный Нил ни в каком случае не был символом войны, и фараоны, «распределители Нила», как только волна истории смыла их со своей родной почвы и бросила в водоворот военных авантюр, не замедлили быстро стушеваться перед более молодыми и лучше вооруженными соперниками, какими были монархи-разбойники Месопотамии.

[i] Маршрут этих карававов можно приблизительно установить согласно пути двух таких караванов, которые в 1806 г., т.е. почти за пятьдесят лет до путешествия Ливингстона, пересекли всю Африку от Атлантики до устья Замбези, сделав большое отклонение к северу, чтобы посетить резиденцию негритянского короля Мвата Ямво

[ii] Римский писатель Лукан в своей «Фарсалии» вкладывает в уста Цезаря такую фразу: «Я отказался бы от гражданской войны, если бы мне дано было знать, где Нил берет свое начало».

[iii] Птолемей помещает истоки Нила на 10 или 12 градусах южной широты, что преувеличено; но при теперешнем состоянии знаний относительно притоков озера Виктория-Ньянза нельзя с уверенностью сказать, насколько он ошибается. Ливингстон придерживался гипотезы Птолемея и искал истоки в области Бангуэло

[iv] Бёртон утверждает, однако, что название «Страна Луны» было бы на языке банту Ou-mouezi, а частица nya была бы лишней. С другой стороны, слово mouezi значит вор (вероятно, это значит «тот, кто работает при свете луны, т.е. ночью, а не днем»). «Страна воров» — такой буквальный смысл слова Ou-nyamouezi, причем частица nya здесь является необходимой (см. Lake Regions of Central Africa).

[v] H. Stanley. How I found Livingstone, 1872

[vi] В более ранние эпохи один только фараон знал «тайну Нила», и это была одна из главных причин, вызывавших к нему благоговение народа

[vii] По мнению проф. Лаута, «Крофи» есть видоизмененное на греческий образец слово Ker-Hapi (пучина Нила), а «Мофи» — Mou-Hapi (вода Нила).

[viii] E. Rec1us. Цит. соч., т. X.

[ix] *Ньям-ньям* — устаревшее наименование народа азанде, живущего на территории современных северного Заира, ЦАР и Судана

[x] Руссеггер не вполне ошибается и не без оснований принимает Собат за настоящий Белый Нил. Изменяя таким образом установившуюся классификацию водных потоков нильского бассейна, он руководствуется следующими соображениями: во-первых, только принявши в себя эту реку, воды Нила приобретают меловую окраску, дающую свое имя реке, во-вторых, в периоды половодий Собат несет более воды, чем Нил. Впрочем, в периоды засух и спада вод Собат становится меньше Нила

[xi] W. Reade. The Martyrdom of Man. London, 1875

[xii] Этот гимн записан в эпоху XII династии, но составление его можно отнести к гораздо более ранней эпохе

[xiii] Papyrus Sellier (пер. G.Maspero).

[xiv] См. Fr. Lenormant и W. Reade. Цит. соч. Последний ученый, как мне кажется, несколько преувеличивает роль неурожайных годов в истории Египта

[xv] Понятие о хаосе как о первобытной грязной плодородной массе, заключающей в себе зародыши всех вещей и всех существ, могло зародиться также и в Халдее (см. след, главу).

[xvi] Fr. Lenormant. Цит. соч.

[xvii] E. Rec1us. Цит. соч., т. X

Глава девятая

ТИГР И ЕВФРАТ

Бассейн Тигра и Евфрата и Передняя Азия. — Халдейские цари-астрологи и египетские фараоны. — Месопотамский период цивилизации. — Египетская цивилизация в сравнении с цивилизацией Ассиро-Вавилонии.

Египет представляет собою плодородный оазис, отделенный от остального мира песчаными пустынями, скалистыми пространствами, морями и обширными болотами. Совершенно иной характер имеет область рек Тигр и Евфрат, которую можно сравнить с блестящей вставкой в драгоценной мозаичной картине, окраинные части которой с первого взгляда имеют как будто самостоятельный характер, тогда как на самом деле они зависят всецело, и исторически и географически, от двух великих рек Передней Азии, которые образуют «Страну двух рек», или страну Междуречья — Месопотамию.

Если рассматривать Евфрат только с правого берега, то его можно признать двойником Нила, копией великой реки Африканского материка. Действительно, обогнув Кархемиш, знаменитый город хеттов, Евфрат тесно сжимается песками пустыни, простирающейся без перерыва вплоть до Неджефа и до границы обитаемой Аравии. Трясины, топи, болота, которые он образует вниз по течению реки от Вавилона и вся совокупность которых носит одно общее наименование Неджеф, представляют некоторую аналогию с нильской долиной у Файюма; страна около Шатт-эль-Араба напоминает дельту Нила. Это сходство было бы еще более разительным, если бы мы могли восстановить северную часть Персидского залива в том виде, в каком он был до выполнения первых халдейских работ по осушке и ирригации общего устья Евфрата и Тигра. Интересно заметить, что в области, лежащей к юго-западу и западу от Евфрата, граница заселенной местности определяется именно границей разливов.

Но всякое сходство с Нилом и нильской долиной тотчас же исчезает, как только мы переходим на левый берег вавилонской реки и начинаем изучение этой области во всем ее объеме. На севере и востоке ассиро-вавилонской равнины цепи гор, из которых многие, как, например, Арарат, Аладаг и Тандурек, превышают 3500 метров, образуют для бассейна рек Тигр и Евфрат горную границу, отделяющую его от прикавказской области и от плоскогорья Ирана. Эта естественная граница между Черным морем и Месопотамией представляет внушительное зрелище, особенно на севере, т.е. в области истоков Евфрата и Тигра. Цепи закавказских и армянских Альп поднимаются здесь до весьма значительной высоты, и их изломанная конфигурация, обрывистые склоны, остроконечные вершины, господствующие над обрывами, еще сильнее оттеняют дикий характер страны. Несмотря на высокий горный барьер Понтийских Альп, большая часть южной Армении пользуется богатыми испарениями, которые приносятся сюда восточными ветрами. Точно так же возвышенная долина Карасу почти до Эрзерума пользуется ветрами, дующими с Черного моря. Эти ветры, дующие главным образом в течение зимы, приносят с собой обильные влагой пары,

которые осаждаются здесь в виде снега, покрывающего весь амфитеатр гор вокруг истоков реки Евфрат. Северные и восточные ветры, представляя собою разветвление главного воздушного течения, пересекающего весь континент Азии, весьма знойны, и обыкновенно их действие ограничивается тем, что они разгоняют тучи; нередко, впрочем, случается, что производимые ими внезапные ужасные бури оканчиваются жестокими ливнями.

Как я уже говорил, северный склон армянских Альп получает огромное количество влаги, и здесь берут свое начало несколько больших рек, как, например, Шорук и Каршу. Южные склоны тех же гор питают Тигр и Евфрат, воды которых, объединяясь вместе в Шатт-эль-Араб, составляют массу, превышающую по своему количеству массу воды, изливаемую Нилом. Таким образом, в общем атмосферном и речном кругообороте Черное море при помощи дождей и русла реки Евфрат беспрестанно перемещает свои воды в Персидский залив[i]. Горные массивы Армении не представляют непроходимого препятствия между Месопотамией и областью Кавказа и Понтийских гор; наоборот, при их помощи плодотворные пары Черного и Средиземного морей орошают Тигро-Евфратскую долину. Рельеф здесь одинаков с обеих сторон Антикавказских гор, так что, для того чтобы найти настоящую естественную границу описываемой страны, необходимо передвинуться дальше на север, к берегам Черного моря, туда, где проходят высокие цепи Кавказских гор, прикасающиеся к Каспийскому морю. Склоны армянских Альп по большей части безводны, обрывисты и обнажены, но долины, змеящиеся между их снежными и покрытыми застывшей лавой хребтами, могут с полным правом занять место среди стран, наиболее одаренных природой. Это по преимуществу страна резких контрастов, где зимы бывают так же холодны, как в Москве, а лето столь же знойно, как в тропических странах[ii]. Альпийская растительность входит здесь в соприкосновение с флорой жаркого пояса; виноградники Эривани, и вообще русской Армении, производят вина, по крепости стоящие наравне с испанскими винами; вина же из окрестностей озера Ван, к югу от Антикавказских гор, не уступают бургонским. Во многих местах почва, возделанная чрезвычайно примитивно, дает тем не менее две жатвы в течение одного года; дубы, ели, клены, ясени, каштаны, сосны и вообще все деревья Центральной и Южной Европы образуют по склонам гор густые леса. Многие из наших фруктовых деревьев, без сомнения, происходят из этой области, где даже шелковичное дерево растет успешно, несмотря на сильные зимние холода. Главное богатство страны составляют зеленеющие луга, на которых в наше время, точно так же как и в доисторическую эпоху, миллионы овец и коз находят себе обильную пищу. С незапамятных времен эта область была местом жительства многочисленных бродячих пастушеских и охотничьих племен, отличавшихся грубыми и суровыми нравами и обычаями, любовью к свободе и независимости. Среди этих племен не была развита в сильной степени солидарность, так как при жизни грабежом и набегами солидарность являлась бесполезной роскошью.

Уже за 2300 лет до начала нашей эры в долинах горной Армении возникли зачатки цивилизации, но эти зачатки не получили своего дальнейшего развития. В Армении и в верховьях Евфрата и Тигра не было тех физико-географических условий, которые могли бы укрепить и дать дальнейшее развитие зародышам

культуры. Такие условия мы встречаем лишь в области нижнего течения названных рек.

К югу от Арарата и Тандурека горы понижаются, образуя несколько параллельных цепей, направляющихся от истоков Аракса и от озера Урмии на юго-восток, к Мекрану; эти цепи отделяют Месопотамию от высокого плоскогорья Ирана, проходя по левому берегу Тигра. Некоторые вершины этих гор, как, например, Эльвенд, к юго-западу от Экбатаны, и Алиджук, к югу от Испагани, поднимаются на высоту 3000 — 4000 метров; здесь же находится вершина Ку-и-Дена в 5200 метров высоты, представляющая после Демавенда наиболее возвышенный пункт Передней Азии[iii]. Со стороны Ирана и Белуджистана эти горные цепи образуют как бы одну сплошную стену, постепенно понижающуюся к юго-востоку. У подошвы этой стены на высоте почти 1500 метров над уровнем моря группируются наиболее знаменитые исторические города Персии и Мидии: Эк-батана, Испагань, Персеполь, Шираз.

Наоборот, со стороны Тигра вместо этой одной стены мы видим бесчисленное количество параллельных горных цепей, пересекаемых извилистыми ущельями и вполне заслуживающих то название «боевой колонны», которое им дал английский исследователь Раверти. Подобно тому как водяные пары Средиземного и Черного морей, осаждающиеся на вершинах армянских Альп, питают Евфрат, влажные ветры с Индийского океана в свою очередь приносят влагу на вершины описанных выше гор, и эти осадки дают начало бесчисленным ручьям и речкам, несущим свои воды в русло Тигра. Наиболее значительными из этих притоков Тигра являются Зай, Дьялла, Керка.

Уже в весьма отдаленную от нас эпоху большая военная и торговая дорога из Месопотамии на восток и из Ниневии в Экбатану проходила через ущелье Дьялла. Зимою и в периоды наводнений эта дорога зачастую бывала совершенно непроходима, что и служило большим препятствием для распространения месопотамской цивилизации на восток. Горные вершины, окаймляющие долину реки Тигр со стороны Ирана, служили в то же время неприступными крепостями, откуда дисциплинированные армии Мидии и Персии легко устанавливали свое господство над Месопотамией.

Если при посредстве реки Мурад-чай, исток которой находится на недалеком расстоянии от истока Тигра, Евфрат принадлежит отчасти к курдо-армянской стране, то его другой большой приток, носящий у турок название Карасу, присоединяет Евфрат и к Малой Азии. К югу от впадения Карасу в Евфрат великая месопотамская река огибает восточные выступы Тавра и течет на запад, к Средиземному морю, но на 36-й параллели, как бы видя невозможность пробиться дальше на запад через горные хребты, Евфрат поворачивает на юго-восток и приближается к Тигру; обе реки текут параллельно, в некоторых местах приближаясь друг к другу, а в некоторых расходясь друг от друга, чтобы затем слить свои воды в одно русло, образуя Шатт-эль-Араб. Область, заключенная между обеими реками, и является Месопотамией, т.е. Междуречьем в узком смысле слова, и здесь образовался в древности второй очаг цивилизации, характеристикой которого мы и займемся.

Ассиро-Вавилония, будучи окружена со всех сторон, за исключением южной, различными по своим физико-географическим условиям областями, образует, как

мы уже сказали выше, нейтральную часть особого, промежуточного между Индией и Грецией мира. Такое положение Месопотамии совершенно достаточно для того, чтобы объяснить возникновение здесь очага цивилизации, подобного египетско-нильской цивилизации.

Географическими терминами «Месопотамия», «Ассиро-Вавилония», «Халдея» пользуются обыкновенно, не различая для их определения то всей совокупности стран, орошаемых Тигром и Евфратом, то одной какой-либо, более или менее определенной части их обширного бассейна. Библейская номенклатура была несравненно более точной. Авторы Библии называли Халдеей южную часть области от Вавилона, а Ассирией (Aram Naharaim), или «Сирией двух рек», северную часть страны, где главным городом была Ниневия. Геродот[iv], на счет которого, быть может, следует отнести указанное мною смещение географических терминов, говорит уверенно, что почвы Ассирии не в состоянии производить виноград и фиговое дерево. Если это и справедливо, то только для Вавилонии или Халдеи, так как значительная часть Месопотамии к северу от Вавилона, которую еще Страбон[v] называет Aturia (Ассирия), напротив, доставляет вина отличных качеств; точно так же здесь растет с успехом и фиговое дерево, как, вероятно, оно росло и в те времена, когда Геродот посещал эту страну. Необходимо заметить, что Месопотамия в точном смысле этого слова, т.е. страна, лежащая между обеими реками на пространстве до их слияния у Корны, даже до их соединения у Багдада посредством многочисленных каналов, представляет несколько зон или географических поясов, совершенно отличных друг от друга и следующих друг за другом от севера к югу. Продвигаясь к югу и оставив за собою Карата-Даг, последний из отрогов Антикавказа, путешественник вступает в слегка волнообразную равнину, монотонность которой нарушают только несколько невысоких холмов, рассеяных там и сям. Однако вид этой равнины не утомляет взора, так как если зима была не слишком холодна и если весенние и осенние дожди оросили местность, то плодородие почвы проявляется здесь с необычной силой. Геродот не решается определить высоту, до которой здесь достигает ячмень, потому что, как говорит он, «те, кто не видел страны в лучшее время ее года своими собственными глазами, могут не поверить моим словам». В Месопотамии хлебные злаки, эти по преимуществу культурные растения, произрастают в диком состоянии. Все фруктовые и плодовые деревья и кустарники Южной и Центральной Европы, т.е. персиковые, абрикосовые, гранатовые, фиговые, апельсинные, шелковичные, миндальные, вишневые, грушевые деревья образуют здесь настоящие леса; виноград в некоторых местах образует буквально целые заросли. Поля, отдыхающие под паром, покрываются весной цветами и травами в таком изобилии, что охотничьи собаки, гоняясь за дичью, возвращаются домой сплошь прокрытые цветочной пылью и мелкими лепестками цветов. Очень знойное, очень сухое и очень длинное лето с трудом побеждает эту мощную растительность, сжигает ее и освобождает от нее землю, которая является тогда серой, истощенной, покрытой кристаллами соли и испещренной, словно какой-то болезнью.

Вся эта страна, являющаяся родиной для многих видов животных, с незапамятных времен сделавшихся домашними друзьями, лучше всякой другой отвечает идее о рае или зеленеющем Эдеме, где человек в естественном состоянии

мог проживать в полной праздности и первобытном невежестве. Замечательно, что, несмотря на значительную близость к одной из самых древних цивилизаций, развалины, свидетельствующие о былом величии страны, здесь сравнительно весьма немногочисленны и находятся почти все на правом берегу Тигра и все, за очень немногими исключениями, относятся к эпохе приблизительно за шестнадцать веков до начала нашей эры. Немврод не мог выбрать лучшей страны для своих охотничьих набегов, а известно, что охотничья жизнь никогда не содействовала зарождению цивилизации. Но одна книга Библии удостоверяет определенно, что царство Немврода началось среди городов Бабель, Эрек, Аккад, Кальнек, т.е. в стране, расположенной к югу от наиболее плодородной части Месопотамии. По мере того как мы подвигаемся в этом направлении и вступаем в область Вавилона, где Тигр и Евфрат не только сближаются друг с другом, но и смешивают свои воды при помощи многочисленных каналов и рукавов, местность значительно меняет свой вид. Здесь уже нет больше ни весенних, ни осенних дождей; плодородие почвы, как и в долине Нила, зависит исключительно от разливов и половодий. По словам Роулинсона, уже в окрестностях Хита на реке Евфрат и немного к югу от Самарры, лежащей на Тигре, путешественник покидает слегка волнообразную равнину Месопотамии и вступает в низменную, вполне ровную и очень наклонную местность, образованную наносами и продолжающуюся вплоть до Персидского залива. Именно здесь, приблизительно по 34 градусу северной широты, Роулинсон и устанавливает северную границу библейской страны Сеннаар (Халдея); Ассирия же, по его мнению, начинается за этой границей.

Контраст между этими двумя странами действителью поразителен, и не только по пейзажу, по геологическому строению, но и по климату, по флоре, по населению и по историческим судьбам. К северу от установленной Роулинсоном границы лежат слегка возвышенные и волнообразные равнины, обязанные своим удивительным плодородием обильным дождям во время равноденствий. К югу расположена низкая страна, почва которой состоит из солончаков и покрыта горькой полынью всюду, куда не достигает оплодотворяющая вода ; во время разливов. К северу живут народы, происшедшие, по библейскому преданию, от Сима, Ассура, Арфаксада, Луда, Арама, а к югу обитают представители самых разнообразных племен, говорящие на самых различных языках; среди этих народов на первом месте находятся кушиты, потомки Хама, по библейскому преданию, люди с черной кожей, занимавшие также и Египет. Согласно утверждениям древних греческих писателей, кушиты прибыли в долину Нила и в Месопотамию из Центральной Африки и являются первыми основателями египетской цивилизации. На севере Месопотамии мы видим развалины дворцов Салманасара и Сеннахерима — этих царей — грабителей подвластных народов, на юге — в мирной Халдее — место дворцов занимают многоэтажные обсерватории, очень похожие на архаические пирамиды Египта, с высоты которых уже в глубокой древности коронованные астрологи, как, например, Хаммурапи, изучали течение звезд и занимались астрономическими вычислениями, стремясь проникнуть в тайны разлива рек, от которых зависело благоденствие страны.

В собственно Халдее следует также различать две отдельные области. Северная половина Халдеи, там, где находятся развалины Вавилона,

оплодотворяется только разливами Тигра и Евфрата, а южная половина не только оплодотворяется Евфратом и Тигром, но является целиком созданием этих рек, так как ее почва состоит из наносов, отложенных Евфратом и Тигром, и плодородие почвы всецело зависит от разливов и половодий, как и в Египте. Именно в эту последнюю страну, т.е. в Нижнюю Халдею, нас и переносит библейское предание, говорящее о сотворении мира.

Если существует какое-либо место в Месопотамии, на котором совпадают и результаты современных исследований, и свидетельства Библии, то это именно то место, где говорится о Нижней Халдее. Первобытная ее цивилизация, как и цивилизация Египта, имела своей колыбелью самую южную часть вавилонской долины, почва которой сплошь состоит из наносной земли. Из всей долины Тигра и Евфрата это были первые места, где человек мало-помалу освободился из своего животного состояния и сумел перейти в стадию цивилизованной жизни. Точно такую же картину мы уже наблюдали и в Египте, в долине Нила. С течением времени в той и другой стране цивилизация все более и более крепла и распространялась с низовьев рек вверх по течению. Известно, что Фивы в Египте возникли гораздо раньше Мемфиса; точно так же и в Месопотамии первое развитие цивилизация получила в городах Ур и Ларзам, лежавших почти в устье Евфрата и Тигра...

Религия с ее символами и обрядами, зародившись в нижнем течении Нила, Евфрата и Тигра, распространялась по тому же пути, каким шла цивилизация вообще. Таким образом, в бассейне Тигра и Евфрата цивилизация возникла в Нижней Халдее; ее главные центры и очаги образовались в области, лежащей приблизительно между 30 и 33 градусами северной широты, наиболее известным из этих центров халдейской цивилизации был Вавилон. Народ, известный в истории под именем ассирийцев, заимствовал из Халдеи первые зачатки своей цивилизации.

В древности, когда в Нижней Халдее явились первые люди, эта область представляла, по всей вероятности, картину такого же хаоса, как и первобытная нильская долина после спада вод; почва под лучами палящего солнца твердела, как камень, или же заносилась песками пустыни, болота и огромные лужи гниющей воды разносили кругом себя заразу и эпидемии. Чтобы сделать из этой пустыни одну из самых богатых и обильных областей в мире, первобытным жителям надлежало урегулировать течение рек и при помощи каналов и плотин распределить равномерно по всей местности живительную влагу, которая в ущерб для некоторых частей территории скоплялась в других, — словом, нужно было сделать буквально то же, что пришлось сделать первобытным жителям Египта. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что и здесь история отвернулась от плодородных стран, простирающихся к северу и к югу от горы Арарат, а избрала местом зарождения цивилизации обнаженную местность, обитатели которой под страхом угрозы самых ужасных несчастий принуждались к сложному и мудрому координированию своих индивидуальных усилий.

Геродот замечательно удачно обрисовал существующую аналогию между естественными условиями развития цивилизации в Египте и в Халдее, но он полагал, что эта аналогия не достигает размеров тождества. «В Ассирии, — говорит Геродот, — воды реки питают корни хлебных злаков и порождают, таким

образом, богатые жатвы, но не так, как в долине Нила, где вода сама выходит из берегов и заливает поля; в Халдее, наоборот, для того чтобы привести воду на поля, необходим тяжелый труд и разные приспособления». Участие человеческого труда в создании и периодических оплодотворениях халдейской страны действительно более значительно и более постоянно, чем в долине Нила. Дело в том, что половодья Евфрата и Тигра не отличаются ни периодичностью, ни регулярностью нильских разливов. Было бы крайне интересно детально изучить исторические различия между цивилизациями Халдеи и Египта, обусловленные различиями географической среды, но, к сожалению, для нас недоступны фактические данные, могущие послужить почвой для подобной работы. Несмотря на успехи, достигнутые за последние годы в области изучения ассиро-вавилонских древностей, наши познания в области ассирологии стоят далеко не на высоте знаний об истории египетской культуры; не без основания можно даже полагать, что древняя эпоха нижнехалдейской цивилизации никогда не предстанет перед нашим взором в таком ясном и полном виде, как цивилизация Египта. Строители халдейских дворцов и обсерваторий не имели в своем распоряжении тех прочных гранитных и известняковых пород, из которых построены египетские пирамиды; глиняные цилиндры знаменитой библиотеки Сарданапала в Ниневнии, падая с деревянных полок, служивших им подставками, разбивались на тысячи кусков, из которых исследователям удалось отыскать только небольшую часть с отрывочными надписями. Кроме того, клинообразное письмо стоит вообще во всех отношениях ниже египетских иероглифов. Ленорман[vi] по этому поводу утверждает, что половина всех памятников клинообразной письменности, находящихся в нашем распоряжении, дает только некоторые руководящие основания при разборе другой половины.

Правда, мы можем при изучении цивилизации Нижней Халдеи дополнять недостающие части общей картины аналогичными данными египетской цивилизации, так как сходные физико-географические условия должны были породить и сходные формы цивилизации. Когда мы слышим голос одного из халдейских деспотов, Хаммурапи, оставившего нам первый бесспорный исторический документ тигро-евфратской цивилизации, то в нем мы ясно слышим те же слова, что и в послании фивского фараона Аменемхета, этого строителя каналов и инициатора общественно полезных работ. Сквозь густой туман, скрывающий начало зарождения халдейской цивилизации, можно также заметить, что цари-боги, цари-жрецы Халдеи, олицетворявшие собою и светскую и духовную власть, представляют собою почти точную копию с фараонов мемфисских династий.

Отмечаемый мною узкий параллелизм между историей этих двух стран существует вплоть до наступления второй фазы первого периода всемирной истории, когда деспотизм, доселе нераздельный и абсолютный, обусловленный физико-географическими условиями, начинает до некоторой степени проникаться элементами человечности и стремится оправдать свое существование общественной пользой. Только в то время, как в долине Нила эволюция деспотизма сопровождается дифференциацией, выделяющей из первобытного грубого угнетения мемфисской эпохи отдельные элементы греческого деспотизма и царской власти, в Халдее все это остается смешанным, и в течение долгих веков

власть повелителей включает в себя элементы царя и мага. Магия принимает здесь ясно выраженный астрономический характер и превращается в смесь грубых суеверий и элементов истинно научных знаний.

Уже Лаплас утверждал[vii], что астрономические и космологические познания древних халдеев были несравненно более глубоки, реальны и научны, чем познания египетских жрецов. Действительно, десятичное счисление, открытие зодиакального круга и его деление на 360 градусов, измерение пространства, представление о солнечном годе, независимое от представления о лунном годе, установление недели из семи дней — все это можно включить в число заслуг царей-астрологов из Нижней Халдеи. Значительные успехи их в астрономии объясняются тем обстоятельством, что разливы Евфрата и Тигра отличались своими особенными характерными чертами и делали очевидной для всех тесную связь между явлениями на небе и переменами в уровне реки, а следовательно, и связь между небом и судьбами человека на Земле. Если и можно провести демаркационную линию между современной, реальной философией природы и халдейской магией и астрологией, то только в том смысле, что мы обладаем более точными знаниями о сущности и влиянии небесных явлений.

Различие географической среды не замедлило создать с течением времени между цивилизациями Египта и Халдеи весьма характерные и заметные отличия. Хотя Нижняя Халдея представляет, без сомнения, наиболее изолированную часть тигро-евфратского бассейна, тем не менее ее изолированность далеко не столь сильна, как в Египте. С самого раннего периода месопотамской истории Халдея и Ассирия подвергаются различного рода внешним влияниям. Река Хоаспес [вероятно, р. Керхе], некогда независимый от Тигра поток, собирает свои воды с южного склона Мидийского плоскогорья; в своем быстром течении к Персидскому заливу она перерезывает горную область, постепенно понижающуюся к Нижней Халдее; здесь находилось особое государство, называемое в Библии Элам и в самом раннем периоде истории уже изобиловавшее многочисленными городами — Мадакту, Хаману, Надиту. В этих городах-крепостях находили себе приют более или менее могущественные коронованные разбойники, которые объединились еще задолго до эпохи библейского Авраама под властью одного высшего повелителя, резиденцией которого был город Сузы[viii], расположенный в том месте, где соединяются два главных рукава реки Хоаспес[ix]. Эта эламская страна, известная под именем Сузианы, с древнейших времен связала свою историю с историей Вавилона. Южная область Сузианы, особенно там, куда достигали наводнения, лишь весьма незначительно отличалась от Нижней Халдеи. Самые древние и смутные предания народов Передней Азии рисуют нам эламских царей вполне похожими на Кедорлаомера, современника библейского Авраама; вот что говорится о нем в книге Бытия: «Победители взяли все имущество Содома и Гоморры, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли»[x]. Бросаясь, как хищные птицы, на богатые поселения равнины, для того чтобы их разграбить, жители Элама вносят в историю Халдеи элемент борьбы с соседними воинственными народами, элемент, почти совершенно отсутствовавший в первую эпоху истории Египта. Иногда в течение жизни нескольких поколений эламиты успевали сохранить власть над побежденными. Между прочим, уже один предшественник вышеназванного

Кедорлаомера при помощи царя Синхара разграбил и подчинил себе Халдейское государство. Он сделался основателем третьей Вавилонской династии, носящей неправильное наименование Мидийской, так как ее эламское происхождение не оставляет никакого сомнения. Благодаря одному официальному акту, изданному ассирийским царем Сарданапалом, можно с приблизительной точностью определить дату этого завоевания (2295 год до Р.Х.). Когда в 660 году древней эры этот царь захватил Сузы, он в качестве наследника халдейских королей издал особый акт, гласивший, что его триумфальное вступление в столицу вечного врага состоялось спустя 1635 лет после упрочения Сузской династии в Нижней Месопотамии. Вавилоняне, впрочем, терпели иго победителей-эламитов только в продолжение 150 лет, и в 2047 году до Р.Х. мы уже видим, что туземные цари снова захватили власть.

К сожалению, история Элама и соседних с ним стран совершенно неизвестна, и было бы весьма затруднительно правильно оценить влияния, которые могли иметь постоянные угрозы опустошений и завоеваний, на государственное устройство Халдеи, которое со времени Хаммурапи было так похоже на государственное устройство Египта эпохи фивских фараонов. Необходимо заметить, что, за некоторыми несущественными исключениями, повелители Нижней Халдеи могли защитить от эламитов целость своего государства, не покидая в то же время своих астрологических занятий и стремлений проникнуть в вечные тайны рек. Но по мере того как цивилизация, родившаяся в области разливов и наносов, поднималась вверх по течению Тигра и приближалась к горной стране Курдистан, ей предстояло встретиться с еще более многочисленными и не менее воинственными, нежели эламиты, разбойничьими племенами, обитавшими на высотах Тенг-сира, или «Страны ущелий». Мы, по всей вероятности, никогда не узнаем, какую жестокую борьбу, сколько войн и лишений пришлось перенести строителям каналов и священных обсерваторий древней Халдеи в беспрерывной защите своей страны от набегов охотничьих диких племен и кочевников северной Месопотамии. Нам известно, что в конце концов законный наследник древнехалдейской цивилизации Вавилон сохранил свое верховенство, победил все опасности и внутренние междоусобия вплоть до момента египетского нашествия, захватившего и всю Сирию[xi].

Бесчисленные орды боровшихся с Халдеей разбойничьих племен после того, как в течение многих веков они обрушивались лавиной на Халдею, сгруппировались в конце концов в несколько небольших воинственных государств, расположившихся вокруг естественного центра их грабежей и набегов, т.е. вокруг Халдеи. Все горные вершины треугольника, образуемого Тигром ниже впадения в него Шабура и южным изгибом большой реки Заб, все высоты на запад от Соломоновых гор, господствующие над ущельями, с тех пор покрылись крепостями, группировавшимися обыкновенно вокруг храма какого-нибудь божества, представителем которого являлся местный царь. Некоторые из этих храмов-крепостей были посвящены сразу даже нескольким богам, как, например, те, которые господствовали над знаменитой долиной Арбеллы, семитическое название которой «Арба-Илу» указывает, что бывшие здесь храмы посвящены четырем божествам. Месопотамия вообще всегда заимствовала своих богов из Халдеи, и еще в IX веке до Р.Х. один ассирийский царь называет Синхар «

колыбелью своей страны ». Все феодалы Халдеи считали своим общим предком легендарного Шарру-кина I, который, согласно новейшим исследованиям, жил приблизительно около 3750 года до начала христианской эры[xii] и которого не следует смешивать с великим Шарру-кином (Саргоном греческих авторов, отцом Сеннахерима), разрушившим Израильское царство[xiii]. От большинства горных крепостей, принадлежавших предводителям охотничьих племен Месопотамии, до нашего времени не сохранилось даже развалин; все эти крепости и их отдельные властители находились, без сомнения, в зависимости от главного города страны Нимруда, основателем которого, по словам легенды, был знаменитый Немврод[xiv]. Положение этого города на высокой горе у впадения реки Заб в Тигр облегчало для царей Нимруда владычество над соседними крепостями и городами. И действительно, многие кочевые элементы воинственных племен, обитавших в горах Курдистана и на армянских Альпах, признавали его власть. В этой же области несколько позднее возникла Ниневия, ставшая во время владычества свирепого Сеннахерима столицей для всей Передней Азии.

Наименование жившего в Месопотамии народа — «ассирийцы», — по видимому, появилось только в эпоху, когда Самси-Раман II построил храм в Шаргате и посвятил его богу Ассуру. За восемнадцать столетий до начала христианской эры Шаргат уже служил местом поклонения Ассуру, но еще ранее он был святилищем бога Ану и носил его имя.

Усваивая постепенно религию, обряды, письменность, искусство и науку халдеев, жители остальной Месопотамии в конце концов в течение второго тысячелетия до начала нашей эры приобрели господство над всем средним течением Евфрата и Тигра; к тому времени они сделались опасными соперниками Вавилона, ослабевшего вследствие постоянных войн с фараонами XVI, XVII и XVIII династий. Однако Ассирийское царство или, вернее, ассирийский период истории Передней Азии начинается только около 1270 года, когда ассирийский царь Тукульти-Нунутра I низверг вавилонского царя Назимарутташа и соединил под своей властью всю обширную территорию Синхара, или Халдеи.

Жители северной Месопотамии, бывшие по условиям своей жизни, по обычаям и стремлениям главным образом грабителями, получавшие свое воспитание в охоте за львами и дикими буйволами, обладали всеми качествами, чтобы сделаться непобедимыми воинами. Ни один из древних народов не мог сравниться с ними в смелости, твердости, ловкости и энергии; но зато ни один народ не доводил также до такой ужасной степени культ грубой силы и страстного стремления к военным занятиям, любви к грабежам, к разрушениям и хищничеству. На их языке имя божества, т.е., по их представлению, высшего существа, было синонимом существа, наводящего ужас и трепет на людей. Смотря на себя по примеру египетских фараонов как на представителей божества на Земле, ассирийские цари жестоко наказывали всякое сопротивление их оружию как самое страшное преступление. Из такого представления о боге, о божественном происхождении царской силы и выросла та холодная, спокойная, неумолимая жестокость, которою дышит буквально каждая строка памятников письменности, дошедших до наших времен.

Вслед за мирной и трудолюбивой цивилизацией Нижней Халдеи, жители которой занимались устройством каналов и возделыванием полей, следует период

грабежей и убийств, о которых сами грабители возвещают всему свету. Так, царь Сеннахерим, перечисляя десятки разрушенных им городов, говорит: «Я их взял и разграбил, я на них напал, как ураган, я их обратил в пепел... на их месте я создал пустыню и кучи развалин; я опустошил вражескую страну так, как ее могла бы опустошить только огненная метла».

В интересном документе, известном под названием «Цилиндр Тейлора»[xv], тот же деспот излагает свои подвиги в следующих выражениях: «Мои трофеи плавали в крови, как в реке, мои колесницы давили людей и животных и терзали еще трепетавшие члены врагов. Я воздвиг себе пирамиды из убитых мною врагов; всем тем, кто падал и сдавался, я велел отрубать руки».

Знаменитый царь Ниневии, любитель наук и библиофил, Сарданапал, или Ашшурбанипал, превзошел, как кажется, своего деда в искусстве мучить «нечестивых», т.е. всех тех, кто не позволял безнаказанно грабить себя. Доказательством этого могут служить надписи в Куюнджике. «Я их (врагов) отводил, — говорится в этой надписи, — в свою столицу Ниневию и повелевал сдирать с них живых кожу... непокорный народ по моему повелению отводили к великим каменным быкам, воздвигнутым дедом моим Сеннахеримом, бросали их там в ров, отрубали им члены, бросали на растерзание собакам, лисицам и хищным птицам, для того чтобы обрадовать сердце моих повелителей, великих богов».

Таким образом, оказывается, что официальный стиль современных реляций и донесений с театра военных действий, слова современных благодарственных церковных молебствий об одержанной победе над врагами почти целиком и дословно представляют перевод древних ассирийских молитв и военных реляций. Великолепные барельефы, найденные в Месопотамии, показывают нам, что месопотамские сары (цари) были изобретателями пыток, казни на кресте, сжигания в печи, сдирания кожи и т.д., т.е. почти всех видов пыток и мучений, которые применялись всеми деспотами — духовными и светскими — по отношению к своим врагам, чтобы вселить в массах покорность и ужас.

Возмутительную жестокость, которой дышит каждая строка ассирийских надписей наиболее блестящей эпохи Саргонидов и которая представляет такой резкий контраст с кротостью и милосердием, веющими от древней Халдеи, не следует приписывать особенной кровожадности расы или извращению инстинктов; эта жестокость естественным образом вытекала из географических условий среды, в которой жили ассирийцы.

Историческая миссия ассирийских царей выражалась в распространении по всем странам, прилегающим к бассейну Евфрата и Тигра, завоеваний халдейской цивилизации. А для исполнения этой своей миссии в эту эпоху у них не было никаких других средств, кроме абсолютного деспотизма, кроме угнетения, доведенного до крайности.

Богатства, накопленные в продолжение многих веков периода процветания Халдеи, не могли не возбуждать жадности ассирийских грабителей. Эти последние быстро осознали, что не в их интересах убивать курицу, несущую золотые яйца, т.е. окончательно искоренять с лица земли промышленные города только для того, чтобы преподнести своим богам жертву из дыма, поднимающегося от пожарищ. А для того, чтобы поддержать и утвердить свое владычество над Халдеей, у них не оставалось другого средства, кроме террора. Замечательно, что ассирийцы не

употребляли усилий для того, чтобы тесно связать и объединить между собой все подвластные им народы; цари этой разбойничьей страны не сделали даже и попыток для того, чтобы перейти к искусной политике, которую позднее проявили римляне по отношению к побежденным народам; ассирийским царям даже не приходила в голову мысль о том, чтобы употребить в дело то простое средство, которое их иранские потомки несколько позже практиковали в широких размерах, т.е. ставить во главе покоренных областей своих сатрапов или вообще своих представителей. Ассирийцы, покорив своего врага, ограничивались только тем, что оставляли в побежденных городах изображение своего бога и приказывали всем жителям поклоняться ему. Иногда они убивали туземного царя, но, уходя, вместо него передавали власть его законному наследнику и затем уходили, не имея никакой гарантии в том, что побежденный народ останется верен и будет впредь повиноваться только из-за страха новой резни.

Рассматривая историю месопотамской цивилизации, необходимо подчеркнуть тот факт высокой важности, что без своих халдейских предшественников народы Верхней Месопотамии, по всей вероятности, не были бы в состоянии подняться над той низкой ступенью культуры, на какой находятся даже и в наше время жители Курдистана и Луристана. Но, с другой стороны, без ассирян мирная земледельческая цивилизация Нижней Халдеи потребовала бы целых тысячелетий для того, чтобы выйти за пределы нижнего течения Евфрата и Тигра и распространиться по всей Передней Азии вплоть до Эгейского моря.

Интересно отметить еще и тот факт, что искусство распространения цивилизации, начавшееся среди народов высокой месопотамской страны под влиянием чувства жадности к богатсву, не могло остановиться на той рудиментарной стадии своего развития, которую мы только что наблюдали. Восстания, беспрерывные войны и кровопролития закончились в конце концов полным истощением сил у побежденных и у победителей; вся Передняя Азия целые тысячелетия буквально плавала в крови. Но эта кровавая оргия долгим печальным опытом научила народы одной великой и простой истине, а именно необходимости для слабых соединять свои силы и в этом находить единственно верное средство против гнета и эксплуатации.

Вскоре после смерти ассирийского царя Сарданапала, гордившегося тем, что он по своей жестокости превзошел всех своих предшественников, на сцену истории выступила Мидия, которая объединила Элам, Вавилон и Сузиану. Через несколько столетий сами мидяне были побеждены скифами. «Скифы хозяйничали в Азии в продолжение двадцати восьми лет, и по своей грубости, по своему крайнему невежеству они перевернули все вверх дном; кроме дани они требовали от каждого все, что им нравилось, и, кроме того, они грабили всюду, лишь только приходило желание...» После изгнания и истребления скифов Ассирийское царство оказалось разделенным между мидийским царем Киаксаром и вавилонским царем, или наместником, Набопаласаром. Последний отпрыск Саргонидов погиб при разрушении Нивении в пламени своего зажженного дворца, и его смерть послужила, как кажется, поводом к зарождению греческой легенды о Сарданапале[xvi].

Здесь не место рассказывать, как мидяне, персы и даже парфяне приняли участие в распространении той цивилизации, которую ассирийцы столько лет

пробовали утопить в крови. С тех пор как персы своим движением к Эгейскому морю возбудили наконец против себя отраженное движение из Европы в Азию и подготовили, таким образом, походы Александра Македонского, главный поток всемирной истории покидает Азию и переносится далее на запад.

Но если даже не принимать в расчет того огромного наследства, которое было передано Европе Халдеей через посредство ассириян, вавилонян, иранцев, хетеев, евреев, финикийцев, лидийцев, все же необходимо будет признать, что в бассейне Евфрата и Тигра, несмотря на это, остается еще свой собственный исторический центр. Среди всех неевропейских цивилизаций только одна древняя халдейская культура под владычеством македонцев и селевкидов пережила средиземноморский период цивилизации, с тем чтобы вступить в лице Арабского халифата в великий океанический период истории. Если эта цивилизация в смысле культурного явления должна была уступить первенство Западной Европе, то это произошло лишь потому, что Индийский океан, на берегах которого она главным образом развилась, не обладает теми естественными преимуществами, какими обладает Атлантический океан.

Впрочем, я выхожу уже из границ своего исследования, главная задача которого — изучение только великих речных цивилизаций. Нам остается еще исследовать две великие речные цивилизации, возникшие на берегах Дальнего Востока. Несмотря на всю кажущуюся изолированность этих цивилизаций, они тем не менее играли весьма значительную роль в общей истории древнего мира.

[i] E. Rec1us. Цит. соч., т. IX

[ii] На севере Антикавказа температура в 33° холода зимою считается обычным явлением; в Эрзеруме холода доходят до 25°. Летом жара с обеих сторон армянских гор колеблется между 42° и 45°.

[iii] По мнению Oliver S. John.

[iv] Геродот. История, I, СХСШ

[v] Strabon. Geographie, XVI, I, 1-3

[vi] Fr. Lenormant. Essai sur la propagation de 1'alphabet phenicien, t. I.

[vii] P. Lap1ace. Exposition du Systeme du Monde. Livre 5. Pecis de 1'histoire de 1'astronomie, 1796

[viii] W. Loftus. Chaldea and Susiana. London, 1856

[ix] Геродот и другие древнегреческие писатели приписывают основание Суз Мемнону (вероятно, Умаму, одному из шести главных божеств эламитской мифологии). См. Fr. Lenormant. La magie chez les Chaldeens et les origines accadiennes. Paris, 1874

[x] Книга Бытия, гл.14 (11-12).

[xi] Не нужно смешивать этот древний Вавилон с новым Вавилоном эпохи Навуходоносора П (см. главу «Великие исторические периоды»).

[xii] *Шарру-кин* (Саргон) Древний был основателем Аккадской империи. В 2370 г. (в тексте указана ошибочная дата) он объединил под своей властью всю северную Месопотамию. В XIX в. до н.э. среди ассирийских царей упоминается Саргон I и,

наконец, в VIII в. до н.э. Саргон П, правивший с 722 по 705 г., разгромивший в 722 г. Израильское царство, а в 714 г. — Урарту

[xiii] Шарру-кин букв значит «настоящий царь», «истинный царь», и этим именем назывались многие ассирийские цари

[xiv] *Немврод* (Нимрод), согласно Библии, был внуком Хама и сыном Хуша. О нем в Книге Бытия, в гл. 10 (8—10), сказано: «Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов перед Господом; ...царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар». Таким образом, Немврода можно считать основателем Вавилона, а не города Нимруда (Каллаха), который был основан Салманасаром I в середине ХШ в. до н.э

[xv] «*Цилиндр Тэйлора*» (Цилиндр Синахериба) — глиняная табличка с изложением устройства Ниневии и зависимых территорий, а также с изложением деяний Синахериба

[xvi] *Сарданапал* — это легендарное имя ассирийского царя Ашшурбанипала, который правил Ассирией до 633 г. до н.э. (по другим данным, до 626 г. до н.э.). Ниневия же была разрушена в 612 г. до н.э

Глава десятая

Инд и Ганг

Индия и ее роль в истории. — Касты. — Преждевременное истощение сил индусской цивилизации. — Арийцы и дакии. — Веды и их коммунально-анархические идеи. — Область Пенджаба и восточная Арьяварта. — Цари и жрецы. — Крайняя граница речных цивилизаций.

Индия — во многих отношениях загадочная и таинственная страна. Ее история одна из наиболее темных и неизвестных. Другие страны древности оставили потомству свои памятники, храмы или дворцы, но в Индии самые древние постройки и храмы не превосходят своей древностью эпоху III века до начала нашей эры; эту хронологическую дату можно с некоторой натяжкой отодвинуть еще на 150—200 лет, но не более[i].

Древние индусы не воздвигали ни храмов, ни надгробных памятников, они не строили ни пирамид, ни башен, не высекали на каменных скалах барельефов, способных возбудить удивление отдаленных потомков, индусы не вели даже летописей своей истории, и поэтому Древняя Индия живет для нас только в своих священных гимнах и в своих эпических поэмах[ii].

Однако если бы мы решили пренебречь Индией и обойти молчанием ее роль в истории, как это намеревался было сделать Огюст Конт, то мы были бы осуждены на полное неведение первых шагов развития поэзии, философии, права; даже больше: буддизм, исповедуемый пятьюстами миллионами человек, остался бы в таком случае необъяснимой загадкой.

На самом деле человечество обязано Индии первыми начатками поэтического и умственного развития, и тем не менее, к сожалению, необходимо констатировать тот факт, что история Индии совершенно неясна, неизвестна и, по всей вероятности, останется такой навсегда. Густой мрак скрывает от нас эпоху древнейших ведийских гимнов, отражающихся неясными, фантастическими тенями в великих эпосах «Рамаяна» и «Махабхарата». Законы Ману[iii], относимые различными учеными к эпохам IX или V веков до начала нашей эры, представляют как бы надгробный памятник цивилизации, ход и развитие которой нам совершенно неизвестны, но которая тем не менее сыграла в развитии человеческого рода важную роль, по своему значению превосходящую роль всех остальных речных цивилизаций. Ни Египет, ни Передняя Азия не оказались в силах, подобно Индии, создать такой социальный строй, который регулировался бы самостоятельным взаимодействием своих органов, основывался бы на своих собственных силах и мог бы существовать без постоянного вмешательства особой принудительной власти. В истории Египта и Халдеи нельзя даже заметить стремления к такому социальному строю, который создался в Индии; правда, этот строй был основан на таких принципах, которые мы признаем безумными и жестокими, но в области которых по крайней мере не было места произволу жреца или царя. Известно, что законы Ману даровали жрецам особенные, чудовищные привилегии, и тем не менее не только брахманы, но и сам Брахма не мог бы

превратить шудру в вайшия или же, наоборот, перевести какого-либо человека из более привилегированной касты в касту более низкую, если только этот человек не пренебрегал исполнением обязанностей и формальностей, налагаемых на него фактом его принадлежности к касте. Неравенством каст Индия открывает историю права.

Господствующая идея законов Ману есть идея неподвижности и смерти; единственное правило человеческой справедливости, проповедовавшееся брахманами, состояло в том, чтобы бороться против всего, что могло поколебать кастовое устройство общества. Величайший религиозный реформатор Индии Будда (Шакья-Муни)[iv], провозгласивший догмат естественного равенства всех людей, тем не менее не настаивал на уничтожении каст; мало озабоченный земными делами, Будда не видел всего зла, которое вытекало из кастовой организации общества, точно так же как христианство в момент своего возникновения ничего не говорило об уничтожении рабства. Будда ограничился только отрицанием для кастового строя всякой религиозной санкции.

Когда македонское нашествие пробудило от векового оцепенения народы области Инда и Ганга, настал момент для великой революции, в развитии которой буддизм сыграл только роль первого двигателя; это обстоятельство сообщает буддийской религии непредвиденную и даже нежеланную для ее первых апостолов важность. Один шудра, которого Пурана называет Чандрагупта, убил царя Нанду и объединил под своей властью все «сто восемнадцать народов Индии». Мы не знаем подробностей о делах и реформах первого царя из касты шудр, но один уже факт его царствования был беспримерным попранием законов Ману. Внук Чандрагупты, знаменитый царь Ашока, провозгласил уничтожение всех брахманских законов и объявил буддизм государственной религией. Однако победа буддизма при Ашоке была далеко не полной, и брахманизм продолжал отравлять Индию продуктами своего разложения — шиваизмом, кришнаизмом и т.д. Сверх того, буддизм своим страстным стремлением к покою[v], к отречению от земных радостей не мог вызвать всеобщего возрождения и расцвета культурной жизни. Еще задолго до появления в Индии Махмуда Газневидского, принудившего в X веке нашей эры население Индостана к исламу, большинство индусских государств умирали от полного истощения. С тех пор как история Индии стала более или менее известной, Индия все время играла роль какой-то спящей красавицы, овладеть которой стремились все мировые завоеватели, вплоть до современных англичан и русских. Индия подчиняется своей судьбе с пассивностью и индифферентностью загипнотизированной.

Социальный строй первобытной Индии поражает нас своим соответствием всем религиозным доктринам индусов; до очевидности ясно, что социальный строй и религия составляют здесь только две стороны одного и того же явления. Но где же сила, вызвавшая к жизни это явление? Многие ученые видят причину этого в особенностях индусской расы. Но перед каждым исследователем встает вопрос: существует ли обособленная индусская раса? Если грек Мегасфен, посланный Селевком Никатором ко двору Чандрагупты, насчитывал уже в бассейне Инда и Ганга сто восемнадцать разных народов, то не следует ли отсюда заключить, что нет возможности выделить особую индусскую расу; можно лишь говорить об относительном господстве арийского элемента в истории Индии. В сущности, в

Индии невозможна никакая этнологическая статистика, так как громадное большинство обитателей Индии состоит из метисов арийцев и туземных племен. Впрочем, ввиду того что одна из ветвей арийской расы сумела передать свой язык (санскритский) четырем пятым населения Индии, для нас является возможность до некоторой степени отождествить историю Индостана с историей одной группы восточных арийцев, оторвавшихся в незапамятные времена от центральной области, где арийцы жили еще до эпохи создания наиболее древних гимнов Ригведы[vi]. Эта группа народов, поселившихся в северо-западной части Пенджаба, выделяется, между прочим, своим бесспорным родством (по языку) с цивилизованными народами Европы.

Но нет ничего более фантастического, как объяснять стремление к кастовой организации «духом» арийской расы, так как мы все хорошо знаем, что в Европе и Азии, за исключением одного Индостана, арийцы нигде не образовывали каст и дух арийской расы непримирим с таким устройством общества. Некоторые ученые утверждают, что даже в Индии касты не были известны в первом, древнейшем периоде ее исторической жизни. Единственное место в Ригведе, где говорится о происхождении различных каст из частей тела Брахмы[vii], рассматривается как позднейшая вставка.

Самое слово «брахман» чуждо лексикологии древней ведийской эпохи; в древних священных гимнах арийцев из «Страны семи рек» жрец называется именем «пурохита», а не брахман. Вообще, контраст между строгими иерархическими тенденциями законов Ману и коммунально-анархическими идеями древнейшего ведийского периода слишком резко бросается в глаза, чтобы не привлечь внимания ученых — исследователей культурной истории Индии, и с легкой руки Бюрнуфа ими принято, как правило, рассматривать брахманский период индийской истории как эпоху «разложения» арийского духа, происшедшего при столкновении и смешении арийцев с дравидами-аборигенами в обширной Ганго-Индской долине. На языке арийцев эти народы-аборигены были известны под именем «дакиев», «рабов» или «врагов».

Хотя выступление Индии на историческую арену и относится к более позднему периоду, чем выступление Египта и Халдеи, тем не менее Бокль не без некоторых оснований приписывает преданиям индусов гораздо большую древность, нежели преданиям Египта и Халдеи. Его утверждения, конечно, не должны быть понимаемы в смысле хронологическом; они означают лишь, что ни в Египте, ни в Халдее до эпохи цивилизации не существовало никакого социального строя. В то же время для Индии самые древние гимны ведийского периода говорят нам уже о существовании в Верхнем Пенджабе земледельцев и жрецов задолго до возникновения каст. Нам даже известны наиболее яркие и характерные черты этой первобытной жизни, осуществившей, по-видимому, в самой идиллической форме «естественное состояние» человечества, о котором так много мечтали философы XVIII века[viii].

Пришедшие в Индию арийцы-победители были в культурном отношении менее развиты, чем их «враги» дакии, которых они встретили на пути к Гангу и Джамне. «Дакии были богаты и горды... покрыты золотом и драгоценными камнями; их сила и могущество возбуждали в них высокомерие... Это был народ

богатый стадами, народ ремесленный, искусный, умевший строить военные колесницы, ткать одежды и шлифовать драгоценные камни»[ix].

В эпоху, когда были созданы первые песни Ригведы, дакии находились уже на высокой ступени культуры. Насколько можно проникнуть в глубину древности, мы видим, что они были знакомы уже с земледелием и некоторыми ремеслами; среди них были кузнецы, каменщики, горшечники, ткачи, столяры, даже ювелиры[x]. Сражаются дакии не как дикие народы, они одеваются в кирасы и пользуются колесницами; их пехота вооружена мечами, луками и стрелами. Правда, у них нет еще городов (первые арийские городские поселения упоминаются только в Пуране), но на их языке уже существуют два самомтоятельных термина, выражающих понятия «город» (poura) и «деревня» (grama)[xi].

Даже до наступления эпохи ведийских гимнов строение арийской семьи стоит уже на такой высоте, которая не была достигнута римским правом; этот факт тем более замечателен, что патриархат в своей первобытной форме и до сих пор имеет еще место на юге Индии. Замечательно также, что в древнеиндусском семейном праве мы не встречаем ни одной черты, которая говорила бы о рабском подчинении женщины, которое можно всюду встретить в патриархальные эпохи истории. *Питар* («кормилец»), глава арийской семьи, пользуется, правда, некоторой властью, он является *гуру*, или духовным владыкой, но и в этом случае подчиненное положение женщины не заключает в себе таких элементов унижения, какие санкционированы хотя бы современными французскими законами. Согласно обычной формуле, римская матрона была *гайя* всюду, где ее муж был *гайус;* точно так же и в Древней Индии у вайшиев в первые ведийские эпохи жена *грихапати* (главы дома) была также *грихапатия* (хозяйка дома); на женщину всегда смотрели как на подругу и равноправного человека. Даже в религиозной области мужчина и женщина могли выполнять вместе священные обязанности, и женщина могла быть *deva,* т. е. жрецом, приносящим жертву; если муж один делал возлияния (libations) Агни и Соме, то matri (та, которая измеряет), мать, жена, принимала участие в жертвоприношении, приготовляя необходимое для жертвы. Женщина ведийской семьи была «дамой» в том смысле этого слова, как мы его понимаем в настоящее время; в древнеарийской среде не было в обычае приобретать себе жен покупкой или похищением; семья основывалась на взаимной склонности, т.е. любви обоих ее членов. Многочисленные гимны Ригведы свидетельствуют, что арийцы очень ценили красоту и все тонкости любви, притом не грубо-чувственной, им были также известны[xii].

Некоторые специалисты по индийской культуре, особенно Макс Мюллер, преувеличивают, утверждая, что древняя цивилизация индоарийцев носила исключительно религиозный характер. Действительно, большинство гимнов Ригведы составлено с целью восхваления божества, т.е. вообще всего, «что наиболее могущественно». Однако, бесспорно, существовали эпохи, когда пантеон ведийских поэтов не был населен воображаемыми существами больше, чем пантеон египтян, когда у них, кроме фараона, быка и барана, не было других богов. В течение очень долгих веков арийцы Пенджаба поклонялись только Агни — богу домашнего очага и Соме — опьяняющему напитки. Индра — бог небесного огня и бури — появляется в их пантеоне значительно позднее.

В гимнах Ригведы мы иногда встречаем космогонические теории философской мысли, но все эти места, по всей вероятности, принадлежат к позднейшей эпохе. Вот образец таких гимнов:

«Была тьма, и вся природа была погружена в глубокий мрак, в океан без единого луча света. Семя, которое лежало там еще скрытым в своей скорлупе, вдруг под влиянием сильного жара пустило росток. С ним тотчас же соединилась любовь, этот новый источник мудрости... Поэты, размышляя в своем сердце, обнаружили связь между тем, что создано и что еще не создано, но та искра, которая сверкает всюду, которая проникает через все, откуда она является — с Земли или с неба? Кто знает ее тайну? Кто скажет, откуда могло выйти это творение? Сами боги явились поздно в мир, и никто не может сказать, как был сотворен обширный мир. Тот, кто создал все видимое нами, чьей воле все подчиняется, всевышний и всевидящий, живущий на небесах, он один это знает, а может быть, не знает и он».

Этот гимн, отмечающий собою высшую точку развития ведийской религии, тем не менее ясно указывает на низкое положение в ней богов; в гимне говорится, что они слишком поздно получили жизнь, что все было уже создано раньше, чем боги. Даже больше, гимн подчиняет всех богов единому «всевышнему и всевидящему», который создал весь мир, но который, быть может, даже не знает тайны этого творения. Впрочем, в самый древний период индийской истории мы не видим никаких ясных указаний на признание этого высшего существа; к этой же эпохе относятся и гимны, превозносящие науки и скептицизм, которые должны разрушить веру и религию. Вот отрывки из некоторых из этих гимнов:

«Величие науки превосходит все: наука стоит выше всего, а наиболее яркое проявление слепой веры — молитва — ниже всего низкого. Неразумная вера неблагородна и должна исчезнуть и скрыться туда, откуда явилась. Наука сильна, свободный мыслитель смел, в союзе друг с другом они должны победить слепую веру».

По своей природе божества древних индусов приближаются к животным. Агни, Сома, а впоследствии Индра сами прибегают к жертвенникам, на которых приготовлены возлияния; они любят славословия, как юноши любят голоса девушек, они бросаются на опьяняющий напиток «сома», как голодные буйволы, коршуны или лебеди... Древние индоарийцы, обращаясь к этим богам, говорили: «О боги, бегите, пейте этого напитка, сколько вам угодно, но одарите нас богатствами и детьми, будьте победителями наших врагов...»[xiii]

Отсюда видно, что благочестие древних арийцев было весьма низкого качества. Если они и приносили богам жертвы и молились им, то только для того, чтобы получить богатства, дождь, многочисленное потомство или погубить своих врагов. В одном из гимнов даже говорится, что «боги должны служить людям, как лошади и буйволы...».

По убеждению древних арийцев, поэт или жрец до некоторой степени имел власть даже над самими богами и был в состоянии увеличивать или уменьшать их мощь. Арийцы верили, что «боги рождаются из воздуха, выдыхаемого певцом», а следовательно, существуют лишь постольку, поскольку существует вдохновенное настроение их почитателя.

Способность произвольно творить божества, признаваемая за поэтами, по-видимому, заключает в себе зародыш той исключительно непомерной власти, которую законы Ману стали приписывать впоследствии касте жрецов. Таким образом, является возможность объяснить причину возникновения каст вполне естественным образом, не прибегая для этой цели к гипотезе, будто бы «дух» арийской расы подвергся «порче» при соприкосновении с дакиями.

В истории Ганго-Индской долины, несомненно, была эпоха, когда арийцы не знали еще жрецов, не создали еще определенного религиозного культа, когда каждый глава семьи при помощи своей жены призывал созданных им из недр своего собственного духа богов и преподносил им жертвы и возлияния. В это время каждое племя имело своих богов. Между племенами не существовало федеративной связи; национальное их единство покоилось на общности родины, языка, семейных и общественных учреждений, на общем поклонении богу домашнего очага Агни и богу Соме, т.е. тому драгоценному опьяняющему напитку, который «служит при жертвоприношениях, опьяняет людей и вместе с опьянением дает им все блага мира».

Вторая характерная черта обитателей Индии — их стремление мысленно покидать реальную действительи погружаться в религиозную экзальтацию, в своего рода духовное опьянение — имела своим источником особенность расы, проявившуюся уже в самом начале ведийской эпохи. Несомненная религиозная свобода этой эпохи являлась естественным результатом отсутствия какой-либо жреческой организации у арийцев того времени.

Во время всего периода, пока арийцы оставались обитателями плодородных и живописных долин Верхнего Пенджаба, их политическая жизнь концентрировалась в особой форме автономной общины — vic (весь[xiv]), аналогичной «джемме» кабилов и русскому «миру». По свидетельству авторитетных ученых, *вайшии,* т.е. члены общин Верхнего Пенджаба, периодически переделяли земли, как это практикуется и в России. Во главе общины у древних арийцев стоял *виспати*, нечто вроде русского «старосты», выборное лицо с такими же функциями, какие выполнял впоследствии *раджа.*

Каждый глава семейства пользовался в общинных собраниях одинаковыми правами; каждый из них исполнял обязанности семейного жреца и певца религиозных гимнов; в случае необходимости все они брались за оружие и обращались, таким образом, в *кшатриев*, т.е. воинов. В силу одинаковых прав и обязанностей все арийцы являлись одинаково равноправными. Но по прошествии какого-то промежутка времени, продолжительность которого нам неизвестна, наименование «ария» утратило свой исключительно этнологический смысл, и это слово стало обозначать лишь «свободных» людей, земельных и поместных владельцев. Рядом с этим классом «ария» вырос другой класс — «*даса*» (слово, по звуку сходное с термином «дакия») — «крепостных», «подданных». Термин «даса» стал впоследствии применяться ко всем тем, кого арийцы обращали или стремились обратить в рабство.

Как я уже мимоходом указал, цивилизация Древней Индии далеко не была созданием только одних арийцев, она была результатом коллективных усилий всех племен, обитавших в бассейнах Инда и Ганга. Вообще нет никаких оснований приписывать терминам «ария» и «даса», встречающимся в ведийских гимнах, то

значение, которое эти термины имеют для современных этнографов и антропологов. То место «Махабхараты», где говорится, что каждая из каст Индии, носящих общее название *варна* (цвет, оттенок кожи), отличается особой окраской кожи — *белой* у брахманов, *красной* у кшатриев, *желтой* у вайшиев, *черной* у шудров, — совершенно достаточно для того, чтобы удостоверить, что различия между арийцами и дасиями не исчерпывались разницей в цвете кожи и в этнологических отличительных чертах. В Индии была, собственно, лишь одна вполне арийская, или белая, каста, именно кшатрии, т.е. воины, и тем не менее брахманы, кшатрии и вайшии — все назывались общим именем «ария» (благородные) и *двиджас* (дважды рожденные)[xv].

Впрочем, нет никакой нужды углубляться в лабиринт этнологических деталей и гипотез для того, чтобы подвести древнюю историю ганго-индского бассейна под общий, установленный мною исторический закон и одновременно отдать себе отчет в тех последовательных изменениях политических, социальных и религиозных учреждений Индии, которые в конце концов привели страну к режиму безжизненно суровых законов Ману.

Общие черты исторического и культурного движения, выведенные мною из первобытной истории Египта и Ассиро-Вавилонии, с полной очевидностью обнаруживаются и в сложной и таинственной истории Индии. Контраст между идиллической анархией первобытной ведийской эпохи и жестоким деспотизмом кастовой организации общества в брахманический период индийской истории теснейшим образом соответствует разнице физико-географических условий, среди которых осуществились последовательные фазы исторической эволюции Индии. Более древняя из этих фаз, именно отмеченная характером идиллической анархии, развилась в волшебно плодородных долинах Кашмира; вторая началась и протекала в области Мадья-деса (центральная часть Индо-Гангской долины), на обширной равнине, ограниченной с севера зачумленной местностью «тераи»[xvi], а на востоке отделенной от бассейна Брахмапутры и Бенгальского залива нездоровой болотистой страной, где смерть пожинает обильную жатву[xvii]. На юге эта область соприкасается с Деканом, а на ней Раджпутаны[xviii], которая отделяет ее от Оманского моря.

Страна Кашмир, говорит Реклю, представляет собою одну из самых очаровательных областей земного шара; индусские и персидские поэты воспевают ее как страну наслаждений; самое ее название, воспринятое литературой всего западного культурного мира, сделалось синонимом страны очарований. Современные путешественники ограничиваются обыкновенно тем, что повторяют о волшебном Кашмире восторженные отзывы поэтов... Климат Кашмира по своим достоинствам не имеет себе равного в Индии и весьма напоминает климат Западной Европы, обладая при этом большим постоянством. По всей стране поднимаются высокие холмы, образуя округленные долины, в которых народная фантазия помещала рай. Действительно, эти долины не имеют себе подобных по климатическим достоинствам, плодородию почвы, пленительности и великолепию окрестных пейзажей, отражающихся в озерах и текущих водах[xix].

В то время как эта очаровательная местность, послужившая местом создания древнейших гимнов Ригведы, благоприятствовала развитию пастушеской жизни и земледелия, вся обширная область Мадья-деса, упоминаемая законами Ману под

названием Центральной страны, носила те отличительные характерные черты, которые способствуют развитию речных цивилизаций и уже изучены нами на примерах Нильской долины и Месопотамии.

«Малейшая нерегулярность в годовых климатических колебаниях, зависящая от изменений в атмосферном давлении, в распространении ветров и осадков, грозит здесь для населения самыми тяжкими последствиями. Когда не бывает долго дождей, то реки и каналы пересыхают, и голодная смерть встает перед миллионами людей страшным призраком. Голодовки в Индии являются постоянной угрозой не только для населения Синда и Пенджаба, но и для населения всего бассейна реки Ганг и восточных берегов Индостана. Вся эта местность периодически лишалась бы всего населения, умиравшего от голода, если бы здесь нельзя было устраивать каналов и искусственного орошения. При помощи этих каналов только и возможно здесь земледелие... Но достаточно какой-либо реке, питающей эти каналы, высохнуть или изменить свое русло, и вся окружающая местность становится пустыней»[xx].

Постоянную необходимость возмещать недостаток воды искусственным образом, слишком сложным для того, чтобы выполняться отдельными семьями или коммунами, дополняет еще один элемент, уже отмеченный нами, когда мы говорили о Пиле и о реках Месопотамии. Я говорю об изменении русла рек. «Зачастую достаточно скопления мелких камней или упавшего ствола дерева, чтобы река изменила свое течение, направилась по другому руслу, иногда даже переместилась в другой бассейн...»[xxi].

Брахманы, составители законов Ману, делили страну Арьяварта, т.е. всю область между Гималайскими горами и горами Винди, на две части: Мадья-деса (центральную часть) и Удичья-деса (северную часть), заключавшую в себе волнообразную равнину от ущелий Инда вплоть до истоков Ганга и Чогра. К югу от Мадья-деса лежала область Даккина-деса (Декан), куда арийское влияние проникло только спустя долгое время после возникновения индийской цивилизации.

Мадья-деса в свою очередь заключала в себе две друг от друга отличающиеся географические области: западную и восточную. Западная часть простиралась вдоль Инда и Сатледжа и называлась Раджпутана (теперь Нижний Пенджаб). По свидетельству древних санскритских памятников, эта область орошалась в древности семью реками. Пять из этих семи рек мы легко можем назвать — это были Инд, Сатледж и их притоки Джелам, Чинаб и Рави; шестая река санскритских сказаний была, без сомнения, знаменитая река Сарасвати (современный Гхаггар), которая, для того чтобы стать притоком Ганга, теперь течет по направлению на запад-юго-запад. Седьмую из этих ведических рек — Дришад-вати — нельзя отождествить ни с одной из ныне существующих рек; возможно, что эта река бесследно исчезла; некоторые ученые считают за ее русло одну высохшую долину, параллельную с рекою Гхаггар. Восточная область Мадья-деса — бассейны рек Джамны и Ганга — состоит также из наносной почвы со слаб уклоном к морю; ее реки текут почти в том же направлении, как и в западной половине; бассейн Джамны и Ганга представляет обширную равнину, слегка волнистую. Между бассейном Инда и Ганга водораздел не превышает 250 метров.

Ареной культурной истории Индии в продолжение всей ведийской эпохи была западная половина Мадья-деса. Поэты, составители гимнов Ригведы, говорят только об одной реке — Синд (Инд); только в одном из гимнов упоминается о Ганге. Наоборот, в брахманическую эпоху цивилизация расцветает на берегах Ганга, а вся западная часть страны превращается в дикую область. В эпоху расцвета цивилизации на берегах Ганга в Индии окрепла кастовая организация.

Несмотря на крайне скудные памятники, оставленные первобытной индийской цивилизацией, несмотря на очевидное искажение памятников древней письменности позднейшими поколениями брахманов, все же мы имели возможность проследить распространение индийской цивилизации с верховьев Инда к устью, в ту страну, где Инд, пробившись через пески пустыни, теряется в огромной лагуне. По мере того как древние арийцы, основатели индийской цивилизации, удалялись из счастливой Верхней страны, в их душах ослаблялось доверие к своим силам. Радостное настроение, порожденное свободной жизнью под благодетельным небом, среди богатых пастбищ и плодородных полей, заменялось чувством страха перед засухами и боязнью недостатка воды. Глава рода или семейства, повинуясь собственным порывам вдохновения, еще, правда, призывает богов — распределителей благ, но религиозный культ все более и более отклоняется от божеств Агни и Сомы, мирных покровителей домашнего очага; на сцену выдвигаются новые божества — бог атмосферы Индра и повелитель ветров Рудра, который громовым голосом гоняет по небу облака, этих «небесных коров», и заставляет их орошать поля арийцев. В общественной жизни начинают играть заметную роль жрецы как обособленная жреческая каста.

Арийское общество, правда, искони разделялось на пять классов (Pantcha manoucha) — слуги, господа, воины, посвященные и князья. Но в эпоху составления Ригведы ни один из этих классов не господствовал над другими, не эксплуатировал и не подавлял других. Один из гимнов Ригведы говорит, что «в сражении Агни очень часто помогает и незнатному арийцу».

По мере того как менялись географические условия, в которых жили первобытные арийцы, дифференциация общества, проявляющаяся в выделении обособленных социальных классов, осуществлялась все резче и резче, и задолго еще до конца ведийской эпохи мы видим на сцене общественной жизни новый класс господ, и притом образовавшийся не из прежних сельских выборных старшин *виспати*, но из лиц, наиболее наглых и сильных, сумевших поставить свою волю выше коллективной воли общины. В обширной области Арьяварты государственное устройство с царями-деспотами во главе на несколько веков предшествовало возникновению кастового строя и брахманизма. Следующие строки из «Махабхараты» служат ярким доказательством, что представление о неограниченной царской власти у древних арийцев нисколько не разнилось от такового же представления у древних жителей Египта и Месопотамии. Вот эти строки: «От царя зависит установление обязанностей... от царя зависит установление церемоний и жертвоприношений, от которых в свою очередь находятся в зависимости божества, а боги властвуют над дождями, которые орошают травы и все злаки, все благосостояние человека зависит от царя». Быть может, ни в одной стране психологическое обоснование деспотизма не выступало с большей ясностью, как в Индии. Замечательно, что, когда царская власть здесь

ослабела и оказалась побежденной властью жрецов, представление о ней в умах народа осталось почти такое же, как и прежде. Законы Ману, служащие полным отражением брахманической системы, говорят, что царь создается из частиц разных богов; он не только превосходит своим блеском всех смертных существ, но сам по себе представляет великое божество, скрывающееся только человеческим образом.

Инд иногда сравнивают с Нилом, так как и он орошает своими водами пустыню и оплодотворяет прилегающую к нему местность. Не без некоторого основания можно назвать и весь Пенджаб Египтом в миниатюре, окруженным четырьмя или пятью маленькими Месопотамиями. Раздробление его территории на разные физико-географические области препятствовало образованию в его границах единого политического целого и, наоборот, благоприятствовало созданию нескольких областных деспотий, управлявшихся отдельными деспотами, которые строили дороги, проводили каналы и т.п. Надо полагать, что в минуту общих бедствий эти отдельные государства должны были вступать друг с другом в союз, но история не сохранила об этом никаких воспоминаний; чаще всего эти деспотии враждовали друг с другом и стремились победить своих соперников; раджа, покоривший своих соседей, получал титул махараджи. Как кажется, первый из раджей, успевший объединить под своей властью все племена западной Арьяварты, был Магадха, основавший свою столицу Гастинапуру в бассейне Инда[xxii].

Оба великих речных бассейна Арьяварты — бассейн Инда и бассейн Ганга, — не будучи разделены никакой естественной преградой вроде высокой горной цепи, обладали почти одинаковыми географическими условиями, а следовательно, и почти тождественными данными для решения основной проблемы своего существования — регулирования вод. В долине Ганга, между устьем Джамны и Бенаресом, в среднем выпадает несколько больше дождя, чем в долине Инда, но все же количество влаги и здесь недостаточно, чтобы обеспечить урожай хлебов. В урожайные годы плодородие почвы здесь не меньше, чем в долине Нила и в Месопотамии; благодаря этому восточная часть Арьяварты была с незапамятных времен населена наиболее густо, а следовательно, наиболее сильно страдала от засух и голодовок. Целая сеть заботливо поддерживаемых каналов является здесь настоятельно необходимой, для того чтобы полностью эксплуатировать в целях земледелия капризные течения Джамны и Ганга.

Некоторые исследователи ставят вопрос: не зародилась ли индийская цивилизация раньше в долине Ганга, чем в долине Инда. Но разрешить этот вопрос не представляется возможным за неимением данных. Мы можем лишь предполагать, что плодородные долины по Гангу и его притокам раньше увидели высшие фазы цивилизации; интересно отметить, что Пенджаб и доселе остается беден большими городами, тогда как в восточной Арьяварте таких городов сравнительно много.

На заре исторических времен между Египтом и Индией проявилась одна характерная разница: на берегах Нила господствовал один деспот — фараон, а в Индостане мы видим двух деспотов, борющихся друг с другом за господство. Обе области обладали почти одинаковыми физико-географическими условиями, хотя в долине Ганга мы видим больше неблагоприятных условий. На севере область Ганга граничит с нездоровой местностью «тераи», на востоке она соприкасается с

областью, откуда несутся страшные миазмы богини смерти Кали; ядовитые змеи в громадных количествах ползают в траве, королевский тигр господствует в джунглях; наконец, ветры, приносящие в область Инда дождевые тучи, обращаются в долине Ганга в ужасные циклоны, губящие иногда целые селения. Еще губительнее отзываются здесь голодовки и неурожаи, от которых умирают иногда десятки тысяч человек. Пожалуй, ни в одной стране человек не чувствует себя так во власти природы, как в Индии. Никакая другая страна не в состоянии дать такое ясное понятие, что жизнь и смерть, добро и зло — это два цветка на одном и том же стебле.

Выше мы уже говорили, что с течением времени абсолютная власть египетского фараона распалась на два элемента — на власть духовную и власть светскую, которые не замедлили тотчас же вступить в ожесточенную борьбу друг с другом. На берегах Нила каста жрецов, как известно, не сумела обеспечить себе победу. Совершенно иначе обстояло дело в Индии, где еще задолго до конца ведийской эпохи установился обычай, чтобы прежние жреческие функции главы семейства исполняло бы особое священное лицо — «пурохита». Класс этих лиц стал приобретать все более и более видную роль по мере того, как религиозный ритуал принимал все более законченную форму, а священные церемонии становились все более сложными. Значение исполнителей этих церемоний быстро возрастало, и жрецы начали предоминировать над князьями. Следующие стихи из Ригведы могут служить тому доказательством: «Только тот царь, которому предшествует жрец, может считаться крепко и счастливо основавшимся в своем собственном доме; ему всегда повинуется земля, и преклоняется пред ним народ... Царь, одаряющий богатствами жреца, умоляющего богов о покровительстве, беспрестанно будет приобретать сокровища от своих врагов и друзей, так как боги будут ему покровительствовать».

В Индостане класс жрецов, раз организовавшись, не удовлетворился, как в Египте, второстепенной ролью, а при первой же возможности предпринял борьбу с царской властью за верховенство... Задолго до конца ведийской эпохи жрецы касты «пурохита» ведут успешную борьбу с царями, поддерживаемые в этой борьбе кшатриями. В Ригведе отголоски этой борьбы мы можем видеть в гимнах, где говорится о борьбе *Васиштхи* (жреца) и *Вишвамитры*, одного из царей Пенджаба. Оба они борются за обладание *Сурабхи*, чудесной коровой, дающей обладателю все земные блага. Борьба жрецов и царей в Индии оканчивается победой жрецов, брахманов.

Но народ вскоре убедился, что брахманы плохие правители; они не смогли установить прочный социальный порядок, и после долгих столетий смут и неурядиц в Индии, согласно сказанию Пураны, явился *Рама*[xxiii], который преобразовал прежние классы в касты и создал первую конституцию, первый «общественный договор», согласно которому различные общественные классы должны были подчиниться установленному порядку, явившемуся как результат кровавой борьбы. Следует сказать, что в этой борьбе погибла вся живая энергия индо-гангского населения. Власть жрецов была уменьшена властью царей, а обездоленные касты были согнуты под двойным игом — брахманов и царей.

Достигнув предела развития речного периода цивилизации, индусская нация, запертая в изолированной стране, примирилась со своей судьбой и безропотно

покорилась; индусский народ замер в бездействии, в бесстрастном покое и в созерцательном экстазе; характерной чертой индусской жизни явилось факирство — это своеобразное явление, самопроизвольно выросшее на почве, оплодотворенной Гангом. Но суровый режим кастового строя господствует главным образом в восточной половине Арьяварты, тогда как на берегах Инда, в Раджпутане и Кашмире, еще и в наши дни слышатся замирающие отголоски ведийских традиций.

[i] По мнению Уиллера, автора «Истории Индии», наиболее древними памятниками в Индии являются развалины храмов или дворцов, постройка которых приписывается царю Ашоке, распространителю буддизма. Фергюссон в своей «Истории архитектуры» утверждает, что индусы заимствовали искусство архитектуры больших зданий от греков Бактрии

[ii] Пураны — исторические книги Индостана, принадлежат к сравнительно поздней эпохе.

[iii] Название «законы Ману» свидетельствует, что их составление не приписывается одному какому-либо определенному лицу, так как слово «Ману» означает просто «человек». Подлинное название этих законов — Manava dharma sastra — может быть переведено как «правило человеческой справедливости». На ведийском языке manava, manoucha употребляются в смысле «человечества» вообще; dharma означает правило справедливости и мудрости

[iv] *Будда (санскр. букв.* — просветленный) — имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 гг. до н.э.). Он происходил, по преданию, из царского рода племени шакьев, жившего на севере Индии. *Шакья-Муни* («отшельник из шакьев») — одно из имен Будды

[v] « Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. Лучше быть мертвым, чем живым» — такова наиболее употребительная пословица буддистов. Высшая цель буддистов — это *нирвана*, т.е. состояние полного покоя, прекращение всякой деятельности, уничтожение всякого желания и стремления

[vi] Ригведа — первый известный памятник индийской литературы. Представляет собой собрание гимнов мифологического и космологического содержания, записанных на санскрите. Является наиболее ранней и важнейшей частью вед (священного знания). Оформился к X в. до н.э

[vii] E. Burnouf. Bhagawata Purana, ou Histoire poetique de Krichna. Vol. I (предисловие). Paris, 1840. См. также R. Roth. Brahma und die Brahmanen (в журнале Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft», № 1, 1878).

[viii] M. Fontane. L'Histoire universelle. Vol. I. L'Inde vedique. Paris, 1881

[ix] Гимны Ригведы

[x] Birdwood. The industrial arts of India. В гимне, посвященному богу Соме, говорится: «Я ремесленник, а мой отец лекарь, мать моя мелет муку, наш труд различен, и мы хотим получить за него вознаграждение, как корова хочет получить ячмень».

[xi] Указание на это находится в первой книге Ригведы.

[xii] M. Fontane. Цит. соч

[xiii] M. Fontane. Цит. соч.

[xiv] Корень этого слова сохранился в славянском термине «весь» (деревня, селение).

[xv] По верованию древних индусов, каждый человек родится два раза: первый раз *телом,* во второй раз *духом* и *умом* (в момент подчинения брахманическому режиму).
[xvi] *Тераи* — в Индии и Непале полоса заболоченных равнин, поросших влажными тропическими лесами, у южных подножий Гималаев, на высоте до 900 м. В настоящее время частично осушены и распаханы
[xvii] Страна эта носила название Кали-Ката, которое англичане переделали в Калькутту. Кали-Ката — владение жестокой богини Кали (смерти) — занимала собою всю дельту реки Ганг.
[xviii] Раджпутана — ист. область на северо-западе Индии, на месте которой в средние века располагалось около 20 княжеств. С 1950 г. эта территория является индийским штатом Раджастхан. Значительная его часть занята пустыней Тар.
[xix] E. Rec1us. Цит. соч., т. VIII
[xx]E. Rec1us. Цит. соч., т. УШ
[xxi] Там же.
[xxii] Неточный перевод с французского. Должно быть: «По-видимому, первым, кто смог объединить под своей властью все племена западной Арьяварты, был правитель из Магадхи. В конце концов столицей империи, возникшей в бассейне Инда, стала Гастинапура».
[xxiii] E. Burnoufn Ch. Lassen. Цит. соч

Глава одиннадцатая

ХУАНХЭ И ЯНЦЗЫ

Историческая литература Китая. — Конфуций и десять тысяч церемоний. — Отличительные черты китайской цивилизации. — Параллелизм китайских рек. — Желтозем. — «Сто семей». — Односложность китайского языка: политическое единство и господство ученых. — Великий Иу. — Понятие власти и правительства у китайцев.

В течение древнего периода своей истории Египет строил пирамиды и храмы, Халдея изучала движение небесных тел, Ассирия тратила силы на военные предприятия, Индия пела свои гимны и предавалась метафизическим ухищрениям — таково было в общих чертах разделение труда между семитами и арийцам на заре исторической жизни человечества; из этих малочисленных и разнообразных потоков и составили в конце концов общий и обширный поток всемирной истории и цивилизации.

Несколько иначе обстояло дело в Восточной Азии, населенной народами с желтой кожей, с косо прорезанными глазами, народами, которые, несмотря на все сходства в языке, нравах и даже в наружности, объединяются в одну этническую группу, известную под именем *желтой*, или *монгольской,* расы. Действительно, элементы культуры таких разнородных народов, как калмыки из русских степей, тунгусы Сибири, мандшу с берегов Амура и Уссури, жители Фуцзяня и Кантона, имеют единый корень и происходят из одного и того же центра — из области «*Ста семей*».

По своему громадному протяжению от Каспийского до Желтого моря и от устья реки Камбоджи [Меконг] до озера Байкал вся эта область китайской цивилизации превосходит по своим размерам все великие государства древности; не будет преувеличением, если мы скажем, что в пределах этой области живет приблизительно третья часть всего населения земного шара.

На предыдущих страницах я уже неоднократно выражал свое недоверие относительно баснословно древней хронологии, которую многие европейские и китайские ученые приписывают Небесной империи. Однако все данные, восходящие ранее чем за десять веков до Р.Х., нужно считать малодостоверными, и даже большинство китайских историков рассматривают все события, предшествующие IX столетию до начала нашей эры, как стоящие «вне истории». Но отсюда еще нельзя вывести заключение, что все более поздние хронологические даты имеют характер непреложной истинности. Различные хронологии, которыми пользуются ученые Небесной империи, совпадают друг с другом лишь с момента изобретения *ниен-хао* (особых наименований для различных эпох царствования государей), т.е. приблизительно с 140 года до начала христианской эры.

Китай, вероятно, не обладает ни единым памятником письменности более древним, чем три книги, приписываемые Конфуцию. Правда, некоторые ученые полагают, что «Дао дэ цзин», или «Книга пути к добродетели», приписываемая Лао-цзы, является более древним памятником. Однако подобное предположение мне не кажется заслуживающим доверия, так как не только у Конфуция, но даже у

его учеников язык и буквы слишком первобытны для передачи метафизических тонкостей Лао-цзы, этого знаменитого китайского мудреца.

Не предрешая вопроса о древности Небесной империи, можно, однако, признать, основываясь отчасти и на официальной хронологии, что китайская письменность, не будучи в состоянии соперничать по древности с письменностью Египта и Халдеи, зародилась даже позже греческой литературы и ее начало с трудом может быть отнесено к эпохе Геродота. Необходимо, кроме того, заметить, что многие оригиналы классических памятников китайской письменности были сожжены в 213 году до Р.Х. и восстановлены впоследствии не вполне точным образом. Это особенно нужно иметь в виду при изучении наиболее древней китайской летописи Шу-цзин. Предание гласит, что девятилетняя девочка написала часть ее под диктовку своего деда, девяностолетнего старика, знавшего наизусть двадцать девять глав из Шу-цзин. У старика не было уже зубов, и из всей семьи его поймала лишь маленькая внучка, которая и записывала его рассказ. Но известно, что понимать китайское письмо того времени, не видя перед собою букв, не представляется возможным, так как все расчеты китайской идеографии основываются главным образом на непосредственном зрительном восприятии, поскольку написанное существенно отличается от произносимого. Правда, предание уверяет, что несколько лет спустя принц Лу, разрушая жилище Конфуция, нашел замурованные в стены экземпляры «Диалогов», «Книги сыновнего благочестия» и полные сто глав книги Шу-цзин. К сожалению, все эти книги были написаны на языке *ко-то*, вышедшем из употребления еще до конфуциевой эпохи. Только сопоставляя первые двадцать девять глав найденной книги Шу-цзин с теми, которые были описаны девочкой под диктовку деда, явилась будто бы возможность открыть ключ к письму и расшифровать первые двадцать девять глав найденной книги Шу-цзин. Все же остальное так и осталось непонятным. Таким образом, наиболее древняя историческая дата Китая относится к середине II столетия до начала нашей эры. По словам профессора Васильева, все произведения древней китайской письменности относятся именно к этой эпохе[i].

В сравнительно недавний период уже исторических времен классические памятники китайской письменности подверглись мнгочисленным изменениям. Постепенно они были так искажены многочисленными переписчиками, что дня восстановления их смысла пришлось сопоставить их с копиями с них, завезенными в Японию. Кроме того, все исторические летописи обыкновенно «исправлялись» или, вернее, искажались китайскими императорами, завистливо относившимися к славе и к подвигам своих предшественников. Наконец, ввиду того что все памятники древней китайской письменности появились на свет под более или менее заметным влиянием Конфуция, разные люди старались их выправлять и согласовывать, таким образом, с идеями этого мудреца.

В течение двадцати веков китайская литература не только служила одним из главных средств политического воздействия на народные массы, но и почти целиком входила в область религии. Тем не менее, пожалуй, на всем свете нет страны, прошлое которой было бы покрыто столь непроницаемой тьмой. Громадное число народов и племен, гораздо менее заботившихся о своей истории, чем китайцы, тем не менее имеют кое-какие отрывочные и более или менее отвечающие действительности исторические воспоминания о прошлом. Китай же

своей преждевременной регламентацией создал на границе V и VI веков до христианской эры непроницаемую стену, сквозь которую до сих пор не может проникнуть ни одно научное исследование. «Прошлое Китая, — говорит один из лучших знатоков китайской истории, профессор Васильев, — не освещается для нас ни фактами, ни идеями последователей Конфуция, менее всего заботившихся о правильной передаче фактов. Ученики Конфуция ставили себе целью создание практической морали и социальной системы для настоящего и будущего и потому безжалостно обращались с прошлым»[ii]. Бессознательно подражая дидактическому приему моралистов всех стран, великие реформаторы Китая указывали как на идеал на тот золотой век древности, который в действительности весьма мало, если не меньше всего, известен людям. Для них не было важно, когда жил и что сделал какой-либо полулегендарный повелитель Древнего Китая, и они, нимало не смущаясь, приписывали тому или другому герою первобытной истории тот или иной похвальный поступок, чтобы таким образом сделать его примером для современников.

Есть много причин, по которым для европейца крайне трудно составить правильное понятие о Китае и его истории. Дело в том, что хотя Небесная империя и не в состоянии в смысле древности оспаривать пальму первенства у Египта и Халдеи, но тем не менее Китай, бесспорно, принадлежит к числу великих речных очагов культуры и цивилизации. Китай интересен для нас и потому, что государство фараонов и Ассиро-Вавилония чрезвычайно давно отошли в область археологии, тогда как Китай до сих пор является для нас современной действительностью. За время своего длинного исторического пути он, конечно, весьма существенно развил и видоизменил свои древние учреждения, но не дошел до их отрицания. Наподобие матери Гамлета, Китай еще до сих пор не успел износить башмаков, в которых он шел за гробом своего первого великого учителя Конфуция, и поэтому-то при изучении современного Китая нас охватывает такое же удивление, какое должно было бы охватить при встрече с древним галлом на Елисейских полях или же при виде плезиозавра среди скромных современных лебедей, скользящих по водам Лемана. Правильному взгляду на Китай препятствует, сверх того, еще и несколько ложных соображений и ошибок, к сожалению допущенных наиболее авторитетными синологами. Так, например, эти последние до сих пор еще не отдали себе отчета в чрезвычайной относительной ценности китайской исторической литературы. Видя, что современная жизнь Китая в некоторые моменты довольно близко подходит к идеальному строю, изображенному в псевдоисторических произведениях, они брали на себя смелость утверждать, что Китай представляет собою страну неподвижную по существу и застывшую в консерватизме. С другой стороны, констатируя факт значительной роли обрядностей в китайской жизни и даже в деятельности китайских философов, ученые-синологи вывели отсюда, что обрядности, церемонии и вообще мелочный формализм являются наиболее характерной чертой китайского народа. Этот последний предрассудок обусловливается, как мне кажется, чисто фактической ошибкой в толковании известных правил *ман-ли*, «десяти тысяч церемоний». Понятие *ли* нисколько не отвечает понятию «церемония», и только вследствие недостатка соответствующего термина это понятие можно перевести словом «церемония»; понятие ли на самом деле можно отождествить с нашими понятиями

об этикете и церемониях лишь в том случае, если бы признали, что только этикет запрещает нам ходить на четвереньках, как это захотелось сделать Вольтеру, прочитавшему сочинения Жан Жака Руссо, и что мы не рвем друг друга на части только из церемонии. В действительности понятие ли у китайцев есть нечто вроде статусов социальной религии, обнимающих собою совокупность бесчисленных привычек, поступков и обрядов, отличающих культурного человека от варвара. У восточных монголов, точно так же как и у европейцев, различие между культурным и диким человеком не исчерпывается одной областью явлений, имеющих большое значение, а касается также банальных мелочей повседневной жизни. С момента выступления на арену исторической жизни Китай понял свою миссию — высоко держать знамя цивилизации в стране, где отовсюду цивилизации угрожали враждебные силы, — и вот он вменил своему населению в священную обязанность строгое выполнение многих тысяч обрядов и церемоний, относящихся как к возвышенной, идейной стороне жизни, так и к ее повседневным мелочам. Из-за страха, чтобы его дети и внуки не вернулись к первобытному варварству и не растеряли бы драгоценного, с таким трудом приобретенного наследия, китайские философы и позаботились вручить им для руководства и исполнения сборник «десяти тысяч церемоний», регулирующих и доселе каждый шаг и каждый момент в жизни китайца.

Более справедливо второе, хотя тоже не совсем верное, обвинение Китая в полной неподвижности, обвинение тем более странное, что вся конфуцианская литература рисует нам Китай как раз в момент одного из самых радикальных общественных переворотов, когда-либо имевших место в истории. По этому поводу необходимо сделать некоторые разъяснения. Любознательный читатель тщетно будет искать в биографии Конфуция — в том виде, как ее оставил нам китайский Геродот Сыма Цянь, — объяснение той исключительной популярности и того безграничного влияния, которым великий китайский мудрец пользовался среди всех народов, населявших Небесную империю. Равным образом будет разочарован и тот, кто будет искать ключ к загадке в литературных произведениях, приписываемых Конфуцию и представляющих собою то сборники поэтических произведений, то просто компиляции, даже не одухотворенные общими идеями. Ни одно из этих произведений, зачастую бессвязных и очень сухих, крайне несовершенных по форме, не отмечено печатью высокого гения. По сравнению с другими великими религиозными пророками и реформаторами Конфуций обладает некоторыми правами на наше уважение лишь постольку, поскольку его слова лишены лукавства и хитрости, враждебны всему, отзывающемуся мистикой, и, напротив, отмечены здравым смыслом и гуманными чувствами[iii].

В чем же заключается секрет влияния и обаяния Конфуция? Нельзя же предполагать, что китайцы были созданы совершенно непохожими на остальных людей и что простота и искренность Конфуция оказались достаточными для того, чтобы завоевать первое место в их пантеоне. Разъяснение недоумения можно найти в том обстоятельстве, что великий мудрец сконцентрировал в своей личности один из наиболее важных социальных переворотов Небесной империи; только за это он и был почтен божескими почестями во всей Восточной Азии. Движение, первый толчок которому был дан Конфуцием, вывело Китай из речной фазы цивилизации, отмеченной здесь, как и всюду, крайним деспотизмом, и внушило ему познание

другого, более совершенного строя, основанного на принципах гуманности и демократизма. Если бы действительно область «Ста семей», или Небесная империя, дебютировала в истории тем самым социальным порядком, дряхлый возраст которого мы наблюдаем теперь, то это был бы замечательный пример полного нарушения законов эволюции и прогресса, но на самом деле, конечно, ничего подобного не было в Китае.

При современном состоянии синологии, когда не только каждый текст, но и буквально каждая буква китайских письмен дает повод к ожесточенной полемике и спорам, пожалуй, не хватило бы целого тома для того, чтобы нарисовать картину пережитой Китаем эволюции.

До сих пор было уже много писано о всемогуществе и божественном характере, которыми китайцы в первобытные времена наделяли повелителя, и мы теперь уже твердо знаем, что понятие государства было у них отмечено ясно выраженными чертами фараонизма, т.е. крайним деспотизмом, идеей о божественном происхождении власти, символизированием божества в особе царя, в величии которого растворялся народ[iv].

Для того чтобы хоть немного приподнять покров тайны громадного успеха, достигнутого последователями Конфуция, я приведу небольшой отрывок, автором которого считается ученик Конфуция философ Менций (собственно Мэн-цзы), далеко превосходивший своего учителя по силе и решительности в формулировке и пропаганде идей и принципов конфуцианства. Менций говорит: «Народ выше всего и драгоценнее всего на земле, за ним идут земные гении, и только на последнем месте стоит повелитель». Одной этой фразой, диаметрально противоположной по смыслу главной политической аксиоме речных деспотий, доказывается, что в истории человечества Китай достиг такой фазы развития, какой не успела достигнуть ни одна древняя речная монархия. В самом деле, чтобы избавиться от деспотического гнета царей и жрецов, Индия не нашла ничего лучшего, как заковать себя в цепи кастового общества; Египет и Халдея действовали в этом отношении еще менее решительно.

Революционный дух, дух возмущения — этот существенный фактор прогресса — проявляется в тот или иной момент во всякой стране. Мы видели проявление этого духа и на берегах Нила, и в Месопотамии. После долгих веков гнета он проявился и в Китае. В сочинениях Конфуция мы встречаем во многих местах отголоски революционных и анархических идей. Так, например, в первой книге Шу-цзин (гл. III, параграф 5) говорится: «Кто повелевает другими, не должен ли быть всегда в страхе?» Менций идет еще дальше, за свои идеи он мог бы быть преследуем большинством современных правительств. В Китае были попытки запретить чтение книг Менция. Лишь энергичное противодействие со стороны ученых воспрепятствовало этому[v].

В одном месте Менций говорит: «Все люди равны, почему же в действительности они разделяются на повелителей и подвластных?.. Когда мы видим, что у одних на кухне готовятся хорошие и обильные блюда и конюшни переполнены лошадьми, в то время как народ умирает с голоду и трупы умерших лежат на больших дорогах, не происходит ли это оттого, что нами управляют дикие животные, которые раздирают народ?.. Когда царь, отец народа, становится похожим на дикого зверя, можем ли мы называть его отцом своих подданных?..

Если мой царь не способен хорошо управлять, я имею право смотреть на него как на разбойника...»

Когда сравниваешь эти негодующие слова Менция с бесцветными писаниями Конфуция, то невольно спрашиваешь себя: почему Менций занимает второе место после Конфуция в философском пантеоне Китая? Это можно объяснить лишь тем, что Менций явился несколько поздно, когда в Китае конфуцианство стало уже официальным учением и когда революционный подъем эпохи самого Конфуция пошел уже на убыль.

Начиная с V века христианской эры Небесная империя сделалась театром весьма сильного философского движения с многочисленными течениями, далеко не поглощавшимися конфуцианством. Между прочим, здесь процветали спиритуалистические и мистические доктрины, зародившиеся под более или менее явным влиянием Лао-цзы и умозрительных учений Индии. Из чувства оппозиции утилитаризму школы Конфуция спиритуалисты и мистики проповедовали идеи, окрашенные требованиями квиетизма и эпикуреизма; зачастую они погружались в поиски философского камня и средств, дающих бессмертие. Значительная часть их, однако, превосходила своих противников — последователей Конфуция — стилем и поэтической отделкой своих произведений. По некоторым фактам можно судить, что проповедники квиетизма остались не без влияния на умы своих современников. Понятно, что они с первого же момента стали в ряды ожесточенных противников конфуцианства. В качестве его врагов они не были одиноки, так как рядом с ними существовало много других, враждебных конфуцианству философских школ, о которых мы можем лишь догадываться по полемическим вставкам в произведениях китайских классиков. Так, например, мы читаем у Менция: «В настоящее время не появляется уже более добрых и справедливых государей, и, напротив, злобные повелители предаются всем порокам, а корыстолюбивые и продажные философы отравляют нас своими вредными доктринами. Мир все более и более подчиняется афоризмам Ян-гу и Мо-ти, и можно сказать, что тот, кто не признает первого, наверное числится среди учеников второго».

Некоторые комментаторы предполагают, что под общими наименованиями Ян-гу и Мо-ти Менций помещает всех противников школы Конфуция. Но профессор Васильев разбивает это предположение, указывая, что в данную эпоху существовал в Китае мудрец Мо-цзы, доктрины которого с первого взгляда казались весьма мало отличными от идей Конфуция и лишь при детальном знакомстве оказывались снабженными вставками слишком идиллического характера для верных последователей Конфуция или Менция.

Перейдем теперь к тем упрекам, которые Менций посылает по адресу философов, отравляющих мир своими возмутительными доктринами: Ян-гу, по словам Менция, не признает власти, государства, права повелителя властвовать, проповедует, что нужно жить только для себя и что если бы можно было осчастливить Вселенную, отказавшись для всего этого от одной из своих лошадей, то и тогда не следовало бы лишать себя части имущества. Мо-ти, напротив, грешит проповедью излишней любви, которую следует проявлять ко всем и каждому...

Для нас остается неясным, что возмущало Менция в проповеди Ян-гу: идея ли эгоизма или республиканский дух его принципов? Несомненно одно, что оппозиция обладала в то время в Китае несравненно более смелыми

представителями, чем Конфуций и Менций. Это ясно видно из основных положений Мо-цзы. Этот философ, не довольствуясь осуждением вредных сторон верховной власти, осуждением богатых и знатных, требовал разрушения государства, уничтожения права частной собственности и семьи.

В противоположность этому Менций на каждой странице своих произведений провозглашает, что единственное средство от всех зол есть правильная организация государства наподобие большой семьи, план которой до мельчайших подробностей был разработан Конфуцием.

> Эпитет «отец народа», применяемый к императору, неизменно выходит из-под пера каждого писателя, защищающего умирающий деспотизм, но в течение всего исторического периода, о котором я говорю, Китай находился в исключительном положении, когда этот эпитет не только блистал новизной, но и носил оттенок некоторой прогрессивности. В замене прежнего деспотического повелителя, обладавшего якобы божественным правом власти, понятием царя-отца, мудро заботящегося о благополучии своих подданных, заключалось наиболее простое средство очеловечить и смягчить общественный строй, завещанный прошлым и составляющий грубый продукт среды. Весьма существенная страница человеческой истории осталась бы незаполненной, если бы Китай не посвятил двадцать веков своей жизни тому, чтобы убедиться на опыте в безжизненности и бессмысленности этого нового понятия власти. В течение долгих веков истории Небесная империя оказывала свое влияние на судьбы западного мира, одаряя нас чаем, шелком и другими полезными продуктами, но ее права на почетное место в истории человечества заключаются главным образом не в этом, а в опыте политического устройства общества, доказавшего полную несостоятельность и вред понятия власти как «отца, пекущегося о благе народа».

Две западные великие древние цивилизации — нильская и месопотамская, — достигнув известной степени развития, распространились до морского побережья и перешли в стадию морской цивилизации. Индия, запертая в бассейне своих рек, не имевших удобного сообщения с морем, кончила тем, что замерла и обособилась от общего потока всемирной истории. Один лишь Китай, прогрессивно расширяя область своего культурного воздействия, остался тем не менее в колыбели своей цивилизации — в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы. Территория собственно Китая составляется главным образом из бассейнов трех великих водных артерий — Хуанхэ, Сицзян (Жемчужная река) и Янцзы, — дополняемых обширной системой притоков, а следовательно, и путей сообщения между Монголией и Тонкинским морем. Все эти реки точно так же оплодотворяют своими наводнениями культурную страну Китай, как Нил, Тигр, Евфрат и Инд оплодотворяют остальные местонахождения великих речных цивилизаций. При этом зона наводнений, обусловливаемых периодическими разливами Хуанхэ и ее притоков, соприкасается на юге со страною, орошаемой Янцзы, и вместе с последней образует нечто, по основным характерным чертам весьма схожее с нильской дельтой, только в гораздо больших размерах. Как и египтяне, китайцы, жившие в долинах по среднему

течению обеих великих рек, могли достигнуть моря только после многовековой работы на месте своей оседлости, только после превращения беспредельных пространств, покрывающихся илом и грязью, в возделанную и густонаселенную страну. Вся область, известная под названием Цзинань, некогда подвергавшаяся постоянной опасности быть разоренной волнами, а теперь плодородная и цветущая, является результатом искусства и труда китайцев. Целый лабиринт каналов, прорезывающих в разных направлениях провинции Аньхой и Чжэцзян, гигантские плотины, сдерживающие постоянно изменяющиеся течения рек, потребовали для своего сооружения громадного количества труда, даже в сравнении с массой труда, затраченного в Египте. Все гигантские сооружения в Китае носили, несомненно, более утилитарный характер, нежели большая часть предприятий фараонов, но в смысле достигнутых результатов они были тождественны, так как и доселе Хуанхэ смывает иногда с лица земли результаты труда бесчисленных поколений.

Хуанхэ (Желтая река) обязана своим названием плодородным частицам желтой земли (желтозему), уносимым ее водами и сообщающим им желтый цвет, который, по верованиям китайцев, является символом земли — начала, зарождающего все: земледелие, социальный строй и власть. Первый император, упоминаемый в китайских летописях, носил звание «Желтый повелитель».

Желтозем покрывает в Китае площадь, в общем превышающую площадь всей Франции. Почва, покрытая желтоземом, обыкновенно бывает вся проточена небольшими вертикальными отверстиями. Вокруг Пекина она проявляется только кое-где на горных выступах, господствующих над равниной, но далее на запад она покрывает буквально всю поверхность гористой страны, лежащей между Тибетом и горными хребтами Шаньси. Над массами этой желтой земли, скопившимися на всем указанном огромном пространстве, известным русским путешественником Потаниным были произведены весьма интересные наблюдения и исследования, результаты которых опубликованы им сравнительно недавно. Вот что говорит он, между прочим: «Залежи красного песчаника, служащие основанием для скопления желтой земли (лёсса), расположены обыкновенно горизонтально, лишь изредка вместо них залегают гнейсовые породы. За весьма немногими исключениями, слои песчаника до такой степени пропитаны солью, что местные жители добывают ее оттуда простым вываривaнием; зачастую выступы скал покрыты здесь кристаллами соли, выступающими также, наподобие снега или инея, и в некоторых долинах. Соленые озера весьма многочисленны, и даже вода некоторых рек пропитана солью. Горизонтальное положение слоев песчаника определяет контур и общую конфигурацию местности, представляющей собою равнину без всяких более или менее заметных возвышений. Впрочем, глаз неопытного путешественника в первое время обманывается многочисленными глубокими долинами и оврагами, придающими местности горный характер. Войдя в одну из таких долин с крутыми склонами, можно подумать, что находишься среди горной области, но в действительности путешественник имеет дело только с глубокими оврагами, рассекающими страну по всем направлениям. Такие овраги, обрамленные параллельными обрывистыми краями, высотою иногда до тысячи метров, тянутся порой на десятки километров и углубляются не только в скопления поверхностной почвы (лёсса), но и в мощные песчаниковые породы, лежащие

внизу. Чтобы уловить истинный характер местности, необходимо подняться из глубины такого оврага на равнину, и тогда на громадное расстояние вокруг можно видеть лишь ровную местность, пересеченную бесчисленными параллельными провалами, весьма напоминающими собою промежутки между зубьями гигантской гребенки. Провалы эти образуются следующим образом: подпочвенные воды, отыскивая себе выход и вымывая на своем пути пустоты, вызывают понижения почвы на поверхности, затем эти понижения наполняются водой, которая, просачиваясь вниз, увлекает за собою и частицы почвы, образуя провалы или нечто вроде колодцев. Затем колодцы расширяются в том направлении, куда текут подпочвенные воды, и постепенно превращаются в глубокие овраги, в конце концов соединяющиеся главным оврагом данной местности».

Строение почвы и некоторые ее особенности объясняют факт присутствия в водах Хуанхэ такого громадного количества ила и других осадочных материалов, которое путешественник прошло века Стонтон не без изумления определяет по вес в две сотых части всего количества воды. Река непреывно размывает берега, уносит с собою все мелкие частицы и затем, во время разливов, оплодотворяет ими местность вдоль берегов. По словам Элизе Реклю, разливы Хуанхэ бывают огромны и носят чрезвычайно разрушительный характер. Китайские авторы, цитируемые Карлом Риттером, уверяют, что поверхность речных вод во время разливов поднимается на 33 метра над береговыми полями. Преувеличение здесь очевидно, но несомненно, что подъем воды действительно бывает значителен и что окрестным жителям приходится работать без устали для того, чтобы предохранить от разрушения и уничтожения дома, жатвы и свое собственное существование.

Хуанхэ (Желтая река) обладает, быть может, даже в более сильной степени всеми отличительными чертами великих исторических рек, сдавших цивилизацию. Благодаря ей и Янцзы Китай подставляет собою такую географическую среду, которая вознаграждая, с одной стороны, человеческий труд, с другой — внушает прибрежным обитателям под страхом смерти солидарность и постоянную суровую трудовую дисциплину во всех, даже самых узких, областях жизни. Говоря о результатах влияния среды, следует, кстати, отметить важное отличие в данном отношении между Китаем и хотя бы Египтом. В Египте великая историческая река Нил была покорена и приспособлена к нуждам человека при помощи страшного угнетения и порабощения народных масс. В Китае нечто аналогичное случилось лишь в стране Цзинань и вообще в области нижнего плёса реки Хуанхэ, там, где находились налицо условия, близкие к физико-географическим условиям Нила. Наоборот, в области желтозема (лёсса) не было никакой нужды в больших общественных работах; почвенные и географические условия этой области требуют здесь разделения земель на участки, орошения их каналами и участия в работе небольших групп. Это последнее условие, несомненно, способствовало развитию среди населения чувства семейной и общинной автономии, столь характерной для земледельческого Китая; с другой стороны, отличительные особенности почвы пробуждали у населения инстинкт солидарности. Отсюда, вероятно, ведет свое происхождение господство патриархальных начал в китайской жизни в эпоху Конфуция.

До сих пор точно неизвестно, откуда на историческую арену явились «сто семей», эти первые культурные работники в бассейне великих китайских рек. Сами

китайцы, по-видимому, не сохранили никаких определенных воспоминаний о своей первоначальной родине. В сборнике древнейших произведений народной поэзии, называемом Шу-цзин, где многие произведения носят, бесспорно, архаический характер, некоторый свет на этот интересный вопрос бросают всего два отрывка, притом с большим трудом поддающиеся переводу[vi].

Подобный недостаток местных преданий предоставляет обширное поле для создания всевозможных гипотез. Между прочим, в индийских законах Ману некоторыми учеными было отыскано место, гласившее, что некогда одна группа кшатриев ушла из Индии и поселилась в стране Маха Тшин (Великий Тчин). С другой стороны, известный немецкий ученый Шлегель полагал, что первоначальные познания китайцев по астрономии были заимствованы ими от халдеев[vii].

Тем не менее, по моему мнению, масса обстоятельств устанавливает тот факт, что будущие цивилизаторы Небесной империи переселились туда еще в состоянии варварства и что, следовательно, они не могли бы быть отпрысками какой-либо уже культурной группы. Ф.Ленорман, например, показал, что китайская бронза по своему составу отличается от бронзы, употреблявшейся в других странах; по показаниям самих китайцев, учреждение семейного строя имело место лишь в эпоху династии Чжоу. Но наиболее яркое подтверждение правильности моего взгляда я вижу в моносиллабизме китайцев. Действительно, моносиллабизм (односложность языка) ставит китайцев в стороне от всех культурных народов древности и одновременно сближает их с этнологической группой, до сих пор остающейся некультурной и только частью (аннамиты, жители Сиама и Тибета) присоединившейся, весьма поздно, к культурному очагу Индии и Китая.

До настоящего времени Китай не обладает единым национальным языком, так что обитатели различных кварталов одного и того же города не в состоянии понимать друг друга без посредства письма (т.е. идеографического языка). Даже возникновение единства Китая стало возможным лишь благодаря этому последнему. Вообще роль идеографического письма в истории китайской культуры громадна, и историческая роль и значение Конфуция в значительной мере объясняются его инициаторской ролью в изобретении и организации идеографического письма.

Резкий разрыв между письменностью и обыкновенной речью, между идеографическим письмом, известным лишь образованным людям, и языком, на котором говорят низшие слои населения, в сильной степени задерживает прогрессивное развитие китайской массы в целом. С другой стороны, интеллектуальное развитие нации затрудняется чрезмерной сложностью идеографии: изучение искусства чтения и письма поглощает массу времени, поэтому приходится пренебрегать другими научными занятиями, как, например, математикой и естественными науками.

Разнообразие наречий в Китае не помешало, однако, образованию единой китайской нации, и коренная причина этого заключается, по моему мнению, в характере главной китайской реки Хуанхэ. Эта река является творцом Небесной империи, и ее значение и роль в деле создания китайской нации легко можно видеть.

Китайские летописи началом Небесной империи считают потоп. Так, в начале классической книги «Летопись» мы читаем: «Вышедшая из берегов вода вселяет в меня ужас (говорит Яо); эти вышедшие воды затопляют все. Яо приказал Иу регулировать течение воды. Отныне вода будет течь по руслам, и это будут реки Хуанхэ, Цзи и Хань. Когда опасность потопа миновала, люди поселились на умиротворенной земле». Менций в свою очередь дает живописную и подробную картину наводнения.

Правда, в книге Конфуция Иу, строитель плотин и укротитель наводнений, фигурирует как второстепенное лицо, как скромный исполнитель приказов высшего повелителя. Но это сделано Конфуцием с нравоучительной целью: монарх не должен пренебрегать даже самым простым человеком и должен выбирать для исполнения важных задач достойных людей, несмотря на их низкое происхождение.

Впрочем, Конфуций не замедлил возвысить скромного строителя плотин Иу и возвел его в сан императора, родоначальника династии Ся. Это возвышение Иу, правда, служит для Конфуция новым поводом к тому, чтобы указать, что высшая власть должна быть избираема.

Дела и работы Иу изложены в третьей книге Шу-цзин — Иу-цзин. В этой книге с большими подробностями рассказывается, как с вершины горы Медвежье Ухо Иу, после того как упорядочил течение вод, после того как заставил Хуанхэ, Янцзы и Ханьцзян течь по своим руслам и сделал землю пригодной для жилища людей, приступил к организации государства, разделив его на девять провинций. Карты этих провинций, или областей, он начертал на бронзовых вазах; дальше рассказывается, как Иу приступил к разделу земли и к обложению жителей каждой провинции налогом, сообразуясь с плодородием почвы.

Изучение этого любопытного памятника китайской древней письменности позволило Рихтгофену нарисовать карту возможного расселения китайского народа и китайской цивилизации с древнейших времен. Это расселение шло таким образом: из области «Желтой земли» «сто семей» направились на восток, вниз по течению Хуанхэ; путь на запад и на север был прегражден монголами-кочевниками, и, кроме того, области к западу и к северу от Хуанхэ были неплодородны, поэтому китайцы должны были завоевывать области в бассейнах Янцзы и Ханьцзян, покоряя постепенно дикие племена. В эпоху Менция «татуированные варвары» занимали еще весь южный Китай, но китайская культура проникла сюда через юго-восточные притоки Янцзы.

Эта необходимость последовательного завоевания трех речных бассейнов является причиной запоздания китайской цивилизации, так как китайцам приходилось несколько раз начинать свою культурную работу. Китайцы хорошо сознавали зависимость их цивилизации от рек; они отлично понимали роль и значение в деле создания их государства великих рек, и на их образном языке правительство и власть обозначаются понятием *текущей воды*.

Рассмотрение Китая привело нас к крайним границам материка Старого Света и завершило подтверждение того мнения, что среди бесчисленной массы «званых» народов «избранными» неизменно всюду и везде оказывались жители берегов рек с одинаковыми особенностями. Каждая из четырех великих культур

древности, как это свидетельствует наше изучение, является результатом гидрологических систем тех стран, которые служили им колыбелью, и, сообразно с этим, культурная история во всем Старом Свете представляет собою тяжкую задачу, заданную человеку физико-географическими особенностями страны.

Делая такое обобщение, я снова повторяю, что далек от мысли поддерживать идею речного фатализма. По моему убеждению, на всем беспредельном пространстве материков Старого Света истинным творцом истории следует считать вообще среду, а река имеет значение лишь потому, что является как бы синтезом многочисленных географических условий. Таков нормальный ход вещей, но мы не должны упускать из виду, что всякая естественная эволюция подвержена многочисленным уклонениям и что ни одно жизненное явление не происходит так просто и однообразно, как методически производимый в лабораториях опыт. Красноречивый пример четырех великих древних цивилизаций кажется мне достаточным для того, чтобы доказать, что нигде на всем свете не имел места факт развития вне речной среды, внушающей своим обитателям чувство ясно выраженной и последовательной солидарности, но это не мешает мне признавать, что сознание необходимости солидарности может быть внушено человеку географической средой и помимо посредничества рек.

В Старом Свете мне неизвестны исключения из этого правила; что же касается Америки, то культурное развитие совершалось там не на берегах больших рек лишь потому, что области, расположенные в бассейнах Миссисипи и Амазонки, не обладали теми географическими данными, которые составляют характерные черты Нила и Хуанхэ.

Населенные области Америки, где зародились самостоятельные проблески цивилизации, находятся на болотистых плоскогорьях Анагуака[viii] и Боливии, где обширные внутренние моря-озера с изменяющимся под влиянием засух и ливней уровнем заставляют живущих на их побережьях людей предпринимать общественные работы по созданию плотин, каналов и т.п., приучая, таким образом, жителей к практике солидарности и к коллективному труду. Но зародившиеся здесь небольшие местные очаги культуры своей изолированностью были обречены оставаться за пределами истории на плоскогорьях Мексики и Перу, среди девственных лесов или знойных пустынь. История американских цивилизаций должна быть расшифрована другим путем, чем тот, который мы установили в нашей книге по отношению к цивилизациям Старого Света. Но тем не менее природа Нового Света также ставит перед жителями выбор: *смерть или солидарность*, других путей у человечества нет. Если оно не хочет погибнуть, то люди неизбежно должны прибегать к солидарности и к общему коллективному труду для борьбы с окружающими неблагоприятными условиями физико-географической среды. В этом заключается великий закон прогресса и залог успешного развития человеческой цивилизации.

Примечания

Социологические работы Л.И. Мечникова, за исключением книги «Цивилизация и великие исторические реки», никогда не переиздавались, хотя, как

отмечал первый его биограф М.Д. Гродецкий[ix], в конце 1890-х годов было «одним из столичных издателей задумано, а частью подготовлено к печати издание нескольких томов избранных статей Мечникова, имеющих не временной интерес». Издание не осуществилось, кто был тот издатель — неизвестно, а работы Мечникова так и остались разбросанными по разным журналам, подписанные вдобавок разными псевдонимами. Сам же Мечников, живший в постоянном безденежье, с которым он и боролся главным образом текущей литературной работой, просто не имел времени на то, чтобы собрать свои статьи воедино. Относительное благополучие последних лет жизни, изрядно подпорченное болезнями, было использовано им для написания главного труда — книги «Цивилизация и великие исторические реки».

Писал Мечников, как правило, быстро, почти всегда набело, умея сосредоточиться в любой обстановке, которая в условиях эмигрантского существования отнюдь тому не благоприятствовала. Мог писать на людях, во время разговоров, вставляя иногда в них и свои замечания. Много читая, путешествуя, общаясь с огромным кругом лиц, Мечников обладал колоссальной эрудицией. Работе отдавался полностью, страстно, закончив же статью, сразу переходил к другим делам, которых всегда было много. Написанное перед отправкой иногда даже не перечитывал. (Отсюда, кстати, некоторые небрежности в письме.) Ольга Ростиславовна, его жена, впоследствии вспоминала: «Речь его была блестящая, живая, остроумная и лилась совершенно свободно, никогда он не искал слов; о чем бы он ни говорил, в его распоряжении всегда был самый разнообразный и громадный запас выражений»[x].

Такое энциклопедическое единение речи и письма хорошо заметно в работах Мечникова. В целом в них не так уж много мест, требующих пояснений, поскольку писал он строго в расчете на читателя и как можно яснее, но упоминается множество имен людей, которых Мечников знал не только по литературе, но и лично. Некоторые из них воспринимаются ныне с интересом и удовлетворенностью, но есть и полузабытые и даже совершенно неизвестные. Эти имена, снабженные кратким пояснением, по большей своей части приведены в конце книги, в «Указателе имен».

В своих работах Мечников часто ссылается на литературные источники, к сожалению делая это крайне небрежно, не указывая ни места, ни года издания, а зачастую даже название книги или статьи приводя лишь частично. В значительной степени этот недостаток усилиями составителя и редактора удалось исправить.

Тексты работ Л.И. Мечникова сохранены полностью, осуществлен лишь их перевод в новую орфографию и внесены изменения в пунктуацию. Кроме того, устаревшие написания некоторых географических названий заменены на современные, а в случае, если название изменилось, в квадратных скобках приведено новое.

[i] В. П. Васильев. Цит. выше статья

[ii] В. П. Васильев. Цит. статья

[iii] Насколько Конфуций был далек от всякой мистики и стремления окутать свое учение покровом таинственности, могут показать следующие факты: спрошенный однажды одним молодым учеником о смерти Конфуций ответил: «Ты думаешь о

смерти, но ты ведь еще не научился жить!» Одному своему ученику, желавшему постигнуть тайны загробного мира, он сказал: «Людям чрезвычайно трудно познать даже и этот, непосредственно открытый их чувствам мир, тем более они не в состоянии познать того, о чем им никто не может дать даже и первоначальных сведений».

[iv] J. Legge. Confucianism in relation to Christianity. London, 1877

[v] Император Хоан-ву из династии Мин издал декрет об изъятии из программ высших учебных заведений трудов Менция. Ученые горячо протестовали против этого. Тогда император отдал приказ казнить всякого, кто воспротивится его декрету. На следующий день к императору явился его первый министр с протестом против запрещения произведений Менция и с гробом для своего тела, так как он ожидал, согласно декрету, смертной казни за протест. Император после этого отменил декрет

[vi] Simon. La Cite chinoise

[vii] Элизе Реклю на основании исследований многих ориенталистов предполагает, что «сто семей» — «Бак-син» — имели первоначальным исходным местом Древнюю Халдею, на что указывает слово Бак, встречающееся часто в Халдее и в Месопотамии (Бактриана, Багистан, Багдад и т.д.). Подтверждением этого служит также и сходство астрономических познаний китайцев и халдеев. Вследствие постоянного продвижения от неизвестных причин «сто семей» перешли пояс гор, и после некоторого пребывания в области реки Тарим они вступили в конце концов в долину Желтой реки

[viii] *Анагуак* — устаревшее название мексиканского побережья, иногда всей Мексики

[ix] «Жизнь», 1897, № 23

[x] ГАРФ, ф. 6753, оп. 1, ед. хр. 88, л. 12

Указатель имен

Август Цезарь **(63 до н.э. — 14 н.э.) — рим. император с 27 г. до н.э**

Авезак Паскаль (1800—1885) — фр. географ, президент Парижского географического об-ва, исследователь Африки

Авраам — библ., родоначальник евреев

Адемар Альфонс Жозеф (1797— 1862) — фр. математик, автор идеи об астрономических причинах древних оледенений на Земле

Адриан Публий Элий (76—138) — рим. император из династии Антонинов

Акбар (Джелаль-ад-дин Мохаммед) (1542—1605) — Великий Могол Индостана, потомок Тимура

Александр Македонский (356— 323 до н.э.) — царь Македонии с 336 г. до н.э., основатель крупнейшей империи

Аменемхет I (2000—1970 до н.э.) — егип. фараон, основатель XII династии

Аваксимандр (ок. 610 — после 547 до н.э.) — др.-греч. философ, представитель милетской школы

Анфантен Бертелеми Проспер (1796—1864) — фр. социалист-утопист, ученик и последователь Сен-Симона

Араго Доминик Франсуа (1786— 1853) — фр. ученый, труды по астрономии и истории науки

Арам — библ., сын Сима, внук Ноя

Аристотель (384—322 до н.э.) —др.-греч. философ и ученый

Арфаксад — библ., сын Сима, внук Ноя, считается родоначальником жителей сев. Части Ассирии

Ассур — библ., сын Сима, внук Ноя

Ассье Адольф де (1828—?) — фр. ученый-математик,

Аттила (?—453) — предводитель гуннов

Ахмет-шах (ок. 1724—1773) — основатель царства афганцев-дурани

Ашока (Асока) (268—232 до н.э.) — инд. властитель из династии Маурьев

Ашшурбанипал (Сарданапал) (669—633 до н.э.) — ассир. царь

Бабер (Зегир-ад-дин Мохаммед) (1483—1530) — первый Великий Могол Индии, внук Тамерлана

Байрон Джордж Гордон (1788— 1824) — англ, поэт

Бастиа Фредерик (1801—1850) — фр. политэконом, ревностный проповедник свободной торговли

Бастиан Адольф (1826—1905) — нем. этнограф, автор концепции о единстве человеческой психики, которая обусловливает единство культуры всех народов

Батый (1208—1255) — монг. хан, основатель Золотой Орды, внук Чингисхана

Беккерель Автуан Сезар (1788— 1878) — фр. физик, специалист в области электричества и магнетизма

Бержере Луи Франсуа (1814—7) — фр. врач

Бёртон Ричард Фрэвсис (1821— 1890) — англ, путешественник, исследователь Африки

Бисмарк Отто Эдуард (1815— 1898) — нем. политик, канцлер Германской империи

Блонден Шарль (1824—1897) — фр. канатоходец, «герой Ниагары»

Блюнчли Иоганн Каспар (1808— 1881) — швейц. юрист **Бодуэн Петр Гавриил** (1689— 1768) — католич. священник, миссионер **Бокль Генри Томас** (1821—1862) — англ, историк и философ, главным фактором исторического развития считал интеллектуальный прогресс

Борджиа Лукреция (1480—1519) — дочь Родриго Борджиа (папы Александра VI)

Боссюэ Жак Бенин (1627—1704) — фр. епископ, писатель, сторонник сильной монархической власти

Ботвелл Джеймс Кепбэрн (1536— 1578) — шотл. граф, герцог Оркнейский, третий муж Марии Стюарт

Бреттшнейдер Карл Готлиб (1776—1848) — протестантский богослов

Бругш Генрих Карл (1827— 1894) — нем. археолог-египтолог

Бруссе Казимир (1803—1847) — фр. ученый

Брюс Джеймс (1730—1794) — шотл. путешественник, в 1770 г.достигший истока Голубого Нила

Будда (Шакья-Муни) (623—544 до н.э.) — наст, имя Сиддхартха Гаутама, основатель буддизма

Булье Франциск (1813—1899) — фр. философ и педагог, сторонник учения о господстве души в человеческих действиях

***Булье Шарль** (1470—1553) — фр. философ, математик, богослов* **Бургаве (Бургааве) Герман** (1668— 1738) — голл. врач, ботаник и химик **Бушю Эжен** (1818—1891) — фр. врач, специалист по детским болезням **Бэр Карл Максимович** (1792— 1876) — рус. естествоиспытатель и путешественник, основатель эмбриологии

Бюрнуф Эмиль Луи (1821—1907) — фр. филолог

Бюффон Жорж Луи (1707—1788) — фр. натуралист, в противоположность К.Линнею отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием природной среды

Вайц Теодор (1821—1864) — нем. психолог и антрополог

Васильев Василий Павлович (1818—1900) — рус. востоковед, специалист по китайской и тибетской истории

Венюков Михаил Иванович (1832—1901) — рус. путешественник, исследователь Японии, Китая и российского Дальнего Востока

Вернер (Берне) Фердинанд — нем. военный врач, участник экспедиции вверх по Нилу в 1840-х гг.

Видок Эжен Франсуа (1775— 1857) — известный фр. сыщик, написал четыре тома мемуаров

Вирхов Рудольф (1821—1902) — . нем. политик и ученый, основоположник патологической анатомии

Виссман (Вайсман) Герман фон (1853—1905) — нем. путешественник, исследователь бассейна р. Конго

Вольтер Мари Франсуа (1694— 1778) — фр. писатель, историк,

Вуазен Огюст Феликс (1829— 1898) — фр. врач-психиатр

Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913) — рус. философ-позитивист, минералог

Гале Эжен Огюст (1813—1889) — фр. историк, исследователь раннего христианства

Галилей Галилео (1564—1642) — итал. физик и астроном

Галлоран Генри (1842—1919) — англ, врач

Гамильтон Вильям (1788—1856) — англ, философ, представитель т.н. шотландской школы «здравого смысла»

Ганнон — флотоводец из Карфагена, совершивший в VI в. до н.э. плавание вдоль западного берега Африки

Гартманн (Хартманн) Р. — нем. врач, участник экспедиции в район Голубого Нила в 1859— 1860 гг.

Гей-Люссак Жозеф Луи (1778— 1850) — фр. химик и физик

Геккель Эрнст (1834—1919) — нем. биолог, последователь Ч.Дарвина

Гексли Томас Генри (1825— 1895) — англ, естествоиспытатель-эволюционист

Гельвальд Фридрих (1842— 1892) — нем. географ и историк, приверженец эволюционной теории

Гельмгольц Герман Людвиг (1821—1894) — нем. физик, математик, физиолог и психолог. Занимался вопросами электромагнетизма, оптики, акустики, цветового зрения

Генне-ам-Рин Отто (1828—?) — нем. историк культуры

Геродот (ок. 490 — ок. 425 до н.э.) — др.-греч. историк, прозванный «отцом истории»

Гесиод (VIH — VII вв. до н.э.) — первый известный по имени др.-греч. поэт

Гёте Иоганн Вольфганг (1749— 1832) — нем. поэт и мыслитель

Гильдебранд (1015—1085) — папа римский Григорий VII с 1073 г., последовательный борец за идеалы папской теократии

Гипатия (Ипатия) (370—415) — математик, астроном и философ из Александрии, стала жертвой фанатиков-христиан

Гислен Жозеф (1797—1860) — фр. ученый, психиатр

Гоммель Фриц (1854—1936) — нем. востоковед

Грант Джеймс Огастес (1827— 1892) — англ, исследователь Африки, вместе со Спиком исследовал верховья Нила

Грегоровиус Фердинанд (1821— 1891) — нем. историк, автор популярных исторических книг

Гренфель Джордж (1849—1906) — англ, миссионер-баптист, работал в Африке

Гризингер Вильгельм (1817— 1868) — нем. врач-психиатр, основатель школы научной психиатрии в Германии

Гумберт (Умберто) (1844—1900) — король Италии, сын Виктора-Эммануила II

Гумбольдт Александр фон (1769—1859) — нем. естествоиспытатель, географ и путешественник

Гушке Георг Филипп (1801— 1886) — нем. юрист, знаток римского права

Гюго Виктор Мари (1802—1885) — фр. писатель, поэт, общественный деятель

Гюйо Арнольд (1807—1884) — амер. географ и геолог

Дамокл (V—IV вв. до н.э.) — приближенный тирана Дионисия I Старшего (Сиракузы)

Дарвин Чарлз (1809—1882) — англ, естествоиспытатель, создатель эволюционной теории

Дебе Огюст (1802—1890) — фр. врач, автор многочисленных популярных книг по гигиене, физиологии, магнетизму и т.д. — 148

Декарт Рене (1596—1650) — фр. философ, конечной целью знания считал усовершенствование природы человека и установление его власти над

Джесси Ромоло (1831—1881) — итал. лейтенант на египетской службе, окончательно установил, что Белый Нил вытекает из озера Альберт

Дидро Дени (1713—1784) — фр. философ и просветитель

Дрэпер Джон Вильям (1811— 1882) — амер. химик, физиолог и историк

Дюро де Ля Маль Адольф Жюль (1777—1857) — фр. энциклопедист, автор многочисленных работ в самых разных областях знаний

Дюрюи Жан Виктор (1811— 1894) — фр. историк, государственный деятель, организатор народного просвещения

Жакоб Анри (по прозвищу Зуав) (1828—?) — фр. магнитезер, лечил внушением

Жоли Николя (1812—1885) — фр. физиолог и антрополог

Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772—1844) — фр. зоолог-эволюционист, один из предшественников Ч.Дарвина

Золя Эмиль (1840—1902) — фр. писатель-романист

Зороастр (Заратуштра) (между X и перв. пол. VI в. до н.э.) — пророк и реформатор древне-иранской религии

Иван IV Грозный (1530—1584) — первый русский царь с 1547 г

Йегер Густав (1832—1916) — нем. врач и зоолог, профессор в Штутгарте

Кабанис Пьер (1757—1808) — фр. врач и философ, предшественник вульгарного материализма

КазалисЭжен Арно (1812—1891) — фр. миссионер, исследователь Африки

Калигула Гай Цезарь (12—41) — рим. император

Кандоль Альфонс де (1806— 1893) — фр. естествоиспытатель

Кант Иммануил (1724—1804) — нем. философ, основатель критического идеализма

Карл Великий (742—814) — франкский король из династии Каролингов, император

Кассини Джованни Доменико (1625—1712) — итал. астроном, открыл вращение Юпитера и Марса, обнаружил четыре спутника Сатурна

Катрфаж де Брео Жан Луи (1810—1892) — фр. зоолог, эмбриолог и антрополог

Кедорлаомер — библ., царь эламский

Кесслер Карл Федорович (1815— 1881) — рус. зоолог, автор ряда монографий по фауне позвоночных

Кетле Ламбер Адольф (1796— 1874) — белы, социолог-позитивист, один из создателей научной статистики

Киаксар (Урахатар) (625—584 до н.э.) — царь Мидии, в союзе с Вавилонией в 605 г. до н.э. уничтожил Ассирийскую державу

Кинэ Эдгар (1803—1875) — фр. писатель, политик, историк

Кир (?—530 до н.э.) — основатель др.-перс, государства Ахеменидов

Клавдий (10 до н.э. — 54 н.э.) — рим. император из династии Юлиев-Клавдиев

Клапаред Эдуард (1832—1871) — швейц. натуралист, профессор сравнительной анатомии

Колумб Христофор (1451—1505) — исп. мореплаватель, открыватель Америки

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — рус. народный поэт

Консидеран Виктор (1808—1894) — фр. социалист-утопист, последователь Ф.Фурье

Ковстан Альфонс Луи (1810— 1875) — фр. писатель, интересовавшийся проблемами оккультизма

Константин I Великий (ок. 285— 337) — рим. император, основатель Константинополя

Конт Огюст (1798—1857) — фр. философ, основатель позитивизма, автор термина «социология»

Конфуций (551—479 до н.э.) — др.-кит. мыслитель. Основные взгляды изложены в книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»)

Коперник Николай (1473—1543) — польск. астроном, создатель гелиоцентрической модели мира

Корейша Иван Яковлевич (1789—1861) — известный в России юродивый и прорицатель

Корш Валентин Федорович (1828—1883) — рус. журналист, редактор «Московских ведомостей », « Петербургских ведомостей», издатель 15-томной «Всеобщей истории литературы»

Кролль Джеймс (1821—1890) — шотл. ученый, астроном н философ, автор теории ледниковых эпох и гипотезы, объясняющей распределение течений в Мировом океане

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — рус. географ, путешественник, один из теоретиков анархизма

Курций Руф Квинт — рим. историк I в. н.э., автор «Истории Александра Македонского»

Кювье Жорж (1769—1832) — фр. зоолог, объяснял эволюцию видов т.н. теорией катастроф

Лайель Чарлз (1797—1875) — англ, естествоиспытатель, один из основоположников актуализма в геологии

Лакассань Александр (1843— 1924) — фр. врач, автор учебника по судебной медицине

Ламарк Жан Батист (1744— 1829) — фр. ученый-эволюционист

Ланге Фридрих Альберт (1828— 1875) — нем. философ, автор 2-томной «Истории материализма»

Лао-цзы — кит. философ IУ в. до н.э., считается основателем

Лаплас Пьер Симон (1749— 1827) — фр. астроном, физик и математик

Лассен Христиан (1800—1876) — нем. востоковед, исследователь Древней Индии

Лаут Франц Йозеф (1822—1895) — нем. ученый-египтолог

Лафонтен Жан де (1621—1695) — фр. поэт-сатирик

Леббох Джон (1834—1913) — англ, натуралист, автор работ по доисторической антропологии, энтомологии и др

Лебедев Николай Константинович (1879—1934) — рус. публицист, популяризатор географических знаний, исследователь анархизма **Ле-Бон Гюстав** (1841—1931) — фр. писатель-социолог **Левинштейн Эдуард** (1831— 1882) — нем. ученый, врач-психиатр **Легге Джемс** (1815—1897) — англ, синолог, переводчик др.-кит.
классической литературы

Ленорман Франсуа (1837—1883) — фр. археолог, сын Ш.Ленормана

Лепсиус Рихард (1810—1884) — нем. археолог, основатель современной научной египтологии

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — рус. поэт

Летурно Шарль (1831—1902) — фр. социолог-этнограф, считал этнографический метод основным в познании исторических закономерностей

Лефевр Андре (1834—1904) — фр. антрополог **Ливингстон Давид** (1813— 1873) — англ, исследователь Африки **Липперт Юлий** (1839—1909) — австр. историк и этнограф-**Литтре Эмиль** (1801—1881) — фр. филолог и философ-позитивист **Ломброзо Чезаре** (1835—1909) — итал. психиатр и криминалист,
родоначальник антропологического направления в уголовном праве **Лот** — библ., племянник Авраама **Лофтус Вильям Кеннет** (1820— 1858) — англ, археолог исследователь
бассейна рек Тигр и Евфрат

Луд — библ., сын Сима, внук Ноя

Лукан Марк Анней (39—65) — рим. поэт, один из крупнейших представителей эпического жанра

Лукреций Кар — рим. поэт и философ-материалист I в. до н.э.

Лукулл (ок. 117 — ок. 56 до н.э.) — рим. полководец, прославившийся богатством и роскошными пирами

Льюис Джордж Генри (1817— 1878) — англ, писатель и философ, последователь О.Конта

Людовик XI (1423—1483) — фр. король из династии Валуа

Магеллан Фернан (ок. 1480— 1521) — исп. мореплаватель, руководитель первого кругосветного путешествия

Магомет Газневидский, см. Махмуд Газневи

Майер Юлиус Роберт (1814— 1878) — нем. врач и физик

Мальбранш Николя (1638—1715) — фр. философ-идеалист

Мальтус Томас Роберт (1766— 1834) — англ, экономист, автор знаменитого «закона»

Манефон — др.-егип. историк IV—III в. до н.э., автор сохранившейся в отрывках «Истории Египта»

Маилий Капитолийский — рим. полководец и консул IV в. до н.э.

Мариетт Франсуа Огюст (1821— 1881) — фр. археолог-египтолог, основатель Египетского музея в Каире

Мария-Луиза (1791—1847) — фр. императрица, вторая жена Наполеона Бонапарта

Мария Стюарт (1542—1587) — шотл. королева

Марк Аврелий (121—180) — рим. император, философ, последователь школы стоиков

Маркс Карл (1818—1883) — нем. экономист, основатель теории исторического материализма

Маркхам Клемент Роберт (1830—1916) — англ, географ и писатель-историк

Марно Эрнст (1844—1883) — австр. путешественник по Африке

Масперо Гастон (1846—1916) — фр. археолог-египтолог

Маудсли Генри (1835—1918) — англ, психиатр

Махмуд Газневи (970—1030) — правитель гос-ва Газневидов (с 998 г.), в которое входили территории современного Афганистана, ряд областей Ирана, Средней Азии, Индии

Мвата Ямво — правитель т.н. «империи» Лунда, существовавшей с конца XVI до второй половины XIX в. в бассейне реки Конго

Мегасфен — др.-греч. историк и географ конца IV — начала Ш в. до н.э.

Менений Агриппа — рим. патриций V в. до н.э.

Менес (Мена) — егип. фараон, объединивший, согласно греческим источникам, Египет и основавший в 3200 г. до н.э. I династию

Меркатор (Кремер) Герард (1512—1594) — флам. картограф, автор нескольких картографических проекций

Местр Ксавье де (1763—1852) — фр. писатель, художник, ученый, военный деятель

Мид Ричард (1673—1754) — англ, врач

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888) — рус. этнограф, антрополог и путешественник

Милль Джон Стюарт (1806— 1873) — англ, философ и экономист, основатель английского позитивизма

Мишле Жюль (1798—1874) — фр. историк романтического направления

Монтень Мишель де (1533—1592) — фр. философ-гуманист

Моро де Жонес Александр (1778—1870) — фр. экономист, автор капитальных трудов по статистике

Моро-Кристоф Луи (1799—1881) — фр. лейтенант, сопровождавший в 1841 г. британское посольство в Абиссинию

Мо-цзы (Мо Ди) (479—400 до н.э.) — др.-кит. философ, противник конфуцианства

Мунцингер Вернер (1832—1875) — швейц. исследователь северных областей Восточной Африки

Мэн-цзы (Менций) (ок. 372—289 до н.э.) — др.-кит. мыслитель, последователь Конфуция

Мюллер Макс (1823—1900) — англ, филолог-востоковед

Мюллер Фридрих (1834—1898) — австр. лингвист, крупнейший представитель т.н. лингвистической этнографии

Набопаласар — основатель Нововавилонского царства и династии халдейских царей, правил с 626 по 605 г. до н.э.

Навуходоносор II — царь Вавилонии с 605 по 562 г. до н.э. При нем были сооружены Вавилонская башня и висячие сады

Надир (Надир-шах) (1688—1747) — шах Ирана, создатель обширной империи

Наяда (ГУ в. до н.э.) — представитель др.-инд. династии, правившей в гос-ве Магадха

Наполеон I (1769—1821) — фр. император

Негели Карл Вильгельм (1817— 1891) — нем. ботаник

Немврод (Нимрод) — библ., легендарный основатель Вавилона

Нерон (37—68) — рим. император из династии Юлиев-Клавдиев

Нимейер Феликс (1820—1871) — нем. врач-терапевт

Норденшельд Нильс (1832— 1901) — швед, исследователь Арктики

Ньютон Исаак (1643—1727) — англ, математик, механик, астроном и физик, автор закона всемирного тяготения

Паршап де Вине Батист (1800— 1866) — фр. психиатр

Паскаль Блез (1623—1662) — фр. ученый, писатель и религиозный философ

Перикл (ок. 490—429 до н.э.) — др.-греч. политик, способствовавший укреплению Афинского гос-ва

Перро Жорж (1832—?) — фр. археолог

Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — швейц. педагог-демократ, основоположник теории начального обучения

Петроний Гай (?—66) — рим. писатель, чиновник на высоких должностях

Пигафетта Антонио Франческо (ок. 1491 — после 1534) — итал. мореплаватель, участник кругосветного плавания Магеллана

Пинель Филипп (1745—1826) — фр. врач-гуманист, один из основоположников научной психиатрии

Пирр (319—273 до н.э.) — царь Эпира, воевал с Римом

Плиний Старший (23/24 — 79) — рим. писатель и ученый, автор 37-томной «Естественной истории»

Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — др.-греч. писатель и историк

Понтий Пилат — рим. наместник в Иудее в 26—36 гг.

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920) — рус. исследователь Центральной Азии и Сибири

Пржевальский Николай Михайлович (1839—1888) — рус. путешественник, исследователь Центральной Азии

Прудон Пьер Жозеф (1809— 1865) — фр. философ, один из столпов анархизма

Птолемей Клавдий (ок. 90 — ок. 160) — др.-греч. астроном, автор геоцентрической системы мироздания

Пуарье — фр. миссионер, автор капитального труда по исследованию Магриба

Раверти Генри Джордж (1825— 1906) — англ, исследователь Афганистана и Индии

Радецкий Йозеф фон (1766— 1858) — австр. фельдмаршал

Ратцель Фридрих (1844—1904) — нем. географ и путешественник, профессор географин в Мюнхене и Лейпциге

Реклю Элизе (1830—1905) — фр. географ, сторонник концепции географического детерминизма

Ренан Жозеф Эрнест (1823— 1892) — фр. историк-востоковед, переводчик и комментатор библейских текстов

Рибаденейра Педро (1527—1611) — исп. писатель, автор жизнеописаний святых

Рибо Теодюль Армян (1839— 1916) — фр. психолог и психопатолог

Рид Винвуд (1838—1875) — англ, журналист и писатель, принимал участие в исследовании низовьев реки Габон в Африке

Рикардо Давид (1772—1823) — англ, экономист, сторонник трудовой теории стоимости

Риттер Карл (1779—1859) — нем. географ, сторонник концепции географического детерминизма и главенства европейской цивилизации

Рихтгофен Фердинанд (1833— 1905) — нем. геолог и географ, занимался изучением Китая

Робеспьер Максимильен (1758— 1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев

Ройе Клеманс (1830—1902) — фр. писательница, перевела на французский язык книгу Ч.Дарвина «Происхождение видов»

Рот Рудольф (1821—1895) — нем. востоковед, знаток санскрита, переводчик др.-инд. гимнов (вед)

Роулинсон Генри Кресвик (1810—1895) — англ, востоковед и дипломат, один из основоположников ассирологии и один из крупнейших исследователей клинописи

Руссеггер Йозеф фон (1802— 1862) — австр. горный инженер, занимался поисками золота в Судане в 1837—1838 гг.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — фр. философ и писатель, представитель сентиментализма

Салманасар III — ассир. царь в 859—825/824 гг. до н.э.

Самси-Раман (Шамши-Рамма) II — ассир. царь XI в. до н.э.

Саргон II — ассир. царь в 722— 705 гг. до н.э. **Сарданапал,**
см. Ашшурбанипал

Селевк I Никатор (355—280 до н.э.) — один из военачальников Александра Македонского, основатель династии Селевкидов

Сеннахерим (Синахериб) — ассир, царь в 704—681 гг. до н.э.

Сети I (ок. 1337—1317 до н.э.) — егип. фараон XIX династии Нового царства

Сим — библ., старший сын Ноя, родоначальник семитских народов

Скотт Вальтер (1771—1832) — англ, романист, создатель жанра исторического романа

Смит Адам (1723—1790) — англ, экономист, основоположник классической политэкономии в Англии

Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965— 928 гг. до н.э

Спенсер Герберт (1820—1903) — англ, философ и социолог, автор органической теории общества

Спик Джон Хэннинг (1827— 1864) — англ, путешественник по Восточной Африке

Спиноза Бенедикт (1632—1677) — нидер. философ-материалист, атеист

Стонтон Томас (1781—1859) — англ, аристократ и дипломат, автор и переводчик нескольких книг

Страбов (64/63 до н.э. — 23/24 н.э.) — др.-греч. географ и историк, автор 17-томной «Географии»

Стэнли Генри Мортон (наст, имя Роулендс Джон) (1841—1904) — англ, журналист, исследователь Африки

Сыма Цянь (145/135 — ок. 86 до н.э.) — др.-кит. историк, автор книги «Ши цзи» («Исторические записки»)

Сэй Жан Батист (1767—1832) — фр. экономист, автор теории факторов производства

Сю Эжен (1804—1857) — фр. писатель, автор романов из жизни парижского «дна»

Тамерлан (Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский правитель и полководец

Тарик — араб. полководец, в 711 г. переправившийся через Гибралтар в Испанию

Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117) — др.-рим. писатель-историк

Тиберий Клавдий Нерон (42 до н.э. — 37 н.э.) — рим. император **Тилло Алексей Андреевич** (1839—1899) — рус. геодезист и картограф, автор гипсометрических карт европейской части России

Тинне Александрина (1839— 1869) — голл. путешественница по Северо-Восточной Африке

Тиссо Симон Андре (1728—1797) — фр. врач, практиковавший в Лозанне

Толстой Лев Николаевич (1828— 1910) — рус. писатель **Топинар Поль** (1830—1911) — фр. антрополог

Тэйлор Эдуард Бернетт (1832— 1917) — англ, этнограф, исследователь первобытной культуры

У Ди (156—87 до н.э.) — кит. император, при котором конфуцианство стало официальной идеологией

Уиллер Джеймс (1824—1897) — англ, ученый

Уоллес Альфред Рассел (1823— 1913) — англ, натуралист, один из создателей теории естественного отбора

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — рус. писатель

Фалес Милетский (ок. 625 — ок. 547 до н.э.) — др.-греч. философ, математик и астроном

Фейхтерслебен Эрнст фон (1806—1849) — нем. врач-психиатр, писатель, автор популярных афоризмов

Филипп II (1527—1598) — исп. король

Филипп IV (1605—1665) — исп. король

Филон Александрийский (ок. 25 — ок. 50) — иудейско-эллинистический религиозный философ

Фохт (Фогт) Карл (1817—1895) — нем. философ и естествоиспытатель, представитель вульгарного материализма

Фраас Карл Николаус (1810— 1875) — нем. ученый, занимавшийся проблемами сельского хозяйства

Франклин Бенджамин (1706— 1790) — амер. ученый, просветитель и государственный деятель, один из авторов Декларации независимости и Конституции США

Франсуа Курт фон (1853—?) — нем. исследователь бассейна реки Конго

Фритч Густав Теодор (1838— 1927) — нем. естествоиспытатель, путешественник по Южной Африке и Египту

Фурье Франсуа Мари (1772— 1837) — фр. социалист-утопист

Хам *— библ., сын Ноя, считается родоначальником хамитов*

Хаммурали (1792—1750 до н.э.) — царь Вавилонии **Хирам** — царь Тира, X в. до н.э. **Хубилай** (1215—1294) — монг. хан, внук Чингисхана

Цезарь Гай Юлий (102—44 до н.э.) — рим. полководец, диктатор **Циммерман Эдуард Романович** (1822—?) — рус. писатель и путешественник

Чандрагупта — др.-инд. правитель, основатель династии и гос-ва Маурьев в IV—Ш вв. до н.э.

Ченчи Беатриче (1577—1599) — дочь знатного римлянина Франческо Ченчи, славилась удивительной красотой

Чжан Цзянь (?—ок. 103 до н.э.) — др.-кит. дипломат и путешественник, прошел из Китая в Среднюю Азию путем, получившим в Европе название Великого шелкового пути

Чингисхан (ок. 1155—1227) — монг. хан и полководец

Шарру-кин (Саргон Древний) (XXIV в. до н.э.) — основатель Аккадской империи

Швейнфурт Георг Август (1836— 1925) — нем. путешественник по Северо-Восточной Африке

Шеффле Альберт Эберхард (1831—1903) — нем. экономист, социолог, сторонник органической теории государства и общества

Шлегель Густав (1840—1903) — голл. китаист

Эллис Клемент (1794—1877) — фр. врач-психиатр

Эпикур (341—270 до н.э.) — др.-греч. философ, полагавший, что для человека наиболее разумным является не активная деятельность, а здоровье, покой и безмятежность

Эскироль Жан Этьен (1772— 1840) — фр. психиатр, автор известной книги «О душевных болезнях»

Эспинас Альфред (1844—1922) — фр. философ и социолог, последователь Ч.Дарвина и Г.Спенсера

Юль Генри (1820—1889) — англ, филолог, автор англо-индийского словаря слов и выражений

Юнг (Янг) Брайам (1801—1877) — предводитель секты мормонов в американском штате Юта в 1844—1877 гг.

Юстиниан I (ок. 482—565) — император Византии

Якоби Павел Иванович (1842— 1913) — рус. врач-психиатр и этнограф